ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2008

ПОЛНОЗВУЧИЕ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРЫ: РОМАН "ТРЕТИЙ БРАК" КОСТАСА ТАХЦИСА / СТИХИ МИЛЬТОСА САХТУРИСА, МАНОЛИСА АНАГНОСТАКИСА, КИКИ ДИМУЛЫ И ДР. / РАССКАЗЫ ГЕОРГОСА ИОАННУ, МЕНИСА КУМАНДАРЕАСА И ДР. / ОДИССЕАС ЭЛИТИС И ГЕОРГОС СЕФЕРИС В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / СТАТЬИ И ПЕРЕВОДЫ ИРИНЫ КОВАЛЕВОЙ

Основан в 1891 году

Этот номер журнала задумала, составила и, по большой части, перевела Ирина Ковалева – поэт, переводчик новогреческой и англоязычной поэзии, филолог-классик – исследователь поздней античности, тончайший знаток новогреческой литературы. Она жила в огромном диапазоне пространства и времени – жила во всю силу дарованных ей Богом талантов и страсти души в нескольких мирах одновременно: в мире античной словесности; в новогреческой и мировой поэзии; в стихии русского слова. И удивительно много успела сделать. Выпустила 4 книжки собственных стихов и несколько сборников переводов новогреческих поэтов; опубликовала книгу о поэтике Кавафиса и греческого модернизма; в № 6 "Иностранной литературы" за 2005 год напечатала Литературный гид "Сеферис, или Путь Одиссея" (не говоря о целом ряде замечательных переводов, эссе, статей, которые часто появлялись на страницах нашего журнала); опубликовала книжку поэтических переводов "Мои поэты"; читала – да как! – в сопровождении московского Violin Jazz квартета свои переводы греческого поэта Димитриса Ялама на тематических вечерах (два таких вечера-концерта записаны на диск). Это конечно далеко не все. Не стану говорить ни о ее научных трудах, ни о преподавательской работе на классическом отделении и отделении неоэллинистики филологического факультета МГУ.

Прошлое и настоящее, переплетаясь, выходили из-под ее пера равно живыми, будь то заново родившийся по-русски текст чужого языка или стихи, написанные на родном:

Голоса детей в саду
Меж дерев и роз в цвету;
Злато и кармин голов,
От корней и до листов.

Из Т. С. Элиота

Выдох и вдох: волна
Набежала и вспять.
Тьма встает как стена.
Слаще всего — дышать.

Из сборника "Отпечаток", 2006

Последние пять лет были отравлены болезнью и неустанным сопротивлением ей. Но и это не могло пересилить деятельное, художественное начало натуры Ирины. Сила духа, увлеченность замыслами, влюбленность в жизнь были таковы, что она отстаивала каждый миг – отстаивала творчеством.

Перед Вами ее последняя работа – номер "Иностранной литературы", посвященный новогреческой литературе. Она закончила его перед самым уходом – в январе 2007 года.

Т. Казавчинская

[2]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Полнозвучие греческой лиры

3 Костас Тахцис *Третий брак.* Роман. Перевод Анны Ковалевой

Поэтическая антология

164 Ирина Ковалева *От "поколения титанов" к "поколению уединенной лампады": греческая поэзия второй половины XX века*

169 Мильтос Сахтурис. Перевод Р. Гузя, Ирины Ковалевой

174 Манолис Анагностакис. Перевод Ирины Ковалевой

176 Кики Димула. Перевод Евгении Смагиной

182 Михалис Ганас. Перевод Ирины Ковалевой

187 Насос Вагенас. Перевод Антонины Калининой, Ирины Ковалевой

Антология рассказа

192 Георгос Иоанну *Эвтихула.* Перевод Владимира Потапова. Под редакцией Ирины Ковалевой

195 Менис Кумандареас *Бледный юноша.* Перевод Владимира Потапова

213 Танасис Вальтинос *Айстратиг – святой полководец.* Перевод Евгении Смагиной

218 Димитрис Ноллас *Кутья на земле.* Перевод Ирины Ковалевой

222 Аманда Михалопулу *Лермонтов.* Перевод Ирины Ковалевой, Антона Нестерова

Из классики XX века

230 Одиссеас Элитис *Стихи.* Перевод Ирины Ковалевой, Софьи Ильинской. Вступительная статья Ирины Ковалевой

243 Георгос Сеферис *Стихи.* Перевод Ирины Ковалевой и Антона Нестерова

Документальная проза

252 Георгос Сеферис *Страницы из дневника (Т. С. Элиот).* Перевод Ирины Ковалевой

Статьи, эссе

267 Питер Макридж и Елени Яннакакис *Греческая литература в эпоху глобализации.* Перевод с английского Игоря Мокина

Трибуна переводчика

275 Ирина Ковалева *Гаспаров в зеркале Сефериса / Сеферис в зеркале Гаспарова: "Три тайные поэмы"*

Библиография

281 *Греческая литература на страницах "ИЛ"*

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

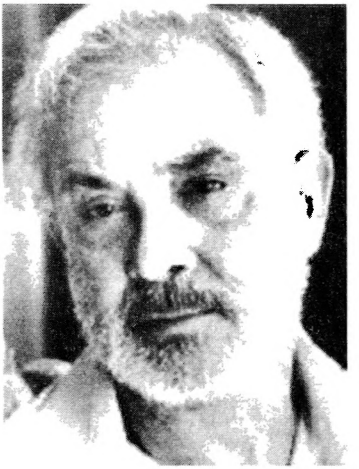
Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Костас Тахцис



Третий брак

Роман

Перевод Анны Ковалевой

Часть первая

1

Я не могу больше, не могу, не могу, не могу, я больше ее не выдержу!.. Да что же это такое, что же это за наказание за грехи мои тяжкие, что Ты посылаешь мне, Господи? Что же я сделала, что Ты так жестоко меня караешь?! Сколько еще ей сидеть у меня на шее? До каких пор терпеть, видеть эту гнусную харю, слышать этот омерзительный голос, до каких пор?! Неужели не найдется, в конце концов, какой-нибудь кривой-слепой, который женится на ней и спасет меня, спасет от этой суки, которую подбросил мне ее отец не иначе как для того, чтобы отомстить, — будь прокляты те, кто не пустил меня на аборт!..

Хотя что, собственно, я их проклинаю? Их больше нет. Да и не их это вина. Я, я одна виновата, что их послушала. В таких делах никому не стоит верить, только себе, никому другому!.. Пока она была ребенком, я утешала себя, что время все поставит на свои места. "Она станет другой! — говорила я. — Она исправится. В конце концов, рано или поздно, но в один прекрасный день она выйдет замуж. И кто-то другой посадит ее себе на шею". Как же! Сейчас! Напрасно я надеялась. Если все так пойдет и дальше, как

© Kostas Tahtsis. Exandta, 1987
© Анна Ковалева. Перевод, 2008

пить дать — быть ей старой девой. Да и как не стать, если она такая? Ах, чтоб ей пусто было, этой гадюке Эразмии, вот во что вылились эти ее поповские штучки!.. Ну какой, какой же мужчина, я вас спрашиваю, обернется вслед вот этому чудищу и посмотрит на нее с интересом, если она так одевается, так себя ведет и так разговаривает? Какой нормальный мужчина сделает матерью своих детей такую — с этими ее бредовыми идеями, истериками, экземой, от которой она все чешется и чешется, так что экземе этой никогда не зажить, не засохнуть? Ой, Боже, так и останется она в девках, как пить дать останется, и горе мне, горе, я уж и не знаю, кого мне больше жалеть — ее или себя? Потому как, что бы я там об этой дурище ни говорила, все это так, пустое, слова. Я ей мать, и душа у меня за нее болит.

Но, послушайте, мне ведь и себя жалко. Каждый раз, когда она закатывает истерику, у меня разыгрывается язва. "Раз уж Господь сотворил тебя страшилищем, — говорю я ей, — так ты уж оденься как-нибудь поинтереснее, глядишь, и сможешь соблазнить кого-никого!" Но, увы, она не похожа на меня и *в этом*. Я бы не сказала, что я такая уж красавица. Но уж что-что, а впечатление произвести умею. Уж я-то всегда умела одеться. В ее возрасте меня долго учить не надо было, на лету все схватывала. Я шла, и мужчины все как один смотрели мне вслед. Что твои подсолнухи на солнце! Да уж, я-то не была как это земноводное. Хотела бы я знать, на какого дьявола она похожа. Не на меня, не на бабушку, о дедушке и вовсе говорить не приходится, а уж об ее отце и того меньше. Пусть он и был последним мерзавцем, пусть он был тем, кем он был, но он был очень даже хорош. И он был красивым мужчиной — очень красивым, даже слишком, куда больше, чем это пристало мужчине...

Да, я не красавица! Но умею жить. Какая женщина в моем возрасте выглядела бы так хорошо, как я? Все мои подружки и одноклассницы по Арсакийской гимназии слов нет, как сдали. Встретишь их, бывало, на улице и вздрогнешь. Да они же просто старушки!.. И вовсе не потому, что уже внуки пошли, — вот у Юлии, например, внуков нет, — просто они себя запустили. Демобилизовались — и с концами. А ведь тело не старится, пока душа молода. "Пусть мои дочки теперь наряжаются! — говорят они. — Пусть наши дети идут на танцы и веселятся до упаду! Мы-то свой хлебушек уже сжевали!" Но они говорят так, потому что их дети стоят любой жертвы. У них же нет Марии! Они и знать не знают, что это такое — быть матерью Марии, поэтому я и не виню их за то, что они все как одна взвились до небес, узнав, что я снова вышла замуж вместо того, чтобы приглядеть кого-нибудь для нее. Они же не понимают, что в тот день, когда я решилась выкинуть этот фортель и выйти за Тодороса, я взвесила все за и против. Дорогая, сказала я сама себе, Мария — это жертва кораблекрушения, которая вот-вот потонет... Если я возьмусь ее спасать, она и меня за собой утащит. Если же хотя бы я выплыву, то так у нее будет еще немного времени, чтобы подрасти и хоть в чем-то повзрослеть. "Да выдай ты ее замуж, — говорили мне все вокруг, — и вот увидишь, ты сама ее не узнаешь". Я должна выдать ее замуж? А сама она найти мужа не может? Я, что ли, должна жениха на блюдечке поднести? Да со мной в ее возрасте по десять человек одновременно флиртовали. Куда бы я ни пошла, так и крутились вокруг моей юбки. Кому бы ни сказала "тебя возьму", побежал бы на край света!.. И как же это, скажете вы, в таком случае меня угораздило так вляпаться с Фотисом? Ну да это совсем другая история. Я стараюсь об этом вовсе не вспоминать, что теперь толку,

только еще больше нервы себе треплешь. Может быть, иногда говорю я себе, так уж было провидением предназначено, чтобы я вышла за него и пережила все, что пережила. Предначертано мне было родить Медузу!.. А иногда я наоборот думаю, что ни Бог тут ни при чем, ни дьявол, ни судьба. Все моя вина, ничья больше! Я была упрямой, я закусила удила. Сказала "Выйду за него" — и вышла. Из одного только упрямства. Только потому, что он не нравился никому из моих родных. Даже покойному папе, который всегда был очень осторожен в своих суждениях. Я не собиралась давать им еще один шанс влезть в мои дела и в мою жизнь, как они это уже однажды сделали. С меня хватило того горя, что они причинили мне своими кознями против Аргириса. Мне уже было не восемнадцать, как тогда, а двадцать семь. Я была независима и полна решимости делать то, что мне только в голову взбредет. В голову-то взбрело, да без глазонек осталась!..

Ну да это совсем разные вещи. Все хоть раз, да ошибаются. Но это что — повод платить вечно за одну глупую ошибку? Сколько я еще проживу? Десять лет? Двадцать? Кто знает! Я могу выйти сегодня на улицу и попасть под машину, вон они носятся как сумасшедшие. Но даже если на все про все у меня остался час, то я намерена прожить его так, как я хочу! Вряд ли кира[1] Галатея произведет на свет еще одну Нину. Она уж давно на том свете. Хоть бы пожить без этого брюзжанья, сосредоточиться чуть-чуть и подумать о куда более серьезных вещах, чем вечная тема Марии, — Господи ты Боже мой, ну неужели Ты никогда не дашь мне этой радости?..

Вот уже два-три дня, как она взъелась на Тодороса. На нее такое накатывает время от времени. Шваркает дверьми у него перед носом. Отказывается есть с нами за одним столом. А когда мы остаемся с ней наедине, начинает поносить его с ног до головы, и его, и всю его родню до седьмого колена, хотя бедняга не дает ей к тому ни малейшего повода. Завидует она мне, чтоб ей пусто было, что тут еще скажешь? "Если тебе так неймется, — говорю я ей сегодня, — сходи в парк и найди себе какого-нибудь козла!... Парк недалеко. В двух шагах. Пойди и сними какого-нибудь матроса или солдата, чтоб они тебе засадили! Я, что ли, должна его тебе отыскать? В твоем возрасте я не только тебя родила, но уже собиралась выйти замуж второй раз! Давай, вперед! — говорю ей, — одевайся, марш из дома, и клянусь прахом моего отца, человека, которого я любила больше всех на свете, кого бы ты ни привела в мой дом, кем бы он ни был, но если ты придешь и скажешь: 'С сегодняшнего дня этот господин мой друг, мой жених, мой муж', я и полсловечка против не скажу, ты из меня ползвука и клещами не вытянешь. Да еще десять раз ему в ножки поклонюсь. Не я выйду за него замуж. Не я буду спать с ним. Ты с ним будешь спать. Лишь бы только он тебя не одурачил, конечно, — потому что таким засиделым, как ты, обычно просто дурят голову, — не сожрал бы твое приданое, да и не бросил бы тебя, так что в итоге мало мне тебя на моей шее, да еще и выблядок прибавится! Давай, — говорю ей, — оделась и вперед на улицу, чтоб глаза мои тебя не видели! Если не хочешь мужа, — у тебя же все не как у людей, так что ты и сама не знаешь, чего хочешь от жизни, — тогда иди и запрись в монастыре. Еще осталось несколько. Иди в Кератею к святой Мариам[2]! Давай, стань мона-

1. Кира — по-гречески госпожа.
2. Мария (Мариам) Сулакиото — первая игуменья Святовведенского женского монастыря в Кератее (предместье Афин), основанного в 1927 г.

хиней, как Эразмия, твой величайший образец! Ведь твой отец специально мне такой подарочек подкинул, завещав превратить мою жизнь в ад, не так ли? Давай! Одевайся! Сделай, наконец, то, что хочешь. Но только будь осторожна. Предупреждаю тебя в последний раз: даже не думай устроить мне еще хоть раз такую бурю, как сегодня, и уж тем паче при Тодоросе, потому что в противном случае, вот тебе крест, я превращусь в убийцу Кастро[1] и разрублю тебя на мелкие кусочки! И не смей убирать из гостиной фотографии моего отца и киры Экави! Что с того, что они плохо сделаны? Скажите, пожалуйста, теперь не модно вешать фотографии на стенку. Пока я жива, этот дом мой! Я здесь хозяйка и буду вешать на стены все, что захочу, ты меня слышала? Вот когда ты, наконец, Бог даст, выйдешь замуж и у тебя будет свой дом, или когда я, как ты выражаешься, сдохну и ты все это унаследуешь, — а по тому, как ты надо мной измываешься, этого счастливого дня тебе недолго осталось ждать, — вот тогда хоть сама на стену повесься... Но пока я жива и последний свой вздох еще не испустила, я хочу видеть фотографии людей, которые меня любили и которые, увы, уже умерли и оставили меня на съедение такой ведьме, как ты!" Выпалила я все это, пошла и повесила фотографии папы и киры Экави на место.

Она это как увидела, точно с цепи сорвалась. "Ой-ой-ой! — завизжала. — Смотрите, как мы боимся, чтобы не обидели нашу свекровь-прачку!" А я ей в ответ: "Если уж тут и есть прачки, так это только ты". Так начался наш сегодняшний скандал. "Сама ты прачка", — говорю ей, и — слово за слово — чуть дело до драки не дошло. Я вспыхнула как порох, потому что знаю, она специально киру Экави поносит, чтобы меня задеть. Услышал бы Тодорос, как она его мать прачкой называет, мигом бы за волосы ухватил да всыпал бы ей по первое число. Да и кого еще это может расстроить? Кого другого, кроме меня и его? Уж не Марию, конечно. Мария, та скандалами наслаждается, жить без них не может.

Но даже и не будь Тодороса, все равно, пока жива, я хочу видеть фотографии киры Экави на их месте. Не потому, что она моя свекровь. Какая невестка любит свою свекровь? Только одному Богу ведомо: если бы она была жива, я бы ни за что на свете не пошла бы за ее сына. Она могла быть лучшей — лучше не бывает — подругой во всем белом свете, но только не свекровью. Уж я-то это знала как никто другой. Не говоря уже о том, что в том душевном состоянии, в котором она пребывала в последние годы, она уже не способна была ни к каким человеческим отношениям. То была уже не прежняя кира Экави, с ее шутками, с верой в жизнь и людей — под напускным пессимизмом, не та кира Экави, которой можно было рассказать все свои горести и которая в ответ давала советы так, как только она одна умела это делать. Ну уж нет! Если бы она была жива, когда Тодорос вернулся с Ближнего Востока, у меня бы и мысли бы такой не промелькнуло — стать ее невесткой. Это было бы смешно. Невообразимо. Мы бы неминуемо поссорились. Я уж молчу о том, как бы все над нами потешались. Даже и сейчас я иной раз встречаю знакомых тех времен, которых сто лет не видела, и они тотчас говорят мне: "Нет, ну ты только вообрази, Нина, могла ли ты себе представить, что однажды станешь ее невесткой?" И они говорят это

1. "Убийца Кастро" стало нарицательным после сенсационного преступления: в начале XX в. некая госпожа Кастро вместе со своей матерью убила мужа, разрезала его на куски и сбросила в реку.

с такой издевкой, что, если бы я обращала на них внимание, мне бы надо было переругаться со всем миром. Ну, так или иначе, думаю я порой, отчасти они правы. *И в самом деле* забавно, что все случилось так, как оно случилось, но только не с той точки зрения, какой придерживаются наши знакомые. Кто из всех этих сплетниц по-настоящему знал киру Экави? Кто знал ее золотое сердце? Иногда я сомневаюсь, что и сама до конца понимала ее, хотя уж мы-то с ней съели не один пуд соли...

Некоторые находили ее занятной. Некоторые смотрели на нее с презрением, как, например, эта снобка Юлия. Ну никак не могла она уразуметь, как это я могу с ней общаться. В открытую она, конечно, ни разу не сказала, все больше намеками. "У тебя, Нина, такое доброе сердце! — бывало, говорит она мне. — Твой дом для всех открыт, *кем бы они ни были*. Я вот всегда своей Лилике говорю: у Нины самое доброе сердце в мире". Никак ей было не понять, почему это я предпочитала общество киры Экави ее собственному или жены Карусоса.

Марта считала ее шутом и однажды так и сказала: "Ты как императрица, у них всегда были под рукой шуты и карлики". И до нее тоже никак не могло дойти, хоть она и строила из себя такую умную-образованную, что же это было такое, что заставляло киру Экави вести себя и как шут тоже, — а все это было только из смирения. Киру Экави хлебом не корми, дай превратить свою жизнь в драму, но чем больше она ее драматизировала, тем смешнее это выходило — и всегда она язвила только на свой счет, никогда ни про кого другого.

Что же до тети Катинго с ее ханжеством и смехотворными принципами, это уж само собой, что она воспринимала киру Экави исключительно как воплощение дьявола на земле. Ну что ж, в каком-то смысле она была права: кира Экави была и дьяволом тоже. Но в то же время она была и богом, и святой, и нет никого, кто знал бы это лучше, чем я, потому что это я прошла с ней по пути всей ее жизни, пусть не с начала, но до самого конца, и только я понимала ее душу так, как ее не понимали даже собственные дети!..

Ее дети, ха! Имея такую дочь, как моя, я лучше, чем кто бы то ни было, знаю, что из всех Божьих созданий нет и не может быть никого во всем этом мире, кто понимал бы нас хуже, чем те, кто вышли из нашего чрева. И если всего этого недостаточно для того, чтобы хотеть видеть ее фотографии у себя в гостиной, тогда скажем так: я это делаю, потому что мы провели вместе незабываемые дни. Потому что я открыла ей мое сердце, а я его родной матери не открывала. Потому что она, все понимая по своему горькому опыту со своей дочерью, да и со всеми остальными детьми (ведь, в конце концов, Поликсена повела себя не лучше, чем Елена), была единственной из всех моих родных и близких, кто сочувствовал мне от всего сердца. Единственной, кто разделял и понимал мое горе и мою печаль, а как же мне не горевать, если такая мне выпала злосчастная участь — произвести на свет дитя-чудовище!..

2

С кирой Экави я познакомилась в 1937 году. Или нет, не в 37-м. Точно, это произошло летом 36-го, в августе. Я потому так хорошо это помню, что

тогда вот-вот должно было наступить Успение Богородицы. Мы как раз готовились к празднованию дня рождения Ее Высочества, и у нас вовсю шла генеральная уборка, борьба с пылью по всем углам, натирка паркета и прочие радости. Мы с Мариэттой, растрепанные, босиком, как раз вышли на терраску на крыше и давай перетряхивать бархатные портьеры из гостиной. Это был последний ужас на сегодня. Хватит уже, думала я, завтра тоже будет день, успеем насладиться. "Добьем портьеры и пойдем ополоснемся, чтобы хоть как-то освежиться". Не успела я договорить, как до нас донеслось трень-трень колокольчика — значит, кто-то открыл калитку. "Поди-ка посмотри, кого это там нелегкая принесла, — говорю я ей. — Давай сюда твой угол и посмотри, кто это. Надеюсь, свои, а не какая-нибудь еще особо важная персона, а то я на чучело огородное похожа. Если меня сейчас кто увидит из чужих, как пить дать за цыганку примет".

Она бросила мне свой край портьеры и легкой козочкой — ах, Мариэтта, моя Мариэтта, где-то ты теперь? — спрыгнула на балкончик над прачечной. С него прекрасно просматривается вся дорожка от калитки до главного входа. Она подозрительно сморщилась, как поступала всякий раз, как встречала кого-нибудь новенького. Я наблюдала за ней и от души веселилась. Наверняка кто-нибудь чужой, подумала я. Чтоб Мариэтта так надулась, точно кто-то незнакомый должен быть. Такая уж она была. Прямо как пес цепной — чужих на дух не переносила. Она вернулась на крышу, взялась за портьеру, и мы продолжили.

Я поняла, что она заговаривать не собирается, я уже все ее повадки наизусть выучила. "Ну и?.." — говорю я ей. "Никого". — "Как никого, когда я слышала колокольчик". — "Так никого. Я ж тебе говорю". Так она со мной разговаривала. "Эразмия, — соблаговолила она наконец сообщить. — С какой-то оборванкой".

Для Мариэтты Эразмия была "никто", как Одиссей для Полифема. Но, как я и думала, кто-то чужой все-таки заявился. Но вот кто — я и понятия не имела. Наверняка кто-нибудь из этих субчиков, с которыми Эразмия водила знакомство у святой Евфимии, сказала я сама себе, иначе Мариэтта не поминала бы оборванок. Так она называла всех, своих и чужих, кто ей был не по душе.

К несчастью, у нее была дурная привычка обзывать так и мать Андониса. Оборванка на "здрасьте", Оборванка на "до свиданья". К той это так и прилипло — ну она и в самом деле была Оборванкой с большой буквы. Кончилось тем, что мы ее по-другому уж и не называли, когда Андониса не было дома, и я всякий раз тряслась, как бы у кого-нибудь это не вырвалось и при нем. Я понимала, что он и слова не скажет, но расстроился бы человек, а у него и так расстройств было выше крыши из-за моей дочери, которая поедом его ела. А Борос мне тысячу раз говорил: "Нина, позаботься о том, чтобы ему не приходилось волноваться. Его сердце в очень плохом состоянии. Побереги его". Но что я строила со всем моим терпением и заботами, то разрушала моя дочь своим поганым языком. Только он соберется замечание ей сделать, как она уже заявляет: "Оставь меня в покое! Я тебя знать не знаю! Ты мне не отец!.." И это в двенадцать-то лет. И так доводила взрослого мужика, что его судороги хватали, дрожал как рыба на песке.

Мариэтту мы привезли с Андроса, тем летом, когда отправились отдохнуть в имение тети Болены, двоюродной сестры отца. Мариэтта была из Писомерии — со всеми вытекающими. А писомериты, спросите лю-

бого андросца, знамениты своим негостеприимством и ядовитым языком, и Мариэтта была дочерью своей родины на все сто. Меня она любила как преданный пес. Андониса уважала, пусть даже они и задирались друг с другом беспрерывно. Но в глубине души она знала, кто здесь хозяин, и даже побаивалась его слегка. А вот ото всех остальных, своих ли, чужих ли, камня на камне не оставляла. Не было человека, к которому она не прилепила бы прозвища. Тетю Катинго она звала ханжой, а никак не госпожой. Принцессу — индюком. Когда она так говорила, я делала вид, что сержусь, чтобы не распускалась, но про себя признавала, что трудно придумать более удачное прозвище. Она всегда была надутой как индюк, индюк она и есть, индюком надутым и останется!

Но больше всех прочих она не переваривала Эразмию. Та у нее просто в печенках сидела. Как посмотрит на нее — передернется. А когда та притаскивала с собой своих подружек, чтобы похвастаться нашим домом, я с трудом удерживала Мариэтту, чтобы она не выгнала всю честную компанию. Не раз и не два она объявляла дорогим гостям, что я больна и не принимаю. "Пойди, свари нам кофейку", — говорила я Мариэтте. Покойная мама приучила меня быть дружелюбной по отношению ко всем, а отец — не быть снобом и не отвергать никого прежде, чем хоть чуть-чуть его не узнаешь, а как еще узнать человека, если не выпить с ним кофе? "Пойди, сделай кофе, и вишневое варенье достань!" — сколько раз произносила я эту фразу. И каждый раз она послушно шла на кухню и, высунувшись так, чтобы только я ее видела, начинала корчить рожицы, смысл коих был ясен без лишних объяснений: а вот не буду варить им кофе! Попробуй только скажи что-нибудь! Хватит с них и варенья!.. Да уж, иногда она меня ставила в крайне неудобное положение.

Хотя, с другой стороны, она говорила вслух о том, о чем я не решалась заикнуться, к тому же она была честной, работящей и преданной, да и вообще в последние годы перед войной, из-за болезни Андониса и отсутствия хоть какого-то заработка, мы докатились до того, что задолжали ей и за десять месяцев работы, а она слова нам худого не сказала, поэтому я закрывала глаза на все ее недостатки и вполглаза смотрела на ее "гостеприимство", тем более что со временем наши гости к ней привыкали и не обижались. Пусть, говорила я себе, почувствует, что и она член семьи и имеет право на свое мнение.

"Так, все, ну эти портьеры к черту! — говорю я ей. — Лично я смертельно устала! Черт бы побрал эти праздники со всем их весельем, вот как-нибудь вселится в меня сам сатана, и я хлопну дверью у всех перед носом!.. Что она такое, эта твоя оборванка?" — спрашиваю я Мариэтту. Уж я-то знала, если ее не спросишь, сама ни за что рта не раскроет. Да даже если и спросишь, она не из тех, кто легко раскалывается. "Уф!.. Говорю же тебе, оборванка!.." Она была немногословна. И привыкла говорить со мной на "ты". Только к покойному отцу на "вы" и обращалась. Послушал бы это кто-нибудь, кто нас не знает, решил бы, что она хозяйка, а я — прислуга.

Но, возможно, в первый раз в своей жизни Мариэтта оказалась неправа. Кира Экави не была оборванкой, она вообще не имела никакого отношения к тому сброду, который постоянно таскала в мой дом Эразмия, хотя я много раз ставила ее в известность, что не желаю никаких посторонних лиц в моем доме (но она не обращала на меня внимания, пряталась за спиной Андониса). Нет! Кира Экави не была оборванкой.

Я ее сразу раскусила, и первое впечатление меня не обмануло, я не разочаровалась в ней даже и тогда, когда выяснила, что мои первые догадки были верны и что она и в самом деле познакомилась с Эразмией у святой Евфимии. Ах, один Бог знает, сколько я претерпела и терплю до сих пор из-за этой старой "святой" мошенницы!..

Святая Евфимия была "монахиней". В молодости таскалась по округе и продавала свечки, ладан, "щепочки со Святаго Креста" и Жития святых. Должно быть, в конце концов, она их все-таки прочла, поскольку до нее дошло, что не так уж трудно кому-нибудь еще кроме древних святых отцов заделаться святым, потому как, когда она состарилась и не могла уже больше туда-сюда ходить по улицам и переулкам, сняла комнатушку возле церкви Святого Левтериса, принялась изображать святую и жила на подношения уверовавших в ее святость (от одного — триста грамм сахара, от другого — сто пятьдесят кофе и так далее и тому подобное), ими, как я позже узнала, торговала ее невестка — у святой было *двое* сыновей. Своей славой она была обязана, прежде всего, тому, что вот уже сорок лет не ела мяса, но кроме этого подвига за ней числился и другой — она предсказывала будущее.

Однажды и я решила отправиться к ней на знакомство. Не для того, чтобы узнать свою судьбу. Это мне было известно лучше, чем кому-либо другому, — погожий денек по утречку видно. Пошла, только чтобы умаслить Андониса. Господи, помилуй его душу, но в тот момент он просто всем рылом в религию зарылся — ровно твоя свинья в желудях. Когда мы поженились, большего безбожника и нечестивца свет не видывал. Нет, правда, такого богохульника я в жизни не встречала. Не то чтобы он был безбожником, потому что богохульствовал. Бывают верующие люди, которые поносят Христа и Богородицу и по батюшке, и по матушке со всем простодушием, а бывают такие, кто не верит, но и сквернословить не будет, хоть ты его озолоти; таким был бедный папа. Это, знаете ли, вопрос воспитания. Андонис не относился ни к тем, ни к другим. Он ругался страстно, зная цену каждому извергнутому слову. Высмеивал все, что имело хоть какое-то отношение к Богу или церкви. Дня не было, чтоб он не помянул мою привычку зажигать лампадку под иконой — не иначе как, чтоб тебе отпустили все твои грехи, так он говорил. Он еще имел наглость говорить о *моих* прегрешениях. Я-то, горемычная, зажигала ее прежде всего из уважения к памяти покойницы мамы. Я чувствовала, что неправильно отказываться от традиции только потому, что она умерла, от традиции, которой наша семья придерживалась с тех пор, как я начала познавать мир. А еще я делала это и потому, что, по правде говоря, всегда боялась спать в темноте. Но таким Андонис был до тех пор, пока не заболел.

Когда у Андониса обнаружили гемиплегию и у него отнялась левая нога, то все дела он передал в руки одного из кузенов, который, в конце концов, отблагодарил его за оказанное доверие не только словом, но и делом, обчистив до последней нитки, мы же отправились на все лето в Корони. Он впервые возвращался в свою деревню после того, как столько лет провел в Афинах. И это я заставила его уехать из города. Мы могли бы поехать на Андрос, как когда-то. Но я надеялась, что климат Корони окажется полезнее. На Андросе все-таки слишком влажно. Кроме того, так мне казалось тогда, и с психологической точки зрения ему будет полезно вернуться спустя годы в родные пенаты, туда, где прошли

его детские и юношеские годы. Это поднимет ему настроение, размышляла я, придаст мужества. И как потом стало очевидно, я была не так уж неправа. Только все произошло совсем не так, как я предполагала.

Борос, наблюдавший его в Афинах, прописал ежеутренние прогулки для укрепления мышц. Как правило, он поднимался в крепость на вершине горы. Если вы ни разу не ездили в Корони, значит, знать не знаете, что это такое — красота природы. Когда я была еще юной девицей, мы всей нашей веселой компанией ездили в путешествия на Эгину, в Метэны, на Сунион, на Андрос и так далее и тому подобное, но такой красоты, как в Корони, я нигде не видела. Ох, грехи мои тяжкие, вот, надеюсь, кончится когда-нибудь эта чертова история, эта кровавая мясорубка, когда брат убивает брата, и Господь удостоит меня радости снова туда отправиться, взглянуть на это дивное место пусть даже и всего один разочек, прежде чем навеки закроются мои глаза. Когда-то у нас была книга Афины Тарсули с фотографиями разных мест Пелопоннеса, была среди них и фотография Корони. Но что сталось с этой книгой, где она теперь, понятия не имею, она мне уже много лет как не попадалась.

Та крепость осталась от венецианцев. Вдоль ее давно разрушенных стен вилась узенькая дорожка, спускавшаяся к морю, прямиком в одну из пещер. Там, в этой пещере, когда-то, много веков назад, нашли икону Божьей матери, созданную, если верить преданиям, самим евангелистом Лукой. А поскольку она считалась чудотворной, так же как икона Тиносской Божьей Матери, то каждый год на Введение во храм там собиралось немало народу из окрестных деревень, дабы поклониться чуду. И многие страждущие излечивались. Но все это я узнала значительно позже. А так я без задней мысли отправлялась вместе с ним — мне нравился вид из крепости, да и не хотелось оставлять его одного (я боялась, как бы он не упал и не разбился бы на камнях, оставив меня, горемычную, одну-одинешеньку). Мы брали с собой корзинку с яйцами, сыром, помидорами и свежайшим деревенским хлебом и, добравшись до вершины, усаживались на травке и перекусывали. Иногда я отправляла вместе с ним мою драгоценную дочурку, в тех случаях, разумеется, если мне удавалось оторвать ее от постели — она у меня всегда страдала сонной болезнью. "Что, — говорю, — снова беда, снова нас укусила муха це-це?" Но в тот день он не захотел идти с ней. "Не буди ее, — сказал он, отмахиваясь, — один пойду". Я знала, каким он бывал порой твердолобым упрямцем. Уж если сказал что, хоть ты тресни, все одно его с места не сдвинешь. Я-то пойти не могла, даже если бы он и соизволил меня пригласить. Я с его двоюродной сестрой Артемисией уговорилась наготовить лапши, чтобы забрать с собой в Афины. Мы как раз задумали отъезд дней этак через десять. В Корони мы застряли больше чем на три месяца, и меня одолела тоска по Афинам. Скажи мне кто: останься еще хоть на денечек, — да ни за что. Да и он уже начал нервничать. Все его мысли были о покинутой без присмотра работе.

Обычно он возвращался около одиннадцати. "Одиннадцать! — сказала я Артемисии, когда услышала, как пробили часы на церкви. — Не поставишь кофейку? Он уже вот-вот придет..." Но минуло полдвенадцатого, двенадцать, полпервого, — где Андонис? "Бегом, — говорю я принцессе, — посмотри, может, он у своих кузенов, а оттуда пулей в кофейню! Возможно, он пошел сразу туда". Но мерзкая девчонка давай одеваться да прихорашиваться, как будто под венец собралась. Нет чтобы разделить мою тре-

вогу, нет, эта идиотка пошла, расселась перед зеркалом и давай прическу укладывать. Одну прядь заложит, другая развалится. Я это как увидела, аж затряслась от ярости. "Дрянь бесчувственная! — кричу я ей. — Жалкое создание! Ты меня в могилу сведешь! Как только ты можешь сидеть тут и прихорашиваться перед зеркалом вместо того, чтобы пойти и сделать, что я просила!.. Ну, берегись, вот я тебе задам, когда вернусь!" Бросаю свою лапшу на полдороге, бегу к его кузенам, оттуда в кофейню, на площадь, бегаю туда-сюда как безумная, спрашивая всех подряд, не видел ли его кто. Никто не видел. Поскользнулся и упал, думала я. Поскользнулся, упал, и теперь я найду его мертвым! Пока я бежала к крепости, мне пришло в голову все, кроме того, что случилось на самом деле.

Я уже почти дошла до вершины, от страха не чуя ног под собой, когда увидела, как он спускается вниз, держа палку над головой, чтобы издалека показать мне, что она ему больше не нужна и что он идет сам. "Андонис! Ты! Ты! Как ты мог! Как тебе не стыдно! — закричала я, когда он приблизился, и разрыдалась. — Как тебе не стыдно так меня пугать! Неужели ты не понимаешь, что я тут чуть с ума не сошла от страха?" И заплакала как маленький ребенок. Он обхватил меня за талию, и мы, обнявшись, пошли вниз.

Как произошло его чудо, он не рассказал. То, что газеты Каламаты и Триполи ухитрились раздобыть столько подробностей, тоже оказалось чудом. Вторым. Деревенские собрались у нас в доме, чтобы собственными глазами узреть избранника Богородицы. Его касались, его щупали, его тормошили, чтобы убедиться, что он настоящий. "Ну а теперь-ка, кир Андонис, давай становись марафонцем!" — сказал ему, помню, какой-то крестьянин, изо всех сил треснув его по колену. Двор Артемисии наполнился слепыми, хромыми и сифилитиками. Трудно было поверить, что вся эта нечисть столько времени оставалась невидимой, скрываясь за чистенькими, свежепобеленными фасадами деревенских домов. Но когда я услышала, что новообращенный кир Андонис начал раздавать деньги бедным, я поняла, что пришло время топнуть ногой. Я чуть ли не насильно схватила его, и мы отбыли в Афины. Не прошло и недели после нашего возвращения, как у него снова парализовало ногу, да еще хуже прежнего!..

Ах, ну что же я за несчастная женщина, ну отчего вся моя жизнь пошла наперекосяк! — вопрошала я неизвестно кого, поднимаясь к церкви Святого Левтериса. Мало того, что не успели мы и пяти лет прожить вместе, как он заболел, как раз тогда, когда и я могла бы начать радоваться жизни, ну хоть чуть-чуть, вместо того чтобы становиться сиделкой при убогом, так теперь еще и эта напасть — надобно, видите ли, опуститься до уровня двинувшейся на религии старухи, тащиться по этим закоулкам на поклон к бог знает какой мошеннице, и это должна делать я, Нина, и все ради того, чтобы заткнуть ему рот, чтобы он перестал твердить, что это *я* виновата и в том, что его болезнь и не думала проходить, и что дела идут все хуже и хуже... Но что ж, в конце концов, Андонис мой муж, снова и снова повторяла я себе, и быть снисходительной — мой долг.

Что меня больше всего выводило из себя, так это роль, которую во всем этом отвратительном водевиле сыграла Эразмия. Эразмия — бывшая ученица моей мамы. Когда-то у мамы было швейное ателье на улице Сина, и в один прекрасный день добрые родственники прислали Эразмию с Кефаллонии в Афины пожить с замужней сестрой, осевшей в

Афинах, помочь ей с новорожденным, а заодно и выучиться шитью. Сначала она как ученица приходила к нам только днем. Но поскольку она, в отличие от всех прочих девиц, была немногословной и работящей, мама начала ее выделять. Мало-помалу она стала оставаться и по вечерам, до тех пор, пока не водворилась навеки в нашем доме как своя, ближе некуда. И с того момента стала главной и чуть ли не единственной причиной наших с мамой ссор. Она отравила наши отношения. Я, не признаваясь в этом даже себе, ревновала. Чем больше любви выказывала ей мама, тем больше она раздражала меня. Коварная бледная моль. Одна только ее внешность доводила меня до бешенства. Я знала, что она меня ненавидит, и ее ненависть была ядом, от которого не было противоядия. Стоило посмотреть на ее рожу, и если в эту минуту я над чем-то смеялась, смех замерзал на моих губах. Мерзкая тварь меня ненавидела, потому что, пока она слепла, пришивая на юбки бисеринки и пайетки, которые были тогда в большой моде, я развлекалась в Кифисье, читала или бегала с подружками в кино. Тогда оно еще было немым. И мы выходили из одного кинотеатра и тут же шли в другой.

Когда она видела, что я надеваю платья с глубоким декольте, то желтела от злости. А наивная мама, которая ни на секунду не догадывалась об истинной природе чувств Эразмии и считала ее образцом порядочной девушки, спрашивала: "Что с тобой, дитя мое? Ты хорошо себя чувствуешь? Слетай-ка на рыночек, купи десять аршин креп-жоржета, заодно и свежим воздухом подышишь!" Эта муха навозная своим лицемерием внушала маме безграничное доверие. Прежде чем приняться за работу, дождь ли, снег ли, она непременно перлась в Святого Дионисия и ставила свечку. И мама, которая очень хотела ходить в церковь, да только никогда у нее не было на это времени, уже начала принимать эту хитрую крысу за ангела-хранителя нашего дома. Глядишь, в угоду Эразмии бог, *может быть*, спасет и нас, грешников! "Ты что, плохо себя чувствуешь, дитя мое?.." — ласково спрашивала она ее. А меня запирала в моей комнате, щипала и шипела, что я — вредная эгоистка, которая только и умеет что тиранить девочек из мастерской.

А потом бедняжка мама заболела — катаракта, так что о шитье уже и речи не было. На время мы были избавлены от Эразмии. Она уехала на Кефаллонию. Мы продали дом на улице Сина и купили вот этот. Но где-то через год она вернулась со своей Кефаллонии, сняла комнату в нашем районе, якобы случайно, и снова начала к нам ходить. Мама звала ее к нам, чтобы та составляла ей компанию, а заодно бы и шпионила за мной. Она тем временем совсем ослепла и нуждалась в паре зрячих глаз, чтобы знать, что в доме происходит как надо, а что требует вмешательства. Мариэтта, несмотря на то что любила и почитала маму, далеко не всегда потакала этим ее прихотям. И в один прекрасный день мама сказала: "Давай-ка переселяйся к нам", но Эразмия отказалась от сладкого угощения, не преминув воспользоваться случаем и подлить яду. "Вы-то меня хотите, — сказала она маме, — да только не забудьте поинтересоваться, что скажет госпожа Нина, ведь она теперь хозяйка в этом доме, не так ли?" Об этой беседе мне рассказала присутствовавшая там Мариэтта. До этой истории я по разным причинам никогда не выказывала ей свою неприязнь открыто. Не из корысти, как теперь заявляет моя дочурка, потому что она, видите ли, работала на нас за так, но по той простой причине, что у

меня не было особых поводов ссориться с Эразмией открыто. По характеру я человек терпеливый и сдержанный в высказываниях, особенно в общении с людьми, которых не люблю. Я стараюсь вовсе не обращать на них внимания, пусть даже они делают мне гадости.

Только однажды я чуть было не выставила ее за дверь. Она у меня уже в печенках сидела. Это было в самый разгар наших скандалов с Фотисом, закончившихся разводом, и тогда госпожа Эразмия запиралась вместе с мамой в комнате и — шу-шу-шу — весь день шло обсуждение моих разногласий с мужем. Они выносили приговоры — обычно в пользу Фотиса — и имели наглость полагать, будто я им буду подчиняться. Или объясняли, как воспитывать мою дочь. Они, видите ли, опасались, как бы я не вырастила ее атеисткой, такой же, "как ты сама, бесстыжая". Ну, и чего они добились, спрашивается, — сделали ее себе подобной, тем и погубили. Но даже тогда я все еще терпела. Тогда у мамы кроме катаракты нашли еще и рак. Врач не дал ей даже года жизни, и Эразмия, не могу не признать, была ей больше чем сиделка, больше чем дочь. Днем и ночью она сидела у ее кровати. А когда заболел и отец и я увидела, с какой преданностью и с каким бескорыстием она стала ухаживать и за ним до самой последней его минуты, я была потрясена. И простила все, что она сделала до этого. Часто я думала, что была к ней несправедлива, и испытывала угрызения совести. Может, я и скопище людских пороков, как уверяет моя дочь, но вот в неблагодарности меня упрекнуть точно нельзя.

Короче говоря, когда мы с Андонисом поженились, Эразмия уже была больше чем обычной приживалкой. Она стала членом семьи. Когда умерла мама, а вскоре и папа, она взялась за воспитание принцессы. Брала ее с собой в церковь, или на ярмарку, или водила ее в парк. Временами я восставала против этого. "Вот что я тебе скажу, — говорила я, — если тебе кажется, что у Марии нет матери, и ты решила ее удочерить — на здоровье! Забирай ее отсюда, и чтобы духу вашего здесь не было, обеих. Сделай из нее монахиню в миру по своему образу и подобию, сколько угодно, но только *за пределами* моего дома, пожалуйста, чтобы я этого не видела и не слышала!"

Но все это происходило тогда, когда я доходила до крайней степени кипения — а я редко злилась. В большинстве случаев я возносила хвалы Господу за то, что нашелся хоть один человек, который уведет Марию из дома и даст всем остальным немного передохнуть. Теперь-то я в этом горько раскаиваюсь. Одному только Богу известно, как же дорого я заплатила и плачу до сих пор за те редкие минуты покоя. Я должна была выставить Эразмию из дома сразу же после смерти мамы. Без нее и Мария не превратилась бы в такое чудовище, каким она стала, и не было бы места для всех этих чудес, что случились сначала в Корони, а затем и в Афинах. Даже и в смерти Андониса я виню ее — пусть даже здесь есть только доля ее вины. Если бы Андонис не ударился в религию, он бы никогда не столкнулся с, возможно, самым большим разочарованием в своей жизни, которое в конце концов его и погубило.

До того как заболеть гемиплегией, он доводил Эразмию до слез, безжалостно высмеивая ее религиозный фанатизм. "Что ж ты замуж-то не выйдешь? — спрашивал он ее, бывало, — что, бережешь кое-что, знаю что, для Христа?" И тут же сам и отвечал, хохоча до слез: "А я знаю почему. Потому что он красивый и у него ноги не воняют!" Эразмия бледнела,

тряслась от злости, даже мне ее было жалко. Но позже я поняла, что она не нуждалась в моей жалости. Наоборот, она наслаждалась ролью христианской мученицы и иудейского пророка одновременно. Часто она вскипала, обнажала меч, глаза ее метали молнии, и она гремела не хуже твоего громовержца, что-де придет день, когда Господь заставит его заплатить за богохульство, как покарал он такого-то и такую-то, и разражалась длинным списком из Ветхого Завета. Андонис вроде как пропускал это мимо ушей и продолжал веселиться. Однако, пусть он этого и не показывал открыто, но я-то, я уже читала в его душе как в открытой книге и видела, что на самом деле эти проклятия падали на благодатную почву. Он был самым обычным крестьянином с большим запасом суеверий в личном багаже. В глубине души он боялся Бога, верил в адские муки (а у него были все основания полагать, что его душа окажется именно там), может, как я иногда думаю, это и было главной причиной, заставлявшей его богохульствовать. Но стоило ему заболеть, тут уж он припомнил каждое ее слово. Она молчала, но глаза ее сияли торжеством. Да ей и не надо было что-нибудь говорить. Ну и ловко же она разлила свою отраву! Я смотрела, как чах Андонис, и догадывалась о той борьбе, что шла у него в душе. "Эразмия права. Я согрешил, и Господь покарал меня" и так далее и тому подобное. Както вечером я зашла в спальню и застала его распростертым перед иконостасом. Я притворилась, что ничего не заметила, вышла и закрыла дверь. Вид Андониса, упавшего перед иконами, меня потряс. Пусть я не выношу попов, но я не атеистка. Я верю в ту неведомую силу, что управляет миром. Я была ошеломлена. Но и представить себе не могла, что пройдет совсем немного времени и то, что мне показалось искренним и серьезным раскаянием, превратится в дешевый балаган, которым все и закончилось. Потому как возвращение Андониса в лоно Святой Церкви было больше похоже на безумный цирк на выезде. Когда мы вернулись из Корони, Эразмия приняла его как заблудшую овцу, прижала к груди и плакала как дитя. С того самого вечера он отказался спать в нашей общей спальне, и это при том, что мы и так спим каждый на своей кровати. Я уложила принцессу на диван в гостиной, а ему постелила в ее комнате. "Ну, если так пошли дела, можешь отправляться в монастырь. Что ж ты застрял в чаду и смраде городских соблазнов? Отправляйся на Афон, станешь святым..." — вот что я сказала ему.

Но уезжать в монастырь он не хотел. Предпочел устроить его в моем доме. С помощью Эразмии он перезнакомился со всей этой шушерой, святой Евфимией, с такими попами, сякими попами, расстригами, и с тем монахом, и с этими, со святой в Новом Фалиро и со святой в Брахами, и все они принялись шастать в мой дом денно и нощно, не очень-то обращая на меня внимание, как будто бы хозяйкой здесь была не я, а Эразмия. Я понимала, что все это безобразие не может длиться вечно. Либо он изменится, либо мы разойдемся. Но до поры терпела, заклиная собственного бога сотворить какое-нибудь чудо и избавить меня ото всех этих святых. Самая лучшая политика, казалось мне, просто делать вид, что я с ним согласна, иначе мы и вовсе станем чужими друг другу. Вот с таким настроем я и отправилась знакомиться со святой Евфимией.

Комнату она снимала в большом многоквартирном доме, двор его был весь в лужицах гниющей воды, по которым прыгали босые сопливые

мальчишки. Не было никакой нужды интересоваться, какая из всех комнат — ее. Едва я вошла во двор, как мне в нос ударил запах ладана. Всегда его терпеть не могла. Каждый раз, когда мама кадила, я начинала задыхаться, хотя это с годами прошло. Зашла внутрь. В одном углу — металлическая кровать, посередине — стол со стульями вокруг, сундук и на полу плетеный коврик. Самая обычная комната, как у всего простонародья — если бы не иконы, которые покрывали все четыре стены сверху донизу. Сто, двести икон, всех цветов и видов: Богородица, сидящая одесную, Божья Матерь Неусыпная, Божья Матерь Умиление, Усекновение главы Иоанна, Святой покров, Введение во храм, Благовещение, Рождение Младенца Иисуса, Тайная вечеря, Распятие, Воскресение, все евангелисты, штучно и оптом, мученики, святые обоих полов, и еще целая куча икон, все отпечатанные или рисованные, но ни одной старинной, хотя бы византийской, какие были у нас дома. Посреди всего этого иконного великолепия было и изображение Зодиакального Круга. А это-то здесь при чем? Тайна сия велика есть...

Святая Евфимия скрючилась в низеньком кресле, стоявшем подле кровати. В комнате больше никого не было. На ней — ряса, подпоясанная кожаным поясом с серебряной пряжкой, шапочка с вышитым красным крестом, а в руках — веревка с узелками вместо четок. Я занервничала. Как бы юмористично ты ни был настроен, но невозможно равнодушно пройти мимо, увидав такое, — это странное существо больше походило на высушенные мощи святого или мумию какого-нибудь фараона, чем на живого человека...

В этот день Эразмия шила у кого-то на дому, а потому не могла пойти со мной, как мы договаривались вначале. Однако она самым детальным образом проинструктировала меня, что должно делать: опуститься на колени, поцеловать святой руку, преклонить голову, чтобы она могла меня благословить, и не говорить ни слова, пока та сама со мной не заговорит. И я была готова разыграть всю эту комедию и разыграла бы, если бы меня не остановила сама святая. Едва она увидела, как я вхожу, то, как будто бы только меня и ждала (голову даю на отсечение, что ее предупредили с вечера), подняла руку, впилась в меня своими маленькими, глубоко посаженными глазками и гласом, исходившим словно бы не из человеческой груди, а из какого-то пересохшего колодца, вострубила: "Стой". Затем перевела дыхание. "Стой! Твое имя начинается на Н... На руке твоей — три венца... Дай мне немного воды..." Не произнося ни слова, я налила из графина, стоявшего на столе, воды в стакан, и помогла ей попить. "Спать хочется!" — пробормотала она, когда я вытерла капли, пролившиеся ей на грудь. "Спать хочется!..." — повторила она. Я повернулась к ней спиной, чтобы поставить стакан на стол, и когда обернулась, то она... нет, правда, она уже вовсю храпела!..

Я решила уйти. Вытащила из сумки пакет с халвой, который принесла специально для нее — шел пост, — и положила на стол. Потом, ступая на цыпочках, вышла во двор, со двора на улицу, вдохнула свежего воздуха, аромата дикой сирени, растущей на другой стороне улицы. Как будто вернулась из Аида на землю. Когда Андонис спросил меня: "Ну, как все прошло?", "Ну что тебе сказать, — ответила я, — она обнаружила, что мое имя начинается на Н, а потом заснула". Он выглядел удовлетворенным. О "пророчестве" — трех венцах — я даже заикаться не стала. Не самый это

подходящий предмет для беседы с Андонисом, человеком, который одной ногой стоит в могиле. Он так слепо верил в провидческий дар своей святой, что тут же подумал бы: "Хм, так я умру, а Нина и в третий раз замуж выскочит!" И пока я, несчастная, всеми правдами и неправдами пытаюсь удержать его на этом свете, ему стукнет в голову еще какая-нибудь дурь, и он сойдет в могилу на час раньше назначенного ему срока. Да и, по правде сказать, у меня и мысли не было, что такое возможно и что "пророчество" окажется настоящим. Даже и сейчас я уверена, что это было простое совпадение, ну, или на крайний случай предсказание дельфийского типа. Знаем мы все эти штучки. Наверняка Эразмия рассказала ей все обо мне. А уж когда женщина была замужем два раза, а ее второй муж наполовину парализован, да еще и сердечник, а сама она при этом вполне молода, не нужно быть особым Тиресием, чтобы прозреть будущее. Но так я думаю теперь, когда все уже произошло. В те дни я только посмеялась над безумной идеей, что могу и в третий раз выйти замуж — а что, собственно, еще могли означать эти три венца? — хотя не могу сказать, чтобы на меня это вообще не подействовало. Я начала бояться, что пройдет совсем немного времени и я потеряю его, и утроила свои усилия. Кроме парализованной ноги и сердца, у него еще были проблемы с давлением. Это уж как водится — пришла беда, отворяй ворота. И уж когда человек заболевает, то на него обрушивается все сразу, а, к несчастью, он был таким обжорой, что, несмотря на то что ему была предписана строжайшая диета, тайком прокрадывался к холодильнику и ел все подряд. Давление вместо того, чтобы падать, поднималось, и он чуть было не умирал от удушья. Так что он был вынужден делать себе кровопускания: засосывал себе ножницы в нос и напускал целый таз крови!.. Нога у него попрежнему была наполовину парализована, но он уже свыкся со своей инвалидностью. Слава богу, хоть из-за этого он не так расстраивался. Брал палочку и хромал себе потихоньку в контору или в кофейню. И с течением времени все чаще в кофейню и все реже в контору, дела в которой, увы, тоже похрамывали. Потому что, если бы дела шли хорошо, Андонис никогда не позволил бы себе так распуститься. Он был не из тех, кто легко поддается телесным недугам. Но обстановка в мире с каждым днем становилась все хуже: война в Китае, война в Абиссинии, война в Испании!.. Все только и судачили о том, что скоро дело дойдет и до всей остальной Европы. И постепенно люди перестали вкладываться в недвижимость. Зачем, говорили они, нам строить дома? Чтобы их разрушили, когда начнутся бомбежки? Люди перестали строить, брат Андониса продолжал его обкрадывать, Эразмия не упускала ни одного случая вытянуть из него побольше на елей, всенощные и на всякую, якобы богоугодную, чепуху. Казалось, вокруг нас плетется какой-то заговор, направленный на то, чтобы разрушить всю нашу жизнь, начавшуюся всего-то шесть-семь лет назад и при таких хороших предзнаменованиях!.. Настолько хороших, что на мгновения мнилось, будто все это будет длиться вечно, а наши поездки в Лутраки, на Эгину и на Порос ничто и никто не сможет отменить!

Месяца через два после того, как я отправилась на знакомство со святой, в нашем доме состоялась знаменитая всенощная, во время которой святую внесли в дом верхом на кресле, чтобы она произнесла нам речь "на семи языках". И еще дней с десять после этого, как раз в тот вечер, когда

я с Мариэттой вытряхивала портьеры на террасе, Эразмия притащила к нам в гости киру Экави, каковое явление, как показали последующие события, было ниспослано Господом не только для того, чтобы избавить меня от Эразмии, но и попутно привести в действие те механизмы, что спустя годы должны были осуществить "пророчество" святой...

Но кто бы знал? В тот сумеречный день, когда она впервые вошла в мой дом (вообще-то это был уже второй визит, если учесть всенощную как первый), у меня и в мыслях не было, что однажды эта женщина изменит мою судьбу. Мне она показалась довольно милой, и уж во всяком случае она очень сильно отличалась от всей той швали, которую к нам тогда таскала Эразмия. Я пригласила ее заходить почаще с одной-единственной целью — позлить Эразмию. Но мы подружились, и даже наш домашний цербер, Мариэтта, привечала киру Экави — как видела, что та идет, мигом неслась на кухню и ставила кофе, не дожидаясь, пока я ей об этом скажу. Но кто бы мог подумать, что в один прекрасный день кира Экави станет моей свекровью!

3

Не хочу выглядеть самодовольной, все-таки в этой жизни нужно быть поскромнее, но что вы хотите, я была не для Андониса. Только вот после всех этих неприятностей с Фотисом я осталась без каких-либо средств к существованию, да еще мама заболела и закрыла ателье, а существовать на скромную пенсию, которую папа получал от университета, было абсолютно невозможно. Да, у нас был дом. Нам не надо было платить арендную плату, но стены не скушаешь, если только не продать их или не заложить. Но я дала клятву не трогать дом ни при каких условиях, пусть даже мы и дойдем до крайней степени нищеты. Мама, которая по доброте душевной столько лет содержала всю свою родню да еще подкармливала моего горе-братца, который выцыганивал у нее все до последнего гроша, так и не сумела ничего отложить на черный день. Да у нас никогда и не было столько, чтобы можно было засунуть в чулок. Единственные ценности — украшения, доставшиеся ей от матери, и их-то мы и начали обгладывать. Но когда ты болеешь, денежки быстро улетучиваются. Драгоценности мы съели на раз, а затем принялись занимать у родственников: у дяди Ираклиса, у дяди Стефаноса и так далее и тому подобное.

Я думала, не найти ли работу, но у меня не было ни малейшей идеи какую. В те времена и помыслить было нельзя, чтобы женщины, во всяком случае женщины нашего круга, работали, да я ничего и не умела, разве что пойти секретаршей или поварихой в какой-нибудь богатый дом. Но я, видишь ли, была несвободна. Кроме мамы и папы, нуждавшихся в няньке как малые дети, а я не могла полностью доверить их Эразмии, на мне была еще и принцесса (Мариэтту мы временно отослали назад в деревню). Принцессе было лет пять-шесть. И она уже тогда была неблагодарным созданием, не способным оценить ни одной жертвы, на которые я пошла ради нее. Естественно, я думала о замужестве. Таким же было и мнение родственников. Мы задолжали им кучу денег, так что вынуждены были их уважать. Поэтому, несмотря на то что я была совершенно не в том состоянии, чтобы начать жизнь заново и взвалить себе на шею ново-

го сукина сына, я была вынуждена признать, что они правы. Другого выхода просто не было. И мне начали устраивать смотрины, сначала привели бухгалтера, затем зеленщика, наконец, старика, у которого было три дома, миокардит и никаких детей и родственников. Но я не имела ни малейшего желания выходить за служащего, чтобы жить только на зарплату, или опускаться до торговца и тем паче превращаться в медсестру. Вот уж для этого мне точно не надо было выходить замуж. "Да он старик, долго не протянет, а тебе останутся его дома..." Но если я и была готова выйти замуж по расчету, это не означало, что я была до такой степени циничной, чтобы строить такие чудовищные планы. Мне казалось это одним из смертных грехов, не перед Господом, Создатель подобной ерундой не занимается, но перед самой собой.

Так прошло еще два года, и мы дошли до полного разорения. Дядя Стефанос начал смотреть на меня косо, и мне пришлось занимать у подруг: у жены Касиматиса, у жены Карусоса, даже у Эразмии. Мы и до этого докатились — *я* брала в долг у Эразмии!.. Мы дважды перезакладывали дом, и я отчаялась. Я все время твердила: "Господи, возьми меня отсюда. Пусть прекратится наконец это невыносимое, необъяснимое мучение, я больше так не могу!.."

Вот тогда-то на сцене появился Андонис. Он был вдовцом, и у него было свое хорошо идущее дело. А из нахлебников — одна только мать и все. Мне его представила дальняя родственница моей мамы, которая жила с ним в одном районе. У Андониса когда-то был свой дом, на проспекте Александры, но когда его жена умерла от лейкемии, он выписал из деревни молоденькую девицу, чтобы та управляла хозяйством, и не прошло и шести месяцев, как она забеременела. Тогда-то я этого не знала, потом уже все стало известно. Как до ее родителей дошли радостные вести, они тотчас примчались из деревни с топорами и чуть было не порубили его на куски (спаси нас господи от маниатов[1]). В общем, его прижали, и он переписал дом на ее имя. Андонис был вынужден на время переселиться к Оборванке, а поскольку он уже привык жить на широкую ногу, да еще так, чтобы жена его со всех сторон облизывала, то начал подумывать о женитьбе. В итоге нас обоих пригласила к себе моя тетя на кофе, и так я с ним встретилась первый раз. Когда вернулась домой, упала на кровать лицом в подушку и зарыдала. "Не пойду за него, не пойду! Ни за что на свете не пойду! — кричала я. — Он — старый, он — деревенщина! Деревенщина! Деревенщина! Деревенщина в кубе! У него мозоли на руках! Он говорит ужасно! Он вообще не умеет разговаривать!" Но в глубине души чувствовала, что *не из-за этого* я плачу. Я плакала потому, что понимала: если я хочу выйти замуж, то трудно найти более подходящего человека, чем Андонис. Да, у меня есть дом, но он заложен, и мне уже далеко не двадцать, не говоря уже об этом фотисовском отродье, которая висела на мне тяжким грузом и которую он тут же предложил удочерить. Он бы обеспечил ей и образование, и комфортную жизнь. Денег у него тогда было до черта. Ведь он был лучшим и самым известным строительным подрядчиком в Афинах. Едва мы поженились, он не только выкупил все закладные, но еще и потратился на ремонт, который, по совести говоря, пора было сделать еще много лет назад, да заодно

1. Маниаты — жители Мани (Пелопоннес), считающие себя потомками древних спартанцев и известные чрезвычайной жестокостью. До последнего времени у маниатов сохранялся обычай кровной мести.

и достроил кое-что: сделал новую прачечную на террасе, а старую во дворе превратил в еще одну комнату, разрушил все стены в спальне и увеличил ее, купил электрическую плиту, одну из первых в Греции, выстроил купальню (раньше мы мылись в одном из больших тазов в прачечной), а здесь была настоящая ванная, с плиткой и зеркалами, и даже биде! В общем, все то, что сейчас принцессе кажется само собой разумеющимся, и при этом она не упускает ни одной возможности съязвить — и *это* меня бесит больше всего, — что я убила ее отца, так как он не мог построить мне ванную с биде! Но я уже привыкла к ее словам и не воспринимаю их всерьез. Знаю, что завидует, у меня-то было трое мужей, а вот у нее много только шансов остаться в девках. Иначе я бы ей ответила, о, я очень хорошо знаю, что бы я ей сказала: *почему же* я все-таки выгнала ее отца и что его убило — *я* или те мерзости, которые он вытворял!..

Ах, воспоминания, они возвращаются друг за другом! Каждый раз, когда она выводит меня из себя, я вспоминаю все те муки, через которые прошла в этой жизни. Что вспомнить сначала? Историю с Аргирисом, страдания из-за Фотиса, то, сколько я перенесла, пока жив был Андонис со всеми его болезнями и религиозными страстями, или то, насколько стало хуже, когда он умер? Потому что, хоть я и не стремлюсь назначить себя самой несчастной женщиной в мире, как это делают некоторые, но нельзя не признать, что и я получила свою долю горьких пилюль в этой жизни. Ну что радости с того, что у меня было три мужа, ну кому от этого счастье, скажите мне? Лучше бы у меня был один, но хороший, чтобы и я пожила спокойной семейной жизнью, как большинство женщин в этом мире. Если бы я только вышла замуж за того, кого любила, за того единственного мужчину, которого я на самом деле любила — дай ему бог здоровья, кто знает, жив ли он, умер, понятия не имею! Я ни разу не видела его с тех пор, хотя мы и жили в одном городе, если не считать, конечно, одного случая: както во время Оккупации[1] я шла по улице Эрму, и тут мне показалось, что там, чуть вдали я увидела его силуэт. Мне показалось, что это он, постаревший, в черном пальто. На мгновение мне захотелось ускорить шаг, догнать его, увидеть его лицо, но, как пишут в романах, ноги меня не слушались. Я испытывала какое-то странное оцепенение во всем теле. Я и хотела, и не хотела его увидеть, и прежде чем я решилась, он свернул в какой-то проулок и исчез. Бедный мой Аргирис и бедная Кифисья! Какие это были годы, какое счастливое, беззаботное время!

Все взрослые тоскуют о райском саде детства. Они называют его раем, даже если это был настоящий ад. Они тоскуют по тому времени, когда жизнь была простой, а мир полон волшебства. Но у меня, кроме этого рая, был и другой, настоящий, осязаемый, такой, каким его описывает Ветхий Завет: с деревьями, птицами, цветами — и змеем! Почти каждую субботу, особенно весной, к нам прибывал папаша Алексис, кучер дяди Маркусиса, с корзиной фруктов, иногда это была клубника, иногда смоквы или тутовые ягоды — в зависимости от времени года, а в обмен на корзину он забирал меня.

У дяди Маркусиса было немало племянниц: дочери тети Бебы, дочери тети Негрепонти и так далее и тому подобное. Теперь почти никого

1. Период оккупации Греции немецкими войсками — 1941—1944 гг.

из них нет в живых. Один за другим ушли все, нет больше семьи. Но тогда мы были большой семьей. А изо всех своих племянниц больше всего дядя Маркусис любил меня. "Была бы ты лет на десять постарше, — говаривал он мне то ли в шутку, то ли всерьез, — или я помоложе, как когда-то, я б тебя украл, вот было бы шуму на весь мир!" Дядя Маркусис, самый старший из маминых братьев, остался холостяком. Никто не мог понять почему. В детстве мы слышали, как взрослые намекали на какую-то вдову. Они говорили на птичьем языке, думая, что так мы ничего не поймем: "И-как и-по-и-жи-и-ва-и-ет и-на-и-ша и-вдо-и-ва?" — и лукаво подмигивали друг другу. Ходили слухи, что у него связь с вдовой его старого друга. "Мама, а почему дядя Маркусис не женится?" — спросила я както покойницу-маму. "Не твое дело!" — отрезала она. Ни одна из сестер не стремилась женить его, и первая и самая главная среди них — моя мать. У них у всех на примете было его имение в Кифисье.

Имение дяди Маркусиса граничило с владением Лаханасов. Старый Лаханас почти уже врос в свои земли в Кифисье и был из старой крестьянской семьи, но сын его выучился на адвоката, стал модным и вращался в высшем свете. Он даже прошел в парламент и был накоротке с Драгумидисами, с которыми дядя Маркусис обменивался только сухим "здравствуйте". Так вот у этого младшего Лаханаса было двое детей: дочь того же возраста, что и Динос, и сын на два года старше меня, Аргирис. Чего мы только не вытворяли, на нашем счету числилось столько шалостей, что хватило бы и на десятерых! Самым невинным развлечением в нашей компании было забраться в чужой сад и натаскать фруктов. В наших собственных садах было все, чего только душа ни пожелает. Фрукты гнили в вазах. Но мы предпочитали ворованное: запретный плод, он, как известно, слаще. Мы просто изнемогали без приключений. Ах, и что я была за сорванец, не хуже мальчишки! Жизнь во мне била ключом, уж я-то не спала на ходу, как моя дочь. Мы ездили верхом и доезжали до самой Экали — в то время люди еще держали лошадей — или отправлялись в Кокинару, падали в заросли тимьяна и любовались Афинами.

Аргирис был высоким и белокурым, он совсем не походил на грека. Дядя Маркусис, который терпеть не мог старого Лаханаса, утверждал, что никакие они не греки, а арваниты[1]. Иногда я пытаюсь вспомнить черты его лица и не могу. Столько лет прошло с тех пор! И у меня не осталось ни одной его фотографии. Я отослала ему их обратно — все до единой. Единственное, что я помню, это запах его тела, смешанный с ароматом тимьяна. Каждый раз, когда пахнет тимьяном или я слышу это слово, я вспоминаю Аргириса, и вот мы снова лежим в зарослях душистой травы, и снова его голова покоится у меня на коленях, и снова он читает мне стихи. Он обожал поэзию:

Как сон, о счастье, нас обманывает снова!
Как будто бы не ошибались мы ни разу!..
В другие берега зовут нас воды цвета голубого,
Напившиеся солнца и довольны...

1. Греки албанского происхождения.

Он читал так, как будто бы был уже стар, познал и потерял счастье не один, а тысячу раз. Бедный Аргирис! Может, это твое "ах" виновато, что я так страдала. Знал бы ты, как дорого заплатила я за свою недоверчивую любовь, как дорого плачу до сих пор!.. Такова жизнь: ей и дела нет до наших смягчающих обстоятельств. Ведь это не только моя ошибка. Я бы попросила вызвать и дядю Маркусиса. Да что я, собственно... Ему тоже не забыли выслать счет. Под этой луной нет никого, кто не оплатил бы свои счета!..

Когда мы окончили гимназию, я хотела поступить в университет на юридический факультет. В школе я всегда была первой в классе по сочинениям и истории. Папа меня поддерживал, он был прогрессивным человеком и верил в эмансипацию женщин. Но мама которая никогда его не понимала, видела в его вере лишь корыстный расчет. Никто не говорит, что он не был бабником, но он верил в эмансипацию *не* потому, что ему нравились женщины. "Дай детке поучиться год-два в университете, пусть прочистит мозги!" — уговаривал он ее. Но мама, мама была твердо убеждена в том, что место женщин в доме и единственное их предназначение — брак и воспитание детей. Нет, ты только подумай, не иметь никакой другой цели в жизни, кроме воспитания Марии!..

Я ее не осуждаю. Она сама всю свою жизнь пахала как мужик, если не больше, вот и пришла к выводу, что брак — самая легкая работа для женщины. Она не хотела, чтобы и я была вынуждена бороться за кусок хлеба. Да и боялась, что, если я буду изучать юриспруденцию, перестану быть женщиной. "Увижу, что станешь суфражисткой, — кричала она каждый раз, когда видела меня с философской книжкой из папиной библиотеки, — так чтоб духу твоего здесь не было!" Папа вынужден был сдаться и посоветовал и мне сделать то же самое. Не хотел ее огорчать. В то время ее здоровье пошатнулось. Из-за большого количества работы и тяжелого переутомления она и так уже была на грани нервного срыва.

У благородного Аргириса всегда была благородная страсть — он хотел стать врачом. Ему нравилась хирургия. Когда мы были детьми, он ловил лягушек и мышей, вспарывал им животы и показывал мне различные органы: сердце, почки, желудок, даже отверстие, через которое лягушки испражняются. Его сестра Надя и Динос не выдерживали этого зрелища. Как видели очередную мышь с кишками наружу, бледнели и сбегали. Но я сидела как прикованная и смотрела с любопытством. Динос, который ябедой родился, ябедой был, бежал к маме и жаловался, а та только грустно качала головой и говорила, что не понимает, как из ее благодатного чрева могла выйти такая скверная девчонка. Но папа, многие годы проработавший заместителем директора зоологического музея и забальзамировавший тысячи животных и птиц, подмигивал мне и говорил: "Не обращай внимания, она ничего в этих делах не понимает".

Но, само собой разумеется, Лаханас, у которого не было другого сына, имел на него совсем другие виды: Аргирис должен был стать адвокатом, как и его отец. Сегодня у детей куда больше свободы в выборе той профессии, что им нравится, если, конечно, они *знают*, что им нравится, а не подобны моей бессмысленной дочери. Но в те времена у родителей еще было право вето. Аргириса записали на юридический факультет. Эпохе игр пришел конец. Мы больше не воровали фрукты в чужих садах, не носились как сумасшедшие, не ездили верхом (между тем дядя Маркусис продал трех

лошадей и купил автомобиль) и не обнимались прямо на дороге — и у камней бывают глаза. Как-то вечером приятельница моей матери увидела нас в Заппионе, понеслась к ней и дала полный отчет о нашей деятельности. Мама, которая и понятия не имела, что я встречалась с Аргирисом и в Афинах тоже, закатила чудовищную сцену. "Ах, вот почему нам так приспичило стать адвокатшей! — кричала она с торжеством. — Уж я-то предупреждала твоего отца, что здесь дело нечисто, говорила ему, а он не верил и имел наглость заявить, что я слишком подозрительна и хитра, как все греки!.." С этого дня моей свободе пришел конец. Да и Аргирис тоже уже не принадлежал себе, как раньше. Теперь мы могли видеться только в перерывах между парами — университет был рядом с нашим домом. Мама больше не пускала меня в Кифисью так часто, как раньше. Дядя Маркусис вздыхал: "Ты меня совсем не любишь, ты меня покинула!" Но, видимо, однажды он все-таки спросил маму, почему меня больше не пускают в Кифисью, и та рассказала ему про любовную идиллию. Точно не знаю, как все это вышло. Знаю только, что однажды он пришел к нам пообедать (с тех пор как он купил автомобиль, мы видели его гораздо чаще, чем раньше), а после еды увлек отца и заперся с ним в гостиной. Предчувствия никогда меня не обманывали. Я знала, что они говорят обо мне и Аргирисе, и сердце мое разрывалось от тревоги. Я знала, что дядя Маркусис не выносит Лаханасов, но доверяла папиной справедливости. Я, конечно, ожидала обычных возражений, но и предположить не могла, что кончится тем, что он вызовет меня в гостиную и с непривычно жестким видом объявит, что впредь все встречи с Аргирисом под запретом. Я зарыдала и пригрозила, что наложу на себя руки. Я твердила, что он должен объяснить *причину* запрета. "Я уже не ребенок, — проговорила я, — объясни же мне наконец, в чем дело". — "Не могу, — с трудом ответил отец, — женщины в этом ничего не понимают". Я вышла из себя. "Так вот *каковы* твои прогрессивные взгляды", — процедила я. "Поговорим об этом в другой раз", — еле выговорил он, встал и вышел из комнаты.

Другого раза не понадобилось. Я все узнала от мамы. Она рассказала мне об этом с такой жестокостью, которую я смогла простить лишь потому, что знаю, как дорого она заплатила за это своим же собственным сыном. Не рой другому яму... "Хорош мне тут обмороки разводить, — сказала она, — дело обстоит так-то и так-то". Я смотрела на нее в оцепенении, будто меня ударили. Я готова была представить все что угодно, кроме *этого*. Я отчаянно рыдала, настолько я была потрясена, но потом начала думать: да правда ли это? И решила встретиться с Аргирисом и поговорить. (Обычно мы встречались с ним перед Академией.) Но в то самое мгновение, когда он пришел, в эту самую секунду я была настолько взволнована, что меня не хватило на деликатное изложение неделикатных обстоятельств. Без лишних околичностей я выпалила, что дядя Маркусис нанял верного человека проследить за ним и выяснил, что у него была связь с одним из...

Я не успела закончить фразу. Увидела, что он краснеет, и поняла: он знает, о чем я. Я смотрела на него безмолвно, моля взглядом, чтобы он сказал, что это ложь. Даже и сегодня я задаюсь вопросом, что из тех обвинений было правдой, а что нет. Человек невинный пожал бы плечами или, наоборот, впал в бешенство, закричал бы, что на него клевещут. Он бы сказал мне, что я сошла с ума, если поверила в это, он бы начал меня обнимать и целовать. Это был единственный способ закрыть мне рот.

Но Аргирис покраснел, потом побледнел, посмотрел мне пристально в глаза — никогда я не смогу забыть этот взгляд, никогда, пока я жива, — сунул руки в карманы, встал и ушел, не произнеся ни слова. А я осталась одна под статуей Платона, онемев от горя и моля Бога о том, чтобы земля разверзлась и поглотила меня.

После этого я никогда больше не ездила в Кифисью. Не для того, чтобы не видеть Аргириса — напротив, я ходила за ним по пятам в поисках встречи, но он избегал меня, — нет, я просто не хотела видеть дядю Маркусиса. Вот от кого меня тошнило. Мама ворчала, что я выбрасываю на ветер состояние и что он все оставит дочерям тети Бебы. Но я была непреклонна. Я больше ни разу не заговорила с ним. К тому же, как показало время, в деле с его богатством было много шума из ничего. Однажды, отправившись в Сунион, дядя Маркусис попал в аварию, травмы вызвали внутреннее кровотечение, и он умер, а когда было зачитано его завещание, все с удивлением обнаружили, что имение заложено, знаменитые акции, о которых постоянно талдычила мама, всего лишь акции "Товарищества исключительно выгодных дел" и что немногие наличные и украшения он оставил вдове — чтоб костям его никогда не видеть покоя! Если бы не он, сегодня я была бы госпожой Лахана, богатой и счастливой, и — вот в это я твердо верю — замужем за человеком, которого любила, и — прости меня, Господи, что я говорю такие вещи, — но вряд ли бы я породила эту Медузу!

4

А позже в моду вошел Фалиро, Новый, а не Старый, и было в нем все не так, как сегодня, теперь-то в него свозят отбросы со всех Афин, и там стоит такая вонь, что, не зажав нос, по улице не пройти, и никто больше не живет в его очаровательных старинных домах, и никто больше не ходит в его театры, и посетители покинули его кофейни — догорела прекрасная эпоха прежних Афин! Там прошла наша юность. Ах, какие там бывали люди, какие оркестры играли!.. Казино, пляжи, сначала раздельные, девочки налево, мальчики направо, а потом и общие. Мужчины отправлялись в Фалиро не за купанием, но только ради возможности поглазеть на женские ножки.

Мы туда ездили только по субботам. У папы были свои резоны возить нас в Фалиро. Бедный папа!.. Под самой благородной внешностью в мире скрывались две тайные страсти, тем более сильные, что принципы не позволяли ему удовлетворять их так, как того желало бы его сердце: карты и женщины. И с возрастом все больше карт, все меньше женщин, хотя сердцем он всегда был молод. "Ах, дорогой Стефанос, теперь, когда перед нами разлилось море йогурта, мы потеряли наши ложки!.." И все-таки мне до сих пор кажется, что папины любовницы и все приключения с ними были не научно установленным фактом, но скорее порождениями буйной фантазии моей мамы, страшно его ревновавшей. Никто так и не смог сказать с окончательной прозрачной достоверностью, что у него была связь с той или иной женщиной. Но если в этом деле у него были все основания вести себя осторожно, в том, что касается карт, он не слишком-то прятался. Отводил нас в кафе, заказывал мороженое и лимонад, платил, а потом под предлогом отлучки в уборную сбегал в казино. Все знали, куда он направляется, но все делали вид, что не понимают. Мама начинала болтать

со знакомыми дамами. Обсуждали, что надето на той, а что на другой. Мы тоже исчезали: Динос шел с двумя своими дружками — как раз теми, что и довели его до беды, — к купальням, где он встречался с какими-то подозрительными личностями. Что там было, что происходило, одному только Богу ведомо. Я же брала под ручку жен Касиматиса и Карусоса, и мы прогуливались, нарезая круги, втроем или же из-за соседних столиков к нам подходили молодые люди, сыновья наших знакомых, и приглашали потанцевать. В то время на самом пике моды было аргентинское танго — *Рамона, ты так далеко, Рамона была далеко, в воде играли отражения прибрежных огней, ветер Фалирона кружил голову, и жизнь была прекрасна!*

Так я познакомилась с Фотисом. Он был вторым помощником капитана на торговом корабле. Золотые нашивки на кителе и умение флиртовать делали его не красивее, чем он был (после истории с Аргирисом я уже на каждого красивого мужчину смотрела с подозрением), но более мужественным. Он не был так высок, как Аргирис. Скорее среднего роста, красавец брюнет с голубыми глазами. И в какого дьявола пошла моя дочь, страшная как смертный грех, ума не приложу. Мы поладили. Он пришел к нам и попросил моей руки. И произошло то, что обычно происходит в таких случаях. Если бы я сказала, что люблю его, это было бы неправдой. После случая с Аргирисом ни один мужчина не вызывал у меня того чувства нежности, что прежде. Но мама брюзжала, что я останусь старой девой. Подружки сходили по нему с ума и считали, что я выиграла миллион в лотерее. Мне же просто льстило, что всем прочим он предпочел меня.

Несмотря на все это, я, может быть, так и не решилась бы выйти за него, если бы все мои не встали на дыбы. Из одного только упрямства я настояла на своем. С меня хватило их "помощи" в случае с Аргирисом, и я не собиралась дать им шанс испортить мою жизнь во второй раз. Мне было не восемнадцать. Двадцать пять[1]. И я уперлась: "Либо Фотис, либо никто!" (Мама, которую ни при каких условиях нельзя было назвать благородным человеком, не упускала ни одного случая напомнить мне об этом, когда произошло все, что произошло.) Было решено, что он отправится в то путешествие, в которое и собирался, — в Индию и Японию, а уж потом мы поженимся, если, конечно, к моменту его возвращения страсть не угаснет и необходимость в браке не отпадет сама собой.

Не отпала. Поженились. Был июль. На третий вечер после свадьбы пришла невыносимая жара. Простыни и подушки от пота промокали так, что хоть выжимай. В час ночи я встала и пошла в прачечную облиться тазом-другим холодной воды, чтобы хоть как-то освежиться. Помогло, но ненадолго. Как будто одной жары было мало, в дело вступили комары, не было никакого спасения от этих маленьких кровопийц. Два раза я вставала и брызгала по сторонам из флакончика, но их ничем не проймешь. Ззз-ззз, они впивались в тебя не хуже вампиров и высасывали всю твою кровь! Около двух, скорее измученная жарой и усталостью, чем сонная, я услышала, как встает Фотис. "Пойду, посплю на террасе[2]," — проговорил он. Я пробормотала невнятное "угу" и снова закрыла

1. В этом месте К.Тахцис делает ошибку. В первой главе, рассуждая о первом браке, Нина указывает другой возраст: "двадцать семь". Эта ошибка не была исправлена в последующих изданиях.
2. Террасой в Греции называется плоская крыша, на которой обустраивали еще один — открытый — этаж-веранду.

глаза. Но вскоре окончательно проснулась, и мой мозг прояснился. А я-то чего не пойду и не лягу в прохладе? — подумала я. На террасе всегда валялось два-три матраса. Летом Динос спал только на воздухе, а не в своей комнате. Но мне это не нравилось, все из-за этого проклятого солнца, которое будило тебя в шесть утра и надо было снова вставать и плестись вниз добирать оставшуюся порцию сна, а иначе так и будешь зевать весь день. Я сунула подушку под мышку, прихватила простыню и покрывало. Босая, я поднималась совершенно бесшумно — потому и застала их в позе, которая всякий раз, когда она снова всплывает в моей памяти, мгновенно вызывает у меня приступ тошноты. Не говоря ни слова, я спустилась вниз так же бесшумно, как поднялась, упала на кровать и проплакала всю ночь. "Господи, неужели все мужчины такие мерзавцы?" — вопрошала я снова и снова. Мне, разумеется, никто не ответил. Если бы я не прошла через это тогда, с Аргирисом, не знаю, что бы я почувствовала и как себя повела. Но то, что я претерпела за все эти годы, в страдании, не знающем слов, превратило этот новый эпизод в чудовищную и окончательную катастрофу. "Да неужели же *всем им*, — задыхаясь, рыдала я, вцепившись в подушку зубами, чтобы удержаться от крика, — хватает любой дырки, и такой тоже, и она им сойдет за все что угодно? И это мой брат, чудовище, да как он мог?.."

Чем больше эти мысли плавились в моем воспаленном мозгу, тем больше я увязала в безумии и на мгновение решила покончить с собой. Одна только мысль, что утром мне придется столкнуться с ними, смотреть им в глаза, была невыносимой. "Я не хочу жить", — бормотала я. Всего-то и нужно, что тихонько дойти до папиной комнаты и взять веронал из комода. Но у меня не было сил и на то, чтобы подняться с кровати. Мое тело и воля были парализованы. То, что сделали эти двое, казалось настолько чудовищным, что на мгновения меня осеняла спасительная мысль, что это был всего лишь кошмарный сон, что это неправда, я не поднималась на террасу, я видела все это во сне. Затем реальность возвращалась ко мне снова и снова с беспощадной неотвратимостью, и снова и снова мое сердце пронзали тысячи ножей.

К тому моменту, когда Господь ниспослал милосердную зарю, я была живым трупом. Я чувствовала себя так, как если бы в доме был покойник, как если бы кто-нибудь умер ночью, уже прошли первые слезы, и ты из последних сил стараешься побороть сон и усталость, потому что сон кажется тебе смертным грехом, ведь ты только что потерял близкого человека, но в конце концов не выдерживаешь, падаешь на диван — так было и со мной, когда мы потеряли дорогого папу, — и забываешься сном, таким, который не только не освежает и не бодрит, но напротив, терзает тебя еще больше, когда, не успев открыть глаза с первым же проблеском утра, тут же вспоминаешь, что его больше нет, и твердишь себе: "Я не увижу его сегодня, и никогда больше не увидеть мне, как он проходит мимо, не услышать его, он мертв, мертв!.." И свет дня кажется тебе черным трауром ночи, а жизнь — невыносимой цепью мрачных дней утрат.

Едва отец увидел меня утром, бледную, с красными глазами, в растерзанных чувствах, сразу понял: *что-то* случилось. Он посмотрел на меня вопросительно, нахмурив брови, так, как он всегда это делал. Ждал, пока я сама заговорю. Он в отличие от мамы не был любителем разразить-

ся криками на весь квартал. Я притворилась, что не понимаю. Но стоило ему увидеть виноватый вид Фотиса и Диноса, он начал прозревать. Ему не нужно было знать Фотиса, он знал своего сына. Его уже дважды вызывали в гимназию и предупреждали, что за Диносом нужно смотреть в оба. Как-то его поймали в туалете с одноклассниками. Папа не был идиотом. Он понял. Я, разумеется, все отрицала. "Да все со мной в порядке! — говорила я. — Что с тобой, папа, что ты на меня так смотришь? У меня просто болела поясница, и я всю ночь не сомкнула глаз". И дала ему понять, что все дело как бы в женских делах и нечего ему вмешиваться. Когда же поняла, что он на это не купится, сделала вид, будто бы рассказываю ему всю правду: что я поругалась с Фотисом, но, наверное, ничего серьезного, наверное, мы помиримся. Папа понимал, что я лгу. Свою дочь он знал не хуже, чем сына. А потому начал тайные перешептывания с мамой. Вслед за чем вернулся в мою комнату и прикрыл за собой дверь: "Я требую, чтобы ты рассказала, в чем дело. Это то, о чем я думаю?" Как и следовало ожидать, я разрыдалась. И после этого началось такое, что оказалось куда как хуже ночного происшествия, такое, при воспоминании о чем мое сердце каждый раз надрывается — крак! — как говорила кира Экави, то самое сердце, которое, несмотря на все перенесенные удары, все не хочет разорваться раз и навсегда, чтобы я могла уже, наконец, обрести свой покой.

С этого дня начинается история падения Диноса, который так быстро сгубил свою глупую головушку. Он не был ни первым, ни последним молодым человеком с такими наклонностями. Если я не знала этого тогда, то теперь мне это доподлинно известно. Вряд ли бы он когда-нибудь изменился, но он никогда бы не докатился до того, до чего он докатился, если бы папа не выгнал его из дома. И, может быть, мама не заболела бы раком, если бы...

Что же до отца моей красавицы дочери, вначале он пытался отрицать все. Даже имел наглость притвориться разъяренным. Разыграл пьесу об оскорбленной невинности. Потом признался, но все свалил на Диноса. Вот такой малодушной скотиной был тот самый человек, память о котором моя дочь хранит так, как если бы он был Богом во плоти. Все потому, что я не опускаюсь до того, чтобы сесть и объяснить ей, кем он был на самом деле. Пусть пребывает в своих иллюзиях. Нет худшего наказания, чем это. Да, таким он был храбрым портняжкой. Но стоило ему понять, что никакие его оправдания не сработают, что мы знаем — это он поднялся на террасу, что, следовательно, именно он разбудил Диноса, тогда он совершил еще большую гнусность: он заявил, будто был вынужден отыметь моего брата, так как я была холодна как лед и слишком, видите ли, узкой в известном месте, чтобы он смог сделать меня женщиной, и это чуть не свело его с ума. Так и сказал. Слова, которые, естественно, были ложью, которые, к сожалению, были ложью. Не так уж я была и холодна, да даже если бы и была, так этому мерзавцу следовало бы знать, что все неопытные женщины, особенно если они достигли определенного возраста, так и не познав мужчины, всегда поначалу холодны, и от него зависело научить меня всему. Но научить с обходительностью: шаг за шагом. А не повести себя со мной так, будто я была какой-нибудь из тех проституток, которых он имел в портовых борделях, и не требовать от меня вещей, которые порядочные мужчины не требуют от своих жен, даже если они женаты долгие годы! Папа впал в

неистовство. Первый раз в жизни я увидела его в таком состоянии. Он ринулся за пистолетом, а мама и Эразмия повисли на нем, чтобы не произошло непоправимое. А этому подонку пришлось собрать свой чемодан и валить. Так и так его корабль должен был отплыть через неделю. Он исчез, и не было о нем ни слуху ни духу одиннадцать месяцев.

За это время у меня родилась Медуза, которая в течение двадцати четырех лет достойно продолжает дело, начатое ее отцом. Вы спросите: а чего же ты, голубушка, не пошла и не сделала аборт? Хотела ребенка? Я не хотела ребенка и знала это. Но слово за слово моя мать и тетя Катинго — грехто какой, Нина, что ж дитя-то невинное — это Мария-то невинное дитя! — отвечать будет за то, что ее отец мерзавец, разве ж это причина, а вот все, кто сделали аборт, заболели всеми известными болезнями — в общем, слово за слово, и они уговорили меня оставить ребенка. Когда он вернулся из плавания, то и носа не смел показать в наш дом, хотя и знал, что я получала все деньги, которые он нам отправлял (а что делать, я тогда нуждалась), а вместо себя отправил к нам тетку, чтобы она прозондировала почву. Захотел, видите ли, моего дозволения взглянуть на ребенка. "На какого такого ребенка? — спросила я его тетку. — Не он ли сказал, что не смог сделать меня женщиной? Так каких детей он теперь хочет повидать?" Через три дня появилась его мать. Она была вполне симпатичной женщиной и сына своего осуждала больше всех нас вместе взятых, пришла, упала мне в ноги, заплакала и сказала: "Прими его обратно. Ты же знаешь, так и так он больше в плавании будет, чем дома". Кончилось тем, что я решила уступить. И пришел он к нам, нагруженный подарками для всех домочадцев, и все мы сделали вид, что ничего не было. Даже папа вел себя с ним вежливо, хотя и избегал излишней близости. К тому же, как и обещала моя свекровь, он и в самом деле большую часть времени проводил в поездках. Раз в месяц присылал чек. Когда возвращался, каждому в доме привозил подарки. Проводил с нами один-два месяца и снова уезжал. Так мы прожили лет шесть.

И вдруг у него начались какие-то странные головокружения. Ни один врач, ни в Греции, ни за границей, не мог объяснить, что с ним происходит. Ему пришлось завязать с поездками. После недолгих поисков ему дали место в конторе компании в Пирее. Ему было невыгодно увольняться так быстро. Он еще не успел выслужить пенсию. Но головокружения продолжались, и все сильнее, чем прежде. И вдруг в одно прекрасное утро загадочная болезнь прояснилась: озена! От его носа несло, как от выгребной ямы. К нему невозможно было подойти, я уж не говорю о том, чтобы спать с ним. Он начал выливать на себя по десять флаконов одеколона, как женщина. Пока он разъезжал по заграницам и был здоров, я закрывала глаза на все и терпела его. Но теперь, когда он день-деньской торчал дома, да еще с такой заразой, я чувствовала, что теряю терпение. Каким бы добрым сердцем, каким бы чувством долга ни обладала женщина, ни одна не продержится долго с таким мужем подле себя. Если бы я его любила, все бы перенесла. Но после всего, что между нами было, какие чувства я могла к нему испытывать? И пошли склоки и грызня, скандалы, которые раз от разу становились все страшнее и страшнее, так как в них тут же совали свой нос мама с Эразмией, и они, признаемся без лишних церемоний, занимали только его сторону. Мы тут же переходили на личности, вспоминали давно прошедшие дела и обменивались ядовитыми замечаниями. Однажды он мне заявил, что я столько лет терпела его ради одной-единственной цели —

чтобы он взвалил на себя непосильную ношу и кормил моего отца-картежника. Этого было достаточно. Я взбесилась. Приказала ему собрать свое барахло и убираться подальше. Думая, что ему удастся меня шантажировать — такой вот склочной бабой он был, — он собрал не только свои вещи, но и все то, что подарил начиная со времен нашей помолвки, погрузил мешки в такси и был таков. Но, поняв, что, хоть у меня и гроша ломаного за душой не осталось, а я все равно не принимаю его обратно и непреклонна в своем решении, он начал угрожать, что убьет меня. "Не думаю, что у него хватит мужества на это, так ему и передай, — рявкнула я на его тетку. — Чтобы кого-нибудь убить, для начала неплохо бы стать *мужчиной*!" И я поручила своему адвокату начать бракоразводный процесс.

Мне не понадобилось живописать все его гнусности, чтобы получить развод. Одной озены хватило с лишком. Тем временем, чтобы справиться с расходами на дом и оплатить лечение мамы, я заняла денег у дяди Стефаноса. Но не слишком печалилась по этому поводу. Чего ради? Максимум год, и у меня будет отличное содержание. Когда Фотис увидел, что суд приближается, а у него нет ни единого шанса его выиграть, он помчался к врачу и потребовал, чтобы тот любым способом вскрыл ему свищ. Через неделю гной попал в кровь, началось заражение, и Фотис умер. И вместо того чтобы получить содержание, мне пришлось занимать еще, и еще, и еще — и все для того, чтобы прокормить мою дочь! Ах, чего только я не перенесла за эти два года, пока не вышла замуж за Андониса, об этом только я сама и знаю! Стоит ли говорить, что, как только я вышла замуж, все изменилось. Я вернула все, что была должна дяде Ираклису и дяде Стефаносу, выплатила обе закладных на дом, мы снова выписали Мариэтту из деревни, сделали ремонт, купили новую мебель, поместили принцессу в частную школу, несчастный Андонис даже купил ей пианино за тридцать пять тысяч драхм, так она утомила его своим брюзжанием, что у всех ее одноклассниц есть дома пианино и только у нее, бедняжки, нет. Не говоря уже о тех деньгах, которые этот святой человек потратил на все болезни папы и мамы. Вот почему я согласилась взять Андониса в мужья, пусть даже он был старше меня на двадцать лет. И вовсе не для постели, как недавно посмела заявить эта сучка, когда я сказала ей, что пожертвовала собой ради семьи. Андонис для постели! Господи, спаси и помилуй, в жизни не слышала ничего смешнее!

5

В тридцать четвертом не стало мамы. Она угасла безмолвно, тихо, не столько от рака, сколько от непреходящей тоски и горя из-за падения Диноса. Динос был ее раком. Она умерла, испытав такие страшные страдания, каких мне больше никогда не приходилось встречать — ни до, ни после ее смерти. Иногда меня мучает ужасное предчувствие, что и я умру от этой же болезни. В том же году, не прошло и месяца, как я сняла траур по маме, мне пришлось облачиться в него снова — умер папа. Он не выдержал ее ухода. Он любил ее, пусть даже никак этого не выказывал, обожал ее и только ее, хотя, как говорится, и увивался вокруг каждой юбки.

Мужчины — странные созданья, они устроены иначе, не так, как мы, женщины. Когда женщина любит мужчину, она отдается ему душой и те-

лом, поклоняется ему как своему божеству, ей и в голову не приходит, что в то же самое время она может переспать с каким-нибудь другим мужчиной. Мужчины — другие. Они могут любить жену, восхищаться ею и одновременно крутить романы с десятком других женщин. Они полны любопытства, все будоражит их фантазию. Такова горькая правда, хотя, как я есть женщина, а не мужчина, мне трудно влезть в их шкуру и осознать это не своим, мужским сердцем. Я понимаю это только разумом, но в глубине души все они кажутся мне чудовищами! Бедный папа!.. У него была светлая душа. Он не просто был воспитанным человеком, какими считается большинство людей. Он был *человеком*, таким же, как и кира Экави. Всем, что я понимаю про эту жизнь, я обязана ему и ей.

Вскоре мы потеряли дядю Ираклиса, потом тетю Панайоту и, наконец, умер Динос. Если я оглядываюсь на эти три-четыре года моей жизни, то не вижу там вообще ничего, только болезни, похороны и панихиды. Но, как ни странно, эти же годы, вплоть до того злосчастного дня, когда заболел Андонис и начался новый этап мучений, были, возможно, лучшими в моей жизни: во всяком случае, они были самыми сытными, такими, что я была избавлена от вечной неизбывной тревоги, что до той поры крепко-накрепко сжимала меня в своих объятиях, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть, даже тогда, когда для беспокойства не было никаких оснований. В те времена не было случая, чтобы летом в выходные мы не отправились в какую-нибудь поездку. А вечеринки и пиры, которые мы закатывали зимой, без повода, просто так, потому что левая пятка зачесалась, помнят до сих пор. Бывает, столкнусь случайно с какими-нибудь нашими знакомыми тех лет, — повезло же им, голубчикам, что подумать больше не о чем, — и всякий раз они вздыхают: "Ах, Нина, а помнишь, каких поросят да индеек мы у тебя едали?"

Мои наряды теперь шила не Эразмия, я откопала первоклассную модистку, работавшую в одном из лучших ателье на улице Эрму. Андонис, упокой Господь его душу, купил мне у Систовариса не только две лисьи горжетки, но и потрясающее манто из настоящего каракуля, с капюшоном, три персидских ковра, их спустя несколько лет в черные дни Оккупации я продала за несколько банок масла, и мы не только снова выписали Мариэтту из деревни, но взяли и еще одну служанку — она занималась стиркой и натиркой паркета, а я завела себе еще и личную парикмахершу, которая приходила раз в неделю, а также перед всеми праздниками и вечеринками, чтобы уложить мне волосы и сделать маникюр. Все это великолепие кира Экави уже не застала. Со мной кира Экави познакомилась в пору тощих коров. Болезнь Андониса подрезала нам крылышки. И мало того, что не было больше подрядов, кормивших нас прежде, — уж в этом-то не Андонис виноват, а все только напряженная международная обстановка и страх перед близящейся войной, охвативший все общество, из-за своей болезни Андонис был вынужден все больше и больше дел перекладывать на своего жулика кузена, который обдирал его как липку — и мало было этого, так ровно в тот момент, когда нам нужно было уже и на спичках экономить, чтобы не оказаться на улице, без крыши над головой и куска хлеба, вот именно в этот момент Андонису приспичило изобразить из себя Льва Толстого: под мудрым руководством Эразмии он швырял на ветер фантастические суммы, благодетельствуя все больше недостойным, чем неимущим, закупая мирру с елеем да заказывая всенощные. Я была

вынуждена сократить мои личные расходы до минимума, чтобы хоть как-то уравновесить наши траты. Но, к счастью, Бог смилостивился надо мной. То ли сам Андонис прозрел-таки и понял свою ошибку и решил вышвырнуть к чертям собачьим Эразмию и всю ее шайку, то ли тому поспособствовало благотворное влияние киры Экави, которая частенько стала к нам захаживать в то время, но суть в том, что после знаменитой всенощной, во время которой святая Евфимия впала в транс и произнесла речь, как предполагается, на семи языках, все больше мертвых — ассирийском, вавилонском, арамейском и так далее и тому подобное, — у меня вдруг появилось приятное ощущение, будто что-то в нашей жизни изменилось к лучшему. В тот день, когда она вместе с Эразмией пришла к нам в дом, как раз в тот самый полдень, когда мы с Мариэттой, готовясь к празднику, на террасе вытряхивали портьеры, кира Экави пришла, чтобы поблагодарить меня за гостеприимство. Мне это показалось забавным. Я не только ее не звала, но даже и не заметила среди сброда, вломившегося к нам в дом тем вечером. Примечательно, что в этот ее визит мы и полсловом не обмолвились о всенощной. Беседа все больше вертелась вокруг волшебства и гадания на кофейной гуще. Эразмия — совершенно очевидно, впервые — слушала, как она болтает о колдуньях, и все больше злилась. "Не знала, что ты веришь в этакую чушь, — бросила она ей сурово. — Гаданье на кофейной гуще и карты — орудия дьявола". Кира Экави на секунду растерялась, однако быстро нашлась и ответила: "Ну, сатана там или не сатана, моя дорогая Эразмия, а иной раз карты правду говорят... Что же до волшебства, так, извини, в это и наша Церковь верит, иначе бы против магии не читались заклятия!.." Не иначе как по какому-то волшебству я сдержалась и не покатилась со смеху. Ну, царствие небесное тебе точно обеспечено, добрая женщина, подумала я, тогда я даже имени ее не знала. Что ж, Эразмия, нашлась и на тебя управа!

И тут часы начали отбивать семь. Кира Экави подскочила как пружина. "По, по, по, батюшки мои! — запричитала она (с тех пор это "по, по, по, батюшки мои" мне предстояло слышать сотни, тысячи раз). — По, по, по! *Семь* часов! Мой сын меня зарежет! Сижу тут себе, бестолковая, и болтаю о волшебстве. А он сегодня ночью дежурит у себя в газете. И ни за что ведь сам не проснется, пусть хоть все пушки Ликавитоса над ухом стреляют. Ведь всякий же раз нужно его расталкивать, стаскивать с него одеяло, умолять его на коленях, чтобы он оказал мне величайшую любезность и проснулся..." Ага, вот как она его разбаловала! То-то ему теперь не по нраву, когда я не облизываю его со всех сторон. "И нечего тут орать на меня, — говорю я ему иной раз, когда он разражается воплями, — я тебе не мамка, чтобы трястись над тобой, как над маленьким божком, так что давай отвыкай от сладкой жизни под маминым крылом!"

Сейчас, спустя пятнадцать лет, я вспоминаю тот вечер и думаю: до чего все-таки странная это штука — жизнь, и что́ мы для нее, как не самые настоящие игрушки для секундной забавы. Ну, кто бы мог подумать, что, приглашая новую приятельницу заходить почаще, — и это только для того, чтобы насолить Эразмии, — я открыла, как говорится, новую страницу в истории моей жизни! "Ну что же, дорожку к нам теперь ты знаешь, — сказала я ей на прощанье, — не жди особых приглашений. Приходи в любое время на кофе". Когда она ушла, я спросила Эразмию: "Как, ты говоришь, ее зовут?". — "Экави", — сухо отозвалась та. "Ну наконец-то ты при-

вела в мой дом нормального человека!" Но Эразмия уже заподозрила неладное, а потому промолчала.

С того дня казалось, будто распахнулись окна в мрачном доме нашей жизни и в них хлынул яркий свет. Сначала кира Экави редко к нам заглядывала. Но скоро мы стали друзьями не разлей вода. Она раскрывала мне свои тайны и рассказывала свои истории. Жила она по соседству, всего в двух переулках от нас. Быстро-быстро переделывала она домашние дела, после чего отправлялась к нам, где и проводила все свое время. И так как она была не из тех, кому, как моей неблагодарной дочери, по душе весь день сидеть сложа руки, то говорила мне: "Ох, устала я, Нина, сидеть без толку, нет ли у тебя какого шитья, чтобы я его тебе доделала?" Кира Экави, как и покойница-мама, была портнихой. Может быть, даже лучше, чем мама. Она окидывала тебя взглядом сверху донизу, и, не снимая мерок, брала в руки ножницы, ткань и резала. И почти никогда не смотрела модные журналы, а уж если и заглядывала в них, то никогда не переносила модели тютелька в тютельку. Только заимствовала идеи: от одной модели рукава, от другой — воротник и так далее и тому подобное, и в итоге у нее выходило так, что любо-дорого глядеть. Я доставала из шкафа старые платья, которые собиралась отдать, полагая, что с ними уже ничего не сделаешь, но она отрезала здесь, подшивала там, и они выходили лучше новых. Или штопала носки Андониса, который, конечно же, с первой же встречи положил на нее глаз. Когда он возвращался домой и заставал ее у нас, прямо светлел лицом. "Я тебя поймал! — говаривал он ей, — теперь не сбежишь! Пойдем-ка сыграем в пинакль!" Он снова вернулся к своим старым привычкам. Брал колоду, вскрывал ее гармошкой, как заправский шулер, и раскладывал. А поскольку он выигрывал в девяти случаях из десяти, то за это обожал ее всеми фибрами своей души. Смотрел, как на ее лице отображается непередаваемо жалобная гримаска кроткой христианской мученицы, и разражался довольным смехом. Когда били часы, кира Экави бросала партию на середине и подскакивала кверху. "По, по, по, батюшки мои! *Час* дня! Сын придет с работы, ребенок из школы, и не найдут в доме ни крошки (Поликсена в полдень ела на работе). Побегу хоть макаронную запеканку сготовлю, все сытно..." Но Андонис обнимал ее за плечи и силой возвращал на место. "Никуда ты не пойдешь, я тебя не отпускаю! Хочешь сбежать от меня, потому что проигрываешь, э? Эй, Мариэтта, слышь меня!" — кричал он Мариэтте. "Ну, че те там еще?!" — отзывалась та. Точно как неотесанные деревенщины. Они так в шутку друг с другом общались. "Отнеси-ка, красотуля, еды в дом киры Экави для ее сына. Дайка ей свой ключ, — поворачивался он к кире Экави, — а ты повесь на дверь записку для мальчика, пусть идет сюда, как только вернется из школы!" И садился и сам писал записку. "Ну уж нет, ребятки, — протестовала кира Экави, — что же это за дела такие творятся? Вы что это, взяли меня на содержание? Да вы знаете, что мой сын меня зарежет, если вернется и снова не найдет меня дома?.." Однако на следующий день она приходила, жива-живешенька, и говорила: "А что я тебе скажу! Мой сын просто помешался на твоей мусаке! Да что это за загадочная Нина такая, дорогая мамаша, — говорит он мне, — которая готовит такую прекрасную мусаку?" "Скажи ему, пусть и он придет как-нибудь, пообедает с нами, познакомится с Андонисом", — предложила я ей однажды. Она вдруг стала похожа на

испуганного ребенка: "Смеешься? Ты не знаешь моего сына. Ты не смотри, что я так опустилась, не слежу за собой и гроша ломаного за все эти церемонии не дам. Он-то по-прежнему вхож в тот мир, в котором вырос. Если только он узнает, что я штопаю носки Андонису — все, баста, не видать мне больше твоей гостиной, Нина, как своих ушей..."

Я пыталась представить его по ее рассказам. Но думала об этом человеке не больше и не меньше, чем о любом другом, о ком мы слышим, но которого ни разу не видели. Мне он казался высоким, стройным и, разумеется, не лысым. Мне никогда не нравились лысые мужчины. С давних пор я находила их какими-то отталкивающими.

Мало-помалу я узнала о ее жизни все. Не думаю, что на свете так уж много женщин, которые были бы специалистами в семейной истории своего мужа. Когда мы с Тодоросом поженились, мне казалось, что я вышла замуж за героя какого-то романа, который читала и перечитывала много лет подряд. Его дед был действующим археологом. "Что значит *действующим*?" — спрашивала я киру Экави. "А вот что: он ударяет по земле палкой и говорит: 'Здесь копайте'. И копали, и находили человеческие скелеты и горшки с золотыми монетами..."

Если судить по фотографии, он был красавцем-мужчиной. Но ее мать, кира Пиги, не то чтобы была уродиной, но и красавицей ее тоже не назовешь. "И что же это ты не смог стать похожим на своего деда, губанчик ты мой? — спрашиваю я иногда Тодороса в шутку. И, чтоб подразнить его, добавляю: — Всего-то и смог, что уподобиться своей бабушке-дурнушке!.." Кира Экави говорила, будто бы главной и чуть ли не единственной причиной, по которой ее отец решил жениться на ее матери, оказалось то, что́ у той был широкий таз. "Видишь ли, считается, что женщины с широким тазом рожают много детей..."

В этом он был похож на своего деда. И тот и другой хотели много детей — чтобы увеличить численность греческого народа, надо же, наконец, разобраться с турками и осуществить Великую Идею[1], это с одной стороны, а с другой — чтобы насладиться возможностью дать своим детям имена великих древних. Таким образом, думали они, им удастся перекинуть мост над пропастью, зияющей в пространстве между древней и современной Грецией. По их мнению, вся разница между нами — в именах. В конце-то концов. Но надежды ее отца не оправдались. Чрево киры Пиги было постоянно раздутым, но она с трудом сохраняла детей, подобно некоторым деревьям, что приносят много плодов, но все гнилые. Или она их выкидывала, или они умирали при родах. Да и те, что выжили, все как один — кроме Афродиты — кончили хуже некуда. Ликургоса задавила повозка. Лошадь понесла и сбросила его прямо под колеса. Фемистоклис наступил на ржавый гвоздь и умер от столбняка. Исмена покончила с собой. Ахиллеас умер от туберкулеза.

Ахиллеас был любимцем. Мать любила его, потому что он был самым слабеньким, отец — потому что изо всех детей только Ахиллеас был хорош в учебе, а он горел желанием хотя бы одного сына выучить на археолога. Если верить кире Экави, Ахиллеас был лунатиком. Но не

1. Идеология, царившая в греческом обществе с середины XIX в. до 30-х гг. XX в., основной идеей которой было расширение границ Греции до пределов бывшей Византийской империи.

таким, как все остальные. "Он не поднимался, Нина, по ночам на крышу. Только садился, откидывался на подушки и в кромешной темноте читал вслух свои уроки, решал задачки по математике, поднимался утром и находил их решенными!" ("Почему бы и тебе не стать лунатиком, ленивое ты животное, – говорила я своей дочери, – чтобы мне не выбрасывать столько денег попусту на репетиторов!") "Так вот, значит, притаскивал отец домой разбитые статуи и горшки и складывал их у нас на веранде. Мама ворчала: 'Ты мне уже весь дом завалил своим мусором!' – вот что она ему говорила. А он – Господи, помилуй его душу – только смеялся: 'Ах, дорогая моя женушка, если бы все мужчины были как женщины, а все женщины стали бы похожи на тебя, мы бы до сих пор жили в пещерах. Вот вырастет Ахиллеас, станет он у нас археологом, все их склеит и сделает их такими, какими они были раньше...' Ахиллеас не вырос. Мы потеряли его через два месяца – скоротечная чахотка. И моя мать, поклявшаяся, что если с Ахиллеасом что-нибудь случится, то и она не переживет его больше чем на сорок дней, свою клятву сдержала: через сорок дней не стало и ее!.." – "А с горшками-то что стало?" – "С какими горшками?" – "С горшками, ну, с теми, что твой отец приносил и складывал на веранде?" – "Ах, с горшками!.. Хм!.. По совести говоря, Нина, есть грех, я о них больше ни разу и не вспомнила. Да и кто знает! Наверное, их продала эта стерва Афродита. Видно, и они пошли прахом вместе со всем остальным имением..."

Каждый раз, когда она отдавала хозяину арендную плату, приходила к нам в крайне дурном настроении. "Опять пошла тысяча на ветер. Опомниться не успеешь, и вот опять, здрасте-пожалуйста, первое число. Пошло оно все к чертям. Устала я от такой жизни! Да неужто и в самом деле не заслужила я две собственных комнатки, чтобы не платить каждому негодяю аренду? Чтоб ей пусто было этой, стерве Афродите. Но ничего-ничего, так и знай, придет ее время, и она за все заплатит, и заплатит тем, что ей всего дороже, ей ее шлюшка Эванфия еще покажет... У моего отца – Господи, спаси и помилуй его душу – было не знаю уж и сколько гектаров земли в Амбелокипи. Ты, конечно, и сама помнишь (ну, вот вам и пожалуйста, мой точный возраст во всей его красе), что в то время Амбелокипи был не то что немодным районом, а так себе, пустырь на пустыре, и тамошнюю землю государство продавало за сущие гроши. Мой отец был очень умным человеком. Он предвидел, что рано или поздно, но Афины начнут расти вширь и земля поднимется в цене. Поэтому каждый раз, как у него заводились лишние деньги, он прикупал по одному-два стремма[1]. Но когда умер Ахилл, а вслед за ним и мама, и вся наша жизнь полетела в тартарары, Афродита прибрала отца к рукам – я тогда была уже замужем и жила в Салониках, – и добилась она, стерва разэтакая, того, что он переписал все на ее имя. В один прекрасный день она посадила его в коляску, отвезла к нотариусу и он подписал дарственную на нее. Мы тогда, я и Мильтиад, решили подать иск, чтобы опротестовать дарственную и поделить все на три части, но в последний момент Мильтиад сделал ноги. Не иначе как Афродита бросила ему кусок, по-другому и не объяснишь. Что до нас с мужем, то мы в то время просто купались в деньгах. Кто бы мог подумать, что скоро, очень

1. 1000 кв. м.

скоро мы со всем своим благоденствием пролетим, а цены на эти дурацкие пустыри будут расти как на дрожжах. Это уже потом случилось, после Малоазийской катастрофы[1], когда на нас гигантской волной обрушились беженцы, а Венизелос объявил экспроприацию, чтобы построить им бараки. А теперь и Метаксас строит для них дома, ух, турецкое семя, пришли без штанов да нас без штанов оставили, все самое лучшее себе понахватали! И сгинули тогда все имения, и ничегошеньки нам не вернули! Афродита клянется и Богом и дьяволом, что ей не компенсировали убытки. Но вот хоть режьте меня, я ей не верю. Поверь мне, она не только получила компенсацию, но еще и подсуетилась и продала всю землю до экспроприации!.." И так она ворчала и ворчала, ворчала и ворчала.

Ее отношения с братом Мильтиадисом, несмотря на то что они вместе жили, трудно было назвать сердечными. Мильтиадис был кадровым военным, но Метаксас отправил его в отставку. Он воевал в Сарандопоро, в Бизани, в Сангарио, далее по списку. Большинство своих званий и наград получил за доблесть и мужество. Так что он был — ни больше ни меньше — семейным героем. У нее на комоде стояли два снаряда, которые он привез ей на долгую память с Балканских войн[2]. Но в те времена, когда мы с ней познакомились, эти снаряды из свидетельств святых подвигов рода перешли в разряд памятников детским шалостям Тодороса! Когда он плохо себя вел, кира Экави запирала его в той комнате, где стоял комод со снарядами. Однажды она заперла его и забыла о нем напрочь. Ему приспичило сделать пи-пи, и когда он, покричав, понял, что его никто спасать не собирается, то взял да и написал прямехонько в снаряды. Теперь, когда он стал таким представительным и обстоятельным взрослым господином, мне никак не удается представить его ребенком, да еще и таким озорным. Некоторых людей просто невозможно представить детьми, так же, как видишь каких-то детей и сразу понимаешь, какими они будут, когда вырастут.

Мильтиадис был сторонником Венизелоса. Даже уже и в пору нашего знакомства всякий раз, как разговор устремлялся к политическим пристрастиям брата Мильтиадиса, кира Экави инстинктивно понижала голос. Не потому, что ему или ей все еще грозила какая-то опасность. Кого в конце тридцатых — в тридцать седьмом, тридцать восьмом — волновало, нравится тебе Венизелос или нет? Скорее она делала это по привычке. Было, видишь ли, время, когда поддерживать Венизелоса было примерно так же опасно, как сегодня быть коммунистом. Вот тогда это точно было не баран чихнул. Однажды папа из-за Венизелоса чуть было не потерял место в университете, как раз тогда, когда Константин только вернулся из ссылки[3]. Папа тоже голосовал за Венизелоса. Пусть он и не был таким фанатиком, как многие другие — его в принципе не увлекала политика, но все-таки голосовал за Венизелоса, потому что тот в отличие от прочих бросал пару косточек и беднякам. Хотя в глубине души он был не из тех, кому так уж

1. События осени 1922 г., когда после окончания греко-турецкой войны из Турции были депортированы около полутора миллионов греков, проживавших в Малой Азии. Греки в свою очередь выслали турецкое население Греции.
2. Две войны — 1912–1913 и 1913 г. В первой Греция, Болгария и Сербия воевали против Турции, во второй Греция и Сербия против Болгарии.
3. Константин I (1868–1923) — король Греции из династии Глюксбургов. В 1917 г., после прихода к власти Э. Венизелоса, отправился с И. Метаксасом в изгнание, вернулся в 1920 г. После поражения в греко-турецкой войне (1919–1922) отрекся от престола.

интересны были чьи-либо предвыборные программы. "Пустомели, — говорил он. — Греция прекрасно бы обошлась и без тех и без других. Единственное, что в жизни имеет значение, так это быть хорошим человеком, а добиться этого ты можешь только сам. Кто бы там сейчас ни правил, какой бы строй ни устанавливал, есть вещи, которые никогда не изменятся: всегда будут люди и нелюди..." Так вот когда Кондилис[1] организовал референдум и вернул Георгия на трон, Мильтиадиса выгнали из армии как смутьяна и бунтовщика. В это же самое время кира Экави вернулась в Афины. Она обнаружила брата погруженным в глубочайшую ипохондрию и без копейки денег — пенсии, которую ему платили, не хватало, как говорится, даже на сигареты, — а потому кира Экави предложила переехать к ней и жить всем вместе, хотя бы чтобы не платить за жилье. Но, как водится, сначала пошли взаимные упреки, а там и до скандалов рукой подать. Она все просила его взять себя в руки и найти работу, как это уже сделали все его однополчане, но Мильтиадис ее не слушал. Он твердо верил, что вскоре положение дел переменится и его снова возьмут в армию. А до той поры он болтался по кофейням, играл в нарды и шепотом поносил и 4 августа[2], и Метаксаса. Каждый раз, проходя по коридору мимо фотографии Метаксаса, демонстративно плевал на пол. Вот и еще одна причина для грызни. Не потому, что ей так уж дорог был Метаксас, нет, тут было кое-что другое. По-своему в этих вопросах она придерживалась примерно той же позиции, что и мой папа. Да только Тодорос был яростным защитником существующего порядка, и она боялась, как бы однажды он не застал любимого дядюшку на месте преступления и не подрались бы дядя и племянник, и что в таком случае делать кире Экави?

Но и лень, и ипохондрию, и скверные манеры — все это она ему прощала. Одного только так и не смогла ему простить, что, собственно, и стало причиной их последней битвы: главным преступлением Мильтиадиса была его мания лезть в воспитание Акиса. Кира Экави не позволяла внуку носиться по улицам и играть с соседскими мальчишками. Она либо сажала его за вышивание, либо шила ему кукол, а он безропотно в них играл!.. Мильтиадис смотрел на этакие дела и грохотал от ярости, все его национальное самосознание восставало против этого. Греческая молодежь, у которой не должно быть никаких других занятий, кроме войны и оружия, играет в куклы. Греки играют в куклы!.. Стоило ли удивляться, что в один прекрасный день он взял да и выбросил все кукольное семейство в мусорное ведро. Что породило чудовищный скандал, вполне достойный таланта Гомера. Кира Экави пришла ко мне и, клокоча от возмущения, изложила историю событий.

Если судить по фотографии (теперь она висит у нас в гостиной), муж киры Экави был очень красивым мужчиной и, как и мой дорогой папа, большой щеголь: жесткий воротник, посеребренный галстук, бриллиантовые

1. Георг II (1890–1947) — король Греции из династии Глюксбургов. В 1922-м был провозглашен королем, в декабре 1923-го свергнут республиканцами и отправлен в изгнание. В 1935 г. в результате военного переворота к власти пришел генерал Георгиос Кондилис (1879–1936), объявивший себя регентом. Он организовал народный плебисцит, по итогам которого в Греции была восстановлена монархия. Фактическим правителем стал И. Метаксас.
2. 4 августа 1936 г. военный министр Греческой республики Иоаннис Метаксас под предлогом угрозы заговора совершил военный переворот, распустил все партии и установил диктатуру.

булавки, он явно не упускал ни одной детали. Как-то, когда мы только-только познакомились, я пришла к ней в гости, и мы рассматривали, как сейчас помню, фотографии, висевшие у нее по стенам. "Красавчик", — говорю я ей. "Хм, таким он был, когда пришел к отцу просить моей руки. Большего модника, чем он, во всем свете не сыскать было. Всегда он одевался лучше, чем мог себе позволить. 'Пусть говорит, кто хочет, — бывало, смеялся он, — что встречают не по одежке. Где-нибудь, уж и не знаю, где, это так, но здесь, в Греции, тебя принимают за того, кем ты выглядишь'. Так вот, вместо того чтобы учиться в университете, куда его отправил старый Лонгос, он напечатал визитные карточки со словом "адвокат" под своей фамилией и убивал время, болтаясь по самым разным местам и флиртуя со всеми хорошенькими и не очень девицами. Дом моего отца стоял в самом верху улицы Айион-Асоматон. Вот будем как-нибудь в тех краях, и я тебе непременно его покажу. На фасадную сторону у нас выходила веранда с двумя кариатидами. Иной раз сейчас я прохожу мимо нашего дома, смотрю на тех кариатид и слезы наворачиваются. Сколько полуденных часов провела я на той веранде! Полью цветочные горшки, а потом сижу себе в кресле и вышиваю. Яннис жил чуть ниже по той же улице и каждый раз, проходя мимо, бросал мне какой-нибудь комплимент — все эти глупости, которые молодые люди говорят девицам, когда хотят их завоевать. Но я была застенчивой и стыдливой. И в ответ на его комплименты только краснела до ушей и убегала в дом. Им овладело упрямство. Послушай-ка, а эта здесь совсем не такая, как другие. Как-то раз он пришел и попросил меня у моего отца. Но даже и когда мы были помолвлены, я продолжала его стесняться. 'Мама, — говорю я однажды своей матери, — не заставляй меня мыть посуду, когда приходит господин Лонгос'. — 'И почему же мне не заставлять тебя мыть посуду, когда приходит господин Лонгос?' — 'Потому что я закатываю рукава, и он видит у меня родинку на руке и смеется'. — 'Ах, глупенькая ты моя девочка, — говорит тогда моя мать, царствие ей небесное. — Если бы ты только знала, бедняжечка, что тебя ждет, когда ты замуж выйдешь!' Такой вот я невинной была, дорогая Нина. И сейчас я иногда сижу и думаю, как жизнь меняет человека, что он из такого вот невинного агнца превращается в чудовище, которым я стала теперь". — "Ну ладно тебе, ладно? — отвечала я ей? — не такое уж ты и чудовище. Тебе больше нравится его изображать. А что изучал твой муж?" — "Юриспруденцию. Но ему не хватило терпения получить диплом. Он начал заниматься работой и разъезжать. Торговля. Вначале мы жили у моей матери. Позже наняли свой собственный дом, напротив Тисиона. Там я и родила всех моих детей, кроме Димитриса. Его я родила в Салониках". — "И зачем вы поехали в Салоники?" — "Потому что Яннису не нравились Афины. Он, видишь ли, был из Сьятисты. Не мог жить в атмосфере старой Греции. Я была, помню, беременна матерью Акиса, он приходит домой вечером, уже за полночь было, стоял январь, и холода были такие, что у тебя дыхание замерзало, так вот он будит меня, и ни полслова, что да почему, говорит: 'Приготовь мне чемодан с какой-нибудь одеждой. Сегодня вечером я отправляюсь с Павлосом Меласом в Македонию. Если эти недоноски болгары думают, что мы им по зубам, они жестоко обманулись!' В то время дела Турции стали совсем плохи, и греки ругались с болгарами, как наследники, наблюдающие агонию богатого дядюшки. 'А меня ты на кого оставляешь, Янни? — говорю я ему. — Что бу-

дет со мной и с нашими детьми? Что с ними станется, если, не приведи Господь, с тобой что-нибудь случится?' – 'Не бойся, – отвечает он, – ничего со мной не случится. Не такой я дурак, чтобы меня подстрелили. Хочу просто приглядеться, что там и как в Салониках. В Афинах хлеба нет...' Обнял меня, поцеловал и уже был готов уйти. Но передумал. Пока держал меня в своих объятиях, одной рукой притушил свет лампы и... ну ты понимаешь, чего хотят мужчины... Таким он был. Может, за это я его и любила. Я уже точно знала, что он – мое божество. Потом он поцеловал Тодороса, который был тогда еще младенцем в люльке, и прямо посреди ночи, да еще в такой снегопад, встал и ушел... Спустя три месяца болгарский комитадзис[1] засадил ему в руку штык. Выйдя из больницы, он вернулся в Афины. Пожил с нами месяц и вернулся в Салоники. Взялся за торговлю лесом. Взял подряд на вырубку монастырского леса. Подумывал о покупке собственного корабля, чтобы перевозить древесину. Зарабатывал деньги играючи. Но меня, Нина, меня эти деньги не заботили. Мне не нравилось, что мы живем порознь. Каждый раз, когда он приезжал в Афины, я просила его: 'Возьми и нас с собой в Салоники, Янни, я больше не могу жить одна'. – 'Бросай эти глупости, – говорит он мне в последний раз. – Забудь об этом. Положение тяжелое. Может начаться война'. И как знал. Не прошло и месяца, как началась Первая Балканская. День за днем я ждала, что он появится или напишет. Но ни слова от Янниса. Ему не нравилось писать письма. Прошло два месяца, прошло три, и я обезумела. Кончено, говорила я сама себе, кончено, потеряла я своего мужа. Или его убили, или какая-нибудь шлюха его от меня отвадила, а это то же самое, как если бы его убили, и что я теперь буду делать, разведенная, с четырьмя детьми? Тем временем я поняла, что снова беременна. Короче говоря, я решилась ехать его искать. Если ты, мерзавец, думаешь, что я так и останусь Экави, которая стесняется закатать рукава, а ты будешь приезжать, делать мне по ребенку и уезжать, так ты жестоко заблуждаешься. Что-то ты слишком далеко зашел, дружок. Теперь ты узнаешь, какова на самом деле твоя Экави. Я тебе сейчас покажу и *другую* сторону монеты!.. Ноги в руки и еду во дворец и прошу аудиенции у Софии[2]. В то время она еще была наследной принцессой. В указанный час она меня принимает. Целую ей руку и говорю: 'Ваше Высочество, так-то и так-то обстоят дела. Хочу, чтобы ты отправила меня к моему мужу'. – 'Сиди на своем месте, добрая женщина, – отвечает она, – куда ты полезешь с тремя детьми в самое пекло?' Ну, ты понимаешь, что она не точно так говорила, она плохо знала греческий. 'А если ты денег не имеет, – говорит она мне, – я тебе помочь буду'. – 'Денег имеет, – отвечаю я, – сообщений никаких не имеет, а я прослышала, что туда можно добраться на госпитальном корабле. Но я ходила в Красный Крест и мне сказали, что все зависит только от Вас...' Через два дня я, счастливая и довольная, стояла возле Белой башни! Что тебе сказать, моя Нина, я и сама удивлялась своей смелости. И в самом деле, турок уже погнали и они убрались восвояси, но напряжение было разлито в воздухе. Наши дельные союзнички болгары с трудом переносили, что им не удалось войти в город первыми. Ежедневно происходили какие-

1. Комитадзис – член вооруженных болгарских объединений – комитатов, которые терроризировали население Северной Греции в первые два десятилетия XX в., когда Болгария претендовала на эти территории.
2. София, королева Греции (1870–1932); жена Константина.

то стычки, ни один человек не осмеливался выйти из дома один поздно вечером. Каждое утро на улицах находили по двое-трое зарезанных и застреленных. Едва мы высадились с корабля, я оставила детей с семейством, с которым вместе добиралась от Афин, и отправилась искать адвокатскую контору Папатанасиу. Я знала, что в Салониках он — самый близкий друг моего. Насилу нашла, захожу и что я вижу? На-те пожалуйста вам, этот господин, развалился в кожаном кресле, как лавочник! Едва он меня увидел, подскочил с кресла и зашелся от смеха. 'Ну богатырь, — говорит он мне. — Приехала! Ха-ха-ха! Правду же я говорил, что ты приедешь! Ха-ха-ха!' Не мог из себя слова выдавить от хохота. 'Христо, — говорит он Папатанасиу, — позволь тебе представить мою жену. То, что нужно для того, чтобы выбросить отсюда всех этих ивановых!..' И ни слова, Нина, ни одного вопроса, ни как ты столько времени обходилась, дорогая моя супруга, ни на что кормила детей. Таким он был. В конце концов, за это время кроме лесоторговли он занялся военными поставками и отложил кое-какие деньги. Я мгновенно взяла его за жабры и заставила купить дом какого-то бея вместе со всей обстановкой. Турки бежали со всех ног и продавали все, что было, за кусок хлеба. В этом доме выросли мои дети. В роскоши. Там были такие вещи, которых я не видела не то что в доме моего отца, но даже во сне... Как ты понимаешь, наш район еще был полон турок. Богатые-то уехали, а бедным куда деваться. Для бедного человека, как говорит пословица, где земля — там и отечество. Но во время Малоазийской катастрофы при обмене населением уехали и они. Надо было видеть их рыдания. Они обнимали нас и целовали. Да, вот эта вот туречня, что столько веков держала нас в рабстве. Но, в конце концов, прожито и пережито. Да и уж говоря по самой правде, турки, которых я знала, были настоящими божьими людьми. Ни один нищий не проходил, чтобы ему не подали милостыню. А ханумы, доброго им здоровья, звали меня по вечерам выпить кофейку и разбрасывали на меня карты. От них и я научилась. И каждый раз мне выпадала десятка пик. 'Любопытно, — говорила мне Найредин. Она сидела, скрестив ноги, и курила трубку. — Любопытно. Я не вижу рядом с тобой твоего мужа. Другая женщина ложится в его постель...' Но я смеялась. Мой эгоизм и самовлюбленность не знали границ. Я была абсолютно в себе уверена. И *это* было моей ошибкой. Все пропускала мимо ушей. Меня это не касается, говорила я. Пусть хоть сто женщин упадет в его кровать. Куда бы он ни пошел, все равно вернется ко мне и к своим детям. Я — царица его дома... И не обратила внимания даже тогда, когда Святая Анастасия подняла тревогу, забив в колокола..."

"Как это Святой Анастасии удалось поднять тревогу, да еще и бить в колокола?" — спросила ее я.

"Ты не смейся. Вот расскажу тебе всю историю, тогда увидишь как... Как-то раз мой супруг отправил нас на все лето в одну деревушку возле Вальты. Оттуда была родом его мать. Я взяла с собой всех детей, кроме Елены, она точь-в-точь как твоя дочь — завалила экзамены и должна была остаться в Салониках, чтобы ходить к репетиторам. И это ее ни капли не печалило! Она была счастлива, что останется в доме изображать хозяйку и хлопотать вокруг своего папочки. Меня она терпеть не могла, потому что я ее держала в ежовых рукавицах. А его она обожала. В то время еще не было автобусного сообщения. Часть дороги ты ехал на повозке — или на кораблике, но моя Поликсена не переносила моря, — а дальше надо бы-

ло ехать на мулах. Повозку нам достал Яннис. Мы взяли одноколку. По пути нам встретилась одинокая церквушка, прямо как в песне поется:

На горе высокой
Церковь одинокая...

'Что это за церковка такая?' – спросила я у возницы. 'Святой Анастасии Узорешительницы'. – 'А это что за чурбачок у нее там болтается?' – 'Колокол'. И мне показалось это так смешно! Меня охватил истерический смех. 'Ну вы даете, ну и колокол, – я просто изнемогала от смеха. – Что, не нашлось ничего получше, так они деревянный чурбан повесили?' Я чуть не описалась от смеха!.. Мы еле-еле добрались до Вальты, где должны были пересесть на мулов. Смеркалось. Дети выбились из сил, просидев столько часов в дребезжащей 'дрынь-дрынь' коляске. Поедим, думала я, и немедленно уложу их спать. Как вдруг приходит проводник и говорит мне: 'Собирайтесь. Отъезжаем!' – 'Да вы не в себе! – говорю я ему. – Разве мы только что не договорились, что отправляемся завтра утром? Что вдруг случилось? И не подумаю даже пальцем пошевелить, не то, что куда-то отправляться!' Но в то время в сельской местности еще свирепствовали разбойники. Проводники собирали большие караваны, так было безопасней, другие путешественники решили выезжать немедленно, чтобы ехать по прохладе. Если бы мы остались, нам бы пришлось прождать два, а то и три дня, пока не собралась бы новая компания. Проклиная на чем свет стоит и путешествия, и проводников, я села на моего мула. Тодорос, который уже был большим мальчиком, тоже ехал сам. А двоих младших – Димитриса и Поликсену – мы посадили вместе. 'Держитесь крепче, ребятки, – говорю я им. – Мулы терпеливые животные, но уж если разгневаются, так сбросят вас под копыта за милую душу'. Несмотря на все уверения проводника, я отправлялась в путь с самыми тяжелыми предчувствиями. Я смотрела сквозь непроглядную завесу тьмы, слушала кваканье лягушек в болоте и вой диких зверей в лесной чаще, и волосы шевелились у меня на голове. Я раскаивалась, что не послушалась своей интуиции и не осталась в Вальте. Как-нибудь мироздание бы уцелело, если бы мы прибыли в деревню на два дня позже. Дом был уже снят и поджидал нас. А вот сейчас мы приедем за полночь, поднимем хозяев на ноги. Что они нам сделали, чтобы так им досаждать, беднягам? Мало мне этих мыслей, так тут ко мне тянется Димитрис и говорит: 'Мамочка, Ксени заболела!' Я кричу проводнику, он останавливает мулов, я спешиваюсь, беру ее за руку – да она просто горит! 'Сколько нам еще осталось?' – спрашиваю я проводника. 'Часа два'. Снова забираюсь на своего мула и беру ее к себе на руки. Одной рукой держусь за седло, другой прижимаю ее. 'Потерпи, деточка, – говорю ей. – Не стони так и не надрывай мне сердце. Где бы мы ни были, скоро приедем...' Но пока мы добрались, она впала в беспамятство. Мы разбудили хозяйку, она показала нам комнаты, в одной я уложила спать мальчиков, в другой – Поликсену и тут же послала старшего сына хозяина за врачом. Не отходя от ее постели, я ставила ей один уксусный компресс за другим, но жар и не думал отступать. Она стонала, дрожала как лист, дыхание ее прерывалось. Мне казалось, еще мгновение и душа ее отойдет. 'Ну что же врач?' – спросила я у хозяйки. 'Сейчас будет! – сказала она. – Сейчас будет!' Но вместо врача пришел мальчик и говорит: 'Врача нет сейчас в деревне, он вернется только завтра вечером'. – 'Сейчас! – закричала я и в отчаянии стиснула руки. – Сейчас!

Что же будет с моим ребенком?' — 'Не беспокойся ты так, душечка! — говорит мне хозяйка. — Ничего с ней такого и нет. Устала просто с дороги, это пройдет'. Ф-ф! Пройдет! — подумала я. Деревенщина! Что они понимают в болезнях? Для них что люди, что коровы — все едино. 'Как же мне не беспокоиться так, душа моя, — говорю я ей, — как же мне не беспокоиться, когда ее трясет лихорадка и я могу потерять мою девочку в эту же ночь?' И отправила ее спать. Что за отчаяние охватило меня в тот вечер, не дай боже матери узнать такое. Я сидела возле ее постели и разговаривала с ней, как безумная. 'Ну что с тобой, доченька моя? — говорила я. — Кто же тебя сглазил, что ты умираешь?' Потом вскочила и заметалась по комнате, ровно как львица по клетке. Не понимала даже, который час. Керосин в лампе уже подходил к концу, огонек становился все глуше. Я размышляла: разбудить снова хозяйку или нет? Тогда-то я в первый раз и приметила лампадку, которая горела перед иконостасом. Вдруг я почувствовала, как ноги мои подкашиваются. Упала на пол, зарыдала и говорю — и как только вспомнила, я тебя спрашиваю, эту церквушку? — так вот я и говорю: святая моя Анастасия Узорешительница! Прости меня за то, что посмеялась над твоим колоколом. Вылечи мою Ксени, а я поставлю тебе свечку с нее ростом!.. И она меня услышала. Великая тебе слава, святая моя Анастасия! Раз — и прошиб Поликсену пот! Простыни хоть выжимай. И только-только она еще лежала как мертвая, и вот я вижу — зашевелилась. Открывает глаза и говорит: 'Мама... воды...' Я чуть было там же и не упала. И вместо того чтобы дать ей воды, снова падаю на колени и возношу хвалу Богу... Но если я тебе и рассказываю все это, то только для того, чтобы объяснить, что святая Анастасия, которая спасла мою Ксени от верной смерти, еще предупредила и меня, что я вскоре останусь без мужа. Когда мы вернулись в Салоники, я пошла и купила икону во благодарение Ей. Оставила ее на сорок дней в храме Сретенья и, когда забрала оттуда, отдала одному монаху — он частенько проходил мимо нашего дома, продавая свечки и ладан, — чтобы тот отослал ее в Катунакья, где бы на нее надели серебряный оклад. 'А снизу, — говорю, — скажи им, чтобы выгравировали: Посвящение Экави Лонгу'. Но когда он мне принес ее обратно, я увидела, что "Лонгу" вырезать забыли. 'Ну, и где же моя фамилия?' — спрашиваю его. Смотрит раз, другой, начинает креститься: 'Господи, властитель наших душ и сердец...' — 'Оставь Господа там, где он находится, — говорю я ему, — он-то здесь при чем?' В общем, не буду разводить тебе тут долгих историй, поклялся он мне, что, когда ему отдали икону обратно, "Лонгу" было на своем месте и он видел это своими глазами. Должно быть, мою фамилию стерла святая Анастасия, потому что хотела дать мне знак, и так далее и тому подобное".

"И ты ему поверила, кира Экави?"

"Конечно, нет! Я была Фомой неверующим, как и ты. Забыл про фамилию, думала я, вот и наговаривает теперь на святую. Все они, проныры, блаженными прикидываются. Но когда спустя недолгое время осталась я без мужа, вспомнила об этом случае и горько заплакала, прямо как святой Петр, когда петух прокричал трижды. Потому с тех пор я и не отваживаюсь на свое мнение. Самая лучшая политика, Нина, верь и не пытайся познать. Я тебе говорю, ты права, если поносишь святую и называешь ее мошенницей. А как, если нет? Ты можешь мне фыркнуть в ответ: пф! это совпадение. Но мне оно кажется чистейшей воды чудом. Как если бы она сама мне сказала: 'Ты думаешь, есть ты и никого другого в целом свете.

Что ж, дело твое — твоя ответственность. Тебе кажется, что ты неуязвима. Знала бы ты, бедняжечка, что тебя ожидает! Совсем скоро станешь ты просто Экави'. И я бросилась в подушки и горько заплакала. 'Святая моя Анастасия, — говорю я ей, — что же ты предсказала мою катастрофу, да не смогла ее отвратить?' Но чем тебе поможет святая, чем тебе сам Всевышний поможет? Меня предупредили. Только в моих руках было открыть глаза и принять меры. Но я, надменная, осталась глуха..."

6

Много раз, когда мы сидели по вечерам своей компанией и речь заходила о неудавшихся браках и разводах, кира Экави приходила в волнение и начинала вещать. Она выступала за взаимопонимание или, по крайней мере, за взаимное терпение у супругов. Она твердо верила в то, что *кого Ѓосподь соединил, человеку не оторвати.* "Промеж супругов, — говорила она, — и волоска не просунуть. И если я вам это говорю, то только потому, что и сама оказалась неудачницей..."

"Мужа у нее увела ее же собственная двоюродная сестра! — встряла я, чтобы побудить киру Экави к рассказам. — Расскажи-ка нам об этом, кира Экави, вот и время пройдет! А я, ты же знаешь, никогда не устаю тебя слушать".

"Ты, может, и не устаешь, а вот я сама от себя подустала. Бывают мгновения, когда слышу свой голос и кажется, вот-вот меня от этого вырвет... Эта паскуда увела его от меня. Приворожила. Как-то вечером мы втроем отправились в театр... Не смотрите, что я сейчас так опустилась. В то время у меня был трехэтажный дом, две служанки и собственный выезд. Мой муж был коммерсантом. По всему салоникскому рынку его знали. Где бы ни услышали, что я — госпожа Лонгу, тут же десять земных поклонов мне клали. Мы вращались в наилучшем обществе. Как-то раз он даже выдвигал свою кандидатуру в депутаты парламента. Как и все мужчины, и он тоже был без ума от политики. Но тогда выборы выиграл Венизелос. А мой муж был роялистом до мозга костей и душу бы продал за-ради Константина. В то время начался раскол между Константином и Венизелосом. Наш дом превратился в политический клуб. Все самые известные роялисты собирались в нашей гостиной и держали совет за советом. А я им подавай на стол блюдо за блюдом без перерыва. Мы кормили деревенских, чтобы они за него проголосовали. В то время никто ни за что не голосовал, если ему не позолотить ручку. Я смотрела на это все и переживала. Своим маленьким, женским умишком я понимала, что эта история добром не кончится. Мне тоже король был по душе, но я придерживалась мнения, что не надо бы нам лезть в политику. 'Да что с тобой, Янни? — спрашивала я его. — Бог уж с ним, с этим Константином, милый, и давай проголосуй за Венизелоса, чтобы не лишиться куска хлеба! И да ну его, это счастье, что мы при королях видали! Если, не приведи господи, в один прекрасный день ты потеряешь все свое состояние, что, Константин вернется, чтобы узнать, как у тебя дела?' Но у мужчин нет мозгов. Они как дети. Всем пожертвуют ради идеи. Он бросил свою работу и помчался в Халкидики, чтобы там произносить речи. Обещал крестьянам золотые горы да рай впридачу. И остался с носом. Есть у тебя состояние, говорит

тебе Господь, люди тебя уважают, семья тебя обожает. А тебе все мало? Хочешь еще *и* депутатом стать? Так приготовься к тому, что я дам тебе хорошенького пинка под зад, чтобы ты пришел в чувство... Он пришел в отчаяние. Приготовился уж помереть от своих трагедий. Он-то думал, что теперь во всем непобедим, ан нет. Чтобы развеяться, подхватил меня, и мы на месяц уехали в Вену. *Вот где* бы вам оказаться со мной, посмотреть, как люди живут. Какие там дворцы, а театры, а кофейни! Все это было как во сне. Короче говоря, мы не бедствовали. И я подумала — ах, черт побери! чтоб мне пусто было! каждый раз, когда об этом вспоминаю, так и тянет по лбу себе дать, — так вот, я подумала: Экави, жизнь удалась. У тебя прекрасный муж. Ты должна помочь своим... Моя сестра Афродита замужем. Мой брат Мильтиадис кадровый военный. Они во мне не нуждались. Во всей моей родне был только один человек, которому нужна была помощь, — двоюродная сестра, эта змея подколодная, о которой я вам сейчас и рассказываю. Ей уже шло к тридцати, а она до сих пор была не замужем, так как у нее не было приданого. Сделай доброе дело, Экави, сказала я самой себе, и Бог воздаст по плодам твоим твоим детям. Земля круглая, рано или поздно и к ним лицом повернется. Может, и ты однажды окажешься в такой же нужде, что и она. Итак, я пригласила ее пожить с нами какое-то время, чтоб побыла в приличном обществе, пробудилась от спячки. Подумала, что, может, и найдется какой-нибудь хороший жених среди друзей моего мужа. При надобности мы бы за ней и небольшое приданое дали. Я обсудила это с Яннисом, и он согласился. Но ей моей помощи в поисках мужа не надобно было. Она сама его нашла. И как это они спутались? Когда началась их связь? Не имею ни малейшего представления. Одно только знаю: если до того момента мы были самой любящей парой в мире, то тут вдруг начали ругаться по любому поводу. Он уже не был прежним Яннисом. Магия этой цирцеи его преобразила. В тот вечер, когда, как я вам говорила, мы возвращались из театра, я прошла чуть вперед и споткнулась о какой-то черный предмет. Мы вошли в дом, я взяла лампу с консоли, выхожу наружу и что я вижу! Черная как смерть курица и вся нафарширована нитками и иголками! Никто меня не убедит, что это не дело рук Фросо — Фросо ее звали. С того вечера все понеслось к чертям. Фросо приехала на два месяца. Осталась на шесть. Надо было, чтобы заболела ее мать, чтобы она, наконец, решилась уехать. Если только и это не было частью заранее составленного плана. С тех пор где Яннис? Нет Янниса — он все в Афинах. Да что же это такое делается? — спрашивала я сама себя. Может, он все-таки с кем-то связался и вправду выходит то, что мне нагадали мои турчанки? Но на Фросо я ни на секунду не подумала. Такая вот была наивная и доверчивая. За что и пострадала. В этой жизни никому нельзя доверять, даже собственному брату. Так все и шло, как вдруг — ну точно дьявольские козни! — я серьезно заболела. При обследовании врач нашел у меня миому в матке и сказал, что нужно делать операцию, причем немедленно. Я прекрасно могла бы сделать операцию и в Салониках. Но Яннис требовал, чтобы я отправилась в Афины. У него были свои планы. Он даже не дал мне попрощаться с моими подружками. Посадил в поезд, отвез в Афины и положил в больницу Благовещения. Когда медсестра вышла из палаты и оставила нас одних, он сказал: 'Эви, — он меня называл Эви, — не кажется ли тебе, что мне стоит прихватить с собой Фросо, чтобы она следила за детьми, пока тебя

нет?' — 'Браво! — отвечаю я. — И в самом деле, что бы ее не взять? Я и сама должна была бы об этом подумать. И смотри, Янни, найди ей уже, наконец, хорошего парня, какого черта, у тебя же столько друзей. Может, она и не красавица, и раз уж мы об этом заговорили, сдается мне, что она несколько холодна с мужчинами, ты это и сам мог заметить. Но и она не без достоинств. Позаботься, чтобы мы ее пристроили, и пусть даже она и не будет нам благодарна...' Пока я была в больнице, эта иуда, моя тетка, таскалась ко мне по три раза в неделю с визитами и даже имела наглость еще и цветы приносить. Когда, в конце концов, закончился курс химиотерапии и дело уже пошло на поправку, я написала ему, чтобы он приехал и забрал меня. Как только он получил мое письмо, бросился на экспресс и с вокзала поехал прямо в больницу. Стоило мне его увидеть, как что-то треснуло в моем сердце: крак! Это не тот Яннис, которого я знала, подумала я. Что-то с ним не так. 'Что с тобой?' — 'Да ничего. Устал от дороги. Все спальные места были заняты. Вот мне и пришлось просидеть ночь в кресле'. — 'А, ну слава Богу, — говорю я ему. — А то у меня были такие плохие предчувствия...' Он поднялся с кресла и подошел к окну. Притворился, что смотрит на улицу. Была зима. Февраль месяц, дул сильный ветер. Мой взгляд остановился на верхушке кипариса, он доходил до самого окна моей комнаты и его шатало то туда, то сюда — вылитая марионетка в театре теней. Меня терзала непонятная и мне самой меланхолия, сердце в груди свинцом наливалось. Несмотря на все его уверения, я чувствовала — что-то не так... Но, разумеется, у меня не было никаких улик. Я уже готова была позвонить в колокольчик и вызвать сиделку, чтобы она помогла мне собрать чемодан, когда он повернулся и деланно равнодушным тоном произнес: 'Да, забыл тебе сказать. Я написал матери, что ты сделала операцию, и она ждет, что ты к ним приедешь дней на пятнадцать, пока окончательно не выздоровеешь и не наберешь потерянный вес'. Я не поверила своим ушам. 'Что? Я, как в тюрьме, считала дни, когда уже, наконец, смогу вернуться к вам, а теперь ты хочешь, чтобы я отправилась в деревню? Что, лета больше не будет? Надо, чтобы я потащилась туда сейчас, в разгар зимы?' — 'Я же не сказал, что ты должна поехать туда любой ценой', — говорит мне он. Он знал, с чем ко мне подойти. И знал, что, если будет слишком сильно настаивать, я почую, что дело нечисто. 'Просто я думаю, — добавил он, — что это пойдет тебе на пользу. Поезжай, и я привезу тебе младших, чтобы и они повидались с дедушкой и бабушкой. Пусть даже они пропустят несколько занятий. Ты же знаешь, мать и так жалуется, что ты совсем у них не бываешь. Она думает, что ты ее терпеть не можешь'. — 'Это совсем другой разговор, — говорю я. — Ты прекрасно знаешь, что она неправа. В прошлом году я тебя поедом ела, чтобы ты пустил нас поехать в Литохоро, но ты сам настоял, чтобы мы отправились в Вальту. Если бы мы поехали в Литохоро, может, и наша Ксени бы не заболела...' Но я чувствовала, что он не примет отказа. Я сглотнула слюну. 'Сестра, — позвала я сиделку. — собери, пожалуйста, мой чемодан'. И внезапно меня охватило странное чувство, будто бы я встала на край бездны.

Свекор ждал меня на вокзале. До деревни было час езды на мулах. С вечера шел снег, и он укрыл землю словно бы мягким одеялом. То ли от слабости, то ли от резкой перемены климата, то ли от отчаяния, но я вся тряслась так, что даже зубы стучали. Яннис опустил мой чемодан, поцеловал руку отца. 'Совсем не приезжаешь, заблудшее чадо, может, и ты бы провел

с нами день-другой?' Бедный папа Лонгос! Он был святым человеком. В этот момент поезд засвистел. Не отвечая отцу, Яннис вспрыгнул на лесенку и закричал мне: 'Как договорились!' Он сказал мне до того: 'Если я за тобой не приеду, не вздумай двинуться сама из деревни'. — 'Он приедет, — говорю я его отцу, — он приедет и привезет детей'. Но прошел месяц, а он так и не дал о себе знать. Я начала медленно сходить с ума от постоянной тревоги. Вместо того чтобы набирать, я теряла вес. Несмотря на все заботы моей свекрови, ее дом казался мне черным. 'Мама, — спросила я ее наконец, — что ты посоветуешь мне сделать?' — 'Собирайся да поезжай в Салоники сама'. — 'А если он разозлится?' — 'Ничего, небось не помрет от своей злости...' Бедная моя попадья-свекровь! Каждый раз, когда делаю кутью, ее отмечаю самой первой в поминальном списке... Я доехала уже к сумеркам. Наняла пролетку, доехала до дома, спустилась и, пока платила вознице, бросила искоса взгляд на дверь и оцепенела: она была заперта на висячий замок! Смотрю вверх и вижу, что ставни чуть не заколочены, как будто в этом доме уже годами никто не жил. 'Стой-ка!' — завопила я вознице. Иду, стучу в дверь одной из соседок. И когда узнала обо всех подвигах моего достопочтенного и пришла в себя, села снова в повозку и говорю: "А ну быстро к прокурору! Улица Эвзонон, 13..." Это был наш знакомый, тоже роялист, который пил-ел в нашем доме как минимум раз десять. И я была с ним очень даже накоротке. Бедолага принял меня в гостиной, — его звали Арменопулосом, — и я падаю к его ногам и говорю: 'Ради всего святого, предаюсь в твои руки. Я потеряла моего мужа. Верни мне его назад!..' Кинулся меня поднимать, видит прямо на ковре целое озеро крови. Зовет свою жену и тещу, вызывают перевозку и отвозят меня в больницу... От одной своей приятельницы, Домны — дай ей бог здоровья — я узнала, что произошло: едва мой муж отвез меня в больницу в Афины и вернулся в Салоники вместе с Фросо, начал везде рассказывать, что я его бросила. Нанял посредников, продал дом и купил новый в другом районе. Хотел порвать все связи с прошлым. Выгнал нашу служанку. Старшего сына засунул в пансион Цотилиса, а старшую дочь — в американскую женскую гимназию. И изображая убитого горем покинутого супруга и проливая крокодиловы слезы, одновременно вчинил мне иск с требованием развода за то, что я оставила супружеский кров и "местопребывание мое неизвестно". Нет, ты слышала такое? А я вот услышала да увидела. Может, он и не окончил юридический, но все эти адвокатские штучки знал так, что от зубов отскакивало. И стал и мне слать повестки — куда бы вы думали? В дом одной гадалки, киры Талии. Я как-то ходила к ней с Домной, и она гадала нам на кофейной гуще, так просто, чтобы провести время. И поскольку, как и следовало ожидать, бедная женщина отказывалась их принимать, мерзавец судебный исполнитель, которому хорошо заплатили, — мерзкое их семя, вот что я тебе скажу, — прибил их к ее двери, известил, как выражаются адвокаты, и ушел. Когда меня таким образом известили столько раз, сколько того требует закон, в назначенный день он появился перед председателем суда вместе с двумя лжесвидетелями, которые говорили против меня разные гнусности, дело было заслушано в мое отсутствие, решение вынесено в его пользу, и на следующий же день он женился на Фросо, которая тем временем уже поджидала своего выблядка. Домна поставила весь мир с ног на уши, только чтобы меня найти и узнать, наконец, что же произошло. Даже она поверила, что я его оставила. Если бы я ей написала из больницы, мы бы все были

избавлены от многих бед. Но — вы, конечно, будете смеяться — я не писала, так как стеснялась, что плохо знаю правописание. Когда я вышла из больницы, то снова пошла к прокурору, на этот раз в его приемную. 'Господин Арменопулос, — говорю я ему, — так, как все сложилось, хоть озолоти меня, но назад я его не приму. Но я хочу забрать своих детей. У него нет никакого права отнять у меня моих детей'. Арменопулос бросил на меня грустный взгляд. 'Госпожа Лонгу, не буду от вас скрывать, что я немного пессимист. Ему, разумеется, уже зачитано обвинение в двоеженстве и в сознательном введении в заблуждение властей, но этот человек, как вы и сами знаете лучше кого бы то ни было, обладает огромными деньгами и влиятельными политическими связями. Поэтому у него есть все возможности тянуть это дело и два, и три года'. — 'Но мои дети?' — 'Дети... Дети... — Он начал шуршать промокашкой на своем столе. Положит с одной стороны и давай двигать на другой край. — Дети... Я не знаю, что вам сказать. До того как дело будет заслушано, а его вина доказана, право опеки над ними остается у него. Согласно закону...' Чтоб вам пусто было, и вам, и вашим мужским законам, нелюди в мужском обличье! — подумала я. 'А пока, что вы мне посоветуете делать пока?' — 'Пойдите и наймите адвоката, который охотно возьмется за это дело...' Я наняла Папатанасиу. Вряд ли я могла найти более подходящего человека. Я знала, что они тем временем поругались из-за политики и стали заклятыми врагами. Едва он меня увидел, схватил аж за две руки. 'Я все знаю, — говорит он мне, — я знаю все! Это беспрецедентный случай для нашего времени. Отныне и впредь я перехожу в твое распоряжение и не желаю слышать ни о какой оплате...' По его совету я прочесала всех друзей моего дражайшего, чтобы начать психическую атаку и собрать свидетельства. Но никто не хотел вмешиваться. Мне совали сотенную в руку, как будто я была какой-то попрошайкой, и выгоняли на улицу с обычными обещаниями и важными речами. Некоторые просто меня вышвыривали. С величайшим цинизмом мне предлагали стать любовницей. Я устала давать пощечины. Не осталось ни одного порядочного человека среди всех этих мерзавцев, чья совесть восстала бы против такой несправедливости! К несчастью, когда ты в силе, люди легко забывают твои преступления. Многие из тех самых людей, которые когда-то приходили в наш дом и восхищались моими кулинарными талантами, теперь ходили в дом к Фросо и ее называли госпожой Лонгу, не испытывая и тени стыда. Как будто не я разделила с ним и тяжелые, и прекрасные годы, как будто не я была нежной матерью его детей, как будто не имело никакого значения, с кем сегодня ночью спит господин Лонгос. Таковы мужчины. Предсказания Арменопулоса начали сбываться. Заседание суда переносилось раз за разом. В то время суды в Салониках ничем не отличались от тех, что были при туркократии. Судьи судили тебя не по закону, а по кошельку. Да и сегодня не многим лучше. Вы мне скажете: чего он хотел добиться этими отсрочками? Прежде всего, что я устану и откажусь от борьбы. Он знал, что у меня нет денег. Чтобы выжить, я ходила по домам и шила за поденный заработок. Когда я была маленькой, меня послали в школу — как говорится в пословице: научись ремеслу да брось его, а как проголодаешься, вспомни. Кроме того, он думал, что чем старше будут наши дети, тем труднее мне будет судиться. Он прислал ко мне моего старшего сына, Тодороса, который за это время успел окончить гимназию Цоцилиса и готовился к сдаче вступительных экзаменов на юридический, и тот мне сказал: 'Мамуля, что было, то

бьем поросло. Ну зачем нам продолжать эту отвратительную историю? В свете только-только начали забывать этот скандал. Зачем давать почву для новых пересудов? Елена и Поликсена подрастают. Еще немного, и они уже будут девицами на выданье'. И так далее и тому подобное... Я понимала, что если посмотреть на дело с логической точки зрения, то он был прав. Причиняя зло мужу, я вредила своим детям. Но какой бы прекрасной матерью я ни была, я была и женщиной тоже. И женщине, как бы я ни старалась, было абсолютно невозможно забыть. Мы жили, видите ли, в одном городе. Если бы он подхватил ее и их выблядков и оставил бы мне моих детей, чтобы я растила их, как умею сама, может, я и забыла бы. Время и расстояние — великие врачеватели. Но мне уехать из Салоник, мне, как будто я была виновной, как будто я была отверженной, — это было выше моих сил. Как следствие, наше проживание в одном городе постоянно бередило старые раны и не давало им затянуться. Я проходила по улице мимо их дома, слышала разговоры людей, которых я не знала, видела свет в их окнах, до меня доносились звуки песен, и меня охватывало безумие. Иногда я встречала счастливую парочку на улице. Издали видела, что они приближаются, тут же разворачивалась и бежала обратно. Меня трясло от одной только мысли, что мы можем столкнуться лицом к лицу. Я себе не доверяла. Знала, что могу броситься на нее и зубами перегрызть ей горло. Да и каждый день происходило что-нибудь еще, что еще больше оживляло прошлое, его предательство, катастрофу моей семьи. Прибегал Димитрис, самый младший из моих детей, и говорил: 'Мамочка, меня опять выпорола тетя Фросо!' Чтоб Бог ее саму выдрал! И она свое получит. Она била его, потому что он убегал со мной повидаться. Они думали, что я его настраиваю против них. И вынуждали его сбегать из школы и приходить ко мне тайно. Я брала его на руки, прижимала к себе. Целовала и плакала: 'Потерпи, мой сыночек, придет мой день, и они за все заплатят!' Я верила в справедливость Провидения. И отправляла его обратно в школу. 'И когда вернешься днем домой, — говорила я ему, — попросишь прощения у тети Фросо и скажешь ей, что больше никогда этого не сделаешь, потому что убегая из школы, ты не им делаешь плохо, а мне и себе'. Так прошло два года. Единственной ложкой дегтя в их семейном счастье была моя дочь Елена. Не потому, что она была на моей стороне. Ха! Она с малолетства меня терпеть не могла и сейчас точно так же продолжает меня ненавидеть и обвинять во всех смертных грехах. Нет, она все это проделывала только потому, что любила своего отца так, — Господи, прости мне мой злой язык, — как будто он был ее любовником и она впала в совершенное безумие от того, что не успела она хоть чуточку насладиться тем, что избавилась от меня, как ей тут же навязали Фросо. И поскольку она всегда была жестоким ребенком, то превратила жизнь Фросо в кошмар. Дважды она бросалась на нее с кулаками. Превращала ее дом в хлев. Они решили избавиться и от нее, и самым лучшим способом, как ты понимаешь, было выдать ее замуж. Так вот, приходит ко мне как-то Тавуларена, моя домохозяйка, — всех ей благ, хорошая была женщина, — и говорит: 'Знаешь новость?' — 'Что еще за новости?' — 'Елену выдают замуж'. — 'Да какую Елену?' — 'Твою дочь'. — 'Хм! — отозвалась я. — Давно пора. Она всегда сходила с ума по мужчинам. С тринадцати лет наша девица сидела у окна и кокетничала с проходящими солдатами'. — 'И что, так и не спросишь, за кого ее отдают?' — 'Ну и за кого?' — 'За Бабиса!' — 'Не знаю никакого Бабиса'. — 'Хуже уже некуда! —

говорит она мне. — Это тот самый распрекрасный Бабис! Это тот самый кривоногий козел, который приходит под окна своей матери и орет, что она проститутка!' — 'По, по! — кричу я и хватаюсь за голову. — И такому вот пропившемуся идиоту отдадут мое дитя?' Может, она меня и не любила никогда, но мать есть мать. Когда ее дети в опасности, она не сидит и не рассуждает: тот меня любит, а этот что-то не очень. В общем, откладываю я и свою гордость, и свое достоинство в дальний угол, иду и устраиваю своему засаду возле их дома. И как увидела наконец, что он выходит, как всегда элегантный, словно юный денди, бросаюсь ему навстречу, поднимаю руки кверху и говорю ему: 'Янни, что ты мне сделал, все тебе прощаю. Хочешь, пошли *прямо сейчас* и я отзову иск (должно быть, с тех пор он не раз и не два проклинал тот день и час, когда не воспользовался случаем). Обещаю тебе исчезнуть с лица земли, уехать и ты никогда больше обо мне не услышишь. Но во имя всего святого умоляю, не погуби нашу Елену. Человек, которого вы для нее выбрали, может, и принадлежит к богатой семье, но сам он — пьяница и посмешище всей округи. Елене нет еще и шестнадцати. Позвольте ей сначала закончить школу... Янни, ты слышишь меня?' Он сделал вид, что задумался. Наконец соизволил ответить: 'Слышу'. — 'Ты даешь мне слово, что расстроишь сватовство?' — 'Даю'. Ах, чтоб с его костей никогда мясо не отслоилось. Он за все заплатил, шаг за шагом. Прошло совсем немного времени, и на его голову стали сыпаться несчастья, все семь казней египетских. Потому что повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Господь вроде как на тебя и не смотрит вовсе, и ты творишь свои бесчестные дела и думаешь, что он ничего не видит. И вдруг он тебе такой подзатыльник дает, что ты платишь за все сразу. Прибывает в Салоники Венизелос, собирает революционное правительство и призывает на помощь англо-французские войска. И тут же моего господина отправляют под арест, обвинив в том, что он организовал поставки продовольствия для германских подводных лодок, — уж не знаю, правда это или ложь, — его подвели под военный трибунал и приговорили к двадцати годам тюрьмы. Еще чуть-чуть, и его бы расстреляли. И мало того, у него еще конфискуют два корабля. Когда кончился мятеж и он, как все политические заключенные, вышел на свободу, то, как он был настоящим гением коммерции, вскоре снова начал наживать денежки. Получил компенсацию за корабли, которые тем временем пустили ко дну. Заложил дом, чтобы набрать стартовый капитал. И так далее и тому подобное. Но не успел он порадоваться своему везению, как Бог дал ему второго пинка. Выплыло наконец на свет божий дело о двоеженстве! Сам ли следователь раскопал это дело или ему Папатанасиу унавозил почву, тут я тебе правды не скажу, не знаю. Но суть в том, что даже я сама уже засунула это дело в дальний ящик, как вдруг получаю повестку явиться в следственный департамент. На заседание Папатанасиу, не сказав мне ни слова, притащил всех врагов моего достопочтенного. Людей, которых я и сама-то не знала. Пришла кира Талия и рассказала об истории с повестками, было зачитано заявление бедной попадьи Лонгу, что в то время, когда он подавал иск о том, что я покинула супружеский кров и местопребывание мое ему неизвестно, он же сам меня и отвез пожить вместе с ней, и так далее и тому подобное. В общем, чтобы не молоть языком попусту, скажу только, что их обоих признали виновными, его приговорили к шести месяцам заключения, ее — к двум с правом отсрочки, так как она опять была беременна. Но не тюрьма стала для него расплатой, от тюрьмы

он откупился и быстро вышел на свободу, — он стал всеобщим посмешищем. Как бы он теперь вернулся к делам, как смотрел бы в глаза людям? Не теряя времени, Папатанасиу — но на этот раз уже по моему распоряжению — подал второй иск о разводе, назначении содержания и опеке над несовершеннолетними детьми, Димитрисом и Поликсеной. Тодоросу должно было вот-вот исполниться двадцать один, Елена была замужем и ожидала ребенка. За два дня до суда я случайно столкнулась с ним на улице. У него был настолько перевернутый вид, что я едва его узнала. Похудел так, что рубашка на нем обвисла, и впервые в жизни я увидела его небритым. Я остановилась. 'Это ты, Янни?'. И меня затрясло от волнения. Внезапно я почувствовала угрызения совести. Мысль, что отчасти и я была виной тому, что единственный мужчина, которого я когда-либо любила в своей жизни, дошел до такого печального состояния, как ножом пронзила мое сердце. Я уж захотела было тотчас бежать к Папатанасиу, чтобы приказать ему отозвать иск. 'Как же ты так, Янни? — говорю я ему. — Где же твоя удаль, где же тот веселый дружок Павлоса Меласа? До чего же тебя довела эта дрянь...' Он улыбнулся с горькой иронией. 'Так это *она* меня довела?' Как услышала, что он ее защищает, тут же рассвирепела. 'В конце концов, — говорит он мне, — хоть ты будешь в порядке. Но ты должна позаботиться о детях...' — 'И ты еще смеешь говорить о детях? А ты о них хоть на секунду задумался, когда разрушал нашу семью? Ты знаешь, что, пока ты был в тюрьме, твоя краля вышвырнула Димитриса на улицу и он спал в телегах, связался с бродягами и едва-едва себя не погубил? Ты знаешь, что Елена на грани развода? Где же твое обещание расстроить помолвку? Ты ведь дал мне слово!..' Не говоря ни слова, он развернулся и побежал прочь, как будто за ним была погоня. Гораздо позже Поликсена рассказала мне, что в этот день он пришел домой и попросил их согреть воды, чтобы помыться. И только было собрался забраться в ванную, так на месте и упал. Я не пошла на похороны. Не потому, что не хотела. Что бы он мне ни сделал, я продолжала его любить, если бы не любила, давно бы уже показала ему кукиш и вернулась бы в Афины. Но пришла моя старшая дочь и слезами и угрозами вырвала у меня обещание не появляться на похоронах, потому что над ней, видите ли, стала бы смеяться ее родня по мужу: как же, две вдовы над одним покойником. Да, даже мертвого мне не дали его поцеловать. Ах, милая Нина, не заставляй меня вспоминать все это, потому что я начинаю расстраиваться, а потом мне снятся жуткие кошмары".

7

Когда она рассказывала мне историю развода Елены, то всегда занимала сторону своего зятя. И не только потому, что твердо верила в нерушимость брачных обетов, "особенно когда в браке есть дети", и не потому, что инициатором развода была Елена, но и в силу того, что история ухода Елены от мужа была слишком похожа на историю исчезновения ее собственного мужа.

"Ну вот как мне ее оправдать, Нина? — говаривала она мне. — Как мне оправдать стерву, которая выбросила мужа из собственного дома, как волосок из теста, точь-в-точь как со мной поступил ее драгоценный папаша. Ничего не скажу, были и у ее благословенного мужа свои недостатки: он пил,

да и был на двадцать лет ее старше. Не о таком мужчине мечтала я для своей дочери, и, ты помнишь, как, узнав о помолвке, я горы снесла, чтобы ее расстроить. Но раз уж она за него вышла и они завели детей, надо было уже вести себя по-другому. У Бабиса были недостатки, но он не был чудовищем. Ее и вовсе любил как сумасшедший. В ее власти было сделать из него все, что она хотела, она могла сделать его другим человеком. Но моя дочь вместо того, чтобы помочь ему завязать с пьянством, сделала его жизнь настолько невыносимой, что он просто вынужден был пить еще больше, чтобы забыться. Приходил он с работы и что видел: в доме пусто, ребенок зассанный. И вот, как есть, усталый, он начинай его подмывать да переодевать. Когда госпожа возвращалась со своих прогулок, он ее спрашивал: 'Где ты была, Ленаки?' — 'Где хотела! — отвечала она. — Я что, отчет тебе должна предоставить?..' Или он возвращается и видит, что ребенок заплаканный. 'А что такое, Ленаки, с Апостолакисом, что он плачет?' — 'А я его выпорола'. — 'А за что ты его выпорола?' — 'А мне так захотелось!..' Тогда он ей на это ничего не говорил. Он был мягким человеком. Но все копилось. И когда по выходным он возвращался домой мертвецки пьяным, то давай ее метелить до полусмерти. Их дом был чуть повыше за Белой Башней. Небольшой. Две комнаты с кухней и ванная во дворе. Но было и преимущество: он был рядом с работой Бабиса. На верхнем этаже жил вдовец с двумя детьми. Хатзис его звали. В этом доме она родила своего первого ребенка. Но он умер десяти дней от роду. Мы чуть ли не насильно притащили попа окрестить его, чтоб не помер нехристем. Хатзис вызвался быть крестным отцом. С тех пор у них завязалась тесная дружба. На следующий год она снова была беременна. Это было в то время, когда я подавала второй иск против ее отца, чтобы получить содержание. В тот вечер, когда я встретила его на улице, как раз возвращалась из ее дома. Пошла ее проведать и нашла всю в слезах. 'Что с тобой такое, что ты плачешь?' — 'Я поругалась с Бабисом. Он такой, сякой, разэтакий!' — 'Что он тебе сделал?' — 'Спрашиваешь, что он мне сделал? Да он меня посмешищем выставил перед всеми соседями. Негодяй! Он от меня еще и ребенка хочет! Да я ему глаза выцарапаю! Завтра же пойду и сделаю аборт!..' Первый раз я услышала, что она беременна. Она не говорила прежде. Она вообще мне своих секретов не доверяла. 'Послушай-ка, дочь моя, — говорю ей, — ты, конечно, сама себе хозяйка, и у меня нет ни малейшего желания вмешиваться в ваши семейные дела. Но позволь мне, не как матери, а как более старшей и опытной женщине, дать тебе один совет: не выкидывай ребенка. Будь уверена, как только родишь, жизнь у вас будет сладкой, как мед. Не только тебе найдется чем заняться, но и Бабис перестанет шататься по тавернам. Дети — это благословение Божье'. — 'А ты, — спрашивает она, — много ты радости увидела от того, что нас родила?' Первый раз я услышала, как она хоть с каким-то сочувствием, пусть и не прямо, говорит о моих страданиях. 'Если бы, узнав о подвигах твоего отца, — говорю ей, — я не думала бы, что у меня есть дети и что я должна жить ради них, я бы приняла яд, как и моя покойная сестра Исмена, и покончила бы с собой. И знаешь, что я вынесла изо всего этого? Что бы мы ни говорили, как бы мы ни страдали, жизнь все равно прекрасна...' Она не ответила. А когда Елена не отвечала, это означало, что она признает твою правоту. Она достала из баула две юбки и дала мне, чтобы расставить талию. И как я ей и сказала, так и вышло. Как только Акис появился на свет, Бабис поклялся, что ноги его не будет в таверне. Сканда-

лы как ножом отрезало. Все шло лучше некуда, и я благодарила силы небесные, что услышали они мои молитвы, как однажды возвращается бедняга с работы в неурочный час, когда она его не ждала, и застает ее на месте преступления с Хатзисом! Другой мужчина на его месте дал бы ей по роже да и послал бы ко всем чертям. Бабис, то ли потому, что ее любил, то ли потому, что думал о ребенке, развернулся и вышел из собственного дома на цыпочках, как вор. Пошел в таверну и напился в стельку... В один прекрасный день – я тогда жила у Давикоса – открывается дверь и ураганом врывается Елена с ребенком на руках: 'Ах ты такая-разэтакая! Ты меня заставила, и я родила! Ты ребеночка хотела? Так вот, на теперь, играйся, чтоб он тебе всю плешь проел! Мне ублюдки Бабиса не нужны!' – 'Господи, да чем тебя невинное дитя так прогневило, что ты швыряешься им ровно мячом? Мать ты или гиена какая? Что с тобой такое случилось, что ты тут пеной исходишь как помешанная?' – 'Развожусь! – орет она мне. – Исчезну, чтобы никого больше не видеть и чтобы меня никто не видел! Пойду в проститутки, чтобы всем вам отомстить! И если появится тут твой пьянчужка зять и спросит меня, скажи: нет у тебя больше дочери!' – 'Ах, ты нам отомстишь? – говорю я ей. – Тебе же своей головы и не сносить!..' Она вскакивает, хлопает дверью мне прямо в лицо и уносится. Акис же все это время визжал как поросенок, будто и он понимал, что вокруг него происходит, и оплакивал свою горькую судьбинушку. Как будто говорил: 'Да что же это за мир такой, в котором я родился! Уа-уа! Уа-уа!..' Я взяла его на руки и начала укачивать, позвенела погремушкой, да все без толку. Что в лоб, что по лбу. Терпение мое лопнуло. Кладу его на кровать, щиплю за задницу и говорю: 'А ну, шшш!' И только он опять за свое, щиплю его еще пару раз. Он открыл глазки и посмотрел на меня внимательно-внимательно, словно хотел сказать: 'Э, да эта здесь шутить не собирается. Лучше уж притихнуть. А то как бы мне снова не нарваться...' С тех пор ни разу не заплакал. Сидел на кроватке с куколкой в руках и болтал сам с собой. Смеялся сам с собой. Такого спокойного ребенка не было во всей округе. Виктория, младшая дочь хозяина дома Давикоса, его обожала. Брала его пополудни наверх, сажала к окну, которое выходило на Диагониос, и они смотрели на проезжающие мимо трамваи и машины. Каждый раз, когда проезжала машина, она говорила ему: 'А вот трамва-ай!' Но наш мусью тут же выходил из себя. Он, видишь ли, не был идиотом. 'Бибика! – кричал ей. – Бибика!' И когда Виктория настаивала, он обижался, стучал кулачками в отчаянии, сжимал губки, готовый заплакать сию же секунду. Тогда она брала его на колени, ласкала, гладила и просила прощения. 'Виктория, – говаривала я ей, – ты скажешь Давикосу, чтобы он взял Акиса в синагогу и посадил его на кол, когда он не будет слушаться свою бабушку?' – 'Не-е-ет! – отвечала Виктория. – Аки – хороший мальчик! Как же я его люблю!..' Ха! Куда больше она любила его дядю Димитриса!.."

И мой покойный папа был большим любителем женщин в молодости, *если*, конечно, верить маме, но он, слава богу, не дошел до тех крайностей, что отец Тодороса. Все что угодно, только не это, он любил свою Галатею. Правда, знал, что она ревнива, и любил ее поддразнивать. "Что это ты, Галатея, все сидишь да шьешь и шьешь, – говорил он ей, – не надоело тебе? Женщины должны ходить по улицам голыми, чтобы мы, наконец, уже избавились от их чар и смогли заняться чем-то более серьез-

ным!" Но бедняжка его не понимала. Ей всегда были недоступны его шутки. Была такой же ограниченной, как моя дщерь. Ее мысли тут же устремлялись к запретному плоду. "Ну конечно, — отвечала она ему. — Тебе они нужны голыми, чтобы проще было им клинья подбивать!.."

Но даже если и предположить, что у него были любовницы в молодости, я этого уже не застала. Единственным его грехом, если это можно назвать грехом, было то, что он был картежником. Да и это от тоски, от безнадежности, как и я в черные дни Оккупации. "Хм! Избавились от женщин, — говорила мама, — и получили дам!.." Но по этому поводу она не сильно переживала. По ней, все было лучше, чтобы он играл в карты, чем бегал за юбками.

Бедный папа! Лучшего человека не было во всем свете. Одну только ошибку он совершил в своей жизни — выгнал Диноса из дома. Это была ошибка, признаю. То, чего я принять не могу, это что он один виноват в его падении. Катастрофа Диноса была предопределена значительно раньше, и за нее ответственна только мама и ее патологическая любовь к нему. Точно так же и в случае с Димитрисом, может, в чем-то был виноват его отец, Фросо, судьба и не знаю уж что еще, но главным виновником все равно была и остается кира Экави. Всякий раз, как я слышала, с какой страстью она говорит о его красоте, я вспоминала мамино кудахтанье над Диносом, и все во мне переворачивалось.

"Ах, Нина, если бы ты только видела, какой он красавец! Смотришь на него в матросочке и говоришь: а что это за маленький принц такой? Всему миру было дело до красоты этого ребенка. А его смышленость!.. 'Что вам сказать, госпожа Лонгу, — как-то сказал мне директор его школы. — Я уже тридцать лет преподаю, и через мои руки прошли тысячи детей. Но такие способности, как у вашего мальчика, редко встретишь. Только вот вам нужно за ним внимательно следить, он ужасно чувствительный, да еще и опасный возраст...' Чтоб этой Фросо не знать покоя! Эта змея облезлая, попадись она мне только, господи, и впрямь будет ползать *как* змея по земле! Она морила его голодом. Выгоняла из дома. Он связался с бродягами. Правда, когда его отец вышел из тюрьмы, забрал его с улицы. Купил ему тогда и первый в его жизни костюм с длинными брюками, как у взрослых, так тот от гордости надулся как индюк. Но когда его отец умер, все рухнуло, как карточный домик. Когда мы с Фросо поделили мебель и какие деньги остались, она взяла своих выблядков и укатила в Афины. Я же сняла полуподвал в доме одного еврея, отца Виктории, о которой я тебе рассказывала, и собрала всех детей под свое крылышко, как наседка цыплят. Конечно, не Елену, она уже была замужем да к тому же никогда не признавала мою опеку, но трое остальных были со мной. И ни шатко ни валко начали мы с ними новую жизнь, такую же, как у всех бедных людей на этом свете. Тодорос отчислился с юридического и нашел работу в какой-то конторе, а потом в газете в отделе спорта. Поликсена оставила свои мечты стать учительницей и выучилась шить корсеты и лифчики. Но Димитрис, несмотря на все мои мольбы и слезы, и не думал оканчивать гимназию, хотя ему всего-то и оставалось один год доучиться и он мог бы найти себе работу приличную и достойную, как у его брата. Я заставила его выучиться ремеслу. Муж одной моей знакомой взял его учеником к себе в мастерскую — он занимался цинкографией. И поскольку наш юный принц был семи пядей во лбу во всяких таких делах, то за два-три месяца стал первоклассным

мастером. Но ему это не нравилось. Ему казалось, что заниматься цинкографией значит ронять себя. И однажды он швырнул форму прямо в лицо своему хозяину и исчез. Как мы потом узнали, он отправился на Святую Гору. Ты, должно быть, слышала, что женщине даже подойти к Святой Горе нельзя — даже скотина женского рода и то под запретом. Но мужчины, Нина, это мужчины. Сколько бы обетов они ни приняли и как бы далеко ни удалились от мирской суеты, дух крепок, да плоть слаба. Когда он вернулся, то имел бесстыдство сунуть мне сотенную. 'А ну убери ее отсюда, дрянь такая! — кричу я ему. — Как ты смеешь давать мне свои грязные деньги! Ах ты шкура, и чем же, по-твоему, отличается мужчина, который дает монаху за деньги, от женщины, которая продает свое тело каждому встречному и поперечному? Вон отсюда! Вон, чтоб глаза мои тебя не видели!..' У него была одна странная особенность: когда он чувствовал себя виноватым, начинал улыбаться. Я уж его знала. Вместо того чтобы покраснеть и опустить голову, он встал, улыбаясь, и ушел, и целый месяц не было о нем ни слуху ни духу. Когда же он наконец появился, я встретила его с распростертыми объятиями. 'Димитрис, — говорю ему, — что сделано, то сделано, мальчик мой. Я знаю, ты не виноват. Фросо во всем виновата, твой отец да судьба-злодейка. Но это не повод умножать чужие ошибки. Пора уже остепениться и подумать о своем будущем. Еще немного, и тебе уже будет восемнадцать. Посмотри, детка, на своего брата...' — и тут же прикусила язык. И надо же было такое ляпнуть. Каждый раз, когда я ему ставила в пример его брата, он тут же приходил в бешенство. 'Опять начала свою проповедь?' — говорит мне. 'Да вовсе нет, — отвечаю ему. — Кто я такая, чтобы читать проповеди? Я тебе все это говорю, потому что кир Михалис меня спрашивал уже раз десять, когда ты наконец вернешься на работу'. — 'Не вернусь!' — 'И могу я, прости пожалуйста, узнать причину?' — 'Я стесняюсь...' На мгновение мне показалось, что я сейчас лопну от злости. 'Значит, работать, — говорю ему, — как все дети бедных людей, ты стесняешься, а продавать свое тело попам тебе не стыдно, нет?' Он покраснел как маков цвет. Хлопнул дверью мне в лицо, и *два* месяца прошло, прежде чем снова появился. Вдруг как-то днем возникает у меня на пороге и без лишних предисловий, как будто я дочь какого банкира, говорит: 'Дай сто драхм!' Я как закричу: 'Сто драхм! И откуда ты хочешь, чтобы я тебе их достала, эти сто драхм? Я тебе что, монетный двор?' — 'Тогда дай пятьдесят, и как найду работу, отдам обратно. Вот те крест. Мне сказали, что меня возьмут подставным игроком в один клуб. Как зажму капусты...' — 'По, по! — закричала я. — Что это у нас за выражения такие? Ты слышал, чтобы в нашей семье кто-нибудь говорил так, как ты сейчас? Да и где ты хочешь, чтобы я тебе нашла хотя бы пятьдесят драхм? Ты бы хоть спросил, как мы тут с Поликсеной перебиваемся? (Тодорос тогда был в армии.) Так чего же ты хочешь, — говорю ему, — чтобы я пошла на панель, чтобы ты у меня тут котом выступал?..' Когда он ушел, я была в таком состоянии, что, если бы еще хоть на пять минут осталась в доме, у меня бы началась истерика. Оделась я и пошла проветриться. Видимо, он дождался, пока я уйду, вернулся, сломал замок, вошел и забрал у меня толстое красное шерстяное покрывало. Когда я пришла вечером домой и увидела замок сломанным, а кровать расхристанной, зарыдала, упала в обморок, и когда он снова пришел, прокляла его и пригрозила, что если он сей же минут не принесет одеяло обратно, то я заявлю на него в полицию. Потом я жалела, что не сделала этого. Может, это его останови-

ло бы и он не пошел бы по той скользкой дорожке, на которую ступил тогда. Но как пойдешь и заявишь на своего ребенка? Я проглотила и это. Но с тех пор мы не решались оставить дом без присмотра. С него сталось бы прийти и забрать даже и кровати, на которых мы спали. Мало было этого, так он еще завел шашни с дочерью хозяина, с Викторией. Тодорос никогда не пользовался успехом у женщин, но Димитрис был просто донжуаном салоникским. Когда Давикос узнал о намечающейся идиллии с его дочерью, как с цепи сорвался. По любому поводу закатывал скандалы, чтобы заставить меня съехать с квартиры. Обвинял в том, что я потворствовала их связи, потому как нацелилась на его дом. 'Ах ты старый жид, — говорю ему, — да вы вообще Христа распяли! Да будь у тебя не один, а десять домов, и предложи ты мне их все, только чтобы Димитрис с ал твоим зятем, так мне лучше своего сына мертвым видеть, чем женатым на твоей жидовке!..'

Бедная мама, каждый раз, как услышит, что кто-то ругается, говорила: "Впустую". — "Что значит впустую?" — "Впустую", — отвечала важно-важно мама, которая по своим взглядам и предрассудкам мало чем отличалась от деревенских баб. Похоже, что пожелание, выкрикнутое кирой Экави, пошло "не впустую". Ее услышали и не забыли. Ах, да знаю я. Если бы мой дорогой папа был жив и услышал эти мои рассуждения, он бы с досадой заметил, что я, видимо, забыла, что он мне говорил, а именно, что у каждого явления есть логическое объяснение и нет ни каких-либо таинственных сил, ни пустых слов. Но и вправду, что бы там ни говорила моя дочь, а годы идут, я старею и вижу, что в чем-то становлюсь похожа на мою мать.

"... Если же ты спросишь меня о моей дочери, то она познакомилась, нате вам пожалуйста, с каким-то торговцем маслом из Каламаты, и поехали они с ним развеяться на Корфу. Когда, наконец, она вернулась в Салоники, пришла к нам домой и осталась у нас на два месяца. Как-то случайно встретила Бабиса возле рынка Модьяну, и этот дурак падает ей в ноги и давай умолять вернуться. 'Сжалься надо мною! — говорит ей. — Возвращайся в наш дом. Не мучай меня...' Она пришла и с довольным смехом рассказала мне об этом. Сначала она просто морочила ему голову. Но когда он рассказал, что было принято постановление об обязательном учете выслуги лет при увольнении по собственному желанию муниципальных служащих и что если он решит уволиться, то получит, кроме расчета, еще и премию около сорока тысяч драхм, эта корыстная дрянь тут же решила вернуться. Не прошло и трех месяцев, как она опять была беременна. Но на этот раз она твердо решила выкинуть и начала принимать таблетки. Я же, исходя из горького опыта с первым ребенком, не рискнула вмешиваться. Пусть делает, что хочет, хоть глаза себе выкалывает, хоть всю матку себе вычистит, подумала я. У меня нет никакого желания опять оказаться во всем виноватой. Но она вся как мумия стала от своих лекарств. Гинеколог, который ее осматривал, говорит: 'Если сейчас сделаешь аборт, никогда больше не сможешь забеременеть'. Так что хочешь не хочешь, а пришлось ей ребенка оставить. Когда родственники узнали про то, что Бабис хочет уволиться из мэрии, все насели на него, только чтобы отговорить. Так-сяк, а все-таки это была надежная работа. Коллеги знали его не только с плохой, но и с хорошей стороны. Начальник его любил. А при такой беспорядочной жизни, которую он вел, вряд ли он был пригоден к какой-то другой ра-

боте. Во всяком случае, в мэрии он мог быть уверен, что придет на работу, наденет свои черные нарукавники, сядет за стол перебирать бумажки, и что бы ни было, а денежки идут. Но он, видишь ли, пообещал моей распрекрасной дочери, что уволится и на эти деньги они купят дом, и хотя, когда пришло время, ему стало страшно выкидывать этакое сальто, Елена топнула ногой, и все сделалось по ее хотению. На часть денег они купили дом в Куле-Кафе, на улице, которая вела к Эптапиргио. Трущобы, конечно, да и дом был недоделан: не было дверей, окон и водопровода. Но его продавала крестьянка — и по очень хорошей цене. После смерти мужа, который этот дом и строил, она была вынуждена вернуться в свою деревню. Но поскольку деньги еще оставались, Бабис арендовал небольшую кофейню в одном торговом пассаже и начал бегать по офисам разносить на подносе кофе с лукумом — из князи в грязи. Надеялись, что на доходы от кофейни они достроят дом и будут жить. Но Бабис был не из тех, кому можно заниматься торговлей. Когда ты всю жизнь провел за письменным столом с ручкой в руке, ну никак ты не станешь на следующий же день заправским негоциантом. К тому же он еще и пил. Посреди бутылок с коньяком и ракией он был как волк среди овец. Не говоря уже о том, что он был щедрым и великодушным до неприличия. К нему заходили друзья-приятели повидаться, и он наливал им реки узо, даже не заикаясь об оплате. И вдруг Елена от своего кума узнает, что Бабис начал вести переговоры о продаже дома. Она взвилась до небес. Хвать детей под мышку и бежит к свекру со свекровью и начинает плакать и кричать: 'Если вам не жаль меня, пожалейте хотя бы собственных внуков, они ведь ваше имя носят!..' Те переполошились. Не потому что так уж пожалели ее или детей. Она со своей свекровью уже раз сто поругалась, так что ее там видеть не хотели. Но просто подумали, что если Бабис продаст дом, то в конце концов за все остальное придется платить им. Говорят себе: до каких же пор Бабис будет сидеть у нас на шее и мы будем давать ему деньги на прогул души и на пьянство? И тотчас собирают семейный совет, на котором было решено пусть даже силой, но заставить его переписать дом на имя мой дочери. Знали, что он у нее под каблуком. Он был пьяницей, и они могли в любую минуту пойти к прокурору и объявить его недееспособным и таким образом отнять у него право управления собственным имуществом. И только вчера сходили в нотариальную контору и переделали на нее бумаги, как сегодня возвращается добрый человек к себе домой, а там пусто!..

...Вечером того дня я сидела в нашей спальне, той, что побольше, она была самой светлой комнатой в доме — мы уже к тому времени съехали от Давикоса — и штопала носки Тодороса. Через несколько дней он должен был уехать в Афины. Ему пообещали место редактора отдела спорта в какой-то газете, и я собирала его в дорогу. И сижу я так и подшиваю, вся в горьких мыслях, что вот уезжает мой сыночек и кто теперь знает, когда мы с ним снова свидимся, и вдруг слышу какие-то странные звуки у входной двери. Открываю, на пороге — Акис. Ему тогда было года четыре. 'Кто тебя привел, детка?' Молчание. Она его выдрессировала, чтобы он и слова не смел сказать, и когда она ему говорила: 'Так смотри же, чтоб ни звука мне!' — он рта не раскроет, хоть режь его. 'Давай, заходи, детка', — говорю ему. А сама думаю: да она совсем рехнулась. Видно, ей куда-то срочно надо было бежать и она оставила его у двери. Или пошла туда, где сейчас ребенок ни к чему... К несчастью, она и после того, как они с Бабисом сно-

ва сошлись, продолжала встречаться со своим маслоторговцем. Но мне даже в голову не могло прийти, что случилось на самом деле. Я же знала, что, раз он согласился переписать дом на ее имя, их отношения были лучше некуда. Как раз возвращаясь тем вечером от нотариуса, они заехали ко мне, чтобы рассказать о событии, и были что твои голубки. Бабис хотел сводить ее в кино, но она изобразила срочный приступ головной боли, и он повез ее домой. Это тоже было частью плана. Она приняла решение. Подарю ему, говорит себе, последний прекрасный вечер, так просто, сувенир на память... Нет, она совсем больная. Взяла да и оставила ребенка возле входной двери. Он не мог сам пройти такой длинный путь. Ну, посадила его на подушку возле себя, дала ему тарелочку с орехами и колку, и вот он их колол и ел, иной разочек и обо мне вспоминал и давал по орешку. Я вернулась к штопке и штопала, пока не начало темнеть, поднялась поставить на плиту еду, чтобы подогреть, пора уже было детям возвращаться с работы, как вдруг слышу, на улице Бабис кричит, пьяный в стельку: 'А ну выходи, шлюха, выходи, потаскуха! Открой мне дверь, потому что я из тебя сейчас котлету сделаю!' И, сказано — сделано, давай швырять камни в стекла веранды. У меня чуть пупок от ужаса не развязался. Бегу на улицу, открываю дверь и, когда увидела, как он уставился на меня осоловелым взглядом, с камнем в руке, говорю: 'Чем это я тебе так глаза намозолила, пьянчужка несчастный, что ты меня потаскухой обзываешь? Думаешь, я твоя мать? Так ты ошибаешься! Что случилось?' — 'Ах ты ведьма! Отдай мне обратно мою жену! Ленаки! Где ты, моя женушка?' Я взвилась до небес: 'А ну прекрати, чтоб тебе пусто было. Ты нас на всю округу опозоришь! Да что же, мне из-за тебя опять переезжать?! Если ты утратил свою Елену Прекрасную и думаешь, что я ее прячу, так вот тебе дом! Заходи и обыщи хоть каждый угол!' И рассказала ему, как нашла ребенка у себя под дверью. Пошатываясь, он вошел в дом и давай шуровать под кроватями и за дверями. И когда понял, что я правду говорю, сел на угол кровати и зашелся в рыданиях. Первый раз я видела, чтобы мужчина так плакал. И только начал успокаиваться, как заметил своего сына, который все еще сидел на подушке с орехоколкой в руке и смотрел на него, будто знал, в чем дело, и снова заплакал: 'Апостоли мой, душенька мой, — говорил ему, — оставила нас Елена, сыночек, заперла от нас наш дом...'

...Через несколько дней Тодорос уехал в Афины. Возвращаясь на автобусе с вокзала, я проплакала всю дорогу. Иди своей дорогой, дитя мое, говорила я себе мысленно, и да пребудет Господь Наш с тобою. Ах, Господи, все повторяла я, ну почему ты так все устраиваешь, что мне приходится жить вдали от моих детей? Один живет на чужбине. И кто знает, с какими трудностями предстоит столкнуться ребенку в таком городе, как Афины! Кто ему там постирает и кто погладит? Кому он расскажет свои печали, на кого будет пучить глаза, на кого орать, чтобы зло сорвать? Другой же хоть и живет в том же городе, но что в том проку, если мы видимся раз в полгода? И кто знает, где он шатается, на каких подстилках губит свою молодость и красоту! Так я говорила, и слов нет, чтоб описать, как я тосковала в эти дни. Я раскладывала карты. И все время выпадала эта чертова десятка пик. Господи Пресвятая Богородица, да что же еще может случиться? Что еще я услышу? Мысли мои вернулись к Елене. Кто знает, с каким новым любовником она спит и к кому таскает за собой этого несчастного младенца. Да что же она за чума такая, что пала на наш дом? За *какие* грехи мы платим? Но

десятка пик выпала не на Елену. Вечером приходит Ясон, приятель моего заблудшего сыночка, и этак уклончиво мне говорит: 'Госпожа Лонгу, не хочу вас волновать, но кое-что произошло с Димитрисом...' И прежде чем он успел домямлить, у меня сердце оборвалось. Полжизни как ножом отрезало. Я представила все самое худшее, что только может вообразить любая мать при таких обстоятельствах: увидела его мертвым, порезанным на тысячи кусочков. 'Ради всего святого, Ясон, – говорю ему, – да рассказывай уже наконец!' – 'Да не волнуйтесь вы так, – говорит он мне, – ничего такого не произошло. Просто недоразумение. Его со вчерашнего дня содержат в участке...' – 'Что?! – взвизгнула я. – Моего сына, моего *собственного* сына – в участке!' И давай бить себя по рукам. Накидываю на плечи пальто и бегом вместе с Ясоном в участок. Вхожу в кабинет дежурного офицера и говорю ему: 'Предаю себя Господу и в твои руки! Если у тебя есть мать и ты ее любишь, скажи, что вы сделали ошибку, что вместо другого схватили моего собственного сына. Да, я знаю, он непослушный мальчик! Связался с дурной компанией, играет в карты, отольются мои слезы тем, кто в этом повинен. Но он не мог, не мог сделать ничего такого серьезного, чтобы сажать его сюда'. А он мне и говорит: 'Как тебя зовут?' На "ты". 'Как тебя зовут?' – 'Лонгу'. – 'Ну так вот, госпожа Лонгу, вижу я, что ты достойная женщина и понимаю твою боль, но ошибки не было. – И тут он переглядывается с другим офицером, который был в кабинете. – Твой сын *виновен* в преступлении – очень скверной краже. И хуже всего то, что он отказывается назвать имена своих сообщников. – И снова обменивается взглядом с товарищем. – Такой вот образ мыслей у нынешней молодежи: для них бесчестье – объявить имена нескольких бродяг, чтобы тех покарало правосудие, как они того заслуживают, а вот воровать они непристойным не считают!..' И хотя я знала, чего стоит правосудие этих мерзавцев, и не имела ни малейшего желания сидеть и слушать проповеди этого жандарма, но сидела и терпеливо слушала. И когда он закончил, спрашиваю: 'Господин капитан, – он был всего лишь младшим лейтенантом, но я специально решила назвать его капитаном, чтобы задобрить, – расскажите мне, господин капитан, что же именно произошло, может, я как мать смогу вам помочь. Возможно, мне он расскажет то, в чем не хочет сознаваться вам. Но только дайте слово, – говорю ему, – что вы сделаете все возможное, чтобы облегчить его участь'. Он коротко пересказал историю кражи, дал мне в спутники унтер-офицера, Калапотакиса, – мы с ним с тех пор сделались большими друзьями, – спустились мы к камерам, он крикнул 'Лонгос! Лонгос!', и тот появился перед решеткой. Увидел меня и аж в лице переменился. Начал было улыбаться, но улыбка замерзла у него на губах. Я чуть было в обморок не шлепнулась. 'Димитри!' – говорю ему, и у меня перехватило дыхание. Это был *первый* раз, когда я увидела его за решеткой. И когда я наконец пришла в себя, то насела на него, и так, и этак, в общем, дожала и он назвал-таки имена своих сообщников...

...Когда был назначен день суда и мы узнали, кто будет председателем, я вспомнила об Арменопулосе и, несмотря на то, что уже годы и годы его не видела и давно уже не была с ним в близких отношениях, все же пошла к нему и снова упала в ноги. 'Господин прокурор, – говорю ему (на этот раз я не осмелилась, как когда-то, назвать его на 'ты'), – господин прокурор, вы, как человек, знающий истинную причину падения моего дома, причину, по которой мой сын пошел по скользкой дорожке, сделайте, что в ва-

ших силах, чтобы его не осудили и не испортили анкету!' И бедный Арменопулос тут же сел к столу и прямо при мне написал письмо председателю суда, которое тому каким-то образом подсунул наш адвокат незадолго до начала процесса. И Калапотакис, который засвидетельствовал, что в предварительном заключении тот проявил раскаяние и примерное поведение, и председатель суда, который был необъективен до скандала, — все мы попытались его спасти. Но все наши усилия пошли прахом. Он уже раскаялся, что назвал мне имена своих сообщников, и его мучили угрызения совести. За все время суда он ни разу не повернулся, чтобы на меня посмотреть. Сделал все возможное, чтобы произвести на присяжных плохое впечатление, как будто ему не терпелось снова оказаться в тюрьме. Когда несчастный председатель, не как судья, но как отец родной, спросил его, кто из всей шайки задумал кражу, он вздернул голову, ну ровно твой упрямый осел, и крикнул: 'Я!' Кончилось тем, что остальных приговорили к трем месяцам, а моего к четырем...

...От всех этих переживаний я заболела. Снова у меня начались проблемы по женской части. Врач назначил новые прогревания. Только одна душа моя знает, что со мной было каждый раз, когда я отправлялась навестить его в тюрьме Эптапиргио. Сначала он не хотел меня видеть. Ему говорили: 'Пришла твоя мама', а он отвечал: 'Передайте, чтобы больше не приходила'. Но как начал совсем помирать без сигарет, попросил прийти. Прошло два месяца. Как-то днем, сумерки уже были, я вернулась из тюрьмы и прилегла, чтобы хоть как-то прийти в чувство, как вдруг открывается дверь и входит Елена с бесстыжей улыбкой на губах, а на голове — какая-то идиотская шляпка. 'Ах ты дрянь такая! — закричала я на нее. — Где же ты шлялась столько времени?! Что это ты такое вытворяешь со своим мужем, а? Да как ты жить собираешься без защитника и кормильца?' — 'А я не нуждаюсь в кормильцах!' — 'Ты-то, может, и не нуждаешься, а о детях подумала? Как они, сиротки несчастные, будут жить без отца?' — 'Как все несчастные сиротки!' — 'Ты, девочка моя, совсем Бога не боишься? — говорю ей. — Неужели ты полагаешь, что такое преступление может остаться безнаказанным? Или пример твоего отца тебя вообще ничему не научил?' — 'Оставь моего отца в покое, не смей даже имени его произносить!' — 'Да как же мне его не вспоминать, когда ты — вылитая он! Заставила человека оформить на тебя дом, все, что он нажил непосильным трудом, и на следующий же день бросаешь его, да еще, жестокая, оставляешь ему один-единственный матрас на полу, прямо как издеваешься над человеком! Что ты улыбаешься, ты, я к тебе обращаюсь, что, по-твоему, это так смешно, есть повод посмеяться? И в конце концов, ладно, — говорю ей, — ты все это сделала, повадился кувшин по воду ходить, там ему голову и сломить, дело твое, но неужели же ты не могла появиться и поддержать меня в беде? Да что же это, ты совсем не интересуешься, что происходит с твоим братом?' — 'Ну и на что ты хотела, чтобы я пришла? Чтобы что делать? Чтобы я дала судье, чтобы он его освободил?' — 'По, по! Да вы только послушайте, что за язык у этой девчонки! Посмотрите на это бесстыдство! А где малышка?' — 'Я пошла и бросила ее в аристократическом заведении твоего пьяницы-зятя. Да, и давай сюда твоего внука, если он тебе не требуется в качестве дам-де-компани, так я и его туда же отправлю. Он хотел сына, так вот пусть он теперь ему всю плешь проест. А я хочу свободно прожить свою жизнь!' — 'Свободно! — говорю ей. — Да что это значит — свободно, и *куда*

это тебя приведет такая свобода? Сходила бы, что ли, к Софитце, чтобы она рассказала тебе новости о своей дочери. Ты знаешь, что Рина докатилась до борделя?' Она вспыхнула как спичка. Никогда ей не нравилось слушать правду. 'Присматривай лучше за своим бродяжкой-сыном, — говорит она мне, — и пусть тебя не беспокоит, что станется со мной'. — 'Мой бродяжка-сын, — говорю ей, — мужчина, и у него есть пиписька, и что бы он ни сделал, ни один козел ему слова сказать не посмеет. Хочешь сказать, что с женщинами дело так же обстоит?' — 'Так же и даже лучше!' — 'Я только молю бога, дочь моя, — ответила я ей на это, — чтобы не пришлось тебе горько раскаиваться, потому что я — твоя мать и за тебя переживаю, а ты... говори ты, что хочешь...' Она встала и ушла. Не прошло и десяти минут, как прибыл Бабис с младенцем на руках. 'Мама, п-п-п-ришла, — он когда волновался, а при этом был трезвый, всегда ужасно заикался, — п-п-п-ришла и бросила ребенка на стуле. Ч-ч-ч-ч-то мне с ним делать, мама, к-к-к-к-к-уда нести?..' И знаешь, Нина, я вдруг увидела, как за одну секунду человек постарел на десять лет. 'Так, оставь ее здесь, — говорю ему. — Что уж мне, горемычной, с вами делать. Не хочу никого обвинять. Одна только злосчастная судьба виновата...' И вот снова-здорово начала я нянчиться с младенцем. Но недолго. Где-то через месяц снова объявилась моя дочь, на голове уже *другая* идиотская шляпка, и говорит мне: 'Я пришла забрать своих детей!' — 'И куда ты их поведешь?' — 'Пойду и сброшу их с балкона Белой башни, чтобы утопить их! Есть другие предложения?..'"

8

Потом они снова переехали. Они меняли дома как перчатки. Каждый новый эпизод происходил и в новом доме, прямо как в театре, где для каждого действия меняют декорации. Просто чудо, что Тодорос ухитрился стать таким организованным при такой-то жизни.

"...Мой старший сын, значит, жил в Афинах. Димитрис служил в авиации. Дом Камары, о котором я тебе рассказывала, был слишком большим и дорогим для двух одиноких женщин. И прежде чем мы бы убедились, что Тодорос нашел хорошую работу и может помогать нам деньгами, мы должны были затянуть пояса потуже. Нашли мы домик подешевле в одном переулке в Эгнатии: две комнатки и кухня, ни одного окна на улицу, зато в глубине — дворик между тремя высокими домами. Летом в нем было прохладно, так что я с удовольствием дремала там после полудня. Но когда началась зима и зарядили дожди со снегом, то стены, несмотря на все обещания хозяина, начали отсыревать, в пасмурные дни ты не видел, что у тебя под носом делается от пара. Что экономили на плате за квартиру, уходило на керосин. На первом этаже жил дантист, лет сорока, и старушка-домработница, которая ему стирала да готовила. На втором — обитал сам хозяин с женой и ребенком. Он был хорошим человеком, приветливый такой, любезный, но вот жена его оказалась сущей ведьмой. С первого же взгляда я поняла, что мы не поладим. И не промахнулась. Мы еще и месяца не прожили, как начались скандалы. Одна моя приятельница, Софитца — дай ей Бог здоровья — подарила нам собачку. Мы ее назвали Хиони, Снежинкой. Шерстка у нее была белой как снег. Ну что тебе сказать, Нина, более умной собаки я в жизни своей не видывала. Она только что не разговари-

вала. Димитрис мой с детства обожал собак. Как у него увольнительная, он к нам бежит, и не чтобы нас повидать, а все больше чтобы с Хиони поиграться. Научил ее всяким фокусам: бросал тапочек во двор, она за ним бросалась и приносила обратно. Говорил: 'Служи!', и эта дьяволица вставала на задние лапки и ни за что не опускалась обратно, пока он ей не скажет: 'Вниз'. Получше всяких там цирковых собачек была. Но эта ведьма, хозяйка, на дух собак не переносила. И пошло-поехало: сегодня она верещит, что у собаки клещи, завтра — что эхинококки. 'Василаки! — кричала она своему сыну как можно громче, чтобы и я услышала. — Иди-ка, сыночек, ко мне, не подходи близко к этой грязной собаке, а то еще подцепишь каких хионококков!..' Она нудела, что собака написала в цветнике и теперь у нее завяли все подсолнухи. 'Ну и что за чушь ты несешь здесь о каких-то там подсолнухах, дорогая моя госпожа Маргарити, — говорю я ей однажды. — Может, поговорим, э? Тут что, в этом склепе столько солнца, что можно выращивать *подсолнухи*, э?' Чтоб ты не думала, голубка моя, что ты одна здесь умная и умеешь острить и играть словами — так я себе сказала. В конце концов, она стала угрожать: не выгоню собаку — она ее отравит. 'Пусть только попробует, — тут же взвился Димитрис, когда я ему об этом рассказала, — узнает, почем фунт изюма!' — 'Оставь свое бахвальство для себя любимого, храбрец ты мой! — говорю ему. — С меня же хватит. Ты уже и так постарался на славу, чтобы испоганить свою анкету. Я сама знаю, чем ее прищучить, когда настанет подходящий момент'. Подходящий момент не заставил себя ждать. В один прекрасный день она вышла на черную лестницу и давай как пономарь: 'Мы не можем жить спокойно, пока эта грязная собачонка здесь находится!..' — и так далее и тому подобное. Сначала я делала вид, что не слышу. Но как поняла, что она нипочем не успокоится, пока я не отвечу, выскакиваю во двор, задираю халат, а на мне даже трусов тогда не было, поворачиваюсь и пержу ей прямо в лицо, прррр! И где только взяла, Нина? Прямо как по заказу. И говорю ей: 'Вот тебе мой ответ, госпожа Маргарити, причем на твоем родном языке!' Возвращаюсь к себе, и грохаю дверью..."

"Ты что, правда это сделала, кира Экави? Задрала халат?"

"А почему бы нет? Она меня достала по горло. Бывают люди, которые слов не понимают. С этого дня она уже не осмеливалась устраивать мне сцены. Как сталкивалась со мной у калитки, краснела как свекла. Как будто говорила: 'Ну разве мне справиться с этой задницей!' Но если я тебе все это и рассказываю, то только для того, чтобы ты поняла, в какой тяжелой фазе были наши отношения с домовладельцами, когда в одно прекрасное утро прибывает моя многоуважаемая старшая дочь и без лишних церемоний объявляет: 'Буду с вами теперь!' Так вот она говорила. Из всех моих детей она одна усвоила эту отвратительную салоникскую манеру говорить. Я уж не говорю о ее лексике: сестру она называла кардесиной, а полотенце для лица — пескирой. 'Буду с вами теперь!' — говорит она мне, даже не поинтересовавшись, а хочу ли, могу ли я ее принять. Я знала, что уж на этот раз у хозяйки будут все основания для бешенства. Но даже если бы и не было хозяйки, оставался вопрос площади. Дом, как я тебе уже говорила, был крошечным. Мы еле-еле впихнули нашу собственную мебель. Но как бы я сказала 'нет'? Она всегда жаловалась, что мы не считаем ее членом семьи. Ну разве с Еленой можно договориться? Она приходит в бешенство, обижается, все ей кажется, что мир смотрит на нее искоса и желает ей всяких гадо-

стей. 'Ну давай, — говорю ей. — Ужмемся еще немного, в тесноте, да не в обиде'. О хозяйке и наших скандалах и слова ей не сказала. С нее сталось бы подумать, что я ей это специально говорю. Сначала все шло хорошо. Хозяйка молчала, сама Елена была просто образцом дружелюбия. Но недолго. Очень скоро мы начали ругаться по самым глупым поводам. Она закатывала мне истерики из-за того, что я брала Акиса на руки и пела ему песенку, которую когда-то слышала от моей покойной матери:

У меня есть сын, и я рада,
Что невесткой буду богата,
У меня есть дочь, и мне радости не видать,
Где я буду ей приданое искать...

Она злилась, что я не вожусь с ее дочерью. Господи, прости, но более безобразного ребенка я в жизни своей не видела. Голова у нее была как бутылочная тыква. 'А что, у меня нет права возиться с каким хочу ребенком? — говорила я ей. — Тебе-то кто мешает самой взять свою дочь да и приласкать ее?'. Она выходила из себя. Говорила мне, что я слаба по части мальчиков, что от мальчиков я когда-нибудь и получу по полной, что все эти мои ласки да заботы погубили Димитриса, что, когда она была маленькой, я ее била без всякой на то причины, потому что ревновала. *Без причины!* Я вот однажды сяду да расскажу тебе все, что она вытворяла, пока была маленькой, так у тебя волосы дыбом встанут. 'Ты ко мне ревновала!' — твердила она. Это я, Экави, ревновала к Елене? Со смеху лопнуть! 'Ты была сумасшедшей истеричкой, *поэтому* отец тебя бросил и ушел к Фросо!' И слово за слово начинался скандал, да такой, что нас вся округа слышала. И если до этого ни хозяин, ни его жена не говорили мне ни слова, то через два месяца он меня остановил и очень вежливо сказал: 'Госпожа Лонгу, вы знаете, что до сегодняшнего дня я не вмешивался в ваши разногласия с моей женой. Я знаю, что она женщина немного нервная и вспыльчивая. Кроме того, я взял за правило не вмешиваться в женские склоки. Но вот проблема гостей, госпожа Лонгу, проблема гостей... Хорошо бы, чтобы мы с вами больше не возвращались к этому вопросу...' Я не знала, куда девать глаза. Не знала, что ответить. Долгих им лет жизни, но их было трое. 'Как бы там ни было, она вот-вот закончит свой дом, господин Маргаритис, — говорю ему, — только вот отделка осталась. Потерпите немного. Как вы знаете, — продолжаю, — ее муж умер и оставил ее с двумя сиротками'. А что я должна была ему говорить, чтобы разжалобить? Как мать, я должна ей помогать... Елене же я снова ни словом не обмолвилась об этом разговоре. Только с Поликсеной и обсудила. 'Будьте готовы найти новый дом, — вот что она мне сказала, — или *я* должна сделать и эту работу?' Бедная Поликсена! Она всегда была мужчиной в доме. Приносила мне весь свой заработок. И мало всего этого, так я вдруг обнаруживаю, что Елена связалась с дантистом с нижнего этажа! 'Не ты ли мне говорила, — заявляет она мне со своей обычной наглостью, — что надо найти себе порядочного молодого человека, выйти замуж, чтобы мои дети не остались без отца? Чего ж ты теперь бесишься?' Ты поняла, Нина, она имела бесстыдство надо мной же и смеяться. 'Слушай, ты за кого меня принимаешь, а? — говорю ей. — Что, других мужчин больше нету, все как один повывелись? Надо тебе связаться именно с тем, кто живет в нашем доме, чтобы хозяйка узнала и вышвырнула нас отсюда в полсекунды?' Но,

разумеется, я была вынуждена проглотить и это. Ладно, сказала я самой себе, в конце концов давай посмотрим, что из этого дела получится. Вполне вероятно, что она его окрутит, тогда и она успокоится, и мы от нее избавимся. Однажды, днем уже, часов пять было или полшестого, прибегает ко мне Софитца и говорит: 'Я ненадолго, у меня проблемы с Риной. Я тебе потом об этом расскажу. Я буквально на секунду залетела, чтобы узнать, что тут с тобой происходит, что это тебя так давно не видно, не слышно! Кстати, ты слышала новости о своем прежнем домовладельце Давикосе?' — 'Какие еще новости?' — 'Ну ты даешь, — говорит она мне, — ты что же, газет совсем не читаешь, что ли?' — 'Когда Тодорос был здесь, он приносил 'Фос'. Теперь же, когда его нет, мы газет не покупаем, это тоже расходы, дорогая Софитца. Так что же случилось с Давикосом?' — 'Он поджег свой дом, чтобы получить страховку'. — 'Да не может быть!' — 'Очень даже может. Весь верхний этаж сгорел до головешек'. — 'Да что ты, Софитца, да разве может это быть правдой?' — 'Уф, Экави, какая же ты все-таки иногда бываешь наивная! — отзывается она. — Будто сама не знаешь этих скупердяев. От людей, которые Христа распяли, *всего* можно ожидать... У него на верхнем этаже жила семья христиан, и не только они ему задолжали за семь месяцев, но и самому Давикосу нужна была квартира для Аллегры, его старшей дочери. Она собирается замуж за одного еврея, торговца тканями, и им негде жить. Он трижды пытался выселить их через суд, но безрезультатно. У них связи в полиции. И чтобы их все-таки выселить, он и задумал аферу с поджогом. Однажды вечером он подождал, пока все уснут, залез к ним на кухню через воздуховод, инсценировал поджог, потом вышел через парадное как хозяин, пошел в кафе на другой стороне улицы, заказал узо и завязал беседу с завсегдатаями, чтобы сфабриковать себе алиби. Так, во всяком случае, утверждал адвокат страховой компании в суде. Не прошло и часа, как сквозь черепицу на крыше повалил дым. Давикос бросился на улицу и давай рвать на себе волосы. 'Мой дом горит! Мой дом горит!..' Люди из той квартиры, что горела, тем временем проснулись, запаниковали и начали выбрасывать вещи со второго этажа. Дочери Давикоса выбежали на улицу как были, в ночнушках, а потом вспомнили о своей бабушке — они ее бабулей звали — она сама ходить не может, и как начали визжать, ну прямо настоящие жидовки, жидовки они и есть. Вся округа встала на уши. Пока прибыли пожарные, наверху пожар уже так разошелся, что стреляло почище всякого фейерверка. Как огонь не перекинулся и на другой этаж — просто чудо! На следующий день Давикос появился в страховой компании, чтобы выправить бумаги и получить страховку, но компания отправила на место экспертов, те обнаружили, что здесь дело в поджоге, и подали в суд. Но старого скрягу оправдали единогласно. Он получил компенсацию, на которую не только отремонтировал сгоревшую квартиру и поселил там Аллегру с ее мужем-жидом, но и купил ей участок за городом, в Харилау'. Когда Софитца ушла, я говорю моей дочери: 'Давай, Елена, поднимайся и пойдем посмотрим на дом. Заодно и прогуляемся. Еще немного, и мы здесь совсем заплесневеем'. С тех пор как она связалась со своим дантистом, очень редко выходила на улицу. Взяли детей за руки и направились к Диагониос. В тот же самый день, не иначе как нечистый постарался, дали Димитрису увольнительную — в то время он служил в Седес. Он пришел домой, наткнулся на запертую дверь, открыл ее

по своему обыкновению гвоздем, вошел, поел — у меня в кастрюле были баклажаны имам баилди, погладил свою форму и ушел. Когда стало смеркаться, я кивнула Елене, что пора уходить. Виктория приняла нас со всеми церемониями. Она по-прежнему была безумно влюблена в моего сына. Показала нам дом и сварила кофе, но я не хотела дольше задерживаться. У меня не было желания, чтобы пришел Давикос и увидел нас вместе со своей дочерью и начал верещать, что мы ее специально с пути сбиваем, потому что нацелились на его барахло. А поскольку был июль и стояла жуткая жара, то я говорю Елене: 'Не пойти ли нам и не посидеть ли немного в парке?' — 'Отчего бы и не пойти...' По дороге мы зашли в аптеку, где работала Поликсена, и сказали ей, где будем, чтобы она пришла за нами и мы все вместе вернулись домой. По случайности туда же пришла и села на нашу скамейку одна моя знакомая, еще с тех времен, когда я была вместе с моим замечательным мужем, завязалась беседа, вспомнили былое. Детей мы отослали поиграть. 'Возьми сестренку за ручку, — говорю я Акису, — и бегите поиграйте с остальными детьми возле фонтана. Но чтоб ушки на макушке. Чтоб вернулись в ту же секунду, как я вас позову!' — 'Чьи это детки?' — 'Моей дочери'. — 'Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Какие милые ребятки, дай им бог счастья да здоровья', — говорит она Елене. Елена от гордости раздулась как лягушка. Первый раз я видела, что и она, как и прочие мамаши, гордится своими детьми, да к тому же к великому моему изумлению (потому что обычно она на дух не переносила моих приятельниц), она была общительна и любезна. Ах, какой же это был чудесный вечер! С моря дул легкий ветерок. В каком-то кафе играл патефон. В то время в большой моде была "*Резеда*".

Сладкая моя Резеда, в те годы прошедшие
И забытые, ужели ты не скажешь, почему...

Так мы приятно проводили время, болтая о том о сем, пришла Поликсена, купила нам по стаканчику мороженого, и чуть позже мы подхватили детей и, счастливые и довольные, направились домой. Я была такой счастливый в тот вечер, Нина. Не могу тебе даже описать то счастье, которое меня переполняло. Примерное поведение Елены меня поразило. Что это с ней такое случилось, что она согласилась пойти со мной к Давикосам, а потом в парк? Да еще была такой душевной! Что это за нежданное чудо? Ах, Господи, признаю, что немало согрешила в этой жизни, пусть даже это было и по глупости, и ты по справедливости меня покарал, но теперь-то, теперь-то хватит! Достаточно я натерпелась. Дай и мне спокойной старости. Сделай так, чтобы я жила в мире и любви со своими детьми, без злобы и ненависти. Ну что мне, Господи, делить с Еленой? И чего мы ругаемся? И она ведь тоже неудачница, несчастная, как и я.Чтоб ей пусто было, этой Фросо и отцу, которые выдали ее за Бабиса. Но, в конце концов, что было, то было. Сделай же так, Господи Всеблагой, чтобы она окрутила своего дантиста, чтобы он на ней женился и не пропали ее юность и красота даром! Ее не жалеешь — пожалей хотя бы детей. Эти невинные детки ничего еще не сделали, чтобы так мучиться за грехи взрослых...

Когда мы дошли до дома, я прошла вперед открывать, ключи были у меня, сую ключ в скважину и вижу, что дверь открывается сама по себе! Мы вносимся внутрь. Пока нашла спички, чтобы зажечь лампу, чуть было концы не отдала. Елена выхватывает ее у меня из рук, бежит к своему буфету,

выдвигает ящик, где она хранит шкатулку со своими украшениями, и давай бить себя по щекам. 'Подвеска!' – и хлоп по щеке. 'Елена! Дитя мое! – кричу ей. – Не переживай ты так, приди в себя, поищи хорошенько'. Ах ты мерзавец Бог! Ты что, не хочешь, чтобы я пожила спокойно? Что же ты за Бог, если не можешь услышать мольбу матери? Чтобы черт подрал и Давикоса, и этот парк, что мне, старой дуре, только приспичило идти в люди? 'Что будем делать? – спрашиваю у Поликсены. – Как поступим?'. Эту подвеску ей свекор подарил на свадьбу. Свекор-то был одним из лучших ювелиров в Салониках. Она была из чистого золота, с гигантским рубином размером с фундук, а вокруг него рассыпаны бриллиантики. Как раз в эти дни она думала отнести ее к скупщикам оценить, и если бы те дали хорошую цену, то и продать, чтобы расплатиться с мастерами и закончить уже дела с домом. Само собой, мы тут же заподозрили Димитриса. Елена падала в обморок, приходила в себя, снова лишалась чувств. Мне было жаль ее так, что сердце разрывалось. Что ж, я встала, подобралась и давай чесать по кофейням, в которых он бывал. Заходила внутрь и спрашивала официантов и завсегдатаев, не видел ли его кто. Никто его не видел. Я уже собралась было вернуться несолоно хлебавши, как вспомнила про Арапо. Арапо была одной из этих чрезвычайно непорочных дев, она подобрала его, когда ему было семнадцать, и он ей пришелся по вкусу. Тем временем она сделала карьеру, стала мадамой, и теперь другие работали на нее. 'Дом' находился за пожарной частью. Она жила на верхнем этаже и имела отдельный вход. Все это я знала от своего сына, который приходил и с обычной наглостью бахвалился своими сутенерскими подвигами. Сажусь на трамвай, спускаюсь в Синдривани, спрашиваю, где дом Арапо, иду и стучусь к ней. Вход-то к ней *был отдельный*, да вот только железная лестница была открыта взгляду, так что видно было все, что там делается. Я смотрела на моряков и солдат, которые входили-выходили, и меня чуть не стошнило. Никогда не могла понять, как они могут становиться в очередь, чтобы трахнуть женщину, которую только что поимел кто-то другой. Мало того, что я в муках родила тебя, сын мой, говорила я сама себе, так теперь еще и до борделя докатилась по твоей вине!.. Наконец вышла какая-то старуха и открыла. По ее роже было ясно, какой такой работой она занималась смолоду. 'Скажи своей хозяйке, – говорю ей, – что я желаю ее видеть. Я – мать Димитриса...' Но не успела старуха вернуться в дом, как в дверях появилась сама Арапо. Услышала разговор и вышла. Почему ее звали Арапо, понятия не имею. Вся она была какая-то желтая, с дряблым телом, раскрашенная как Карагезис, а платье красное как адское пламя. Господи ты боже мой, подумала я, и с этим вот чудищем спит мой сын? 'Не бойся, – говорю ей, – я против тебя ничего не имею и пришла не для того, чтобы тебе здесь сцену устроить. Нравятся тебе молоденькие, имеешь моего сына, ну и пожалуйста, ну и на здоровье! Но молю тебя Господом Богом, в которого ты веришь, *если* ты вообще веришь в Бога, скажи мне, он у тебя или нет. Мне очень нужно его увидеть. С его сестрой произошло несчастье', – говорю ей. Она заметно успокоилась. Смерила меня взглядом сверху донизу, будто оценивала. 'Подождите', – говорит. Заходит внутрь, и я слышу какое-то шу-шу-шу, и через несколько мгновений нате вам – явление моего сына, да еще и в пижаме, скажите пожалуйста, да в такой, которая была ему так велика (кто знает, кому из всех ее любовников она принадлежала), что пришлось подвернуть рукава. Едва меня увидел, как на губах у него нарисовалась

обычная виноватая усмешка, он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я его опередила. 'Ах ты сукин сын, — говорю ему, — и зачем только я произвела тебя на свет! Отдай мне подвеску твоей сестры немедленно, иначе я *прямо* сейчас пойду и заявлю на тебя!' — 'Да какая еще подвеска, мамочка!' — говорит он мне. Или в самом деле был ни при чем, или только разыгрывал неведение. 'Да ты еще смеешь мне тут спектакль играть? — говорю ему. — Не ты ли пришел днем и вскрыл дверь?' — 'Ну да. Я открыл ее гвоздем, — отвечает он мне, — погладил форму, поел баклажанов, покормил Хиони и ушел. Я знать не знаю, о какой такой подвеске вы мне тут рассказываете, мама, я даже не знал, что у Елены вообще была какая-то подвеска'. — 'Клянешься костями отца своего?' — 'Да хоть вашей жизнью, — говорит он мне, — только чтобы вас порадовать!' — 'Оставь мою жизнь в покое! — говорю ему. — Если бы ты хоть чуточку интересовался моей жизнью, давно бы уже позаботился о том, чтобы стать нормальным человеком. Клянись костями отца своего, ну!' — 'Какая вы смешная, — говорит он мне. — Вы же знаете, что я не верю в клятвы, но раз вы настаиваете, хорошо, клянусь...' — 'Раз он говорит, что не брал", — вскинулась тут Арапо, — значит, не брал!' Ну, пошли яйца курицу учить. Как будто я сама не знала, когда мой сын лжет, а когда говорит правду. 'Вы уверены, — снова влезает она, — что хорошо поискали? Вот и я в прошлом году потеряла золотой браслет и думала, что его украла бедная Арети (Арети, с вашего позволения, та старая ведьма, которая открыла мне дверь), ох и бесилась же я, и напрасно, пошла к медиуму, а она мне и говорит: твой браслет внутри дома, поищи хорошо и найдешь... Я поискала и нашла его в корзине с грязным бельем...' Я ничего на это не ответила. Только посмотрела искоса. Может, я и опустилась до того, чтобы переступить порог этой шлюхи, сказала я самой себе, но вот тебе, голубушка, не стоит заблуждаться, ты мне не ровня. Обычно, Нина, я не осуждаю женщину за то, что у нее есть мужчины. Знаю, что многие изо всех этих проституток в глубине души достойнее некоторых девственниц будут, но вот от этой меня трясло. Как подумаю, что она спит с моим сыном, так у меня все кишки наружу выворачивало. 'Одевайся, — говорю ему, — и давай со мной, поклянешься перед своей сестрой, что ты его не брал. Нет у меня духу одной возвращаться'. — 'Иди, Мими', — говорит ему Арапо, как будто требовалось ее соизволение, и насупилась. Мы ей, видишь ли, вечер испортили. Зашел в дом, натянул свою одежду, мы сели на трамвай и поехали. Дети уже спали. Поликсена прилегла на кровать, но не спала. Елена сидела на канапе с платком в руке. Выглядела ну что твоя плакальщица над покойником. Но увидела брата — и ожила. Вскочила и бросилась на него как разъяренная тигрица. Димитрис схватил ее и выкрутил руки. 'Нечего мне тут драки устраивать, — говорит ей, — а то я тебе физию-то попорчу!' — 'Господи Пресвятая Богородица, — кричу я, — отпусти ее. Не понимаешь ты, что ли, она потеряла дорогую вещь и расстроена? Елена, дитя мое, — говорю ей, — твой брат клянется костями отца твоего, что не знал даже, что у тебя была эта подвеска. Поищи получше, детка, может, его сатана припрятал, чтобы нам тут все вверх тормашками перевернуть. Вот Арапо мне говорила, что тоже потеряла золотой браслет и все обыскала, а потом пошла к медиуму...' Если бы она могла убивать взглядом, я бы сдохла в ту же самую минуту. 'Ах, медиум? — визжит. — Сейчас я тебе покажу медиума!..' Вскакивает, проносится как буря и хлоп дверью. Измученная и душой и телом, я упала на канапе. 'Мерзавец! — говорю своему сыну. — С тех пор как я тебя родила,

ни секунды покоя не было, ни одного ясного дня не видела. *Крак!* — вот что сделала икона Святого Димитрия, когда я тебя родила. Убирайся!.. Убирайся, чтоб глаза мои тебя не видели! Возвращайся к своей шлюхе, которая тебя с ног до головы облизывает! Тьфу, сгинь, чтоб тебе пропасть! Спать со старухой, старше твоей матери!..' Он встал и ушел. И не успел он повернуть за угол, как подоспела Елена с двумя сыщиками.

...Назатра было воскресенье. Поликсена не работала, осталась дома и пыталась меня привести в чувство, потому что я как вскипела, так все не могла успокоиться. 'Да не переживайте вы так, — говорила она мне, — вы же знаете свою дочь. И она такая же шизофреничка, как вы, в глубине души вы обе — два сапога пара, поэтому все время воюете друг с другом'. Поликсена всегда была самой хладнокровной и сдержанной из всех моих детей. В моих стычках с Еленой она всегда придерживалась нейтралитета. 'Ну что, мне с ней воевать все время, ты, негодяйка? — спрашиваю ее. — *Я*, что ли, взяла ее подвеску или *я* виновата, что пришел этот бродяга, сломал дверь и забрались воры? Разве мы с ней не провели душа в душу весь день? Даже если, предположим, он украл, чтоб ему руки-то пообломали, помоги мне, Пресвятая Богородица, большая нужда ей, собаке такой, была привести в дом этих жандармов, чтобы меня допрашивали как воровку?' — 'Вы преувеличиваете'. Она всегда мне говорила, что я преувеличиваю. 'Ах, господи боже мой, — говорю я, — и о чем я только думала, когда позволила Елене поселиться у нас? Что мне теперь делать? Как поступить?' — 'Сидеть тихо и перестать причитать и раздражаться'. — 'А если его арестуют и выяснят, что это и в самом деле он украл, и запрут его в темнице?' — 'И очень хорошо сделают'. Она не была матерью и не могла понять моей боли. Вот станет — может, меня и вспомнит. Сели мы поесть. Я ела и плакала. Сама того не желала, но глаза мои постоянно наполнялись слезами. 'Я вот что-то не могу понять, какое из пирожных вас так расстроило? — говорит мне Поликсена. — Насколько я знаю, когда люди в самом деле расстроены, у них аппетит как ножом отрезает. А вот у вас с ним, кажется, все более чем в порядке. Оставьте уже свое нытье и будьте хотя бы чуть-чуть посерьезней!' Ну, я вышла из себя. Она постоянно меня осуждала, да и сейчас продолжает, за то, что я устраиваю сцены. Ей совершенно невозможно объяснить, что чем сильнее я расстроена, тем больше мне хочется есть. Такова моя природа, в конце концов, но до нее это никак не доходит. Еще немного, и я бы *и* с ней поругалась. Елена отправилась вместе с детьми в какую-то таверну позавтракать, и когда вернулась, они вышли во двор поиграть немножко перед тем, как придет время ложиться спать, а моя дочь уселась на полу на матрасе — мы не ставили кроватей ради экономии места — и давай курить как паровоз. Одну погасит, другую зажжет. Я смотрела на нее, и жалко мне ее было аж жуть, но не смела ничего сказать. Елена была что дикий зверь. Ты видишь, что он занозил себе лапу и больно ему, подойдешь вытащить, а он тебя кусает. Вдруг Хиони загавкала. Она гавкала весело, как все собаки, когда они играют с детьми. Я вышла во двор, чтобы забрать их домой. С тех пор как хозяйка перестала брюзжать, я, как могла, старалась ее не провоцировать. 'Идите в дом, детки, — говорю детям, — уже полдень, все сейчас будут отдыхать'. Но Елена, которая только и ждала хоть какого-нибудь предлога, чтобы сорвать на ком-то злость, тут же вскинулась, выбежала во двор и давай их пинать да визжать: 'Вон отсюда, Бабисовы ублюдки! Марш в дом, и чтобы ни звука, иначе я вас на котлеты порублю! Если бы не

вы, я бы никогда не дошла до того, чтобы зависеть от *ее* милостей!' Это она меня имела в виду. 'Да они-то, невинные крошки, чем тебе виноваты, мегера ты этакая? — говорю ей. — Если тебе непременно надо кого-то отлупить, чтобы успокоить свои кровожадные инстинкты и уняться, давай, бей меня, чтоб тебе пусто было, атаман Папакириоцопулос! Но только знай, бедняжечка, что придет день, и даже очень скоро, когда ты горько пожалеешь о таком своем отношении и ко мне, и к своим детям, но только будет поздно'. — 'Так я пожалею, э? — говорит она мне. — Я пожалею? А ну стой, я их и *в самом деле* отлуплю и посмотрим, сбудется ли твое пророчество!' Хвать их с матраса, где они тихонечко себе сидели, и пошли тычки да затрещины. 'Ах ты убийца Кастро! — кричу я ей. — Оставь их, дрянь, оставь несчастных сироток, им и так тошно жить на белом свете, мать ты или ехидна? Чтоб Господь и Пресвятая Богородица тебя отлупили, если только Он существует, этот Бог!' — 'Он существует, — задыхаясь, кричит она и дает мне такого пинка, что я навзничь валюсь на канапе. — И потому, что Он *существует*, Он удостоит меня счастья увидеть, что ты сдохнешь, сдохнешь, сдохнешь! Сдохнешь как собака! А вот то, чего ты добиваешься, чтобы я погибла, стала нищенкой на панели, вот здесь тебе триумфа не выйдет, не получится! Я не позволю тебе уничтожить меня, как ты уничтожила нашего отца. Я буду жить и благоденствовать, чтоб ты лопнула!..' И несется в свою комнату, и хлопает дверью прямо мне в морду. 'Жить и благоденствовать! — кричу я ей. — Да глаз вон тому, кто этого не хочет. Ты еще, пожалуй, станешь госпожой дантист! Ха-ха-ха!' — 'Мама! — прошипела Поликсена, — успокойтесь уже наконец! Вам что, мало, еще одной драки хотите?' — 'А ты оставь меня, я тебя прошу, — говорю я ей, — я взволнована и хочу разговаривать. Когда ты расстроена, ты предпочитаешь запираться в своей комнате и голодать. А вот мне нравится есть и разговаривать, ты меня что, перевоспитывать сейчас будешь? Разве не лучше сказать то, что нам есть сказать, чтобы облегчить душу, вместо того чтобы держать все в себе?' — 'Но разве вы не понимаете, что так вы еще хуже делаете?' — 'Нет, не понимаю! — отвечаю я ей. — Нет ничего хуже молчания, когда ты ссоришься с теми, кого любишь. Если бы она была посторонней, я бы вообще с ней не разговаривала или самое большее и ей бы жопу показала, как хозяйке. Но она же моя дочь. Я не могу слушать, как она говорит все эти чудовищные вещи, и не отвечать ей. Или ты не слышала, как она сказала, будто бы это *я* погубила вашего отца?' — 'Ты! — кричит эта из-за двери. — Ты — причина нашей погибели, всех нас! Ты погубила своего оборванца-сына, ты его подучивала не слушаться Фросо, и ты ее вынудила выгнать его на улицу. Но раз ты его так сильно любишь, через него тебя Господь и покарает! Сначала ты увидишь, как он сгниет в тюрьме, а потом испустишь дух!!!' — 'По, по, по! — кричу я. — Господи, прости ее, она безумна и не ведает, что говорит, не слушай ее!' — '*Я знаю*, что говорю, и очень даже хорошо! — кричит она мне. — Спроси хоть свою дочь, увидишь, что и она тебе то же самое скажет. Не думай, что, раз она вежливая и молчит, она с тобой согласна. Спроси ее!' — 'Так это *я* виновата в том, что ваш отец бросил меня?' — спрашиваю я Поликсену. Поликсена промолчала. 'Ты! — снова визжит Елена. — Ты, твоя ревность и твои истерики, как будто бы он был единственным мужчиной в мире, у которого были любовницы! Может, и у тебя какой любовничек завелся? Уж мы-то знаем! Все Салоники знают!' — '*У меня* были любовники? *У меня*? Да назови хоть одного!' — 'Папатанасиу!' — 'Какой еще

Папатанасиу?' — 'Да адвокат, теперь ты делаешь вид, что не понимаешь?' — 'Папатанасиу был моим любовником? Да это совсем другое'. — 'Тогда почему же он бесплатно взялся за дело?' — 'Потому что ненавидел твоего отца из-за политических разногласий, как ты и сама прекрасно знаешь, и хотел ему отомстить, и я ему просто вовремя подвернулась. Но даже если и предположить, что Папатанасиу был моим любовником, — продолжаю я, — я с ним начала водиться *из-за* того, что твой отец меня бросил. Я была одинока, беззащитна, и даже если я и согрешила, так оставь Господу Богу меня судить. Ты можешь назвать мне *хоть одного* любовника, который у меня был в то время, когда я была с твоим отцом?' Она не отвечала. 'В конце концов, — говорю я ей, — оставим это. Что толку ворошить прошлое? Не тронь дерьмо — не пахнет. Открой дверь, я тебя прошу, поговорим как мать с дочерью, подумаем вместе, что теперь делать. Я клянусь, что не держу на тебя зла за то, что ты приволокла ко мне в дом жандармов. Что бы ты там ни говорила, но я тебя люблю, потому что я — твоя мать'. — 'У меня нет матери! — кричит она из-под двери. — Никого у меня нет. Мой собственный брат вместо того, чтобы помочь, меня обкрадывает. Один только человек был на всем белом свете, он меня любил, и ты его убила!' — 'Он тебя любил?! — говорю я ей. — Не смеши меня! Что же он тебя за этого пьяницу Хараламбоса выдал, если так любил? Или ты у меня теперь на шее сидишь не *потому*, что он выдал тебя за Хараламбоса?..' И тут вдруг дверь открывается, и в комнату врывается Елена, бешеная как разъяренная тигрица. Бросается на меня, царапает ногтями, швыряет вверх тормашками на канапе и давай обхаживать кулаками. Поликсена была в туалете. Едва только услышала грохот, тут же выпрыгнула наружу. 'Елена! — кричит той. — Ты что маму бьешь!' Попыталась отодрать от меня ее руки, но та и ей дала пинка и шипит: 'А ну давай отсюда, иначе я и тебя выдеру. Я поклялась задать ей хорошенькую взбучку!' И возвращается к делу рук своих. Дети визжали, как будто сами получили горяченьких, но чем больше она это слышала, тем больше зверела. Я не оказывала ей ни малейшего сопротивления. 'Давай, доченька, — говорила я ей, — давай, бей, дай-ка мне еще сюда, дитя мое, я еще и не того заслужила за то молоко, которым тебя вскормила...' — 'За яд!' — визжит она. 'Бей меня, дочь моя, не бойся, я не Елена и не пойду заявлять на тебя в полицию!' И слезы ручьем бежали по моему лицу, не от побоев, но от горькой тоски. Но Елену ничто не останавливало. Когда наконец у нее же самой устала рука, она бросилась в комнату и заперлась на ключ изнутри. Растрепанная, с разбитыми губами и отекшими глазами, я повалилась на пол и смотрела на Поликсену, словно и не видя ее. Как будто выпила сто ок[1] вина. И пошла бедная девочка в кухню, рыдая, и принесла холодной воды, и поставила мне компрессы. И как только пришла я в себя и ко мне вернулся голос, говорю ей: 'Пошли отсюда! Раз мы не можем выгнать ее из нашего дома, уйдем сами'. И пошли мы потихонечку вниз по улице к Диагониос, ни слова мы друг другу не сказали. Сами того не зная, пришли мы к дому Софитцы. Едва она открыла дверь и увидела мое лицо, замерла как громом пораженная. 'Что это значит? — еле выговорила она. — Что это с тобой? Да как же это?' — 'Да ничего страшного, Софитца, — говорю ей, — просто упала и ударилась лицом о ручку двери. Свари-ка мне, дай

1. Мера веса, равная 1280 г.

Бог тебе долгих лет жизни, кофейку без сахара, я выпью и приду в себя'. Она это вранье, конечно, не съела, не была дурой, но ничего не сказала. Сварила нам кофе, достала померанцевое варенье, и мы посидели с полчасика, и она рассказала нам о своих бедах с дочерью Риной: она уже сколько времени пыталась вытащить ее из борделя, но все бесполезно. Вместо того чтобы прийти в себя и успокоиться, я страдала еще больше, сердце мое горестно сжималось. В доме у нее царил беспорядок, по вечерам к ней приходили гости и играли в карты, что тоже вносило свой вклад в общий хаос. Внезапно меня охватило удушье. Если бы я провела здесь хотя бы еще минуту, то задохнулась бы. 'Давай пойдем отсюда! – говорю я Поликсене. – Ну, ладно, Софитца, спасибо за кофе. Я загляну к тебе на днях подшить пальто и мы еще поговорим...' Мы вышли на улицу. Было около пяти. Жара стояла такая, что камни трескались. Улицы и переулки словно вымерли, повозки, проезжавшие мимо, поднимали тучи пыли. Магазины были закрыты. В кофейнях мужчины играли в нарды. В одной из них нашелся и мой сын. Он увидел нас и вышел, чтобы поболтать. 'А ну быстро! – шепчу я Поликсене. – Сделай вид, будто не видишь его'. Но он догнал нас. Стоило ему посмотреть на меня, и он помрачнел как туча. Ему не нужны были объяснения, чтобы понять, в чем дело. Не говоря ни слова, он оставил нас и бросился к дому. У меня душа ушла в пятки. 'По, по, по! – говорю я Поликсене. – Он придет домой и убьет ее, и пропадут оба-двое. Беги ты, как ты есть молодая и ноги у тебя сильные, беги, ты его поймаешь!' Она впереди, я позади добрались, наконец, до дома. Но едва мы, запыхавшись, повернули в нашу улицу, как видим – из калитки выскакивает Елена, обезумевшая, босая, в порванном платье, и давай бежать прямо в участок. За ней совершенно невозмутимо следует Димитрис с ремнем в руках. 'Злодей! – кричу я ему. – Ты ее убил, душегуб, свою сестру, родную кровиночку! Вон отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели вовеки! С мечом пришел, от меча и погибнешь!..' Вхожу я в дом и направляюсь к канапе, чтобы присесть, и чувствую, как весь мир начинает вращаться вокруг меня, словно большая юла. Голова моя склонилась на грудь, и я потеряла сознание..."

9

На следующий же день Елена собрала вещи и детей и – кончено, не кончено, не важно – перебралась в свой дом. Через несколько дней переехала и кира Экави. После всех этих скандалов и полицейских как ей было смотреть хозяйке в глаза? В новом доме Поликсена снова заболела и чуть было не умерла. Врач запретил ей морские купания, потому что она уже много лет страдала бронхами.

"Но ведь дети, Нина, у них же в голове ветер гуляет. В одно воскресенье она сбежала и отправилась вместе со своими подружками в Карабурнаки. Наняли лодку, чтобы понырять с нее, и когда она собралась прыгнуть, поскользнулась и ударилась грудью прямо о железо на носу. Мне ее принесли полумертвую. Зову врача, и он мне и говорит: 'Внутреннее кровотечение, быстро лед!' И началось – лед, укол, лед, укол, и вырвали мы нашу госпожу из пасти Харона. Но бедный же болеть не моги. Раз она перестала ходить на работу, то и денежки тоже перестали поступать. Снова начала я шить по домам, как в то время, когда меня бросил мой муж. Но

за что хвататься сначала: за шитье или уход? Как ты знаешь, я немного нервная. Не было у меня терпения, чтобы поселиться за швейной машинкой и выгрызть себе заработок, как это делает Афродита. А написать Тодоросу я не осмеливалась. Я знала, что он получил место в 'Акрополи', но платили ему сущие гроши. Ему жить или нам посылать? Я продала шубу — последнее напоминание о тех временах, когда я была с моим мужем, мы ее проели, продала старую ручную швейную машинку, съели и ее. Одному только Богу ведомо, что бы с нами сталось, если бы не появился Зеленоглазый... Как-то днем я была на кухне и жарила сардины, вдруг слышу, как стучат в дверь. Выхожу, открываю и вижу перед собой какого-то господина, уже в возрасте, седовласого и зеленоглазого: 'Добрый день'. — 'Добрый. Что вам угодно?' — 'Здесь живет барышня Лонгу?' — 'Совершенно верно. А зачем она вам нужна?' — 'Я желаю видеть ее лично'. — 'Она лично, — говорю ему, — больна. Все, что вы желаете ей сказать, можно сказать и мне. Я — ее мать'. Но, понимаешь ли, дорогая Нина, то, что он желал ей сказать, он вовсе *не* мог сказать мне. Я провожаю его в комнату Поликсены, а сама вся киплю. Предчувствие меня еще никогда не обманывало. Я понимала, что здесь дело нечисто. И в самом деле, он склоняется и, вы только посмотрите на это, целует ее в щеку, как будто они знакомы уже сто лет. Поликсена покраснела как маков цвет. Браво, деточка! — сказала я про себя. Да что это здесь происходит? Так у нас и такие знакомства за моей спиной водятся, а я и знать об этом не знаю столько времени? Но при нем я ничего не сказала. В конце концов, она уже не девочка двенадцати лет. К тому времени ей уже исполнилось двадцать три. Я не рискнула тут же устроить сцену и потребовать объяснений. Убежала на кухню под предлогом 'как бы сардины не подгорели'. Но когда наш загадочный посетитель, наконец, соизволил уйти, хвать ее за локон и говорю: 'А теперь позвольте вас спросить, кто это такой, черт его раздери? Откуда это ты его знаешь да еще так, что он имеет наглость целовать тебя в моем присутствии?' А она мне и говорит: 'Он — нотариус из Кавалы. Однажды он пришел к нам в аптеку, чтобы купить бандаж для грыжи, так я с ним познакомилась'. — 'Ах вот оно что, он — нотариус из Кавалы и у него есть грыжа, — говорю ей, — это-то и дает ему право целовать всех подряд? Деточка, ты меня *за кого* принимаешь?' — 'Оставь меня в покое, пожалуйста! — восклицает она. — Я совершеннолетняя и не обязана отчитываться, что я делаю и с кем встречаюсь!' И тут достает из-за пазухи пятисотенную, новенькую, аж хрустящую, бросает мне в лицо и говорит: 'Бросай свою болтовню и мелодрамы и пойди заплати долги бакалейщику!' — 'По, по! — взвыла я и хватаю себя за щеки. — Так мы и до этого докатились? Но если это так, девочка моя, — говорю ей, — ты пошла по той же дорожке, что и твоя несчастная сестра, так что же я, глупая, сижу здесь и рассуждаю про нравственность? Лучше я похороню тебя на час раньше, чем примирюсь с этим'. И пошло-поехало. Она в слезы, потом у нее начался кашель и удушье, я это увидела и бросилась приводить ее в чувство. В конце концов, подумала я, закрою-ка я на это пока глаза и посмотрим, что из этой истории выйдет. А что еще я могла сделать? Тьфу на вас всех, чтоб вам пропасть. Зеленоглазый был, прямо скажем, не первой свежести, но она тоже стала бы не первой и не последней девицей, выходящей за пожилого. Если он и в самом деле намерен на ней жениться, как утверждала моя дочь, тогда дела обстоят не так уж и плохо. Но между тем я

сделала все, чтобы они ни на секунду не оставались наедине. Настоящим цербером стала, пусть даже у них и не было никакой возможности заняться чем-нибудь серьезным. Она была больна, ее тело воняло от постоянных спиртовых растираний, да и он тоже все-таки не был двадцатилетним живчиком. Сидел только у нее в ногах, как ленивая кошка, и болтал с ней часами. Так прошло месяца три. Поликсена почти совсем выздоровела, так что через месяц могла уже выйти на работу. И как-то вечером я увидела во сне Елену. Она была, значит, совсем еще крошкой, как в то время, когда мы еще жили в доме бея, но это был не совсем этот дом. Знаешь, как во сне, складываются кусочек от одного, кусочек от другого, и смешивается прошлое с настоящим. Дом, который я увидела во сне, стоял на каком-то холме, заросшем кипарисами, как на кладбищах, и я была совсем одна, служанка ушла, и я спустилась в кладовку взять масла для готовки. И вместо того чтобы очутиться в кладовой, попадаю в какую-то пустую комнату, которая была похожа, не приведи господь, на костохранилище, там было полно шкафов, не один или два, но сотни. Я начала их открывать, открываю, открываю, открываю, и нет им конца. Как вдруг добираюсь до еще одного шкафа, который вроде как был последним, и вижу в нем Елену: стоит прямо, а руки скрещены на груди, как у покойницы. Я как закричу: 'По, по! На помощь! На помощь! Наша Елена умерла!' И давай визжать и рвать на себе волосы. Но вместо волос у меня в руках оказывались морские водоросли, а потом и змеи. Как я бросилась бежать наверх, чтобы спастись, и вижу, что и она поднимается по лестнице, вся из себя жеманная и кокетливая, на голове у нее — красная шапочка. 'Чтоб тебе пропасть, негодная девчонка! — говорю ей. — Как ты меня напугала! Как это ты вышла из шкафа, что я не заметила?' Поворачиваюсь и вижу в шкафу священника. 'Священник к огорчениям! — говорю я на следующий день Поликсене. — Вот увидишь, что-то с ней не так, в жизни не видела такого отвратительного сна про нее'. — 'У нее все в полном порядке! — говорит Поликсена, а она всегда меня высмеивала за мою веру в сны и чудеса. — Вы просто гороха на ночь переели'. Но меня весь день грызло беспокойство. 'Слушай, Поликсена, — говорю я наконец, — ты не злись. Пойду-ка я сейчас и посмотрю, как они там. Что, раз Елена у нас злопамятная и столько времени не интересовалась, как мы, живы или уже умерли, что, и нам надо так себя вести? Засуну-ка я гордость в одно место и пойду, не столько ради нее, сколько из-за несчастных детей. Кто знает, не голодают ли они с тех пор, как ее бросил дантист? Ах, — говорю я ей, — как было бы замечательно, если бы я могла забрать мальчика, чтобы ей его вырастить, сделать из него человека, чтобы он за ней присматривал в ее старости, пусть даже она и не скажет мне спасибо. Мы бы сделали доброе дело. И не начинай мне зудеть, что у нас денег нет. Там, где на двоих хватает, и третий не оголодает, э? Что скажешь?' Она подняла руки кверху, словно сдаваясь на милость победителя. 'Вот я никак не могу понять, дорогая мама, в какого только бога вы верите! — говорит мне. — Вы ведь по опыту знаете, что каждый раз, нет, *каждый* раз, когда вы влезаете в дела Елены, то непременно нарываетесь на неприятности, так скажите мне, у вас что, в одном месте чешется, так поскандалить охота? Вы что, если не поругаетесь с кем-нибудь, жить спокойно не можете?' — 'Не могу!' Говори что хочешь, сказала я про себя, главное — взять ребенка. 'Но неужели вы не понимаете, что это очень серьезный вопрос и что прежде нужно

хорошенько все обдумать?' — 'Нет, не понимаю'. — 'Тогда, — говорит она мне обреченно, — не спрашивайте меня больше ни о чем. Идите, но будьте осторожны: не берите ребенка ни при каких условиях, если только она сама вам его не отдаст'. — 'За кого ты меня принимаешь? — говорю я ей. — Что я тебе, цыганка, что ли, прибегу, засуну его в торбу и убегу?..' Поднимаюсь я, одеваюсь и — одна нога здесь, другая там — прибываю в Куле-Кафе. Была зима, лужи на тротуарах замерзли. Нужно побывать в Салониках, чтобы понять, как там холодно, это тебе не афинская зима, которую можно провести с одним маслинным брикетом в жаровне. Там, если печка не пышет жаром, как адская сковородка, ты не выживешь. В общем, еле-еле добралась я до их дома. Одна комната так и осталась недоделанной. С окна свешивались какие-то тряпки. Прямо у входа стояла жестянка с застывшим цементом. Черт бы ее подрал, ну что ж это такое, подумала я, она не удосужилась даже стекла вставить во все окна. Господи, жить свободной жизнью и страдать от отсутствия денег! Это уже ни на что не похоже! Если она не годится даже для *такой* работы, о чем она думала, когда мужа бросала?... Стучу в дверь. Нет ответа. Смотрю в окошко и вижу детей на кровати, закутаны по уши, прижались друг к дружке, играют, разрезая газеты и фольгу из сигаретных пачек. Едва Акис меня заметил, как вскочил, бросился к окну, забрался на кресло и открыл створку. Я поцеловала его. 'А где ваша мама?' — 'Нет ее'. — 'А когда вернется?' — 'Вечером'. И давай трястись от холода и кашлять, как ишачок. 'А ну давай, детка, в кровать, — говорю ему, — пока не подцепил пневмонию!' Она не мать, сказала я самой себе, оставить детей в этакой холодрыге, без жаровни, и шляться невесть где. Мои внуки, мои *собственные* внуки живут, как сиротки из романов!.. Я не могла проглотить такое. И минут пять-десять стояла перед окном в нерешительности. Я думала о наказе Поликсены: не брать ребенка ни при каких условиях, если только Елена сама его не отдаст. Но сердце у меня не лежало ни к тому, чтобы вернуться домой несолоно хлебавши, ни к тому, чтобы в такой мороз сидеть и ждать у нее под дверью. Она могла вернуться и в десять вечера. Дверь была закрыта снаружи, и ключ она забрала с собой. И чем больше я слушала, как кашляет ребенок, тем меньше смысла видела в словах Поликсены. Пошла в магазинчик и купила шоколадку, вернулась, подождала еще десять минут. 'Дитя мое, — говорю Акису, — хочешь пойти жить со мной?' Пусть себе Поликсена разоряется, решила я, у нее мозгов не больше, чем у Елены. Я забираю ребенка, а там хоть трава не расти. 'Да, бабушка', — говорит мне Акис. 'Вставай, — тогда говорю ему, — "и одевайся!' Он встал и сам оделся. Он все еще носил то самое пальтишко, которое я сама ему сшила еще два года назад, так что рукава ему чуть ли не до локтей доходили. Ослик вырос, а седло уменьшилось. Я протянула ему шоколадку. 'Дай ее своей сестре, — говорю ему, — а я тебе другую куплю'. Чем больше я думала о том, что девочка останется одна, тем сильнее сжималось мое сердце, но что я могла сделать? У меня не было никакой возможности взять обоих. Уже одно то, что я хотя бы этого забирала, должно было стать для нее немалой помощью. По крайней мере, вторую она сможет кормить и одевать хотя бы чуть-чуть получше. 'Поцелуй свою сестру! — говорю ему. — И ты, девочка моя, поцелуй братца!.. А теперь давай, полезай на стул, чтобы я тебя подхватила!..' Пока мы добрались до дома, уже стемнело. Я уложила его в постель, разожгла печку, поставила ему банки, чтобы разогнать кровь, со-

грела супчика из голов, чтобы он поел, а затем села на канапе с мандолиной в руках и начала напевать, чтобы укачать его. В то время в моде была 'Жилеточка':

Жилеточку, что носишь ты, то я тебе пошила,
Своей тоской и горечью подкладку проложила..."

"А я и не знала, что ты на мандолине умеешь, — говорю я кире Экави. — Ты мне по кусочку из печки достаешь".

"Играла... Научилась вместе с детьми. Я сама училась, чтобы заставить Тодороса заниматься. Но сейчас уже много лет не брала мандолину в руки. Нет у меня больше ни вкуса, ни способности к таким занятиям. Я уж молчу о том, что и мандолины тоже нет. Как-то днем, когда нас не было, пришел мой несчастный сын и забрал сотенную из ящика Поликсены и мандолину, оставил мне только ручку. До сих пор она валяется в коробке с пуговицами..."

Так все было, когда они получили письмо от Тодороса, в котором он писал, что нашел и вторую работу с жалованьем вдвое больше, чем в газете, что он очень хорошо проводит время и чтобы они о нем не беспокоились, что он остановился у тети Фросо, которая его обхаживает как рабыня, даже и воротнички ему крахмалит, что, по его мнению, пришло время и им решиться на переезд в Афины и что они до тех пор, пока не найдут подходящего дома, будут самыми желанными гостями у тети Фросо, которая им посылает самые горячие приветы!

"Я читала это, Нина, перечитывала и глазам своим не верила. Эта ведьма, которая украла моего мужа, теперь крадет и моего сына! И этот бессовестный, корыстный негодяй соглашался на жизнь у разрушительницы нашей семьи, потому что она, видите ли, крахмалила ему рубашки! Я разозлилась так, что никак не могла успокоиться. Читала это письмо и плакала. И он еще, наглец, смеет предлагать мне жить с ней! Я, Экави, отправлюсь жить под одной крышей с Фросо! Слышала ты, чтобы какой другой ребенок предлагал столь чудовищные вещи своей матери? И предположим даже, что я согласилась бы жить и с ней, все могло случиться. Но ехать в Афины? Чтобы что?

"Если этот горлан, этот ипохондрик думал, что я поеду в Афины и заживу с ним одним домом, чтобы он мне все печенки проел своими капризами — а, ты положила слишком много соли в еду, а, слишком много перца, а, ты меня не разбудила вовремя, — он жестоко заблуждался. В конце концов, в Салониках у меня были подруги, Домна, Софитца, кира Марьо, и я могла пойти к ним и поболтать с ними о своих бедах. Бедная-бедная кира Марьо! 'Ах, Экави, — бывало, говаривала она мне, — ночные горшки превратились в курильницы, а дерьмо — в фимиам". В Салониках у меня была тетя Ангела, кузина моей матери, которую я разыскала, еще когда была замужем. С тех пор как овдовела, я частенько захаживала ее проведать. Она жила за городом. В Айя-Триада, полчаса на моторке. Каждое лето мы отправлялись к ней и отдыхали бесплатно и только что птичьего молока не пили. Только с Салониками и связаны все мои воспоминания. Каждый камень здесь мне что-то да напоминал. Здесь я познала величайшее счастье и величайшее горе, здесь открылись мои глаза и я поняла, что за ложь вся эта жизнь! Не говоря уже о

том, что Салоники — вотчина всех бедняков. Ты бы только видела, за какие гроши там можно купить сардин, креветок и мидий! И где бы я взяла все это в Афинах, и что за жизнь я бы вела там в низине? Поехать в Афины и любоваться рожами Афродиты и Мильтиадиса? Тот еще мерзавец! После возвращения из Малой Азии он провел несколько дней в Салониках, и мы, конечно же, сцепились, и во время скандала он имел наглость заявить, что я — больная на всю голову и правильно Лонгос сделал, что сбежал от меня! Вот уж повезло с братцем, дай бог всякому! Поэтому то, что я даю ему крышу над головой и кусок хлеба, и того будет слишком. 'Да ну его. Мне это и даром не сдалось! — говорю я Поликсене. И понимаю, что и она не очень-то рвется расстаться со своим Зеленоглазым и ехать куда-либо. — Давай, сядь-ка, напиши ему письмо и скажи, что в настоящее время врач запрещает тебе менять место жительства'. Но 'человек предполагает, а Бог располагает'. В то время Димитрис служил на погранзаставе. Его перевели из авиации в пехоту за драку с младшим лейтенантом, опять там какие-то девки встали между ними. И вот как-то вечером он неожиданно появляется у нас и застает Зеленоглазого, рассевшегося подле лежащей Поликсены. У него задергался глаз. Не надо было быть шибко умным, чтобы понять, что здесь происходит. Не говоря тому ни 'здрасте', ни 'до свиданья', затаскивает меня в кухню, хватает, трясет за плечи и требует объяснений: 'Какой еще покровитель, ты, дура старая! — шипит мне. — Не понимаешь, что ли, что ты ею торгуешь, а, ты? Торгуешь Поликсеной!' — 'А что ты хочешь, что бы я делала, бездельник? — говорю ему. — Чтоб дала ей сдохнуть старой девой, этого ты бы хотел, да? Предпочитаешь ее мертвой, чем чьей-нибудь? Вместо того чтобы говорить со мной, твоей матерью, таким тоном и изображать мне тут Анику-воина, подлец ты этакий, что бы тебе, наконец, не стать нормальным человеком и не помочь и нам немножко, чтобы перестать мне уж в конце-то концов по тюрьмам с передачками бегать!' И что ты думаешь, Нина, он хвать тарелку из буфета и шарах ее об пол. 'Ах, так, да чтоб тебе руки с корнями вырвали! — кричу я. — Будь мужчиной, ты, уголовник, жулик, ворье, сначала заработай на тарелки, а потому уже и бей сколько хочешь, сутенер ты распоследний!..' Он хватает другую миску (самую лучшую мою, ту, которую я для макарон держала) и хлоп и ее об пол. 'Аки, — кричу я тогда мальчику (Поликсена тем временем выпроводила Зеленоглазого, рухнула в постель и дрожала там от ужаса, как рыбка на песке), — Аки, беги, детка, на улицу и тащи сюда полицейского! Скажи, что у нас в доме убийца!' Ну, запаниковала я. Он же и зарезать нас может, сказала я сама себе. Но он как увидел, что ребенок уже готов бежать за полицейским, разразился слезами. Плакал, как женщина. Поднял рюкзак с пола и, не говоря ни слова, открыл дверь и ушел. Как я была истерзана всей душой, я все выместила на Поликсене. В общем, подняли мы крик до небес. Я и так уже подумывала сказать Зеленоглазому: или ты на ней женишься, или чтоб ноги твоей в моем доме не было. Скандал с Димитрисом живо мне напомнил о моем долге. Никогда себе не прощу те жестокие слова, что бросила ему прямо в лицо. Я плакала и била себя в грудь: 'Прости меня, мальчик мой, уж я-то знаю, что не ты виноват, а я одна, я, я, я!..' Мало нам было всего этого, как вдруг от одной нашей знакомой, она была родом из Кавалы, узнаем, что у Зеленоглазого, который перед нами кор-

чил из себя старого холостяка, не только была жена, но еще и двое дочерей старше Поликсены! Пусть она его любила, пусть ее душили слезы и отчаяние, в конце концов и она поняла, что нет больше смысла тянуть эти отношения. А с другой стороны, несмотря на всю помощь Зеленоглазого, мы настолько задолжали за квартиру, что хозяин уже брюзжал не переставая. И было у нас только два выхода: или мы платим, или ищем другую квартиру, куда переехать. 'Если только не переедем в Афины', — говорю я в один прекрасный день Поликсене. Я тем временем уже успела привыкнуть к этой мысли. Ну их к черту, и эти Салоники, и все их добро, сказала я сама себе, к черту и всех моих подружек! Много я от них добра увидела за все эти годы? К черту и тетю Ангелу, и мидий, и креветок! Я вернусь на свою родину, в прекрасную Аттику. Пфу-у, можно подумать, что в Афинах моря нет!.. Мы, как говорится, собираем наши манатки, оставляем их на складе в порту и, пока не пришло время отбывать нашему парому, пожили с Еленой, не поругавшись ни *единого* разочка!.. Наконец пришел день отъезда. 'Амфитрита' отплывала в девять вечера. Прежде всего мы проследили, чтобы нашу мебель погрузили в самую хорошую часть трюма, потом нашли место на палубе, куда бы не проникал ветер, рядом с трубой, и разложили наши подстилки. Когда прозвучал колокол, чтобы провожающие покинули корабль, я нагнулась к Елене, обняла и поцеловала ее и девочку. 'Мм! — говорю ей. — Елена любит меня — как это странно звучит!' Я попыталась все обратить в шутку, так была взволнована. 'Я-то тебя люблю! — взвыла Елена в полной готовности к новому скандалу. — Я-то тебя люблю, это *ты* меня всегда терпеть не могла! Никто из вас меня на дух не переносил, и вот я теперь остаюсь одна-одинешенька на развалинах Салоник, как привидение какое-то!' И заплакала. 'Смотри там, чудовище мое, — говорит Поликсене (она всегда ее в шутку называла чудовищем), — ты уж будь повнимательней там, куда направляешься. Постарайся найти себе хорошего жениха, но если он будет такой, как Бабис, лучше тебе остаться старой девой! И пиши уж когда-никогда по письмецу...' Тут она наклонилась и поцеловала своего сына. 'Будь хорошим мальчиком, — говорит ему, — и слушайся бабушку, только маму тоже не забывай. Поцелуй свою сестричку...' — 'Что это с малышом, что он так плачет?' — спрашивает меня матрос, который как раз поднимался по лестнице. 'Он плачет, потому что расстается с мамой и сестрой, — говорю ему. — Но это пройдет...' Огни Салоник становились все меньше, все призрачней, пока, наконец, вовсе не пропали. Луна еще не взошла. Пассажиры первого и второго класса спустились в свои каюты. Те же, кто был на палубе, растянулись на полу, заснули. После шума и гама отправления эта тишина давила на грудь, как свинцовая плита. Я смотрела на небо и на звезды и вдруг вспомнила, как двадцать лет назад приплыла в Салоники на госпитальном корабле, о том, на что я тогда надеялась и о чем мечтала, и вот теперь я возвращаюсь назад. Сердце мое сжалось. Я смотрела на звезды, на зеленый и красный фонари на мосту, слышала плеск волн в темноте и испытывала такое чувство одиночества, как будто никогда не было не только на этом корабле, но вообще во всем этом безграничном пространстве ни одного человека, к которому я могла бы зарыться лицом в колени и заплакать..."

Так они приехали в Афины.

Часть вторая

1

И чего бы я только не дала, чтобы хоть с какого-нибудь боку протиснуться и посмотреть на ее встречу с величайшей соперницей. И подумать только, дом Фросо был в каких-то трех переулках от нашего! В то время мы еще жили на улице Сина.

"Она была красивой, а, кира Экави?" — спросила я ее как-то. Меня забавляла та смешная гримаска отвращения, которая тут же появлялась у нее на лице, то, как она кривит рот в иронической усмешке, в которой немало было и надменности.

"Мм! У нее были красивые глаза и осанка, но во всем остальном она была сукой страшной, к тому же у нее не хватало половины зубов. Не напоминай мне о ней, я тебя прошу, а то я начинаю переживать... В электричке, пока мы ехали из Пирея в Афины, мой распрекрасный сын начал давать мне советы и уроки примерного поведения и хорошего тона. 'Смотрите, мама, — говорит он мне, — вовсе даже не вспоминайте о прошлом, я вас умоляю, проявите достоинство'. Я, конечно, тут же вышла из себя. 'У тебя еще молоко на губах не обсохло, а ты туда же, хорошим манерам меня учить взялся! — говорю ему — Это *я* тебя родила, а не ты меня! И если ты думаешь, что я еще и приехать не успела, а ты уже мне тут условия ставить будешь, так я сегодня же вернусь в Салоники, тем же паромом!..' Мы доехали до Омонии, сели на автобус — мебель ехала отдельно на грузовике. Господи боже мой, прошептала я, как же изменился этот город! Да что же это за здания, что за автомобили, да как много, что за толпы народа! Было утро, и все ехали на работу. 'Вот такие они, деточка, Афины! — говорю я Поликсене, которая смотрела по сторонам, ошалев от изумления. — Я-то *здесь* выросла. Я не как вы, провинциалы!' — говорю ей. Внезапно мне стало так хорошо, что и словом не выразить. Все мне казалось прекрасным, мне хотелось расцеловать всех и каждого. Возле остановки, на которой мы сошли, стоял киоск с цветами. Я смотрела на анемоны, смотрела на Ликавиттос и Ай-Георгия на его вершине, и слезы набегали мне на глаза. Дом Фросо двумя окнами выходил на улицу, а над калиткой торчали два сфинкса с кактусами. Теперь-то и его разрушили и снесли и поставили на этом месте один из этих кошмарных многоквартирных домов. Сейчас Фросо живет в Перистери, но в ту пору она была дамой из Колонаки. В конце концов мы вошли во двор. Она услышала наши шаги и вышла, в кухонном фартуке, растрепанная, постаревшая, за эти годы у нее выпали и последние зубы. Едва меня увидела, десять раз в лице поменялась: покраснела, пожелтела, позеленела, не знала, что сказать, с чего начать. Но я, чего уж там таить, Нина, нисколько не волновалась. Я чувствовала себя такой счастливой, что была в тот момент готова простить даже и Фросо. 'Что ты встала и глядишь на меня, словно разиня какая? — говорю ей. — Разрешаю тебе меня поцеловать, и хватит тут прикидываться обиженной судьбою, бросай рыдать! Это мне положено плакать, не тебе. Яннис был яблоком раздора, мы его съели и успокоились!' — 'Постарели мы, Экави, милая, — говорит она мне, — столько воды утекло!..' — 'Ты, может, и постарела, — отвечаю, — а я вот пока что молода. Давай, свари мне кофейку, потому что у меня уже весь рот ссохся, как

старый башмак'. Только когда я зашла в ее гостиную и увидела, совсем того не ожидая, его фотографию в офицерской форме времен сражений в Македонии, вот только тогда я вздрогнула. Как это она у меня ее сперла, когда мы делили имущество, а я даже и не заметила, понятия не имею. Кажется, она почувствовала мое волнение. 'Идите в кухню! – говорит нам. – Ой, боже, какие ж это мы красотки! – Это она – Поликсене. – А это здесь у нас кто? Ба! Да это ж сын Елены! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, стал совсем большим мальчиком!.. Если бы вы приехали на десять минут раньше, застали бы детей. Они ушли в школу. Как поживает Димитрис? Когда он к нам собирается?' – и так далее и тому подобное, как ни в чем не бывало, Нина, представляешь, как будто бы никогда и ничего между нами не было. И сколько мы у нее жили, столько она с ног сбивалась, услаждая нас. Ее мать, эта мерзость моя тетка, которая имела наглость подставить своей дочери оба плеча, чтобы ей проще было красть моего мужа, теперь работала экономкой в каком-то богатом доме возле дворца и наворовывала там масла – и сливочного, и оливкового банками – и все нам тащила. И пока мы нашли себе дом, куда переехать, весь курятник ей подчистили. День за днем курицу кушали. Один только раз чуть не схватились с ней, да и то по вине детей. Ее сын был почти одного возраста с Акисом, то ли на год, то ли на два старше, и дядя и племянник играли как лучшие друзья, не разлей вода, как однажды попутал бедняжек дьявол и ударились они в эту дурацкую детскую похвальбу: 'А у меня есть меч, а у тебя нету'. – 'А мой барабан больше, чем твой'. И вдруг сын Фросо заявляет нашему: 'А у меня мама зовется госпожой Лонгу'. – 'И мою бабушку зовут госпожой Лонгу!' – 'Твою бабушку так звать не могут, – говорит ему Фанис, – твой дедушка с ней развелся и женился на моей маме, потому что она была красивей!' – 'Ха-ха-ха! – отвечает ему наш. – Да не была она красивей, просто она была ведьмой, приворожила его и украла у моей бабушки!..' И бежит Фанис весь в слезах к своей матери и говорит: 'Акис говорит, что ты ведьма!..' И Фросо меня хватает и визжит: 'Нехорошо сидеть и болтать при детях о таких вещах'. – 'А хорошо, – отвечаю я, – что ты своим болтаешь всякую чушь, будто бы Яннис взял тебя за то, что ты была красивее? Да ты иди в зеркало посмотрись сначала на свою желтую рожу, – говорю ей, – сразу поймешь, кто тут из нас двоих красивее! – И поскольку она попыталась было протестовать, добавляю: – И хватит на этом, – говорю ей, – заткнись, потому что нет у меня никакого настроения прямо *сей секунд* нестись к прокурору, чтобы доказать тебе, *кто* из нас двоих госпожа Лонгу и кто тут вообще *госпожа*!..' Видишь ли, после смерти Янниса я не стала и дальше судиться, чтобы аннулировать официально и их брак. Так что на бумагах она оставалась его законной вдовой. Она вышла из себя, что тут скажешь, заплакала, но что она могла сделать? Так или иначе, но к этому времени мы, наконец, присмотрели себе дом на улице Колокинтус, рядом с моими старинными пенатами. Мы погрузили наши пожитки на арбу и уже были готовы двинуться, как вдруг я вспомнила про фотографию. 'Постой-ка минуточку!' – кричу я вознице и бегу обратно, снимаю ее со стены, выхожу и передаю Акису, который сидел на узлах. Фросо переменилась в лице, но не решилась и слова сказать. Перед тем как залезть на арбу, я наклонилась и поцеловала ее. Не из лицемерия. Клянусь тебе, Нина, клянусь жизнью Димитриса, единственным, что мне дорого и свято в этой жизни, я и сама не понимаю, что это на меня нашло. Я была ужасно взволнована, чувствовала, будто в этот день заканчива-

лась одна эпоха моей жизни и начиналась другая. У меня было столько забот в голове, я так нуждалась в Божьей помощи, что мне не хотелось начинать новую жизнь с сердцем, где бы царили ненависть и злоба. Внезапно мне показалось, что Фросо была не женщиной, которая увела у меня мужа и разрушила мою жизнь, но такой же жертвой черт его знает какого дьявола, и я пожалела ее. Но, конечно же, я ей этого не показала. Все обратила в шутку. 'Ну, будь здорова, сестричка, — говорю ей, — и спасибо тебе за гостеприимство. Немножко припоздала, но отплатила-таки мне за мою доброту!.. Трогай, — говорю вознице, который поджидал с кнутом в руках. — Поехали. Улица Александра Великого!..'"

Одной из причин, по которой кира Экави вынуждена была отбросить все сомнения в сторону и переехать в Афины, была и мысль, что рано или поздно, но Димитрис будет вынужден последовать за ними. Она надеялась, что перемена обстановки пойдет ему на пользу. В Салониках он уже дошел до той стадии, когда чувствовал себя как отбросы общества. Все полицейские, жандармы, как она их называла, держали его за фальшивую монету. А раз уж тебя таким знают, то никогда не дадут начать с чистого листа. В Афинах он бы избавился и от них, и от своих дружков, "корешей", которые его и погубили. Он бы ушел не оглядываясь, у него бы появилась еще одна возможность забыть прошлое и начать новую жизнь.

"...И в самом деле, Нина, едва он демобилизовался и приехал в Афины, Тодорос тотчас нашел ему работу в мастерской по цинкографии. Каждую субботу я отправляла к нему малыша, и Димитрис давал ему по сотне на хозяйство, и когда тот ее приносил, я его целовала и плакала от радости, что наконец-то мой сын честно зарабатывает свой хлеб. Но пока я, бедная, думала, что все идет лучше некуда, и славила Бога за то, что он услышал наконец мои молитвы, несчастье уже набухало изнутри: кислота, которую он вдыхал в мастерской, день за днем отравляла его легкие. И вот как-то днем приходит он домой бледный как смерть и падает на кровать. Бегу поставить ему градусник, а он мне говорит: 'Быстро, дайте мне таз!..' Даю ему таз, и он заплевывает его кусками черной крови и зеленой жидкостью навроде желчи... С помощью разных ухищрений, не знаю уж и каких, бедный Тодорос пристроил его в больницу Сотириа, и поскольку у него была только начальная стадия, то через год он поправился, но, понимаешь ли, он больше не мог работать в мастерской. И вот он начал таскаться по всем заведениям на Омонии. Связался с самыми разными типами, которые обучили его тем фокусам, каких он еще не знал, и он стал в тысячу раз хуже, чем был в Салониках. В Афинах, видишь ли, у него было куда более обширное поле действия. Как всегда, он имел наглость приходить ко мне и докладываться о своих подвигах: как продал какому-то крестьянину медное кольцо за золотое, как пришел в дом к какому-то пидору, чтобы его поиметь, и шантажировал его и взял сотенную, а потом еще и оставил его на морозе в отхожем месте, рассказывал, как украл заначку какой-то проститутки прямо у нее из-под подушки, и о том, и об этом, и еще черт знает о чем.

'И какая же ты все-таки дрянь, — говорила я ему, — да что же нет у тебя ни стыда, ни совести? Ну скажи мне, хоть во что-нибудь ты веришь? Разве этому я тебя учила? Разве на таких идеалах я тебя взращивала? А если тебя схватят, мерзавец, и выдерут по первое число, и снова будешь кровью харкать, ты понимаешь, что умрешь?' — 'Не бойся, — говорил он

мне, — не схватят!' Мне казалось, словно я слышу голос его отца: 'Не бойся, я неуловим, как Фантомас!' Но не все коту масленица, когда-то пора и кошке отплакать мышкины слезки. В одном магазине на улице Эрму постоянно пропадало то две, то три штуки ткани. Замки были в целости и сохранности, служащие все как один люди порядочные. Поменяли замки, но ткани продолжали улетучиваться как на крыльях. Полицейские головы сломали, чтобы пролить свет на эту тайну. В конце концов, какой-то сыщик запрятался в магазине и поймал нашего господина Фантомаса прямо за работой. Один мелкий лавочник с улицы Эолу задружился с владельцем магазина, и тот для пущей безопасности предложил ему на ночь оставлять его тележку в магазине. Изнутри же она была пустой, как троянский конь, и в его чреве прятался мой работничек сынок. Ночью он выходил и совершенно спокойно выбирал ткани по своему вкусу, а утром сообщник вывозил его в тележке через главный вход на глазах у владельца магазина, и все шито-крыто. Его посадили на год. Через девять месяцев вышла ему амнистия, и он оказался на свободе. Но ко всем своим достоинствам в тюрьме он добавил еще одно: стал коммунистом. Начал гнать речи о социальной справедливости и равенстве, о капиталистах и Марксе, Ленине и Димитрове, который выучил немецкий за сорок дней, чтобы самому без помощи адвоката защищать себя в суде. Обнаглел до такой степени, что начал промывать мозги и Акису, этому невинному дитяти душу отравлять. 'Религия — опиум для народа! — говорил ему. — То, чему вас учат в школе про Адама и Еву, все это еврейские сказки. Не Бог создал мир, мир сам собой образовался. Возьми немного грязи, — говорил ему, — и положи ее под большой камень, и увидишь, как через несколько дней поползут червяки. Так постепенно появились в мире и люди'. — 'Да ты совсем рехнулся, сын мой? — возмущалась я. — По крайней мере держи свои идеи при себе'. — 'Нет! — отвечал он. — Он выглядит смышленым. Он не пропадет, как все мы...' И преспокойно продолжал свои проповеди: что Христос был факиром. 'Я тебя спрашиваю, где же он был, — обращался он к Акису, — с того момента, как проповедовал двенадцатилетним в Храме, до того момента, как его покрестил святой Иоанн Предтеча? Он был в Индии. Вот тебе и доказательство (так он говорил), вот оно, доказательство: в прошлом году приехал в Афины индийский факир давать представления в 'Центральном'. Сказал: 'Распните меня и похороните. Через три дня я воскресну, как Христос...' Но навалились на него эти козлы поповские и выгнали его...' Теперь ты понимаешь, Нина, что при той политической ситуации, которая воцарилась, когда Метаксас в первый раз пришел к власти, у меня все поджилки тряслись, как бы его не схватили и не отправили в ссылку..."

Все это мне сильно напоминало покойного Диноса. В то время еще и года не прошло, как он умер, время идет, а сердце мое сжимается все сильней, когда я вспоминаю его, даже и сегодня я не могу удержать горькую усмешку, когда думаю, что мало было всех прочих его прегрешений, он еще *и* коммунистом был. Разумеется, об этом мы узнали только после его смерти. С тех пор как папа выгнал его из дома, мы редко его видели. Как он жил, где спал, понятия не имели. А уж на предмет того, есть ли у него политические убеждения или нету, он даже и не заикался. Он был не из тех, кто много болтает или легко делится своими мыслями. Хотя бы в этом мы с ним были похожи. Он появлялся от случая к случаю, когда отца не было

дома, не для того, чтобы нас повидать, но чтобы растрясти мамин кошелек. Когда же он узнал, что я вышла замуж и у Андониса водятся деньги, стал приходить чаще. Но хотя в то время мама была уже тяжело больна и я старалась ее не огорчать, я не собиралась дать ей распотрошить всю свою заначку, чтобы он пошел и купил себе морфия и каждый день убивал себя на мои собственные деньги. Я предложила ему переехать жить к нам. Я бы поставила ему диван в комнатке при террасе, она была лучше нижних комнат, потому что в ней весь день было солнце. Я обсудила эту идею и с папой, и с Андонисом, и оба они были согласны.

"Но при одном условии, – говорю ему, – ты согласишься, что на месяц мы положим тебя в клинику, чтобы ты завязал с наркотиками. Что уж ты там делаешь со своей личной жизнью, это твое дело. Главное, чтобы мы этого не видели. И речи нет, чтобы мы хоть намеком тебя обидели. Но проблема наркотиков – это проблема, они разрушают твое здоровье..."

Он не согласился. Предпочитал жить как нищий и вовсе перестал к нам приходить. Как-то дядя Стефанос проходил по площади Клавтмонос и зашел в общественный туалет отлить. В другом углу стоял Динос, оборванный и небритый, как и все эти наркоманы. Чтобы не ставить его в неприятное положение, дядя сделал вид, что ничего не заметил, и вышел на улицу, но потом подумал, какой крик устроит мама, если узнает, что он видел отраду очей ее и не заговорил с ним, и решил постоять рядом подождать, пока тот выйдет. Ждал две минуты, три, пять – где Динос? Да как же, ради всего святого, он прошел, подумал бедный дядя Стефанос, а я его не увидел! Снова заходит внутрь и видит его на том же самом месте, глазеющим на это самое у своего соседа... Вот что мы знали о Диносе: что он наркоман и развратник. Когда же, наконец, в один из декабрьских дней 37-го к нам в дом пришел агент уголовного розыска и сказал, что Динос умер в ссылке в Анафи от сердечной недостаточности, то, несмотря на все мое отчаяние, я задержала его, чтобы вызнать подробности. "А почему же он был в ссылке?" – спрашиваю. По наивности я подумала о наркотиках. Когда же он сказал, что Динос был коммунистом, я не поверила своим ушам. Динос – коммунист! Что за трагическая ирония! Я не могла понять, что за коммунистом он мог быть и как уживались его распущенность и абсолютное отсутствие какого бы то ни было уважения к чему-либо с коммунизмом, который, как мы читали, требует от коммунистов самоотречения и железной дисциплины. По крайней мере, сын киры Экави был мужчиной. Может, он и попробовал распутство такого рода, как, кажется, поступают, увы, многие молодые люди, но при этом не утратил своей мужественности. Не пропускал ни одной юбки, как говорится. Кира Экави рассказывала мне, как поймала его даже вместе с его кузиной Гого.

Гого была дочерью сестры киры Экави, той, что покончила с собой. Какое-то время она жила вместе с ней, она и ее брат Рикис. Он был печатником. Работал по ночам. Так вот, он пару раз приходил нежданно-негаданно домой и заставал ее то с военным, то с моряком.

"...И говорит себе, Нина: 'Ну и что мне теперь делать – работать, чтобы хоть как-то жить, или сидеть дома охранять кое-какое место у Гого?' И вот он однажды приходит ко мне домой и говорит: 'Тетя, можно мы переедем к вам пожить? За плату...' Мм! Он тоже был не лучше своей сестры. Все свои деньги просаживал у этих дрянных девиц на улице Сократус. Они ему нравились, потому что делали все, что ему было по

вкусу. То, что он мне в субботу давал на хозяйство, в среду забирал как бы в долг. Поликсена, которая с давних пор была у нас счетоводом, ворчала и просила объявить, чтобы они нашли себе другой дом и съехали, но как я выгоню детей моей сестры? Я сохраняла терпение — ровно до того дня, как застала моего сына верхом на Гого. 'Ах ты сукин сын! — закричала я ему. — Мало мне всего остáльного, так еще и инцест!..'"

В то время как я водила знакомство с кирой Экави, Рикис жил у какой-то девы непорочной, а Гого уже года два как была замужем. Ее муж, Ставрос, был сантехником, и каждый раз, когда он был свободен, они вваливались в дом тетки с раннего утра. А когда народили детей, тащили за собой и детей.

"И ни разу ни одной оливки, так, хотя бы для приличия, Нина!" — На другой день кира Экави приходила ко мне и жаловалась на них. С тех пор как она поймала своего сына вместе с Гого, она ее видеть не могла.

Тодорос мрачнел каждый раз, когда их видел, но по другой причине. Он терпеть не мог Ставроса, потому что считал его себе не ровней, потому что тот не мыл руки перед тем как сесть за стол. Но Поликсене он нравился. Они сошлись друг с другом, потому что оба были большими охотниками до кино. Он приходил за ней и забирал ее из аптеки, и они вместе шли в кинотеатр второго показа, где шли по два фильма и куда она не рисковала ходить без спутника. И когда вечером они возвращались домой, то сыпали шутками, которые на следующий день мне пересказывала шокированная кира Экави.

"Дорогая мама, мы и вас как-нибудь сводим в "Розиклер", но только вам надо будет захватить с собой зонтик". — "А зачем же мне брать с собой зонтик?" — вопрошаю я, наивная. "Потому что сверху плюются те, кто сидит на галерке", — отвечают они мне. "И неужто вам ни капельки не стыдно, — говорю я им, — ходить и просиживать все свое время в таких ямах помойных, чтобы увидеть какие-нибудь непристойности на тряпке, и это вместо того чтобы пойти в театр и послушать произведения со смыслом или, на худой конец, посидеть в какой-нибудь пивной, глотнуть свежего воздуха, на людей посмотреть и себя показать!.."

"Просто ты этого не понимаешь, — говорила я, — потому-то так и говоришь. Когда я была в возрасте Поликсены, то выходила из одного кинотеатра и сразу же шла в другой!.."

Она качала головой: мир рушится!..

В то время у Димитриса была связь с медсестрой, с которой он познакомился в больнице Сотириа. Он приводил ее в дом киры Экави как невесту, или они подкарауливали, когда она уйдет, и пускались во все тяжкие. Кира Экави готова была простить ему самые страшные грехи: кражи, коммунизм, шантажи, сутенерство, кровосмешение с Гого и так далее и тому подобное. Она частенько хвасталась его успехом у женщин. Ему только не надо было связываться с ними всерьез. Вот тогда она превращалась в разъяренную львицу. Когда она поняла, что идиллия с медсестрой начала крепнуть и что парочка начала говорить о браке, то пришла в ярость. Запретила приводить ее в дом. По малейшему поводу закатывала сцены: потому что он перемешал вилки-ложки со своими и теперь Акис непременно подхватит палочку Коха, потому что он пел песни из рембетики[1]:

1. Греческая городская народная песня начала века, в которой выразились восприятие и опыт жизни низших слоев; в 30-е гг. XX в. стала чрезвычайно популярна в греческом обществе несмотря на запрет.

Помнишь, как вечерами я пел тебе колыбельные,
Со старой моей бузуки тобою владел безраздельно я...

и мальчик мог их услышать, и так далее и тому подобное до тех пор, пока не вынудила его собрать манатки и скрыться с глаз долой. Больше он домой не приходил. Разве что изредка. Да и то, только затем, чтобы опустошить ее кошелек — точно так же и Динос поступал с покойницей мамой.

Вдруг я ее потеряла. Э, да что это происходит с кирой Экави, что с ней! — думала я. Чтобы она и вдруг исчезла так надолго! Андонис был безутешен из-за того, что потерял парнера по пинаклю. Мы отправили Мариэтту к ней домой, она вернулась и рассказала, что дверь заперта и в доме не видать ни души. Как-то вечером, прогуливаясь, я наконец увидела свет в окне и постучалась. Мне открыла Поликсена. Какая красивая девушка, подумала я. Это был первый раз, когда я ее видела. Когда она услышала, кто я такая, сказала: "Проходите, садитесь!" Вежливо, но сухо и официально. Она была, да и остается холодным человеком. Даже и сейчас, когда она стала моей золовкой, у меня нет с ней той близости и того душевного взаимопонимания, как с кирой Экави. "Вы меня извините, — говорю ей, — если я помешала. Я понимаю, сейчас совершенно неподходящее время, но я уже много дней не видела киру Экави и беспокоюсь. Не случилось ли с ней чего?" Я увидела, как в ее глазах промелькнула неясная тень. "Нет, — отвечает, — она в Салониках. Вчера мы получили письмо от моей сестры. Она доехала и чувствует себя хорошо..." Она предложила сварить кофе, но я отказалась: было уже время ужина. Пожелала ей спокойной ночи и ушла.

Тайна внезапного путешествия была раскрыта четыре месяца спустя самой кирой Экави, когда она вернулась так же внезапно, как и уехала. В один из дней Поликсена выдала ей сотню, чтобы она сделала покупки на неделю, оливковое масло, сливочное и прочее, а тут пришел Димитрис и, она и сама не поняла, как именно, убедил ее одолжить эти деньги ему, и когда вернулась Поликсена и узнала об этом, устроила страшный скандал: "Господи, Пресвятая Богородица, когда уже ты, наконец, наваришь ему кутьи, чтобы мы избавились от этой казни египетской!" Кира Экави, которая и сама осыпала его проклятиями ничего не стесняясь, взбеленилась, стоило ей услышать, как это делают другие. "Что я ей, крепостная, что ли, Нина, — возмущалась она, когда вернулась и рассказала всю эту историю, — что, у меня прав нету потратить какую-то поганую сотню на моего мальчика? Я сказала себе: неблагодарные созданья! Вот уеду и посмотрим, как вы тут будете сами стирать и готовить, может, поймете наконец, что я для вас значу. Одеваю пальто и шасть на улицу..." — "Да как же ты доехала до Салоник без денег?" Она улыбнулась, как проказливый ребенок. "Помнишь полицейского Калапотакиса, я тебе еще рассказывала, что познакомилась с ним в то время, когда Димитриса арестовали еще за первую кражу? Э, я узнала, что за это время его сильно продвинули, за мужество: он поймал уж не знаю и какого знаменитого вора в Македонии и с тех пор стал замначальника в отделе этапирования арестованных. Я уж несколько дней собиралась пойти с ним повидаться. Иду на улицу Никодиму и говорю охраннику: 'Хочу говорить с вашим замначальника! Скажи ему, Экави ждет, и он сразу догадается...' И вводят меня в фу-ты ну-ты какую шикар-

ную приемную подождать, пока не появится Калапотакис. 'И это мой околоточный! – сказала я в потрясении. – Экой он шишкой стал! Ах, ну и почему, ради бога, мой собственный сын не смог стать таким, вместо того чтобы таскаться по борделям, чтобы о него ноги вытирали все это отребье?' – 'Да никак это Лонгена собственной персоной! – как закричит он, увидев меня с порога. – Все такая же, не изменилась ни на йоту, детка! Господи, сколько же лет минуло с тех пор?..' И крикнул, чтобы нам принесли кофе, сели мы и давай вспоминать былое. И наконец он мне говорит: 'Ну, давай выкладывай, с чем ко мне пожаловала, раз уж ты пришла со мной повидаться. Я тебя знаю: ты бы ни за что не притащилась, если бы тебе ничего не было нужно'. Я и говорю: 'Хочу, чтобы ты отправил меня в Салоники и не спрашивал почему'. – 'Ну браво! – отвечает он. – Это проще простого! Но я тебя отправлю под стражей, как осужденных!' И давай хохотать. 'Как хочешь, так и отправляй, – говорю ему, – главное, чтобы я добралась до Салоник'. Он нажимает на кнопку, появляется адъютант с серебряными нашивками, отдает честь поклоном, потому как был без фуражки, а тот ему и говорит: 'Скажи, чтобы оформили путевой лист туда-то, ты сегодня вечером отправишь госпожу в Салоники и позвонишь, узнаешь, когда уходит скорый'. После подошел, остановился передо мной, я тем временем встала с кресла, положил мне руку на плечо, посмотрел смеющимися глазами, покачал головой и говорит: 'Все та же, ты – все та же!.. – И берет у меня из рук сумку, вкладывает туда сотенную, возвращает обратно и говорит: – Ну будь здорова, Лонгена, героическая и непокорная! Ты и сама, как Греция, чуть сумасшедшая, но сердце у тебя золотое. Ну давай, сбегай теперь до Белой Башни, а когда надоест и захочешь вернуться, свистни мне тайком!..' На следующий день твоя красавица уже разгуливала по Салоникам. Каким же смешным показался мне город после Афин! Как будто за это время съежились улицы и дома. Я никак не могла поверить, что вот здесь, в этом городе, я растранжирила целую жизнь..." И она разрыдалась. Потому что идиллическая жизнь, которой она наслаждалась у своей старшей дочери в Салониках, как бы странно это ни звучало, внезапно оборвалась вместе с телеграммой от Поликсены: ДИМИТРИС ПОД СТРАЖЕЙ СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО.

Димитрис находился под следствием в тюрьме Сингру пять месяцев, и все это время кира Экави пребывала в состоянии нервозности и черной меланхолии. Никогда не видела ее такой, но сейчас понимаю, что это были своего рода первые предвестники, генеральная репетиция того психического состояния, в которое она впадет, на этот раз уже навсегда, во время Оккупации. Она перестала рассказывать мне свои приключения, как если бы я выросла и уже было не время слушать сказки или как будто она постарела и утратила свою память. Она была полностью поглощена настоящим. Так тряслась от мыслей о будущем, больше, чем когда-либо, что недосуг ей было сидеть и перебирать обрывки прошлого. Теперь она все время была угрюмой и мрачной. Выцвела, как старое полотно. По любому поводу срывалась, естественно, не на меня и Андониса, но стоило тете Катинго или жене Касиматиса (она не переносила ни ту, ни другую) зайти к нам на чашечку кофе и сказать что-то, что ей было не по нраву, она бро-

салась на них так, как если бы это были ее злейшие враги, или же кривила губы в саркастической ухмылке и из нее и слова нельзя было вытащить.

Щепки от ареста Димитриса полетели прежде всего на ее старшего брата Мильтиадиса. И раз она была измучена всей душой, то начала устраивать скандалы в три раза страшнее, чем раньше, чтобы сорвать на нем всю злость. Как-то в обед она пришла ко мне вне себя от ярости и говорит: "Он такой, он сякой, поганец этакий, солдафон, у меня сердце будет как камень и я ему скажу: вот тебе бог, а вот порог!" — "Ну и что он тебе сделал на этот раз?" — "А что ты хочешь, чтобы он мне сделал? Вздумал вмешиваться в воспитание Акиса — вот что он сделал. Узнал, что я повела его к дядьке Никосу, чтобы тот его загипнотизировал, и чуть было меня не убил. Понимаешь ли, господин мой, я уже в своем собственном доме не могу делать, что хочу, самодура мне надо на мою голову!.."

В то время в отчаянии от нового несчастья на ее голову она снова обратилась к богу. Но на этот раз к какому-то куда менее первородному богу, не богу древности, но богу, наместниками которого на земле были не святые, мученики или монахи, а ученые или как бы ученые. Дядька Никос, по слухам, прежде был монахом, если он вообще когда-нибудь им был, а ныне сожительствовал с вдовой, зарабатывавшей на жизнь обметкой петель для пуговиц. Она делала петли по заказам мужских портных и кормила своего попа, чтобы он мог целиком посвятить себя спиритическим опытам. Как и святой Евфимии, дядьке Никосу от бога было даровано умение предсказывать будущее — через погружение в гипноз. И вдруг кира Экави начала мне рассказывать о крутящихся столиках, о говорящих зеркалах, об эктоплазме, о медиумах и Ангеле Танагра и так далее и тому подобное. У нее за спиной я посмеивалась над той формой, которую принял ее новый религиозный кризис, но ничего не говорила. Я видела ее страдания и жалела всем сердцем. Дядька Никос несколько раз пытался ее "усыпить", чтобы отправить к господу и вопросить, оправдают ли Димитриса, но она была слишком нервной, слишком грешной, слишком Фома неверующий (она говорила мне об этом и плакала), и ему это так ни разу не удалось. Они решили загипнотизировать Акиса, который был "невинным дитятей". "И кто же об этом рассказал твоему брату?" — спрашиваю я ее. "Да я сама!" — возопила она и бух себя кулаком по лбу. Я рассказала эту историю Андонису, и мы хохотали до слез. Этот скандал стал последней каплей, переполнившей чашу терпения ее брата. И не потому что она приказала ему убираться, она говорила это сотни раз и он не придавал тому никакого значения, просто потому, что он и сам чудовищно устал. Собрал все свое нехитрое барахлишко и ушел с глаз долой, из сердца вон, плюнув в последний раз на фотографии Константина и Метаксаса. Позже кира Экави узнала о его новой жизни и пересказала мне новости с загадочной улыбкой на устах: Мильтиадиса приютила какая-то вдова из Элевсина, жена его старого однополчанина, убитого во время отступления при Сангарии. "Хм, вот он какой! Он уже давно жаждал найти себе какую-нибудь глупую бабу, которая бы его поила и кормила. Чтобы герой Бизания и докатился до жиголо, ха-ха-ха!.." — "Ого, и ты туда же, — говорю я ей, — никто не скажет, что он жиголо, только потому что он живет с какой-то вдовой". — "Да нет, — начала она оправдываться, — ты неправильно меня поняла! Не думай, что я его порицаю. Как раз таки наоборот, я рада, что он нашел женщину, согласившуюся его принять, и если бы они только могли пожениться, чтобы и этот бедолага создал бы себе

семью". — "А почему же они не могут пожениться?" — "Ха! Бедная Нина, ты либо дурочка, либо притворяешься. Потому что она потеряет пенсию и *на что* они тогда будут жить?.." И за все то время это был единственный раз, когда я видела ее смеющейся. Это было в 1938-м...

2

"Никуда ты не пойдешь!" — сказал Андонис в день суда. "Пойду, — говорю ему, — пойду, чтобы хоть немного ее поддержать. Если его признают виновным и приговорят, дорогой мой Андонис, так и знай, она заболеет от горя". — "В конце концов, — говорит он, — ты неисправима, иди. (Бедный Андонис!.. Он ни в чем не мог мне отказать.) Иди, если уж ты так этого хочешь, иди, но смотри в оба, даже не думай возвращаться домой больная, как это бывает, когда ты смотришь в своих кинотеатрах какую-нибудь жалостливую дребедень!" — "Скажешь тоже! — откликнулась я. — Одно дело — кино, а то — жизнь!" Но в глубине души я понимала, что он прав. Моя дочь может сколько угодно считать меня жестокой, бессердечной, циничной и уж не знаю, какая я там еще есть, но в некоторых вопросах я чувствительнее двенадцатилетней девчонки. Андонис знал, что впервые в своей жизни я собиралась пойти в суд. Я видела много судов в кино, с огромным интересом читала отчеты о захватывающих судебных заседаниях в газетах, но несмотря на то, что когда-то в юности меня одолевало страстное желание стать адвокатом, я так ни разу и не побывала под сводами *настоящего* суда.

Димитриса обвиняли в соучастии в убийстве — что он помогал своему другу убить любовника жены. Положение его было более чем серьезным. Если бы его признали виновным, ему могли впаять и пять, и десять лет. Но, увы, было и еще одно обстоятельство, которое ухудшало дальше некуда всю картину, а именно то, что жертвой ревнивого мужа по какому-то злосчастному стечению обстоятельств оказался старший тюремный надзиратель Главного управления уголовного розыска. Его коллеги поклялись отомстить, они пылали ненавистью, и менее всего к убийце, у которого была незапятнанная анкета, все только по отношению к сыну киры Экави. Они, понимаете ли, знали его издавна, и он давно уже им был как заноза в глазу. Как-то вечером, так, во всяком случае, рассказывал он сам, сидит он в кофейне на Омонии и играет в преферанс. После восьми туда ввалился Гатцос. "Откуда ты его знал, Гатцоса?" — "Так с площади, господин председатель! Я ему клиентов приводил в магазин. Я стал посредником после того, как заболел". — "И многоумным Одиссеем! — добавил прокурор с ядовитой усмешкой. — Так ты приводил ему клиентов в магазин или, — и тут его усмешка исчезла, — сбывал ему краденые часы?.." Касьянопулос, старый друг Тодороса, — он мало того что согласился защищать Димитриса, да еще и бесплатно, — поднялся и заявил протест. В зале начали перешептываться. Народу было под завязку, не столько любопытствующие и зеваки, так как Тодорос договорился со своими друзьями в разных газетах, и ни одно слово с того суда не просочилось в прессу, сколько родственники и друзья и прежде всего коллеги жертвы, и в форме, и в гражданском. Каждый раз, когда допрашивали Димитриса, они поднимали дикий шум, словно сговорились. "Перейдите к сути дела!" —

не выдержал в конце концов председатель. Но прокурор настаивал: "Характер обвиняемого в данном случае более чем существенный фактор, господин председатель! Если только мне будет предоставлена возможность высказаться – и в присутствии многоуважаемых господ присяжных... так вот, характер обвиняемого..." – "Я не вижу, *что* за связь между деловыми отношениями обвиняемых и убийством, господин председатель!" – вскричал взбешенный Касьянопулос. Прокурор саркастически улыбнулся: "Увидите. И очень скоро..."

До нас стало доходить, к чему он клонит. Не прошло и часа, как, несмотря на все жалобы и протесты Касьянопулоса, он чуть не целиком зачел суду весь реестр его уголовных преступлений, пространный список всех прошлых нарушений, о некоторых даже кира Экави слышала в первый раз. Она чуть было не рухнула в обморок. Поликсена решила, что будет лучше вывести ее во двор. Посадила ее там на скамейку, на которой она просидела до конца заседания.

"Ну, так он пришел и сел рядом с тобой", – говорит председатель. "...Ну и 'Привет тебе', – говорит. 'Здорово'. Мне показалось, он расстроен. 'Хочешь чего-нибудь?' – 'Поговорить с тобой'. – 'Садись, – отвечаю, – две минутки, я партийку добью...'"

Даже если бы я никогда прежде не видела сына киры Экави, узнала бы его по голосу среди тысяч и тысяч. Он не был на нее похож, скорее в отца пошел. Да и не так-то легко было бы его признать после того, как его так обкорнали, прямо ощипанный цыпленок, но его голос, его голос был мужским эхом голоса его матери: тот же тон, та же надломленность. Когда наконец партия закончилась и они остались одни, Гатцос объяснил, в чем дело: ему изменяла жена, и нужен был свидетель, чтобы застать любовников на месте преступления и чтобы он мог подать на нее в суд за прелюбодеяние. "Когда именно он сказал тебе, что любовник его жены – полицейский?" – "Да ничего он мне не говорил, господин председатель, я узнал об этом на другой день, уже в отделении". – "И ты ждешь, что суд тебе поверит?" – вмешался прокурор. "Может, я тогда сяду, господин председатель?.." Он ни разу не ответил прокурору прямо, намеренно игнорировал его, и тот от такого обращения сатанел все больше и больше. Касьянопулос следил за этим представлением и нервно постукивал пальцами по столу. К счастью, казалось, что председатель был терпеливым человеком. "Продолжай!" – говорит ему. "Чтобы не болтать тут вам попусту, я так скажу, господин председатель. Я ему говорю: 'Может, объяснишь, че у тя там' А он мне: 'Двадцать талиров'. – "Что значит двадцать талиров?" – "Сто драхм, господин председатель!" – "Ну так и говори: сто драхм. Не все здесь завсегдатаи кофейни 'Встреча'!" – "Я пытаюсь рассказать, господин председатель, как все было, потому и говорю на языке улицы. Но если хотите, могу перейти на кафаревусу[1]..." Касьянопулос прикусил губу. Я сидела по левую сторону от него и посматривала на него. "Двадцать талиров, он мне говорит, господин председатель. Ну не дурак бы я был отказаться? С тех пор как я заболел..." – "Оставь свои болезни в покое и расскажи нам, что случилось..." – говорит ему председатель резко. "А вот и не 'оставь свои болезни в покое', господин председатель. Если бы я не заболел, мо-

1. Кафаревуса – "чистый" греческий язык (в противоположность *димотики*, народному языку), сплав древнегреческого койне с современным произношением; язык образованных слоев общества.

жет, и не сидел бы здесь и сейчас! Если вы считаете меня преступником, а не человеком, я прямо сейчас сяду и судите меня тут хоть *сто* лет, но нечего меня высмеивать только потому, что вы тут отправляете правосудие..."

Все полицейские, что пришли в гражданском, устроили шум и грохот почище клакеров в театре. Председатель зазвенел колокольчиком. Когда наконец восстановилась тишина, Димитрис продолжил изложение событий. В десять они взяли такси и поехали на Фреатиду. Они спрятались перед домом Гатцоса и приготовились поджидать жертву. "Как Гатцос узнал, что потерпевший должен был прийти к его жене?" — "Он, господин председатель, наболтал ей, что в тот вечер заночует у своей сестры". (Позже это подтвердил и сам Гатцос.) — "А где дом его сестры?" — спрашивает прокурор. Димитрис уже был готов ответить, но Касьянопулос подскочил от возмущения: "Не вижу, к чему этот вопрос, господин председатель!" Прокурор снова усмехнулся своей змеиной усмешкой: "Наш уважаемый защитник много чего не видит, гражданское обвинение готовится ответить *и* на этот вопрос в свое время. Существует серьезная, чрезвычайно серьезная причина, по которой мы ставим перед подсудимым эти вопросы, в противном случае мы бы этого не делали!" — "Отвечай на вопрос", — утомленно говорит председатель Димитрису. "На какой вопрос, господин председатель?" — "Господин государственный обвинитель спросил тебя, знаешь ли ты, где находится дом сестры Гатцоса". — "В Новой Филадельфии". — "Значит, о такой вот ерунде он с тобой беседовал, — с триумфом перебил его прокурор, — а вот то, что любовник его жены — полицейский, об этом он забыл сказать, да?" — "А при чем здесь одно к другому? Да я уже давно знаю, где его сестра живет, господин председатель. Как-то вечером у них была пирушка, так и я на нее пошел". Председатель посмотрел на прокурора, как будто говоря: не надо так давить... "Продолжай", — кивнул он Димитрису.

Они прождали перед домом Гатцоса где-то с полчаса. Наконец появился потерпевший, позвонил в колокольчик, вышла жена Гатцоса, открыла ему, бросила взгляд по сторонам, не видит ли кто, и впустила внутрь. "Сколько времени вы прождали, прежде чем перейти дорогу?" — "Двадцать минут". — "Правда, что Гатцос хотел пойти тотчас же, а ты его не пустил?" — "Правда". — "Почему?" — "Так и дураку ж понятно, господин председатель! Если он хотел застать их на месте преступления, следовало дать им дойти до кровати". — "Итак, вы вошли в дом..."

Гатцос, знавший, где что, шел первым, Димитрис за ним, подошли они к дверям спальни. Димитрис первым приник к замочной скважине. "И что ты увидел?" — "Если я скажу, господин председатель, вы снова заявите, что я использую непочтительные выражения". — "Никто не ждет от тебя подробностей, — говорит председатель раздраженно. — Скажи только, до какой стадии они дошли. На кафаревусе". — "Они осуществляли половые сношения!" — "И в самом деле, — говорит председатель, с трудом сдержав смешок, — ты *и* в кафаревусе преуспел. Теперь скажи нам, что случилось потом, — на димотики".

"Гатцос с силой толкнул двустворчатую дверь и раскрыл ее во всю ширь. Едва жена его увидела, как начала визжать и звать на помощь. Попутно она попыталась прикрыться простыней". — "А потерпевший, что он делал?" — "Побежал за штанами. В этот момент я услышал два выстрела, и..." — "На допросе, — вмешался прокурор, — ты говорил, что потер-

певший попытался достать револьвер из кармана штанов". – "Я сказал, что мне *показалось*, будто он хочет достать свой пистолет". – "Как же тебе это могло *показаться*, если, как ты нам говоришь, ты не знал, что он – полицейский и, следовательно, у него всегда с собой оружие?" – "Интуиция. Уж столько-то лет на улице, да я с закрытыми глазами определю, что это они. По запаху их чую..." – "Что ж ты крикнул в тот момент?" – "Да ничего". – "Как это ничего! – воскликнул прокурор. – Жена Гатцоса нам сказала, что ты крикнул: 'Давай сделай этого... этого... этого, – он открыл лежащее перед ним досье и зачитал: ...этого пидараса!'" – "Ложь! Жена Гатцоса просто пытается выгородить своего мужа, чтобы оправдаться перед ним. Кончится тем, что вы мне скажете, что это *я* его убил!" – "Есть масса возможностей убить человека. Например, подтолкнув кого-нибудь другого к совершению преступления..." Касьянопулос снова подскочил и начал протестовать еще возмущенней, чем раньше. Кто-то в зале крикнул "Браво!", и судья зазвонил в колокольчик и посоветовал всем присутствующим воздержаться от организации митинга как в защиту, так и против обвиняемых, потому что в противном случае он будет вынужден очистить помещение и продолжить заседание при закрытых дверях. "...Так вот, слышу я два выстрела и вижу, как потерпевший хватается за брюхо. 'Да что ты сделал, пидарас!' – кричу я Гатцосу. Вот что я сказал, господин председатель. Я не говорил 'Сделай этого пидараса'. Может, я и самый худший человек на земле, но не убийца, и никогда им не стану! Не такая у меня душа. 'Да что ты сделал, пидарас, Христа твоего разэтак!' – кричу ему. Потому что, клянусь костями моего отца, господин председатель, я понятия не имел, что у него с собой пистолет. Я не знал, что..." Но эти его слова снова потонули в адском шуме, который подняли сослуживцы убитого, заслышав, как он поносит Христа. Касьянопулос побелел как полотно. Присяжные мрачно закачали головами. "Я тебе очень рекомендую, – сказал ему председатель сурово, – впредь избегать выражений, оскорбляющих религиозные чувства присутствующих. Перерыв десять минут..." Уфф! Я вздохнула от облегчения. Давно пора. Нам всем было просто необходимо глотнуть хоть немного свежего воздуха: в зале суда стояла удушающая духота.

Выйдя наружу, во внутренний дворик, я впервые увидела Тодороса. Нас представила Поликсена. Кира Экави в тот момент для таких церемоний не подходила, она окончательно утратила чувство реальности. Сплела пальцы под подбородком и сидела живым воплощением отчаяния. Я уж так хорошо знала ее, как читаную-перечитаную книгу. В то время, как ее сын отвечал перед судом человеческим, она сама сидела на скамье подсудимых какого-то другого, невидимого суда. "Не убивайся так, хорошая ты моя! – говорю ей. – У тебя начнется рак, и тогда привет, как это было с моей мамой! В конце концов, не он убил полицейского, не отрубят же ему голову. Тебе надо было быть там, – добавила я, – послушала бы, как он с прокурором держался – все ответы как от зубов отлетали". Она подняла взгляд и посмотрела на меня, словно говоря: я же знаю, что ты и сама не веришь в то, что говоришь. Она не была дурочкой. Может, она и не сидела в зале суда, но знала до мельчайших подробностей, что именно там происходило, *как если бы* была там от первой до последней минуты. И она тоже, как и все мы, понимала, что *эти* отлетающие от зубов ответы вернее всего его и погубят, потому что они подтверждают гипотезу, на которую уже намекнул проку-

рор, будто бы он и есть душа этого преступления. Она знала цену и людскому правосудию, и характеру своего сына. Тем временем подошла Поликсена с кусочком лукума и стаканом воды. "Съешьте лукум!" – говорит ей. Кира Экави трагически прикрыла лицо руками. Поликсена предложила мне. "Я не хочу лукум, – говорю ей. – Отдай его ребенку, а себе давай возьмем кофе". Тодорос на мгновение отошел, но вскоре вернулся вместе с Касьянопулосом. Два сына, и какая разница между тем и другим! – сказала я себе, наблюдая за тем, как он приближается к нам. Возможно, Димитрис красивее, но пропади она пропадом, эта красота. "Минос! – воскликнула кира Экави, едва увидев Касьянопулоса. – Минос, на Господа и на тебя!.." Касьянопулос развел руками, показывая, что он абсолютно бессилен. "Вы же знаете, госпожа Лонгу, – говорит он ей, – я сделаю все, что смогу, но, к несчастью, он сам портит всю картину. Я ему все время твержу, что он должен быть почтительным и изображать полного идиота, но он рассчитывает, что они купятся на умника... – Но, видя, что она и так уже на грани обморока, тотчас же сменил пластинку: – Госпожа Лонгу! Мы разве *так* договаривались? *Это* – то мужество, которое мы обещали? (Он говорил скорее как врач, нежели адвокат.) Шесть месяцев – самое большее, что ему грозит. Он пробыл под следствием – сколько? Семь? Вечером я сам приведу его домой..." Он обвел нас взглядом, будто бы прося разрешения удалиться, и исчез в одном из коридоров. Тодорос вытащил пачку и уже было засунул в зубы сигарету. Но потом подумал, что может, я тоже курю, и предложил и мне одну. Андонис не разрешал мне курить, у меня уже и тогда была эта проклятая язва, но я взяла, и когда Тодорос давал прикурить, я посмотрела ему в глаза, устремленные на меня, как будто он думал: так вот *эта* Нина, которая делает такую вкусную мусаку?.. Когда подошло время заседания, я спросила ее: "Ты, что, совсем не хочешь пойти?" – "Нет, идите, а меня предоставьте мне. Скажите, что меня нет на свете..."

За два-три дня до суда Касьянопулосу удалось раздобыть список с именами присяжных, вдруг да мы знали бы кого-нибудь, и среди них, по какому-то дьявольскому совпадению, оказался бакалейщик из нашего квартала. "Пойду, уговорю его! – говорит мне кира Экави. – Упаду ему в ноги..." – "Ты, конечно, как знаешь, – отвечаю я, – но что-то я сомневаюсь, что ты хоть на мизинец преуспеешь. Бухлос не из тех, кого легко взволновать. Иди, – говорю ей, – в конце-то концов, чего тебе стесняться, это ему стыдиться надо будет". – "Да что с тобой, ради бога, – всплеснула она руками, – да мы каждую неделю кучу денег в его магазине оставляем!.." Бедная кира Экави! – подумала я, и сердце мое сжалось. Какая же ты все-таки наивная, если думаешь, что Бухлос подсчитает твои полулитра масла и полкило фасоли, что ты берешь в его лавке, и за это тебя пожалеет!

И я не промахнулась. На следующий день она пришла, изрыгая проклятия: "Ах он такой-сякой, мерзавец, рванина зажравшаяся, стал человеком, так его еще и присяжным выбрали! Нет чтобы мне сказать, пусть даже и соврать: ладно, кира Экави, сделаю, что смогу, – он давай мне проповедь читать, подонок: долг присяжного, видите ли, 'священен', и он будет судить по совести. Я, ей-ей, еще секунда и схватила бы совок из его мешка с сахаром и швырнула бы ему прям в башку, но сдержалась. Ну, пусть только суд благополучно закончится, думаю, и я тебе покажу, него-

дяй! Чтоб ты еще хоть раз мой грош увидел, да я сама в грош превращусь!.." Сейчас я наблюдала за тем, как он сидит в первом ряду, надутый, сложив толстые коротенькие ручки у себя на животе, и говорила про себя: бедная, бедная кира Экави, никогда-то ты не поймешь, какие же все люди чудовища. Неужели никогда ты не образумишься?

Речь Димитриса длилась целый час. К несчастью, он, глупый мальчишка, не послушал Касьянопулоса. Вместо того чтобы разыграть непорочную деву Марию, как это сделал Гатцос, и сказать: я поступил необдуманно, я это признаю, мне не следовало соглашаться и идти с ним, но я нуждался в деньгах, сказать так и умолять их не придавать значения его прошлому и судить снисходительно, — нет, он начал вещать как адвокат. И поскольку он не был адвокатом, то, разумеется, стал посмешищем. Председатель смотрел на него, словно не понимая, то ли прийти в ярость, то ли пожалеть его. Каждый раз, как он слышал, что тот выбрасывает еще порцию архаизмов, ухмылялся себе в усы. А Димитрис не только вещал, но и сопровождал свои слова и подобающими жестами: широко разводил руки, угрожающе нацеливал на них свои персты, словно бы не он, а они были подсудимыми, и все ходил и ходил взад-вперед, от председателя к присяжным, от присяжных к председателю, а пару-тройку раз и вовсе развернулся и к залу, как это делают актеры в театре, начал рассказывать свою жизнь с того момента, как он был ребенком, в точности как это делала кира Экави. Дружок, да ты вылитая твоя мать, подумала я. Но, так или иначе, а кира Экави все-таки женщина. Тот, кто претендует на то, что он — мужчина, должен быть посдержаннее. Он, дурачок, воображает, что, рассказав присяжным свою жизнь, он их растрогает — ага, Бухлоса, например! Бедный Касьянопулос нервически стиснул кулаки. Разумеется, было совершенно немыслимо в присутствии всего суда предложить ему заткнуться и сесть на место. Под разными предлогами он то и дело проходил мимо него, чуть не впритирку, деликатно его подталкивал, шипел ему сквозь зубы, чтобы тот заткнулся. Но Димитрис его игнорировал. До такой степени, что даже мы, хотя и были на его стороне и были уверены, что он действительно невиновен, пришли в негодование. Дрянной мальчишка, да как он смеет выступать тут с речью! Нет чтобы поджать хвост, он еще и на сдачу требует! Касьянопулос все ходил мимо него туда-сюда и подавал знаки, но Димитрису хоть трава не расти. Как он позже сообщил своей матери, он хотел защищать себя сам, без помощи всяких там адвокатов, как это сделал Димитров. "Ты бы ему сказала, — заметила я ей, когда она пришла и рассказала мне об этом, — что ему не хватает самой малости, 'ов' на конце". Глядя, как присяжные на него взирают, сначала удивленно и недоверчиво, затем все более и более враждебно, он набросился и на них. Заявил, что с самого начала знал, что его объявят виновным, а потому считает бессмысленным молить их о снисхождении, что люди, которые набили себе утробы и носят чистые рубашки, не в состоянии испытывать жалость к людям с разбитой жизнью, как у него, но это не его печаль! Однажды все переменится! Однажды в мире воцарится правосудие! Тогда, пусть даже и после смерти, его оправдают!.. Председатель, то ли заметив безнадежные конвульсии Касьянопулоса, то ли движимый чувством сострадания при виде этого невиданного доселе способа свести счеты с жизнью, в какой-то момент прервал его и самым деликатнейшим образом заметил, что время вышло, заседатели и присяжные устали, и чем быстрее он закончит, тем лучше будет и для них, и для

него. Но что, вы думаете, он услышал в ответ? Что Закон дал ему право защищать себя так, как он сам сочтет для себя более выгодным, и что вопиет, потому что его душит чувство справедливости. "Я задыхаюсь от справедливости, господа присяжные! Я задыхаюсь от справедливости!.." "По нему, *в самом деле*, решетка плачет, — сказал нам Касьянопулос, когда снова объявили перерыв и мы вышли на улицу, — но только ему место в сумасшедшем доме, а не в тюрьме. Госпожа Лонгу, — обратился он к кире Экави, — немало сумасшедших я повидал в своей жизни, но таких шизофреников ни разу. Советую вам сводить его к психиатру, пусть посмотрит..."

Когда заседание возобновилось, прокурор встал и заново изложил все обстоятельства дела, и когда он дошел до роли, которую в этой истории сыграл Димитрис, у него началась истерика, как будто несчастный был его личным врагом, как будто он убил его отца. Он с чувством зачитал весь послужной список судимостей Димитриса и громогласно пришел к выводу, что подобный человек, само собой разумеется, должен питать неугасимую ненависть к обществу. "Что означает — против вас, господа присяжные, и против законного порядка, и, тем более, против органов охраны правопорядка!.. Сколько раз он, словно какой-нибудь Калигула, должно быть, думал: как жаль, что у полицейских нет одной головы на всех, чтобы можно было ее срубить раз и навсегда!.. Вообразите теперь, разве мог он упустить столь прекрасную возможность отомстить им всем разом в лице нашей несчастной жертвы, тем более что он прекрасным бы образом обошелся без каких бы то ни было последствий. Разумеется, это ему так *казалось*, уважаемые господа присяжные... Вы его слышали... Мы все его слышали... С этой его дешевой риторикой, заимствованной из продажных газетенок, и злобным красноречием, бесспорно изумительным в человеке его типа, он разжег в Гатцосе понятную жажду мщения по отношению к любовнику его супруги, который, пусть даже он *и был* виновен в грехе прелюбодеяния, однако так ли он тяжек, этот грех, чтобы искупать его собственной жизнью? В каком веке мы живем, господа? И это он вложил ему идею убийства, досточтимые господа присяжные! Гатцос не признает этого открыто из-за ложно понятого чувства солидарности, но у нас есть все основания, чтобы прийти к подобному выводу в процессе рассмотрения дела. 'Давай, сделай этого пидараса! — крикнул он. — Пристрели его! *Я* же здесь. Я выступлю свидетелем. У тебя смягчающие обстоятельства. Тебя оправдают...' Ибо, хотя этот человек не чтит Закон, но он его знает, досточтимые господа присяжные. Он сам нам это сказал в процессе своей оправдательной речи. И в самом деле, нет ничего более комичного, чем этот человек, который сначала с легким сердцем преступает и человеческие, и божественные законы, а потом имеет наглость взывать к обществу и его законам, обществу, которое он презирает и к которому испытывает отвращение... 'Сделай его! — крикнул он. — Стреляй в него!'... Так в лице несчастной жертвы он мстил не только своим беспощадным гонителям, но и всему обществу в целом, чьими неусыпными стражами они являются, — то есть мне, вам — все потому, что мы носим чистые рубашки!.." В конце он потребовал признать Гатцоса виновным в предумышленном убийстве со смягчающими обстоятельствами, а Димитриса — соучастником и подстрекателем преступления.

Тогда с места поднялся несчастный Касьянопулос. Бледный, он едва слышным голосом сказал, что время, к несчастью, все вышло, и интересы его клиента требуют, чтобы он был кратким. Он заклинал их не поддавать-

ся той неприглядной картине, которую им набросал прокурор, которому по долгу службы положено взирать на каждого обвиняемого как на чудовище. "Он вспомнил даже о Калигулах, многоуважаемые господа присяжные!" И улыбнулся печально. Чуть позже дрожащим от волнения голосом продолжил: "Господа присяжные! Я передаю вам треснутую вазу... Туберкулез... Семейные несчастья... Удручающее отсутствие чувства реальности... Обращайтесь с ней бережно... Не разбейте ее... Умоляю вас не как адвокат, но как человек. Верните мне ее в том же состоянии, что и сейчас... Не разбивайте ее в осколки... Где мне взять мужества, как закалить свое сердце, чтобы наклониться, собрать эти осколки и отнести их его матери..." Он упал на стул и спрятал лицо в ладонях. Когда присяжные удалились, чтобы посовещаться и вынести свое решение, и мы тоже вернулись во двор, где кира Экави снова и снова лишалась чувств. И когда через некоторое время заседание возобновилось, и присяжные вышли и заявили, что признают его вину как соучастника и подстрекателя, и суд приговорил его к трем годам заключения — так же, как и Гатцоса, — тогда она закричала, начала бить себя в грудь и умолять, чтобы мы ее убили, но, естественно, вместо того чтобы убивать, мы взяли ее под руки, погрузили в такси и отвезли домой, и сели прямо в холле, чтобы провести ночь с нею, как над покойником. В лампочке было только двадцать пять ватт, и от такого мутного света сердце еще больше сдавливали неведомые оковы. Позже подъехал и Касьянопулос, и, чтобы нам не просидеть так до самого утра, я метнулась домой и, ступая на цыпочках, нашла снотворное, которое обычно принимал Андонис, вернулась, и мы ей чуть ли не силой впихнули двойную дозу, и вскоре, все еще всхлипывая, она начала позевывать, опустила голову на диванную подушку и заснула, как маленький ребенок...

Уже светало, когда я вернулась домой. Раздеваясь, чтобы рухнуть в постель, я, сама того не желая, разбудила Андониса. "Который час?" — спросил он. "Без двадцати пять". — "Что! И тебя в такое время не было до́ма!" — "Очень тебя прошу, прекрати, — говорю ему, — нет никакой необходимости поднять на ноги весь дом. Я и так истерзана. Поворачивайся на другой бок и засыпай, чтобы и я могла поспать хотя бы капельку. Я тебе завтра все расскажу..."

Через две-три недели наступила Пасха. В Чистый четверг я покрасила яйца и отправила и ей несколько штук с Мариэттой. Я знала, что в таком состоянии, в каком она пребывала, у нее не было ни малейшего желания сидеть и красить яйца. Утром Страстной пятницы она пришла к нам, и так как у меня была какая-то, не помню уж и какая, работа во дворе, она села одна в холле подождать, пока я закончу, и принялась раскладывать пасьянсы и напевать пасхальные стихиры:

Между преступниками преступником, Христос,
Ты был сочтен, по справедливости ты нам ответишь...

И еще ту песню, которую когда-то в Страстную пятницу напевала и покойница мать:

Сегодня небо черно, сегодня черным-черно в полдень,
Сегодня схватили Христа безбожники евреи...

Внезапно песня захлебнулась, я услышала какие-то странные звуки, склонилась к окну посмотреть, что происходит, и увидела, что она бьется головой об стену. Бросаюсь в дом, хватаю ее сзади, прижимаю к груди и зову Мариэтту: "Быстро за врачом!" И пришел Борос, и сделал ей укол, чтобы расслабились ее истерзанные нервы, и прописал он ей сироп, чтобы принимала три раза в день. Какое-то время мне казалось, что она полностью оправилась, как вдруг в один из дней приходит Акис и говорит: "Бабушка больна". — "Что случилось?" — "У нее отнялась нога. Она не может ходить и просит вас одолжить какую-нибудь из старых палочек дяди Андониса".

Но Димитрису тюрьма была только на пользу. Строгий режим и вынужденный отказ от мирских соблазнов было то, что нужно для человека с больными легкими. "Ты бы видела его щеки, — говорила она, захлебываясь от слез и смеха одновременно, — прям персики! Я уж и не припомню, когда бы он так хорошо себя чувствовал с тех пор, как был ребенком". Чтобы занять время, он мастерил копилки и ветряные мельницы из дерева и раскрашенной соломы. Или читал. Его вдруг потянуло на чтение. Однажды пришла ко мне кира Экави с какой-то бумажкой в руке и говорит: "Посмотри-ка сюда, Нина, ты же знаешь грамоту и прочла столько книг, что это за дьявол такой этот Макс Мордау и Фрейд, которых он попросил купить? Может, это какая коммунистическая пропаганда, и у него их отнимут надзиратели?" — "Ах, кира Экави, — отвечаю я ей, — долгих лет тебе жизни, так ты меня смешишь, не бойся. Эта книга Нордау о лжи с обоюдного согласия, ее и мой дорогой папа читал. Что же касается Фрейда, то это великий психиатр. Да ради бога, неужели ты никогда не слышала про психоанализ и эдипов комплекс?" Но стоило ей услышать про психиатров, и она даже слушать дальше не стала. "По, по! — воскликнула она в ужасе. — Психиатр! И на что это они ему понадобились, такие-то книги?" Увидела я это и взорвалась: "Хватит быть подозрительной, как деревенские бабки! — говорю ей. — Купи их ему, а отнимут, так отнимут!" И дала ей и пятисотенную. Несмотря на то, что в те времена и мы не сказать чтобы так уж твердо стояли на ногах, я помогала ей, чем могла, просто так, в память о покойном Диносе. Она пошла на улицу Асклепиу и купила эти книги. Но прежде чем отнести Димитрису, она имела глупость подвергнуть их "цензуре" Тодороса, который, стоило ему их увидеть, выпучил глаза, закатил истерику, выхватил их и сжег. "Надо ж было тебе стать журналистом! — говорю я ему иной раз, чтобы подразнить. — Нет, вы только послушайте, он сжег Фрейда, о котором даже служанки слышали!.." Лучше Тодороса нет человека на этом свете. Слава богу, мне не приходится жаловаться, но он не разбирается ни в чем, кроме своей работы, счетных книг и спортивных репортажей. Видит, как я читаю серьезные книги, и высмеивает меня. Дай ему детективы, и больше ему ничего от жизни не надо. Да и их он предпочитает в разжеванном виде в кинотеатре. Чтобы ей не идти в тюрьму с пустыми руками, я залезла в шкаф с книгами покойного папы и достала "Происхождение видов" Дарвина и "Человека-зверя" Эмиля Золя.

Осенью 39-го Поликсена обручилась с каким-то врачом. "И где же она с ним познакомилась?" — спрашиваю я киру Экави после поздравлений. "В аптеке". — "Слушай, да эти аптеки прямо ярмарка невест какая-то!" —

пошутила я. Она посмотрела на меня в недоумении. "Да ты забыла, что ли, — говорю ей, — как ты рассказывала, что и с нотариусом она познакомилась в аптеке?" — "Шшшш! Даже у стен есть уши! Какого черта ты все это помнишь! Даже я уже забыла. Я перестану рассказывать тебе мои секреты. Не дай бог нам стать врагами, ты уже знаешь столько, что хватит вздернуть меня на виселице. Ах, Нина, ты бы только знала, сколько я молила Бога, чтобы нашелся хороший мальчик и для нее. И наконец он меня услышал, благословенно будь Его имя. Осталось только, чтобы он свершил Свое чудо и для Елены, чтобы она бросила этого своего засранца маслодела. Пошла мерзавка и связалась с женатым. И был бы красавцем, ну тогда и черт с ним, что женатый! Но ты бы его видела, Нина, да тебя бы стошнило даже плюнуть в него. Хотела бы я знать, *что* она в нем нашла. Он ее, видишь ли, возит в путешествия. И до каких пор, я вас умоляю, он будет ее возить в путешествия? Сколько вот эти безобразия будут продолжаться? Придет тот день, я, может, уже буду в сырой земле покоиться, но вы-то молоды, так что доживете и увидите, когда он ее оставит с носом и вернется к своей жене и детям. И она останется одна-одинешенька, как брошенный колосок в поле..."

Как и покойница-мама, кира Экави была полна иллюзиями, что стоит женщине выйти замуж, как все ее проблемы решатся сами собой. То, что она сама претерпела в браке, не стало ей уроком. Женитьба была ее единственной мечтой для Тодороса — но не для Димитриса. Димитриса она даже представить себе не могла женатым. Но Тодороса так и выпихивала жениться, чтобы избавиться от него. "Ты, Нина, не знаешь какую-нибудь красотку, чтобы ему сплавить, — говаривала она мне, — чтоб мне не слышать больше это вечное брюзжанье? Но чтоб у нее был дом. Пусть будет, черт с ней, какой угодно, вдовой, страшной, кривой, хромой, лишь бы у нее был свой дом!.." В то время, хотя ему было тридцать шесть, к тридцати семи, кира Экави боялась, что он останется холостяком. Как-то раз, когда я была у нее в гостях, спросила, так просто, из пустого любопытства, сколько лет Тодоросу, и я была потрясена, когда она ответила, что не уверена, родился он в 1903 или в 1904-м. "Какого черта, — говорю ей, — ты что, не помнишь, когда родились твои собственные дети?" Она послала внука, и тот снял со стены икону святого Фанурия. На оборотной стороне ее муж чернилами каллиграфическими буквами написал даты рождения всех своих детей — *и* двоих от второго брака тоже. Она прочитала ту, что была рядом с именем Тодороса: 3 сентября 1903 года... Он был на два года младше меня. *На два.* А не на четыре, как утверждает эта язва моя дочь!

3

Летом 38-го, а там и дальше, доходы Андониса как ножом отрезало. От расстройства у него подскочило давление, он целыми днями кружил по дому, как лев в клетке. "Давай, кира Экави, разброс-ка мне картишки, — говорил он ей, — посмотрим, в конце концов, чем все это положение обернется! Придут какие-нибудь заказы или нет?" Кира Экави разбрасывала по столу карты, так, как она научилась от ханум в Салониках, тремя рядами по девять карт в каждом и по одной закрытой на "работу", "дом" и "кровать", и таким образом открывала ему его будущее, но никогда прав-

ду. Мы сговорились. Она рисовала все в самых радужных красках, чтобы подбодрить его. Но как только мы оставались одни, говорила: "Присматривай за ним! Снова ему выпала эта проклятая десятка пик".

Ах, ну и как бы она ему не выпала! Дело было не только в его больной ноге и давлении. С сердцем все обстояло еще хуже. Я постоянно тряслась от ужаса, как бы ко мне внезапно кто не пришел и не сказал бы, что он лежит на земле без чувств. Однажды меня остановил в коридоре Борос, он как раз уходил, и говорит мне: "Ниньо, — он меня так называл, — Ниньо, мы были старыми друзьями, и наши семьи тоже, и между нами была большая близость, — сто лун назад он даже был в меня влюблен, — я задам тебе один бестактный вопрос, как врач". — "Да хоть сто!" — отвечаю. "Скажи мне, — продолжает он, усмехаясь, — сколько раз в месяц..." — "Остановись! — вскинулась я. — Я все поняла! Ах, милый Танос, ты, верно, надо мной смеешься? Один раз в три месяца и то проблема..." А об импотенции и всех этих экивоках ни звука не проронила. Еще и посмешищем его сделать — это уж слишком. Так или иначе, но я знала, что все это — докторские глупости. В болезнях Андониса меньше всего было повинно тело, но только душа: он привык иметь денег без счета в кармане и тратить их почем зря, и поскольку он видел, что они тают, а взять их ему больше неоткуда, то вместе с ними таял и он. Я уже дважды относила костюмы к его кузену Фурьотису, чтобы он их ушил, а теперь их нужно было сделать и еще меньше. "Кончено, — сказал он мне со вздохом вечером того дня, когда Гитлер напал на Польшу. — Кончено. Что я построил, то построил. С этого момента они начнут разрушать". Он понимал, что, пока в Европе идет война, даже если Греция останется в стороне, заказов для него не предвидится. "Хорошо тем, кто молод, — твердил он, — они выживут и построят новые дома вместо развалин". Чтобы не платить впустую деньги за участок, он решил сдать в аренду строительные формы. На вырученные деньги мы крутились какое-то время, но мы жили, видите ли, нараспашку. Трудно изменить образ жизни в один день. У нас была прислуга, плата за частную школу для принцессы. Я была столь наивна, что полагала, будто, общаясь с девочками из хороших семей, она переймет у них хорошие манеры. Мы уже начали засовывать лапу и в деньги на счете в банке, которые берегли как зеницу ока на черный день. Я решила уговорить его продать пианино. Так или иначе, оно все равно стояло без толку. После четырех лет обучения она, скотина, даже, как говорится, собачий вальс не могла сыграть. У меня не было никакой потребности держать в гостиной пианино за тридцать пять тысяч драхм украшения ради. На те деньги, что мы бы за него выручили, можно было безбедно существовать как минимум полгода, до тех пор, пока не стало бы понятно, к чему, наконец, придет Греция: будет у нас война или нет? И хотя прошли месяцы и месяцы с тех пор, как она последний раз садилась за него, но как увидела, что рабочие выволакивают его прочь, взбеленилась, вскипела и довела меня до таких нервов, что у меня снова заныла язва. Она поносила и меня, и своего отчима, всех без разбора, точно так, как теперь проделывает это с Тодоросом. Мне она заявила, будто бы я уговорила его продать пианино, потому что всегда ей завидовала и хотела, чтобы она осталась пнем неприкаянным. Это я-то! Я пошла на такие жертвы, я вышла замуж за человека на двадцать лет старше меня, чтобы у нее ни в чем не было нужды! И когда грянул гром и ударила молния, снова *я* была виновата. "Ты!" — визжала она. Потому что не

взяла ей репетитора, потому что никогда не спрашивала ее, сделала она уроки или нет, потому что никогда ее не любила и так далее, и тому подобное. Вот сволочь, думала я, взбивая яичные белки для безе, в этот день как раз было Успение Богородицы. Ну, если я тебе еще хоть один, хоть завалящий праздник устрою, буду самой большой дурой во всем белом свете. Так или иначе, я все равно еще ни разу не услышала спасибо в свой адрес. Обычно она мне говорила, что я готовлю не для нее, а чтобы поразить весь мир моими кулинарными способностями.

Около одиннадцати пришли с поздравлениями две ее одноклассницы, единственные из всего класса, кто с ней общался, и я вынуждена была сбросить фартук и пойти в гостиную, чтобы их принять, потому что Ее Высочество, несмотря на все мои крики, все утро болталась без дела и все еще не оделась. Мало мне было моих печалей, так еще и в тот день у меня как-то странно заболело сердце. Я всегда боялась, да и сейас боюсь, назовите это предчувствием или еще как, что и я сама уйду от той же болезни, что погубила мою бедную маму. Вместо того чтобы принимать визиты, мне пришлось запереться в своей комнате, чтобы никого не видеть. Нервы мои были в ужасном состоянии. Когда я расстроена, мне, знаешь ли, проще вообще ни с кем не разговаривать и все держать в себе. Хорошо тем, кто может кричать и плакать, как это делала кира Экави. Я же плачу и бранюсь молча, в душе, и от этого иной раз у меня вены на шее вздуваются, да так, что, кажется будто она синеет.

К семи гостиную заполнили знакомые все лица. Мариэтта держала огромный поднос и предлагала мороженое. Жена Касиматиса зажала меня в уголке возле окна и монотонно перечисляла все свои страдания, что она терпела из-за сына. Тот связался с какой-то шлюхой и возжелал во что бы то ни стало на ней жениться. Я слушала ее, но мысли мои были далеко. Радио в доме напротив играло все громче. Я уже сотни раз делала Ноте замечания, но ей было абсолютно безразлично, хотим ли и мы слушать музыку вместе с ней. Избранница сына Касиматисов была актриской десятого разряда, из тех, что пляшут в кабаре. Ба, да тут *что-то* не так, сказала я сама себе. Краем глаза я уловила какое-то непривычное движение на улице. Двое-трое соседей замерли прямо под окнами Ноты и напряженно слушали выпуск новостей. "Ты меня простишь на секундочку, Юлия, — говорю я, поднимаюсь, свешиваюсь в окно и кричу Ноте: — Что там такое?" В это мгновение радио заиграло Национальный гимн. "Слышали новости? — я отошла от окна и повернулась к гостям. — Какая-то подводная лодка торпедировала 'Элли' у Тиноса..." И вдруг вижу, как тетя Катинго падает без чувств. Я знала, что Такис был младшим лейтенантом на "Элли", но в ту минуту у меня это напрочь из головы вылетело. Потом мы узнали, что с ним все было в порядке, с такими никогда ничего не случается, он еще на наших похоронах простудится. В момент обстрела он шлялся в увольнительной на берегу, сверкал своими позументами. Всегда был таким пустоголовым и самодовольным, что я его на дух не переносила. В конце концов тетя Катинго пришла в себя, дядя Стефанос подхватил ее и Ирини и они ушли, а в гостиной вспыхнул политический спор. Касиматис утверждал, что подводная лодка была немецкой или итальянской, а Андонис, Господь да упокой его душу, настаивал на английской версии. Один кричал одно, другой другое. Но меня совершенно не волновала государственная при-

надлежность подводной лодки. Я знала одно: торпедирование можно было истолковывать как угодно, но только не как доброе предзнаменование.

Как раз в день Святого Димитрия, в три часа пополудни, мы отправились в церковь Святого Луки на венчание Поликсены. Ее свекр со свекровью жили на улице Ахарнон, в двухэтажном доме. Александр, как и его отец, был врачом. Счастливая она, Поликсена, думала я, сидя в такси, которое мы поймали после церемонии, чтобы отправиться на день рождения к Касиматисам. В конце концов, родовое проклятие семьи Лонгос обойдется без нее. Как бы я ни любила киру Экави и как бы ни жалела из-за ее страданий, и я была вынуждена признать, что и ее брат Мильтиадис, и дочь Елена отчасти были правы, когда говорили ей, что она сумасшедшая истеричка и что только из-за ее характера она претерпела столько, и не только она, но и ее дети. Пусть ей не повезло, да и муж ее был виноват, кто спорит, но все же, все же ящик Пандоры открыла она сама, как я ей все-таки сказала позднее, во время Оккупации, когда произошло все, что произошло.

Проехав через Омонию, мы остановились у цветочного магазина и купили Касиматису огромный букет хризантем. Обычно я делала ему целый противень халвы по-рински на его именины, это уже стало традицией, так же, как и они всегда привозили шоколадный торт на День святого Антония. Но на этот раз у меня не было ни малейшего желания возиться с халвой. Мной овладела необъяснимая меланхолия, и я испытывала слабость во всем теле. И дело было не только в осени с ее мрачными серыми тучами, нестабильной обстановке в мире, здоровье Андониса или поведении моей дочери. Вместе со всем этим на меня в первый раз навалились и перебои цикла: у меня с давних пор все работало как часы, а в этом месяце они пришли с задержкой. Мои нервы были натянуты как струна, больше чем обычно, мне уже и повода никакого не надо было, скажи мне "Бу!" и этого хватило бы, чтобы мне пуститься в крик. Какого черта, сказала я сама себе, это что же, они у меня теперь совсем прекратятся? Я постарела и не поняла этого? Проглядела целую жизнь, растя выблядка Фотиса?..

Касиматисы собрали народу больше, чем когда-либо, и, как и следовало ожидать, мужчины тут же ввязались в разговоры о политике. Кузен Касиматиса Леон (мы его звали "царь зверей"), работавший в Министерстве печати и туризма, заверял нас, что были найдены осколки торпеды и что она была итальянского производства, но Андонис ни в какую не желал соглашаться. Господь спаси его душу, он был ужасно фанатичным и упрямым. Он твердил, что англичане просто использовали итальянскую торпеду, чтобы обратить общественное мнение Греции против Оси[1] и втянуть нас в войну, как они это уже делали во время Первой мировой. "Если Гитлеру нужна Греция, — грохотал он, — зачем ему посылать итальянцев ее завоевывать? Он бы пришел и взял ее сам. Немцы и не думают нас обижать, они все-таки филеэллины. Да их в школах Гомера и Платона заставляют наизусть учить" — и так далее и тому подобное без перерыва до одиннадцати вечера. "Хватит уже, наконец, — вмешалась я, — ты что, не понимаешь, что сам себя заводишь, а потом потребуешь двойную дозу снотворного, чтобы

1. Ось — военный союз Германии, Италии и Японии и других государств во Второй мировой войне.

уснуть? Ты когда-нибудь примешь к сведению ту новость, что твое сердце в ужасном состоянии?" Только в одном все сходились: рано или поздно и нищенке Греции придется втянуться в войну, кончено, никуда нам от нее не деться, во всем виновато наше дурацкое географическое положение. Мы же, видите ли, словно мост между Востоком и Западом, и нет нам никакой возможности остаться в стороне.

Но никто не ожидал, что это случится так быстро. Когда утром того понедельника мы услышали сирены, то не поверили своим ушам. "Просыпайся! – растолкала я Андониса. – Сирены! Тревога!" – "Оставь меня в покое, – пробормотал он, – это учения!" И повернулся на другой бок. Каждый раз, когда накануне он принимал снотворное, разбудить его не было никакой возможности. "Да никакие это не учения, – говорю я ему, – меня интуиция еще ни разу не подводила!" Каждый раз перед учениями нас заранее предупреждали через прессу. "Вот те крест, – продолжаю я, – но это – тревога, и это значит, что началась война!" Вскакиваю с кровати, бегу в гостиную к окну и вижу: все соседи уже на ногах. Издалека приближался бомбардировщик. "Италия объявила нам войну! Господи, Твоя десница! Разбуди Марию, – рявкнула я на Мариэтту. Та была в шоке. – Разбуди ее и скажи, чтобы одевалась *немедленно*! Возможно, нам придется спуститься в убежище. Вы пойдете в убежище?" – крикнула я Ноте. Но она не знала. Никто из нас не знал, что делать и куда идти. Мы запаниковали. Казалось, пришло время Второго пришествия. Андонис в прострации сидел на краю кровати с носком в руках. "Может быть, ты плохо себя чувствуешь? – спрашиваю его. – Дать тебе твои капли?" И пока я стояла посреди холла как в беспамятстве, схватившись за голову, не зная, за что взяться и куда пойти, подбегает Мариэтта и кричит: "Индюк не просыпает!.. Подошла сдернуть покрывало, а она мне как даст!.." – и в слезы. И у нее, бедняжки, было трое братьев, двое уже служили на флоте, третий попадал под призыв сорок первого, его пошлют на фронт одним из первых. Мы должны немедленно отправить ее на Андрос, подумала я, ее место рядом с матерью и с отцом, я не могу удерживать ее здесь, это слишком большая ответственность. И в бешенстве понеслась в комнату принцессы, схватила ее за волосы и в крик: "Ах ты дрянь такая! Тебе что, и Второе пришествие не повод выйти из наркоза, э? Хоть сдохни, но чтоб встала немедленно, потому что сегодня я тебя точно прибью!" – и давай сдирать с нее одеяло, а она раз и мне пинка дала. Я тогда чуть шкуру с нее не спустила, защипала, влепила пару хорошеньких оплеух и говорю: "Вот тебе! Чтобы знала, как бить собственную мать! Это что, это тебе в голову взбрело, я тебе что, кира Экави, чтоб сидеть и подставлять щеки под кулаки собственной дочери? Мы идем в убежище, а ты можешь сидеть здесь и подохнуть, наконец, чтобы я избавилась уже от грязного семени Фотиса!.."

Но в ту секунду, как я выходила из ее комнаты, сирены завыли и дали отбой. Сволочь! – подумала я. Мир создан для таких вот бесчувственных, как она. Перехожу из галереи в дом и вижу Андониса, преображенного, изменившегося, как по волшебству, совсем *другого* Андониса. Он стоял возле раскрытого окна гостиной и разговаривал с Кукисом, мужем Ноты. "Мы им покажем! Они у нас умоются! Мы их всех на дно морское отправим!" – кричал он. Ага, пробормотала я себе под нос, и этот тип – тот самый чело-

век, что еще позавчера утверждал, что Гитлер не позволит Муссолини напасть на Грецию? Но, разумеется, я и слова ему не сказала. Слава богу, что он так к этому отнесся. И я тоже подошла к окну, и, трепеща от волнения, слушала марши, передававшиеся по радио. В первый раз за все годы я простила Ноту за то, что она слишком громко включала приемник:

Я самолетом хочу быть, земли чтоб не касаться,
И высоко по небу плыть, разрезая облака...

Глаза Андониса заполнились слезами. "Пойду, — говорит, — куплю приемник! Что это, в самом деле, Кукису можно слушать радио, а нам нет?.." А тебе не кажется, хотела было я завести свою шарманку, что это — непозволительная роскошь, что сейчас не время швырять деньги на ветер? Но удержалась. "Делай как знаешь, — только и сказала, — из твоего кармана уйдут..." — "Ах, душка Нина, — отозвался он, — и чего бы я только не дал, чтобы снова стать молодым". Тут и я чуть было не разрыдалась. Оставила его и пошла в кухню, хоть чем-нибудь заняться, только бы отвлечься. Еще с вечера он принес кило с лишним каштанов, первые каштаны в этом году, и я поставила их вариться. Что прожито, то прожито, чему порадовались, того уж нет, а с этого момента... Но я не могла, да и не хотела даже думать о том, что нас ждет.

В тот же час прибыла и кира Экави, бодрее некуда и в отличнейшем настроении. "Ах, кира Экави, — возопила я, — что с нами будет? Как быть?" — "Э, — говорит она, — война на то и война, чтобы начаться и кончиться, не первая же и не последняя. Меня такие глупости не волнуют, меня другое беспокоит". — "И что же, ты ни капельки не испугалась, — говорю ей, — когда завыли сирены?" — "Ба! Да я заранее знала, что они будут, и ждала их. Тодорос вчера дежурил в редакции, и в ту минуту, когда он уже засобирался домой спать, ему позвонили из министерства и сообщили новости. Но у него уже сил не было оставаться там. Он уже как живой труп был от усталости и бессонницы. Пришел домой, рассказал нам все, потом упаковался в постель и говорит мне: 'Мамуля, не будите меня завтра. Даже если бомбы на крышу упадут!' А поскольку он туговат на одно ухо, так он их, эти сирены, даже и не услышал". — "Да ты понимаешь ли, — говорю я в полнейшем изумлении от такого хладнокровия, — что они нас ядовитыми газами удушат? Ты отдаешь себе отчет, что они придут забрать наши дома и наших девушек?" — "Да ты не в своем уме нынче, Нина, — отвечает она, — прямо как дурочка из переулочка, а еще и образованная! Да то же самое мололи и в прошлую войну и напугали нас авансом и в кредит. Что же до девушек, — и тут она скривилась, словно уксуса напилась, — меньше думай об этом, и ничего с ними не случится. Сука не захочет, кобель не вскочит. И итальянцы такие же люди, как и мы, а не людоеды из тропических джунглей..."

"А ей-то что за печаль, — процедила тетя Катинго, когда она пришла вскоре после этого и я рассказала эту историю. — Один ее сын глухой, второй — в тюрьме, даже зять и тот врач, как-нибудь схоронится. Горе нам и нашим детям!" Такиса перевели на маленький противоторпедный катер, Петрос отбывал военную повинность где-то под Козани, в самой гуще огня. "Горе нам и нашим детям", — мрачно повторила она и ударилась в слезы. Через некоторое время в поисках бабушки пришел Акис. "Пришла и ушла!" — сообщила я ему. "Здорово, командир! — крикнул Андонис, едва

его завидев. На нем была форма НСМ[1]. — Ну, посмотрим, — продолжил Андонис, — скольких итальяшек ты побьешь. Вам уже дали винтовки или еще нет?" Утром он пошел в школу, а их разогнали по домам. Уроки отменили до новейшего распоряжения. "Ну, свезло нашему Индюку!" — бросила Мариэтта. Так вот, он вернулся домой, надел форму и пошел в свой отряд. Их построили в линейку, и командир отряда произнес речь. Бедные детки! — подумала я, пока слушала, как он с детской горячностью расписывает нам, как они украшали свой сборный пункт бумажными знаменами и портретами героев двадцать первого года[2]. Через что вам предстоит пройти, в какие страшные времена пришлось вам родиться... "Хорошо, что наш флаг уже на месте, — говорю Мариэтте. Мы вывесили его на Святого Димитрия и так и не сняли до сих пор. — Ну что ж, — продолжила я, — как минимум, тебе не придется лезть наверх, чтобы повесить флаги, нет худа без добра". И вдруг, сама тому поразившись, я осознала, что снова обрела свое всегдашнее спокойствие и привычный юмор. Ох, сестричка! — подумала я. На миру и смерть красна. Раз Андонис перенес все это так спокойно, меня теперь ничто больше не волнует.

Через некоторое время снова появилась кира Экави. "Слушай, этот негодный мальчишка через тебя не пробегал? — пропыхтела она. — У него ключ от дома, и я теперь не могу попасть внутрь, черт его подери и этого Мектаксаса, и его Молодежь!" — "Присядь-ка, — говорю ей. — Какая муха тебя укусила, что ты мечешься словно бешеная? Подожди, он сейчас придет! Ты уже повесила свои флаги?" — "Ну вот еще!" — "И что же, полицейские тебе ничего не сказали?" — "А что они мне могут сказать? Я еще на Святого Димитрия села и покрасила одну простыню да перешила ее на флаг, так у меня не на что ее повесить. Дом-то у нас почти двухэтажный. Хозяин повесил наверху свой флаг. Так что одного хватит с избытком..."

Когда стукнул дверной колокольчик, мы подумали уже, что Акис пришел, но это была Эразмия. "Ну, здравствуй, Эразмия! — говорю ей. — Где это ты пропадала столько времени?" — говорила больше чтоб беседу поддержать, чем желая что-нибудь узнать. — Ну что, вернешься на Кефалонию или тут останешься?" Она пристально посмотрела на меня из-под своих густых ресниц, смерила мерзким взглядом — тьфу, чтоб не сглазила — и как начала вещать: "Многажды я молила Всевышнего, чтобы пролил Он огнь и смолу на нечестивых, как сделал Он это в Содоме и Гоморре, чтобы сгинули с лица земли грешники и нечестивцы, и Господь внял моим молитвам... И пошлю Я на тех глад и смерть и бичевание до тех пор, пока не вымрут с той земли, что Я дал им... И узнают они, что Я есмь Господь..." Я как была, так и превратилась в соляной столп, замерла, раскрыв рот, не веря своим ушам. И когда, наконец, пришла в себя от изумления и до меня дошло, что именно она несла, сорвалась с цепи. Все, кто меня знает, всегда удивлялись моей терпимости и снисходительности. Не люблю я все эти перебранки. Даже свою дуру-дочь я чаще поношу про себя, чем вслух. Но стоило мне услышать, как это исчадие ада, корчащее из себя добрую христианку, несет этот бред в такую трагическую минуту, я взорвалась, что твой пороховой склад. Мне вдруг стали совершенно очевидны жестокость и бесчеловечность этих лю-

1. Национальный союз молодежи.
2. Имеется в виду 1821 г., когда митрополит Герман обратился к народу с воззванием о восстании и поднял флаг Греции. С этого дня начинается война Греции за независимость, которая привела к образованию независимого греческого государства.

дишек, что считают себя ангелами во плоти. Все, что во мне столько лет копилось, наконец вырвалось наружу: "Чтоб тебя разорвало и прихлопнуло! – закричала я вне себя. – Что ты мне тут святую изображаешь! Если твой Бог должен нас извести под корень, чтобы мы в него поверили, так зажарь его и съешь! Если *это* – христианство, то я не хочу быть христианкой, в турчанку превращусь, перекрещусь к чертям собачьим! Черная твоя душонка! Хватит с меня, столько лет тебя терпела! Тебя и твой фанатизм! Хватит тех свар, что ты посеяла в моем дому! Ты меня рассорила с моей мамой и чуть было не развела с мужем! А теперь, прямо сейчас встала, – говорю я ей, – и пошла из моего дома! Вон! Я тебе ничего не должна! Что ты для меня сделала, за то я тебе уже отплатила, и с излишком!" Меня охватил истерический плач, без слез. Я больше не могла там оставаться. Пошла и упала в постель. У меня начался приступ удушья. Андонис, который был в уборной, выскочил, едва заслышал первые крики, но вмешиваться не стал. Никогда он не видел меня в таком бешенстве. Эразмия на секунду растерялась. Такой ярости она не ожидала. Но вскоре к ней вернулось ее хваленое самообладание. Она пошла в комнатку во дворе, собрала какое-то свое шитье. Что там валялось, свернула в узелок, сунула его под мышку, но прежде чем уйти, подошла и встала прямо под дверью моей спальни, войдя в роль еврейского пророка: "...И вот, сквернословица, Я пред тобой, говорит Господь, ибо пришел день твой и час воздания тебе... Так же, как Я сокрушил Содом и Гоморру вместе со всеми их жителями, сказал Господь Вседержитель. И да не будет здесь человека..." "Послушай, Эразмия, – вклинилась кира Экави и попыталась было схватить ее за плечо, чтобы оттащить от двери спальни, – ты что, не видишь, что бедная женщина не в себе? Разве ж это по-христиански – радоваться, когда видишь, что на твоих соплеменников валится такое-то несчастье? Разве ж это нам завещал Христос? Вот мне лично кажется, что..." Но Эразмия не дала ей закончить. "Не трожь меня! – завопила на нее. – Ты сама такая же! С того самого дня, как я тебя сюда привела, поняла, что ты с ней будешь заодно – неблагодарная! Да и чего, собственно, ждать от такого-то существа, как ты!" – "Вот что я тебе, голуба, скажу, – взвилась уже кира Экави. – Не кажется ли тебе, что ты что-то слишком много на себя берешь? Ты со мной поаккуратнее разговаривай, а то я сей момент схвачу тебя за волосья да оттаскаю по всем углам!.." Но Эразмия, даже не дослушав, снова повернулась к моей двери и продолжила свои пророчества: "И да не поселится здесь Сын Человеческий... и да вкусят они хлеб свой в бедности..." Я зажала уши ладонями, чтобы не слышать, но она продолжала свое извержение. "Так, Эразмия, – подключился уже Андонис, подталкивая ее к выходу, – иди уже, хватит!" Но она вырвалась и прокричала: "... и с водами они свою погибель выпьют, как была погублена этими бандами земля, ибо в непочитании все они ее населяли... и возгорится от огня... и не пощадит брата своего, что тот голодает, но оттолкнет в одну сторону, а сам насытится в другой" и так далее и тому подобное, пока не вытолкали ее на улицу.

Когда я, наконец, услышала, что калитка закрылась, снова ударилась в плач, на этот раз от угрызений совести. Мне не нравится ранить людей. Я не могла себе простить, что опустилась до уровня Эразмии, и одновременно боялась, как бы эта чертова баба не стала причиной нового охлаждения между мной и моим мужем. Но Андонис и думать забыл об этом скандале, его занимали совсем другие мысли. Он ушел, а через час вернулся с огромным восьмиламповым радиоприемником. Включил его в розет-

ку и давай играться с кнопками, точь-в-точь как дети с новой игрушкой. Афинская станция теперь передавала военные песни. Затем последовал экстренный выпуск с трансляцией заявления Генерального штаба, то же самое мы уже слышали утром по радиоприемнику Ноты. Тогда Андонис поднялся и говорит Мариэтте: "Ну, Мари-Мариэтта, давай-ка собери все жестянки, Мари, и сетки, какие у нас есть, и давай со мной за покупками к Бухлосу... Пойду, закуплю провизии на месяц-другой, — это он уже мне адресовал, — чтобы нам было что поесть. Но ты к ним даже не думай прикасаться! Поставь в кладовку, и пусть оно там будет на черный день". "Мариэтта должна вернуться на Андрос, — прошептала я ему на ухо, — мы не можем удерживать ее здесь в такие времена. Позвони от Бухлоса в какое-нибудь агентство, узнай, когда идет корабль до Корти..." — и согнула пальцы, чтобы показать, что мы уже задолжали ей за четыре месяца. "Хорошо, — кивнул он, — пока еще есть время". Подхватил ее под руку и ушел.

Я осталась одна, с принцессой. Выключила радио, которое уже стало действовать мне на нервы, покормила собаку и поднялась на терраску глотнуть свежего воздуха. Листья серебристого тополя, росшего во дворе соседнего дома, уже начали опадать. В те времена, когда мы только-только въехали в этот квартал, он был еще маленьким, тоненьким деревцем. Теперь же его наполовину обнажившиеся ветви доросли до уровня нашей террасы. Осенний ветерок чуть колыхал флаги на домах, тучи начали таять, сквозь них пробился луч солнца, словно бы и погода была согласна с чувствами людей. И сама не понимая почему, я вдруг почувствовала, как странное умиротворение успокаивает мою душу и мое тело. Ах, сестричка, сказала я мысленно, кира Экави была права, как-нибудь справимся и с этим. Самое худшее, что может случиться, мы просто умрем, подумаешь!

Но в то время как ее оптимизм вселил в меня столько мужества утром, в тот же вечер сама кира Экави появилась у нас в доме с красными глазами, будто проплакала всю ночь напролет. "Что с тобой? Что случилось?" — "Амнистия, — проговорила она, с трудом переводя дух, — Димитрис попал под амнистию, в полдень пришел домой и обедал с нами! Взял две рубахи на смену, кинул в чемодан и прямиком в Салоники, в часть!" — "Ты, что, не рада? — удивилась я. И вспомнила слова тети Катинго: — Да его ни за что не возьмут в армию, исключено, он же — туберкулезник". — "Ты не понимаешь, — печально проговорила она, — сколько книг прочла, а таких простых вещей понять не можешь. Да даже если бы у него было здоровье в порядке и его бы забрали в армию, меня бы это не только не беспокоило, я бы радовалась. Если что ему и нужно для нормальной жизни, так это дисциплина. Что же до риска, так я бы смирилась, — куда все дети, туда и он. Но с его-то здоровьем да с этакой дурной головой в тюрьме ему в тысячу раз лучше. Я, по крайней мере, знала, где он, ходила туда и видалась с ним сколько влезет, и душа моя была спокойна. Тогда как теперь он пойдет и его не возьмут, и мне снова трястись, как бы ко мне не пришли и не сказали, что он опять ввязался в темные делишки. В Салониках он найдет своих корешей и свои малины, будет болтаться ночи напролет, снова свяжется с этими постыдными девками, которые ему до костного мозга все вылижут. Я не могу так больше, Нина, я не хочу больше жить. Пусть уже бросают свои бомбы, пусть пускают ядовитые газы, чтобы я наконец умерла и обрела покой..." — "Хватит, — говорю ей, — прекрати это! Я знаю, что ты это так, не от чисто-

го сердца говоришь. И ты тоже любишь жизнь, и, может быть, даже больше всех нас вместе взятых. Иначе ты бы так не огорчалась каждый раз, когда у тебя все летит вверх тормашками. Сегодня у тебя депрессия, и ты все видишь в мрачном свете, а завтра будешь как огурчик..."

Бедная, бедная кира Экави! — подумала я. Тебе нравилось держать его в тюрьме, так же, как людям нравится держать в клетках птиц, и они оправдывают себя, что так защищают их от врагов. Но твой Димитрис совсем не похож на тех пташек, что безропотно сидят на своих жердочках. Он — ястреб. Отпусти его, дай ему самому идти за своей судьбой, как это делаем все мы. И какими все-таки эгоистками бывают иной раз матери! — заключила я, когда она ушла. Может, и я так веду себя со своей дочерью? Может быть, и я к ней несправедлива? Я приостановилась на секунду и прислушалась к своему "я" и к своей совести. Мне никогда не нравилось делать то, что я сама же высмеивала. В конце концов, одному Богу известно, как я ее любила и как люблю до сих пор. Мать, что бы там ни говорили некоторые дети, это мать, кровь не водица. Я всегда желала ей только добра, надеялась, что с возрастом она исправится и что у меня, горемычной, тоже будет свой родной человечек, будет кому подать мне стакан воды на смертном одре. Мне и в голову не могло прийти, что однажды придет тот день, когда она сочтет меня своим злейшим врагом!..

4

Конец света не только не наступил, и мы на другой день вовсе даже и не умерли, но парадокс заключается в том, что мы почувствовали себя живее прежнего. Война, прежде чем обрушить на наши головы новые напасти, избавила от кое-каких старых: она выдернула нас из оцепенения, наша жизнь наполнилась смыслом, мы больше не были бесцельно жующими и испражняющимися животными. Чувство опасности мигом пробудило в нас и другие, которых до той поры то ли вовсе не было, то ли были, да мы о том ничего не знали. Война сблизила нас, никогда прежде я не чувствовала, что мы с Андонисом так близки друг другу, как в те первые месяцы войны. Все эти годы мы, может, и спали бок о бок, но каждый жил своей жизнью, как если бы мы были посторонними людьми, а иной раз и врагами. Теперь же я впервые осознала, как сильно он меня любил и какое доброе сердце крылось за этими его ухватками деревенщины. Каждый вечер в постели, когда он начинал причитать и вздыхать: "Что мы будем делать, Нина? Ты сама знаешь, что очень скоро деньги на счете начнут улетучиваться, и у нас не останется ничего, кроме строительных форм, что же мы будем делать?", я отвечала: "Да ладно, все живут, и мы проживем! Есть люди, у которых денег еще меньше, чем у нас, а они не счастливее, не несчастнее нашего. Кира Экави и вовсе ничего не имеет, они живут на одну только зарплату. К тому же, ты не забывай, — добавляла я, — у нас есть дом. В самом крайнем случае пустим его с молотка и съедим до последней косточки, пока буря не утихнет и не появится работа. Неужели ты думаешь, что я сберегу его для приданого моей неблагодарной дочери, чтобы она меня еще больше поносила в благодарность за это?" Тогда он в ярости приподнимался на подушках и кричал мне: "Даже не думай! Мне, может, и недолго осталось, но что бы ни случилось, слышишь, что бы ни случилось, я

хочу, чтобы ты дала мне слово, что дом не тронешь. Иначе не будет моей душе успокоения. Я хочу быть уверен, что у тебя хоть что-то да останется!.." Его начинали душить рыдания, он перекатывался с моей кровати на свою (мы спали на односпальных кроватях, придвинутых одна к другой), и я поглаживала его ласково и не вымученно, как когда-то, но с настоящей нежностью, которую до того я не испытывала ни к одному мужчине, за исключением, может быть, покойного папочки, и все повторяла: "Прошу тебя, перестань постоянно твердить, что ты умрешь! Если ты меня любишь, — шептала я, — не говори так! Ты же видишь, разве ты виноват в том, что нет подрядов? Дело шло к войне, и люди это чувствовали. Ну, что же ты такой глупыш, сидел, бедняжка, и во всем обвинял себя, и ведь несправедливо обвинял, вот и заболел от своих печалей. Ты думал, что все боги восстали против тебя. Побереги свое здоровье, — говорила я ему, — мне не нужно ничего другого. Ты же знаешь, у меня никого нет, кроме тебя. Если с тобой что-нибудь случится, мои родственнички тут же слетятся на поживу. И лучше уж я покончу с собой, чем попаду в лапы моей дочери..." Так я подбадривала его, и у него не только улучшилось настроение, и он вдруг стал прежним, оптимистичным, деятельным Андонисом, каким был когда-то, еще до болезни, улучшилось даже и здоровье: нога теперь беспокоила куда меньше, давление упало почти до нормы, и лишь изредка он жаловался на сердце. Я давала ему сердечное больше по привычке, чем из необходимости. Он начал есть с аппетитом, конечно, не так, как раньше, но, в конце концов, и голодным не сидел. Надо было итальянцам объявить нам войну, думала я, чтобы он пошел на поправку. И наша жизнь стала не только более подлинной и честнее, чем прежде, но и приобрела краски, которых раньше было не разглядеть на ее тусклом полотне. Каждый раз, когда Генеральный штаб сообщал об очередной победе в Албании, Афины словно перекрашивали в голубой цвет, улицы заполнялись людьми, как в мирное время на парадах, добрая половина мужчин — в форме, рядом с нашими были и англичане, и новозеландцы, и австралийцы в забавных фуражках, ты шел по центральным улицам, и казалось, будто здесь не война, а карнавал. Как в таких случаях обычно и бывает, многие пустились во все тяжкие и вытворяли такое, на что бы они никогда не решились в мирное время. Словно говорили: может, нам недолго осталось, так давайте же веселиться, пока живы. Все эти первые месяцы, ноябрь, декабрь и январь, мы жили и двигались в ритме военных маршей, которые беспрестанно передавали по радио. По двадцать раз на день мы слышали национальный гимн, по двадцать раз на день дрожали от волнения. Мы постоянно были "в полной боевой готовности". Столько всего должно было случиться, и все это было только на мне, потому что моя драгоценная доченька даже и не думала мне помочь. Все читала, тварь бездушная, романы Делли и Макса дю Везита — *когда* не спала. "Да что, тебя муха це-це укусила, чтоб тебе пусто было? — спрашивала я. — Что это за болезнь с тобой приключилась? Может, мне сводить тебя к психиатру?" К несчастью, у меня больше не было Мариэтты, которая помогала бы мне, как раньше. Спустя три дня после начала войны мы отправили ее на Андрос. Я собрала, сколько было, старых платьев, немного нижнего белья Андониса (для ее отца) и все, что было полезного в хозяйстве, из того, чем я уже давно не пользовалась, или что было в двойном экземпляре, и отдала ей. Потом отбросила всю эту сентиментальную ерунду и отдала ей и старую ручную

швейную машинку покойной мамы, которую держала исключительно ради воспоминаний. Мне не нужно больше барахла. С годами в доме скопилось столько хлама, что у меня уже не было места ни в одном шкафу, куда можно было бы впихнуть нужные вещи. Вместе с тем, хотя я и знала, как Андонис переживает из-за денег, я его таки додавила и он дал ей еще и зарплату за три месяца, в подарок, не считая тех четырех, что мы ей задолжали. Успела ли она купить себе землю или же припрятала деньги в сундуке, и они потеряли свою ценность, как это было столько раз? Бедная Мариэтта! Мы провели вместе целую жизнь: она пришла к нам в дом еще девчонкой, а уехала зрелой женщиной. И, к несчастью, несмотря на все обещания, что мы дали ее матери, мы так и не удосужились найти ей хорошего мальчика, чтобы он на ней женился. Смотрины, которые мы устроили ей с одним молочником, так ни во что и не вылились, и меня мучила совесть. Она провела целую жизнь подле нас, говорила я сама себе, лучшие свои годы, и вот теперь ей нужно начинать все заново: учиться кормить поросят и рубить дрова. Да выдержит ли она, избалованная нами, собственной чистой комнатой, ванной и хорошей едой? В первые дни после ее отъезда я бродила по дому, как заблудившийся ребенок по лесу. Не знала, куда броситься и за что взяться. Счастье, что у меня была бедняжка кира Экави, и она помогла мне. Как-то утром мы с ней вдвоем сели, стоит ли говорить, что даже и звука не было, чтобы это чудище, которое только выглядит как человек, моя дочь сказала: "Может быть, ты хочешь, чтобы я помогла, мама?", мы с кирой Экави нарезали бумажные ленты и наклеили их крест-накрест на окна с помощью мучного клея, а поверх креста еще и буквой "Х", чтобы они не разлетелись на осколки и не поранили нас, если и упадет какая бомба. Я и не думала прежде, что в нашем доме столько стекол. Мы клеили и клеили, и не было этому конца. В полдень того же дня я спустилась на улицу Эолу и купила тридцать аршин сукна, и кира Экави села и сшила мне занавески на окна, и мы повесили их для затемнения. Каждый раз, когда из какой-нибудь щели пробивался лучик света, в дверь стучался полицейский и делал нам замечания. Мы еще и картона нарезали и закрепили на плафонах люстры в гостиной и на лампе в холле, она всегда была включена. Там мы обычно ужинали, меня это устраивало, так как холл был рядом с кухней, и там же мы собирались зимними вечерами. Холл был маленьким, и его легко было протопить. В то время он выглядел как вязальная мастерская. Мы вязали шерстяные вещи для пехотинцев. Быстро-быстро разбирались с домашней работой, и тут подтягивались жена Касиматиса, жена Кондопулоса, жена Хамхумиса, тетя Катинго и Ирини, Нота, кира Экави со своим внуком и я, и мы сидели и вязали фуфайки, шарфы и перчатки для солдат. Бедные дети умирали от переохлаждения, воюя в заснеженных горах Албании. Мы вязали, как вязальные машины. Соревновались, кто первый свяжет рукав, кто — полочку, кто — спинку. Вязали и рассказывали истории или пели, как ткачихи за ткацким станком. Тогда появилась целая куча песен про итальянцев, которые вместо того, чтобы вторгнуться в Грецию, дождались от нас поражения на море:

Дождь заливает даже палатку,
Ни шага вперед не пройти без потерь,
Новости скажут о новом порядке,
Погода во всем виновата теперь.

Иной раз уже в нынешние времена я слышу, как их поют на 28 Октября[1], и слезы наворачиваются на глаза. Меня мучает какая-то странная ностальгия по тем временам.

За всю мою жизнь никогда прежде я не вязала с таким удовольствием, как тогда. Я так набила руку, что однажды, начав утром, к вечеру закончила целый свитер. Мы приятно проводили время, и усталость была нам неведома. Только моя бездельница-дочь даже и не думала принять в этом участие, хотя бы петлю вывязала или помогла мне по дому, так нет же. Вот уже месяц, как она начала один-единственный шарф и все еще продолжала отчаянную борьбу с ним. То она делала ошибку, то у нее убегали петли, то полвязанья распускалось. И хуже всего было то, что мне приходилось бросать собственную работу, чтобы выправить ее, иначе все насмарку. Она утверждала, что это я не хочу ее учить, чтобы во всем быть лучше нее. Уже и внук киры Экави, мальчишка, научился вязать, и даже резинку, нет, ты только посмотри на это. Да еще как ровно! Лучше, чем у нас, женщин. Мы-то вязали быстро, за красотой не гнались. Смотрели, как он держит спицы своими ручонками, ну прямо образцовая вязальщица, и покатывались со смеху.

Раз за разом сирены объявляли тревогу, но после первых недель мы перестали бегать по убежищам. Мы знали, что и речи нет бомбить Афины, из-за античных памятников. Пусть они только начнут бомбежку, мы тут же отправимся к ним и сотрем их Рим в порошок. С другой стороны, Андонис принимал снотворное и просыпался с большим трудом. И если и удавалось его добудиться, на следующий день он был совсем больным. Не говоря уже о моей дочурке, которая всегда спала так, будто она приняла все *десять* таблеток. Одному Богу известно, как я мучилась, чтобы ее разбудить и одеть. В конце концов, я подумала: да ну его к черту! Пусть их эти бомбы падают, сколько хотят но с постели я не встану! Если просыпалась, опиралась на подушки, зажигала маленький ночник, который светил едва-едва, только чтобы разглядеть книжную страницу, и читала. А когда света не было, а это частенько случалось во время тревоги, сидела в постели без сна и размышляла: вспоминала прошлое, строила планы на будущее, пока не давали отбой, и тогда снова укладывалась и засыпала. "Ну и правильно делаешь!" — говорила мне кира Экави, которая была вне себя из-за Тодороса. "Горе той несчастной, что пойдет за него, Нина! — твердила она. — Мне жаль ее, как никого другого, — чтоб мы обе знали! — Большего брюзги я в жизни своей не видела. Что он там терпит у себя в конторе от начальства, то вываливает на наши головы дома..." Он заставил их спать в полной экипировке, в одежде и обуви, чтобы они были готовы бежать в убежище во время тревоги. Но кира Экави была не из тех, кто легко сдается. Она не восставала против него открыто, но когда визжали сирены, заявляла: "Берите детей и давайте-ка вперед! А я в две секунды за вами. Соберу-ка белье во дворе, а то как бы не пришли воры и не собрали все за нас". В то время было немало таких случаев. И она оставалась дома и мыла посуду или протирала пол. "Нина, ну и чего ради мне тащиться в убежище? — говорила она мне. — Если уж я лучше кого

1. 28 октября 1940 г. в результате референдума Греция отказалась принять ультиматум Муссолини о немедленной капитуляции. 28 октября отмечается как День *Охи* (День "Нет").

другого знаю, что мне не от бомбы суждено помереть. Только мой бедный Димитрис сведет меня в могилу, никакой бомбе это не под силу!..” – “С чего это ты так решила?” – заинтересовалась я. “А вот знаю”, – убежденно ответила она и загрустила...

Как я на днях говорила госпоже Россопулу, в этой жизни не стоит раньше времени подводить баланс и записывать кого-либо в ряды редкостных счастливцев, прежде чем ты увидишь их конец. Древние были правы. Зять киры Экави, тот, о ком она вовсе не печалилась, потому что знала, что он далеко от пекла, тот, кому завидовала тетя Катинго, разумеется, погиб одним из первых. Едва объявили войну, как его тут же мобилизовали, всего два дня как женат и отправлен младшим лейтенантом мединских войск в военный госпиталь в Патрах. Во время воздушного налета он как раз бежал вместе с санитаром, чтобы забрать еще одного раненого, и тут в него попал снаряд, так что ему от сих до сих – Господи, пронеси – перерубило сонную артерию.

Похоронив его и вернувшись в Афины, несчастная Поликсена собрала свои вещи и вернулась в дом киры Экави. Свекр со свекровью не предложили ей остаться с ними. Даже когда узнали, что она беременна, и тогда не попытались ее навестить. До этого они ее терпели ради Александра, сын у них был один, и они не хотели его расстраивать. Но когда он вышел из дела, повернулись к ней спиной. Кто знает, может, в глубине души они считали, что это она повинна в его смерти. Люди иногда ведут себя чудовищно абсурдно. И в итоге бедная девочка пришла не то что к тому же знаменателю, дела обстояли даже хуже. Потому что он оставил ей не только немного денег и крошечное пособие, которые позволили бы ей и дальше жить без вечной битвы за кусок хлеба, но и ребенка под сердцем, и сердце, разбитое вдребезги. Но Поликсена, в отличие от своей матери, принадлежала к тому стоическому типу людей, что никогда не жалуются на свою судьбу даже вполголоса, никогда не говорят о себе, никогда не открывают свое сердце каждому встречному. И пусть даже в то время она и приходила к нам в гости, когда с кирой Экави, а когда и одна, на самом деле она никогда не давала возможности узнать ее получше. Когда в конце февраля у нее случился выкидыш, *если*, конечно, это был выкидыш, врач прописал ей перемену климата. Она решила поехать пожить с Еленой – Елена между тем обосновалась в Каламате, чтобы быть поближе к “своему”, – и прошло почти три года, прежде чем мы встретились снова.

В первых числах декабря Андонис неожиданно для себя получил первоклассный подряд. Один его знакомый майор, с которым они поигрывали иной раз в нарды в кофейне, подсуетился, и Андонису поручили исполнение военно-инженерного заказа – какого, он не говорил даже мне. Наверняка майора пришлось подмаслить, в Греции не подмажешь не поедешь. Обычно такие заказы проходят через тендер, но в такой неразберихе кто будет копаться в деталях. Так что его подмаслили, и даже очень щедро, но дело того стоило: от этого заказа мы получили кругленькую сумму, которую Андронис, царствие ему небесное , весьма прозорливо отнес в банк на улицу Софоклеус и обменял на золотые фунты. Они-то меня и спасли во время Оккупации. Если бы не эти деньги, мы бы и дом заложили-переза-

ложили, и с голоду бы умерли. Он принес мне их, они были аккуратно упакованы столбиками, и говорит: "Припрячь их там, где считаешь нужным, чтобы я и сам не знал, где они, и не смей их трогать, пусть даже мы дойдем до точки и не будет у нас даже куска хлеба!.." Бросил деньги на стол, словно бы это были иудины сребреники. Его мучила совесть, что он взял деньги от Греческого Государства в столь тяжелое для всей Нации время. Напрасно я снова и снова повторяла, что, если бы он не взялся за этот заказ, его выполнил бы кто-то другой. "И уж будь уверен, — твердила я, — вряд ли он испытывал даже малую толику твоих сомнений..." Но он меня не слушал. И тут ему пришла идея записаться донором-добровольцем в Красный Крест, чтобы искупить свою вину, и в этом я его, естественно, поощряла. Я знала, что это не только усыпит его совесть, но и пойдет на пользу здоровью. Так или иначе, но иногда ему все равно было нужно делать кровопускания. Он начал ходить на улицу Трити Септемвриу раз в десять дней и возвращался домой веселым и довольным. У меня всегда был наготове горшок с йогуртом в половину оки, и он садился и жадно ел. Он испытывал чувство крайнего удовлетворения, что и он проливает свою кровь в народной войне.

Только когда он повадился таскать у меня из дома золотые украшения и сдавать их в пункт приема пожертвований принцессы Фредерики на Фуфайку Воину, вот тут у нас начались конфликты. Дело, конечно, правое и святое, я и сама была патриоткой и хотела помочь, и помогала, мои руки уже были сплошь мозоли от постоянного вязания, но у меня не было ни малейшего намерения позволить ему опустошить мой дом. "Мы и так достаточно даем, по нашим возможностям, — говорила я. — Пусть дадут те, у кого больше!.." Но он не слушал меня и сейчас, как не слушал в Корони и позже в Афинах во времена, когда он попал в цепкие лапы Эразмии. Как-то днем к нам пришли фалангиты из Союза молодежи с натянутым одеялом, они часто это делали, куда простой люд кидал, что хотел: один — шерстяные вещи, другой — книги, третий — деньги. Но, к несчастью, какие у меня были старые тряпки, те я давно уже раздала. Последние достались Мариэтте для ее отца. Не знала, что им и дать. Первый раз отдала целую охапку книг, потом — пуловер покойного папы и пятьдесят драхм. Но когда через несколько дней они пришли и в третий раз, я начала чертыхаться. Да что это они мне тут за волынку устроили! На беду, Андонис был дома. "Мне нечего им дать! — заявила я. — Все равно ничего из этого до солдат не дойдет. Еще неизвестно, что за проныры это себе прикарманят!.." И тут вспомнила о сундуке в прачечной. Годы и годы прошли с тех пор, как я его открывала в последний раз. Я поднялась на террасу и среди прочего вытряхнула и папину кожаную куртку. Он надевал ее, когда отправлялся в походы по горам. Кто-то наденет ее и погреет свои косточки, подумала я. А тем временем мой смышленый супруг отправился в спальню, вытащил из шифоньера полдюжины своих прекрасных фуфаек, выдернул из шкафа отличный коричневый костюм, стащил с наших кроватей два песочных одеяла, их еще Фотис привез из Англии, вышел на улицу и отдал им. И когда я ни сном ни духом спустилась вниз и увидела голые кровати, застыла, словно превратившись в соляной столб. Такого скандала у нас еще не было, я плакала, заперлась в спальне, он стучался, и я не открывала. Я должна отбить у него страсть к этому балагану раз и навсегда, сказала я себе твердо, прежде чем он войдет во вкус. Чтобы меня умилостивить, он отправился на улицу Эр-

му и купил два новых одеяла, они у меня до сих пор. Иной раз схвачусь за край, чтобы укрыться, и чудится мне, что я снова вижу его перед собой, стоит живехонек-здоровехонек...

Когда наша армия вошла в Корицу, он взял нас с собой, Ирини, принцессу и меня, и мы отправились на Омонию поглядеть на народное ликование. Такого скопления народа я в жизни своей не видала. Да где же, ради всего святого, все эти люди прячутся? — подумала я. Динамики грохотали маршами, вся площадь пестрела флажками. Наши были пьяны от патриотического восторга, англичане и австралийцы — от пива. Да где же это у них столько пива поместилось, господи ты боже мой, у этих людей? Это какие же желудки надо иметь, чтобы так пить? — переговаривались мы друг с другом. Их грузовики остановились прямо перед таверной Мориатиса, и они не оставили ему даже одной бутылки, чтобы хоть на витрину поставить. Рецину они не пили. Возьмут в рот попробовать и давай кривить морду, как будто касторки выпили. Австралийцы, те оказались хуже всех. Их вообще нельзя было увидеть без бутылки в руке. Все они были высокими и крепкими, но их лица были невинными, словно у младенцев. Даже тогда, когда они устраивали совершенное непотребство, они выглядели такими невинными агнцами, что на них просто невозможно было сердиться. Как-то днем я услышала на улице шум и крики. Открываю ставни в гостиной, чтобы посмотреть, что происходит, и вижу, как какой-то австралиец, дылда дылдой, пьяный в лоскуты, пристроился отлить прямиком на нашу стену, не интересуясь, что на дворе день-деньской и на него смотрят люди. Он воззрился на меня, и так простодушно, как будто ничего не происходило, и продолжил свое дело. Я захлопнула ставни как можно быстрее. За всю свою жизнь не припомню, чтобы я когда-либо еще так смущалась. Я рассказала о своих страстях Юлии, и она засмеялась. "Ах, моя дорогая Юлия, — говорю ей, — так-то вот". Мы знакомы с детских лет и были вполне откровенны в таких вопросах. "Что тебе сказать, — говорю ей, — я дважды была замужем, но даже и не думала, что бывают такие... такие..." Юлия тотчас поняла, что я имею в виду. "Понятно, — простонала она, содрогаясь от смеха, — ну и повезло же тебе. Но такие не только у австралийцев. Одному Богу известно, как я натерпелась от Касиматиса, когда мы только поженились..." — "Чтобы ни шагу от нас!" — прикрикнула я на свою дочь и Ирини. Просто безумие было тащить девчонок в такую толпу, сказала я сама себе. Если с Ирини что-нибудь случится, тетя Катинго меня живьем съест.

Вскоре началась невиданная давка. Люди текли к мэрии потоками лавы. Полицейские размахивали дубинками, но было совершенно невозможно навести порядок. Людской поток поглотил и их. Женщины визжали, некоторые уже были на грани обморока. Я была уверена, что от моих чулок не останется даже затяжек. "Давай, бежим отсюда!" — крикнула я Андонису, но он меня не слышал. Привязал к своей палке бумажный флажок и поднял его высоко, как настоящее знамя. Он вел себя словно маленький ребенок. По правде говоря, трудно было остаться совершенно бесчувственным при виде такого энтузиазма. Подобных дней у Греции не было со времен 1912—13 годов. Я вспомнила покойного папу. И он, как и многие другие, мечтал о свершении Великой Идеи. Но после малоазийской катастрофы он частенько печально качал головой и говорил, что от-

ныне нет больше Греции. Как бы он сейчас радовался, если бы видел это! – думала я. Ах, как бы было хорошо, если бы мы победили и в Малой Азии! Греция была бы сейчас совсем другой, не такой уж мы, греки, плохой народ. Разумеется, и у нас есть свои недостатки: мы ра́згильдяи, эгоисты и сплетники, даже не утруждаем себя добрым словом или добрым делом, такого у нас ни для кого не найдется. Но в том повинна и наша бедность. Где правит нищета, там всегда будет место для свары. А вот если бы у нас была Смирна и Восточная Фракия, нам бы не пришлось теперь импортировать даже пшеницу... И вдруг то, чего я боялась всего несколько минут назад, реализовалось, и самым неприятным образом: мало было этому мерзавцу, что он приклеился ко мне тем самым местом и хочешь не хочешь, но я была вынуждена сдерживаться, чтобы не устраивать скандал, так он еще имел наглость сунуть мне под юбку свою руку. "Ах ты гадина!.. – завизжала я во всю глотку. – Андонис!" – возопила я. Но Андонис меня не слышал. Он размахивал своим флажком, и прежде чем до него дошло, что случилось, этот подонок шасть в толпу, и только его и видели. "Пойдем отсюда! – сказала я таким тоном, что было ясно второго приглашения не будет. – *Немедленно.* Черт бы побрал и эту Корицу, и всю Грецию вместе с ней. Грекам никогда не стать нормальными людьми..." И когда, наконец, мы с превеликими мучениями вырвались из этого людского моря, пошли в "Кринос", молочную на улице Эолу, они взяли себе пончики, я выпила лимонаду и отчасти пришла в себя, но настроение мое было безнадежно испорчено. Подонок! – думала я. И ведь выглядел таким приличным. Чудовища. Ничего святого у них нет.

Но, несмотря на эти неприятности, этот день все равно останется незабываемым. Увы, таких побед, как эта, для нас больше не выписали. Ну да, конечно, чуть позже мы взяли Химарру, и Тепелени, и даже Клисуру, про которую Сонду кукарекал, будто она неприступна, но после нового года наше военное исступление стало угасать. Никто этого не говорил вслух, но про себя каждый из нас думал о том, что война с Албанией стала одним из тех примеров героического, но напрасного безумия греков. Рано или поздно, но мы вынуждены будем сдаться. Англичане даже и не намеревались помогать нам, у них и своих забот был полон рот. Сколько еще мы сможем устрашать макаронников криками "в молоко"? Может, они и не умели воевать, но у них было море боеприпасов, и с каждым днем они набирались опыта. Каждый день мы устраивали новую битву, чтоб занять высоту, с которой так или иначе, но они выбивали нас через несколько дней. Нам об этом по возвращении рассказал Петрос.

Мало этого напряжения, так еще и умирает Метаксас. Одни говорили, что от гнойного тонзиллита, другие – что от уремии. Андонис был безутешен. В день похорон он повел нас к Фурьотису – ателье находилось на улице Митрополеос – и мы наблюдали за процессией с балкона. По возвращении домой все были хмурыми и молчаливыми, все, но только не моя дочь. Словно мне назло, у нее начался неудержимый словесный понос. "Заткнись, ты, бессердечное созданье!" – крикнула я. Мне казалось, что я вернулась с похорон не Метаксаса, но самой Греции. Не прошло и двух минут, как мы вернулись домой, я включила в розетку электрическую кофеварку, чтобы сварить кофейку и хоть чуть-чуть попить – у меня вместо рта был просто источник желчи, пока вода грелась, я сбросила юбку, чтобы надеть домашнее платье, и на́ тебе, к нам прибывает кира Экави. Уже по ее лицу

я поняла, что она взволнована. "Мы потеряли его, — говорю. — Один за другим они уходят от нас, дорогая кира Экави. Если бы ты пошла с нами, то посмотрела бы на похороны с балкона Фурьотиса". — "Да отстань ты от меня с этим вашим Метаксасом, — отвечает она раздраженно, — а то я как раскрою рот да как понесу и его, и всех этих сутенеров, что устраивают войны. У меня своих несчастий хватает: снова-здорово начинается с моим сыном. Он сегодня приехал из Салоник вместе с еврейкой...". — "С какой еще еврейкой?" — не поняла я. В эту минуту у меня не было ни малейшего желания слушать новую повесть о страданиях киры Экави. Хватит уже! — рявкнула я, правда, про себя. И у других людей есть беды и тяготы, но они не превращают их в античную трагедию. Нам что, никогда не видать покоя без "несчастий" киры Экави? Тут корабли тонут, тут бомбы падают, а у нас, понимаешь, локоны не ложатся. Но в ту же самую минуту я подумала, что она примчалась ко мне за утешением, и было бы жестоко ее разочаровать. "Ну, и какая еще еврейка?" — спросила я снова, прилагая колоссальные усилия в попытках изобразить хоть какое-то любопытство и заинтересованность. "Да такая, — отвечает она. — Виктория, дочь моего бывшего домовладельца Давикоса, я тебе про него еще рассказывала, как он поджег дом, чтобы получить страховку. Пока наш господин был в Салониках, они снова сошлись, решили похитить друг друга, и на́ тебе — прибыли сегодня, как снег на голову свалились, как раз тогда, когда мы обедали, даже телеграммы не прислали. Жаль, тебя там не было, видела бы ты, какая рожа была у Тодороса..."

Но я ее уже не слушала. Мысли мои были далеко. Смерть Метаксаса пробудила во мне новые и сильнее прежнего страхи за Андониса. С самого утра я безуспешно пыталась выкинуть из головы дурные мысли. Не дай мне бог испить и эту чашу! — думала я, пока до меня, как во сне доносилось, как кира Экави рассказывает про какие-то крестины. Но понять, что за связь была между этими крестинами и Димитрисом и Викторией, в тот момент было решительно невозможно. Было ощущение, что мне приснился какой-то кошмар. Казалось, будто у меня был даже легкий жар. Меня уже дня два-три терзал грипп, нервы мои были на пределе, я наливала кофе в чашки, и руки мои дрожали. Но стоило мне глотнуть, и я бросилась к раковине и начала отплевываться. Вместо сахара я положила соль!..

Только назавтра, уже днем, когда мы отобедали, и я прилегла отдохнуть, и мысли мои, как обычно, пустились в путешествие, я вспомнила вчерашнюю сцену и почувствовала угрызения совести: в конце-то концов, Метаксас мне никто. Одного скосило — на его месте вырастут десять новых. А вот кира Экави мне совсем не чужая. Мне она важнее сотни Метаксасов. Я вспомнила истории, которые она рассказывала мне о Давикосе, рассказы, которые я тогда слушала, как будто это были какие-то сказки, истории, которые навеки ушли в прошлое и которым не положено было продолжения, но теперь, внезапно, в них появился ретроспективный, как говорится, смысл. "Что это с тобой, чему это ты смеешься в одиночестве?" — спрашивает меня Андонис, который уже переоделся в пижаму и тоже собирался прилечь. "Дай мне роман, который лежит на шифоньере, чтобы мне не подниматься, — говорю ему. Я читала 'Анну Каренину'. — Ах, Андонис, — говорю я, — первая любовь не стирается из памяти, люди

правду говорят. Подумать только, начать все заново спустя столько лет!" И в ту же самую секунду, я еще не успела договорить, а мои мысли были уже далеко, они уплыли во времена моей собственной юности, к Аргирису и Кифисье. Я открыла книгу и попыталась найти страницу, на которой остановилась. Я ее пометила, но моя госпожа дочь имела пренеприятнейшую привычку перелистывать книги, которые я читала. "Вот я и смеюсь, — продолжаю я, — как подумаю, что теперь кира Экави будет делать с невесткой, которая на нее свалилась как снег на голову..." Андонис завалился в кровать и закутался в одеяло. Слишком устал. Захрапел. Если она и в самом деле любит своего сына, размышляла я не в состоянии сосредоточиться на истории Анны и Вронского, то будет сидеть тихо. Беда будет, если она начнет грызться, как это было с медсестрой. Чем быстрее они поженятся, тем лучше. Иной раз брак оказывается тем самым единственным выходом для таких заблудших душ, как Димитрис: у них просыпается чувство ответственности, они взрослеют, успокаиваются, даже внешне меняются. Будем надеяться, что так будет и с Димитрисом. Да и почему нет? Только бы еврейка оказалась смышленой, и тогда кира Экави будет как мышка. Но будет ли?..

Но ее загадочный вид, с которым она пришла на следующий день, когда я спросила, как там дела, был каким угодно, но только не успокаивающим: "А как ты хочешь, чтобы они были? Никак, вот как. Она получила письмо от верховного жида, ее отца, в котором этот косой черт приказывает ей немедленно вернуться обратно. Скажи мне и ты, Нина, что мне делать? Как поступить? Бывают моменты, когда мне кажется, что брак пойдет ему во благо. Он перестанет болтаться на улице. В этом году ему исполнилось тридцать, пора уже и ему создать семью. Они же любят друг друга, как голубочки. Как начнут передо мной это свое тисканье да поцелуи, меня прямо передергивает. Мне кажется, это так нелепо. Ну, трудно мне смириться с тем, что мой маленький кудрявый мальчик в моряцком костюмчике уже так вырос, что может целовать девицу прямо передо мной, да еще и так. Что они там за моей спиной делают, меня не трогает, но на моих глазах!.. Это все, Нина, несерьезно. Любовь на ужин не скушаешь. Мой сын уже привык к беспорядочной жизни. Чтоб он вернулся в мастерскую, так это исключено. Он поработал три месяца в Салониках и чуть было снова не заболел. Видела бы ты его платки, тебе бы плохо стало. Она тоже ничего не умеет. Когда-то шила, но что-то я не вижу у нее никакого желания начать работать. Она привезла с собой какие-то деньги, но на сколько их хватит? Если она сподобится убедить этого Каиафу, своего папашу, дать ей ее же приданое, тогда они смогут продать ее часть дома на улице Цимиски и купить здесь свой собственный, чтобы не платить за квартиру, а на оставшееся открыть какой-нибудь магазинчик, чтобы без трудов зарабатывать себе на хлеб, так и я бы притулилась возле них и растила бы их детей. Ну а как, если он лишит ее наследства? Если, как и угрожал, отдаст все Аллегре?" — "А твой внук, — спрашиваю, — что ты с ним теперь будешь делать?" — "А мой внук пусть отправляется к своей матери. Хватит с меня, навоспитывалась уже, пусть теперь она себе забирает, чтобы и ей хоть было чему порадоваться. К несчастью, и он, похоже, становится тем еще ослом. Это уже не тот Акис, которого ты знала. Чем дальше, тем больше он вылитая мать, яблоко от яблони далеко не упадет. Позавчера выбросил в помойку амулет со Святым Крестом, который я ему надела еще в младенчестве, а на про-

шлой неделе сбежал с какими-то бродяжками и пошел пешком, по крайней мере так он сам утверждает, в монастырь в Кесарьяни. Когда вернулся, принес змеиную кожу в руку длиной. Нашел, говорит, ее в камнях. А, не могу я уже, слишком уж это большая ответственность..." — "Когда ты будешь дома, чтобы я зашла познакомиться с невестой?" — говорю я ей. "Приходи, когда хочешь..." Но когда на следующий день я заглянула ненадолго по дороге от дантиста, Виктории не было. Она ушла вместе с Димитрисом на Ликавиттос. "У них просто маниакальная страсть к природе появилась! — заметила кира Экави, скривив губы в иронической усмешке. — Они не смеют таращиться друг на друга, пока я здесь, и если видят, что я никуда не иду, у них прямо лица вытягиваются. Хотят, чтобы я свой дом в бордель превратила. А я им уже разок заявила: или она крестится и они поженятся, или пусть убираются к чертовой матери, и она, и мой сын. Не желаю больше его знать. Как увижу, что он уставился на нее, как будто в этом мире нет больше ни одной женщины, меня так и тянет сблевать. И это мой Димитрис! Мужчина, на которого женщины бросались, как мухи на мед, цепляется за юбку Виктории! Тьфу, прямо с души воротит!.."

М-да, скоро грянет буря! — размышляла я по пути домой. И оказалась недалека от истины. Буря пришла вместе с годовыми платежами, но тем временем я и сама оказалась в океанах бурь, да еще каких. Не было у меня ни времени, ни желания печалиться из-за посторонних. Ах, я и сама так настрадалась в этой жизни!..

5

Все мы знали, что рано или поздно, но Гитлер придет на помощь макаронникам. "Ну а что вы хотите, чего вы ждали, ребятки? — заявила нам кира Экави. — Агафангел давно сказал, сейчас уже и не припомню, сколько лет назад, что однажды в Грецию с севера ворвутся какие-то светловолосые чудовища верхом на стальных птицах и изо рта своего будут извергать смолу и огонь..." Я смеялась над ее наивностью, но на свой лад она выражала мысли всех нас. Но люди — любопытные созданья. Сколько бы они ни ждали чего-либо, как бы ни готовились, все равно все и всегда наступает хоть чуть да неожиданно. Андонис раз десять изменился в лице, когда услышал по радио, что Германия объявила нам войну. Господи, взмолилась я, приложи свою руку, сделай так, чтобы его сердце выдержало! Но вот что меня беспокоило куда сильнее, так это то, что с того момента, как он услышал эту новость, он и слова не вымолвил. Испытывал ли он чувство вины из-за того, что поддерживал их столько лет, или же просто понимал, как и все мы, что время самообмана закончилось, что героизм и триумфы албанской войны теперь уже дело прошлого? С итальянцами мы все-таки справились. Итальянцы были такими же людьми, как и мы, но немцы — о немцах мы столько лет слышали, что это не люди, а машины. Как нам было воевать с машинами? Военная песня, которую передавали по радио, этим утром казалась не песней, но похоронным маршем, как песня женщин Залонгу[1]. "Выключи его, я тебя умоляю, — говорю я ему, — и давай в кофей-

1. В декабре 1803 г. 57 женщин из высокогорной греческой деревни Залонгу, чтобы не попасть в руки к турецким захватчикам, сначала сбросили с горы своих детей, а затем, взявшись за руки и затянув песню, одна за другой сами спрыгнули в пропасть.

ню, иди, поболтай там со своими друзьями! Не сиди взаперти". Когда он ушел, села почитать газету. На первой же странице, казалось, были только огромные черные буквы: ГРЕЦИЯ, ЗАЩИЩАЯ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ, ПРОТИВОСТОИТ СОКРУШИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДЯЩИМ СИЛАМ ВРАГА... У меня возникло ощущение, что я читала... некролог. Я бросила газету на стол... К половине второго, мы уже закончили обедать, из дома напротив пришла Нота и рассказала нам об ужасах, которые уже устроили немецкие бомбардировщики в Пирее. Ее кузен отправился взглянуть, что сталось с его магазином, и нашел дымящиеся руины. "Перестань! – я из кухни замахала ей, глазами показывая на Андониса. – Он с утра не в себе, – сказала ей, пока провожала до калитки. – Если бы он кричал и бушевал, меня бы это не трогало. Это молчание пугает куда больше. Да что ж это такое, господи ты боже мой, что эта собака воет с самого утра?" – "Наверное, ее напугали сирены", – предположила Нота. "Ну вот еще, – возразила я, – никогда она так не скулила, как сегодня. Фрида! Иди сюда, моя девочка, что с тобой? Ну, пока", – кивнула я Ноте. "Да что с тобой, девочка моя, – говорю я Фриде, – что ты так плачешь? Пойдем, я дам тебе твою косточку". Но она даже нюхать ее не стала. Поджав хвост между ног, как это бывало, когда я ее ругала, она пошла и свернулась клубочком у ног Андониса. "Собака больна, – говорю ему. Не хватало только, чтобы еще и она сожрала что-то ядовитое. – Ты не пойдешь, не приляжешь?" – "Пойду, но не забудь разбудить меня в четыре. Сегодня моя очередь идти в Красный Крест на сдачу крови..." – "Это с такими-то бомбардировками? – говорю ему. – С ума сошел? Мир не рухнет, если ты разок пропустишь. Так или иначе, а война теперь явно долго не продлится". И тут же поняла свой промах. Как будто бы я ему сказала: "Теперь никому уже не нужна твоя кровь..." – "Прежде чем раздеться, – говорю я своей барыне-дочери, – а ну, живо к молочнику и возьми большой горшок йогурта, а если у него нет большого, возьми два маленьких!" – "Оставь меня в покое! – отозвалась она в своей обычной хамской манере. – Потом пойду" – "Ты пойдешь *сейчас!* – прошипела я. – Потому что, если ты развалишься на своем смертном одре, мне потом тебя уже подъемным краном не поднять. Давай, шевелись!.." И не думая отвечать, она заваливается на кровать и берет в руки роман. "Ах ты скотина в человеческом обличье! – завизжала я. – У тебя что, и на *грош* совести не хватает? В школу ты не ходишь, по дому и не думаешь мне помогать. Это что, значит, *я* должна идти и за йогуртом тоже? Тебя что, совсем, что ли, не интересует здоровье твоего отца? Хочешь, значит, чтобы он умер?" А она поворачивается и говорит: "Он мне не отец. А мой отец умер" – "Заткнись, гадина! – процедила я сквозь зубы. – Заткнись, чтобы он тебя не услышал! – и как ущипну ее. – Кто тебя кормит и кто тебя одевает столько лет, ты, неблагодарная скотина? Что ж, ты не пойдешь к своей бабуле, чтобы мы посмотрели, как долго она с тобой продержится, и зачем только я произвела тебя на этот свет! Разве можно было даже подумать, что из семени Фотиса выйдет нормальный человек?" И вне себя побежала в дом надеть пальто, чтобы выйти за йогуртом, и вдруг вижу, как он содрогается от рыданий. "Господи, спаси и помилуй! – говорю. – Что опять случилось? В конце концов, не ты один был германофилом". А сама подумала – он точно ее услышал, и мне захотелось ворваться к ней и загрызть ее. "Ну, на то и война, нет никакой нужды принимать это так близко к сердцу" – "Я – неудачник, – с трудом выговорил он, – неудач-

ник! — Вытер глаза, но они снова наполнились слезами. — Все, чего я так страстно хотел добиться в этой жизни, все, о чем мечтал, во что верил, все, все пошло прахом! Жизнь, ты не нужна мне больше!.." — "А я? — едва выдавила я. — Как же я? Ты совсем не думаешь обо мне? Я для тебя совсем ничего не значу? — Я поцеловала его. Погладила по волосам. — Иди, приляг, поспи, — говорю ему. — Вот увидишь, все пойдет как по маслу..."

Он пошел и упал на кровать прямо в одежде. "Не разденешься?" — "Нет... Дай мне аспирину. Дай две таблетки..." — "Бери, — вздохнула я, — но не проси у меня больше до конца недели. Ты знаешь, что аспирин — яд для твоего сердца..." Он покачал головой, как будто говоря: ох, сестричка, теперь это не имеет никакого значения... И когда я вернулась в кухню, чтобы поставить стакан на полку, вдруг почувствовала себя такой одинокой, как будто я была последним человеком на этой земле, как будто это был последний день этого мира. Я закусила губы, чтобы не закричать, набросила пальто на плечи и вышла на улицу.

На обратном пути постучалась к кире Экави. "Заходи, — сказала она и подмигнула мне. — Заходи, познакомишься с моей невесткой. Виктория, *это* – госпожа Нина, о которой я тебе рассказывала" — "Добро пожаловать", — проговорила она. Глаза ее покраснели и припухли, в руках она терзала носовой платок. Не вставая с дивана, как была, она наклонила голову в мою сторону и посмотрела на меня невидящим взглядом. "Я не буду заходить, кира Экави, — сказала я с порога. — Я оставила Андониса одного дома. Если тебе нечем будет заняться, приходи к нам попозже, повидаемся. Он снова чернее тучи. Мало нам новогоднего подарочка от немцев, так у нас еще и проблемы с моей дочерью. Я расскажу тебе, когда придешь..."

Когда она пришла, уже в начале пятого, Андонис собирался уходить, но едва ее увидел, снял шляпу и снова сел. "Ну-ка давай, разбрось мне карты, погадай на мою судьбу!" — говорит ей. "Если бы я могла предсказывать судьбу, дорогой Андонис, — отвечает ему кира Экави, — то предсказала бы и свою. А даже и предсказала бы, так что в том толку, если мы не можем изменить даже какой-нибудь пустяк? Ты говоришь, ты расстроен. Что же тогда мне тебе сказать? Вчера вечером притащился из Салоник этот жид Давикос и давай угрожать, что он их убьет, причем обоих сразу, чтоб им в геенну огненную провалиться, всем этим Искариотам, продали нашего Христа за тридцать сребреников! Порази их, Господи, какой-нибудь дурной болезнью, чтоб вычистить их всех, чтоб следа от них не осталось, чтоб избавить, наконец, уже землю от этого отродья! Более фанатичных людей, чем они, нет на этом свете. За это их отовсюду выгоняют, и потому нет у них своего государства... Ты и *в самом деле* у нас чем-то чуток огорчен, — заявила она ему, открывая карту, что лежала рубашкой кверху на короле пик, — но все это пустяки. Все пройдет... Любопытно... Может, собираешься в путешествие? Получишь какие-то деньги. Уф! Ну, твои карты сегодня просто загляденье. А вот ты, госпожа моя, — повернулась она ко мне, — готовься к огорчениям! Ох, не заставляйте меня, дети, гадать вам, потому что иной раз даже карты правду говорят, и меня мучает совесть... Так вот, появляется, как говорится, Давикос, один, бешеный как бык. Виктория прилегла на диван, и мы болтали. Только я, ничего не подозревая, открыла дверь, просто чтобы посмотреть, кто это так странно стучит, как он ее увидел, дал мне пинка, влетает в дом и давай стрекотать пожидовски. Я ни словечка не разобрала. Она поднялась с дивана, упала ему

в ноги и давай плакать, ну что твоя Раскаявшаяся Магдалина. Так, и что это у меня тут намечается? – думаю я. 'А не отставить ли вам, – вот что я говорю, – ваше идише наречие куда подальше? – обращаюсь я к ним. – Может, вы все-таки будете так любезны разговаривать по-ромейски[1], чтобы и я понимала, что это творится в моем доме?'"

"Ну ладно, пока, – говорит нам Андонис. – Я пошел на кровь. Будь здорова, кира Экави..." И когда я провожала его до калитки, он говорит мне: "Полей цветы. Листья совсем пожелтели". – "Да я уж сто раз со вчера сказала принцессе, – отвечаю, – но даже и это она не может сделать". Он вышел, и я услышала, как калитка закрывается – медленно-медленно. Петли проржавели и скрипели. С тех пор как уехала Мариэтта, мы так и не удосужились их смазать. Однако вскоре он вернулся, дошел до середины коридора и крикнул: "Кира Экави! Я сказал тебе 'прощай'?.." Мы обе вышли к двери на кухню. "Ты же с нами попрощался! – говорю ему. – Ты что, уже забыл?" – "Ну, тогда прощай! – снова говорит он. – Я скоро" – "Прощай, Андонис!" – крикнула ему кира Экави...

"Что это с ним?" – спросила она меня, когда калитка наконец закрылась. "Оставь меня в покое, кира Экави, – говорю ей. – И как тебе было не найти для меня горестей в картах, если сердце мое чернее ночи. Надо было тебе быть с нами сегодня днем, тогда бы ты увидела, как он в лице изменился, когда услышал, что немцы объявили нам войну. Когда я ему об этом говорила, он не слышал. Посмотрим теперь, как он встретится с Касиматисами. Он-то думал, что раз немцы восхищаются древними эллинами, так пощадят *нас*. Ну да бог с ним. Расскажи мне, что же в итоге случилось с Давикосом?" – "А что ты хочешь, чтобы случилось? Дал ей три дня сроку, чтобы собралась и вернулась вместе с ним в Салоники. 'Я остановился в такой-то гостинице, – говорит ей, – я буду ждать'. И теперь она плачет и убивается. Не знает, что делать. Любит Димитриса, но и отца лишаться тоже не хочет, и я ее не осуждаю. Если честно, я жалею ее всей душой, но я-то чем провинилась? Скажи мне, прошу тебя, я-то чем виновата, что теперь ни за что ни про что, вот так, за здорово живешь, должна еще и эти страсти вынести?"

"Госпожа Нина! – вдруг послышался с улицы голос соседки. – Госпожа Нина!" – "Что это ей от меня надо, что она так развопилась?" – говорю я кире Экави. Я с той не поддерживала никаких отношений. Старалась вовсе с ней не общаться, слишком уж у нее был длинный язык. Я вышла к калитке, проклиная тот день и час, когда мы купили дом в этом квартале сплетников. "Ну, что тебе, госпожа Лола?" – говорю ей. "Бегите! – кричит она мне. – "У кир Андониса закружилась голова, и он упал" – "Боже мой!" – выдохнула я и бросилась на улицу как была, в домашнем платье. Но не успела я пробежать и десяти шагов, как из-за угла уже показались трое соседей, которые тащили его, поддерживая за плечи и ноги. Мы внесли его в дом, положили на кровать и вызвали Бороса. Он закрылся с ним в спальне, а когда вышел, слова уже были не нужны. Я все поняла по его глазам: Андониса больше нет!.. На меня навалилась темнота. "Нина! – дальним эхом слышался голос киры Экави. – Нина! Перестань! Говори, говори хоть что-нибудь, иначе не справишься! Кричи! Плачь!.."

1. То есть по-гречески.

Часть третья

1

В день, когда исчезла Виктория, кира Экави с самого утра была у меня, перешивала две юбки, которые я покрасила. Когда Андонис умер, я вдруг поняла, что у меня нет ни одной черной юбки. После беспрерывного траура, что я носила поочередно по всей семье, меня уже так тошнило от черного цвета, что стоило трауру кончиться, и я сделала все, чтобы этого зловещего цвета у меня даже в шкафу не было. Я раздавала все вещи направо и налево. Последнюю черную вещь, изумительную муаровую юбку, отдала Поликсене после смерти Александра. Я старалась не думать о том, что настанет день, когда они могут снова понадобиться. И хотя во всех прочих вопросах я очень практична, но стоит задуматься о смерти, и меня точно парализует. Такую же ошибку я допустила и с нашей семейной могилой: мне постоянно присылали налоговые уведомления, со времени смерти дорогого папочки мы не платили, и я все забрасывала их в дальний ящик. Я не хотела даже заикаться об этом Андонису, не то что просить денег, чтобы не заронить дурных мыслей. И когда на следующее утро после его смерти мы позвонили на кладбище, чтобы предупредить, что собираемся открыть могилу, нам и сказали: "А вы больше не имеете права на эту могилу". — "Ох, беда, беда, да придумайте же что-нибудь!" — запричитал бедный дядя Стефанос. Что они могли нам сказать? "К сожалению, это не в нашей власти, у нас предписание" и так далее и тому подобное. И он был вынужден — кругом марш — мчаться в налоговую инспекцию с оплатой, а потом назад, чтобы сунуть им этот чек в морду. Чуть ли не с боем, но нам удалось похоронить Андониса уже к вечеру. Он столько лекарств принимал при жизни, что после, ох, не приведи господи, начал вздуваться и смердеть. Боже мой, что за кошмар я пережила! И если бы рядом со мной не было киры Экави, чтобы помочь и утешить, я бы точно свихнулась. Госпожа дочь даже и не подумала подойти ко мне, чтобы поцеловать, как это подобает детям, и сказать: "Мама, не плачь". И даже лучше, что не осмелилась. Что бы там ни было, но глаза бы мои ее не видели. Как вспомню истерики, которые она нам закатывала, так сразу вскипаю. Она сожрала его, ведьма, думала я, живого человека сожрала. Сожрала и успокоилась. "Возьми ее, — сказала я кире Экави, когда пришла в себя от обморока и ко мне вернулось самообладание, — возьми ее и отведи к тете Катинго, и скажи дяде Стефаносу, чтобы он сделал то, что мы делали с папой и мамой. Он знает. И будешь возвращаться, — добавила я, — заскочи на рынок и возьми две упаковки черной краски 'Арти'. У меня нет ничего черного!" Мое сознание внезапно стало кристально ясным, словно бы вовсе не было моим. Послушали бы мои соседки, как я тут заказываю краску "Арти", подумала я, так сказали бы, что я бездушная и совсем его не любила. Но меня ни на грош не волнует, что там себе люди думают. Что все эти человечки знают обо мне и Андонисе, о наших радостях и горестях, что мы пережили вместе, обо всех этих восьми годах, что мы прожили вместе! Их изумляет, что я не плачу и не кричу, как будто вопли и истерики — признак страданий!..

Сейчас, спустя пятнадцать дней, я в первый раз задалась вопросом: а может быть, они правы, может, я и в самом деле бесчувственная и совсем его не любила? Папа говорил, что смерть людей, которых мы любим, это как удар ножом, боль приходит позже, когда рана запечется, и, как во всех других вопросах, и в этом он оказался прав. Теперь-то я знаю то, чего не знала тогда, что пятнадцати дней недостаточно, чтобы рана запеклась, такая рана, что должны были пройти годы и годы, чтобы я могла оплакать его по-настоящему. Все эти дни после его смерти я часто ловила себя на мыслях о деньгах. В конце концов, у меня есть фунты, утешала я себя и сразу приходила в себя. Нина, говорила я, как же так, как это возможно, что ты, дочь Аравандиноса, позволяешь себе подобные низкие мысли? Он еще не остыл в своей могиле, а ты думаешь о деньгах! Ночами сон не шел ко мне, а когда все-таки удавалось заснуть, мне снились чудовищные кошмары. Только теперь я могу осознать, в каком состоянии тогда была моя психика и насколько естественно и абсолютно по-человечески было думать так, как я думала. Все случилось так быстро, обстоятельства были настолько необычными, что любая женщина на моем месте поступила бы точно так же и никак иначе. Эта смерть была совсем не такой, как мамина или папина. Это был кошмар без начала и конца, который, казалось, снился наяву. Помню, когда стемнело и мы, тетя Катинго, дядя Стефанос, кира Экави и я (все остальные уже с час как были в убежище), поставили гроб в гостиной, чтобы всю ночь читать над ним молитвы, я все смотрела на него в дрожащем свете свечей — мы были вынуждены их зажечь, электричество опять отключили, — прислушивалась к далекому, но ясно различимому грохоту взрывов, доносившемуся от Пирея, и не знала, кого же оплакивать: его, уже покинувшего этот чертов мир, или нас, живых, обреченных на бог весть какие ужасы. Если вдруг на наш дом упадет бомба, говорила я ему мысленно, только один человек не пострадает — ты, Андонис! И отворачивалась от него. Я не хотела на него смотреть. Черты лица изменились, это был уже не тот Андонис, которого я знала.

В три часа утра наш дом вздохнул и содрогнулся от самого фундамента до крыши, как будто началось землетрясение, как будто и в самом деле пришел конец света. Ленты не ленты, а стекла все одно вылетели, свеча погасла. На соседний дом упала бомба! — решили мы. И, не сговариваясь, рухнули на колени — ждать своей очереди. Прошло несколько мучительных мгновений, и никаких новых взрывов. На следующий день из газет мы узнали причину загадочного взрыва: во время авианалета бомба попала прямо в английский транспорт, и вместо того чтобы немедленно отбуксировать его подальше от гавани, они, скоты этакие, оставили его гореть, где был, прямо у причала, пока наконец огонь не добрался до боеприпасов и корабль не взлетел на воздух, а вместе с ним и половина пирейской набережной. Как можно было оплакивать Андониса, когда мы сами жили в аду и не знали, будем ли живы на следующее утро? Само собой, мне помогла и смена обстановки.

Сразу после похорон я осталась в доме тети Катинго, и когда на следующий день она предложила, если мне того захочется, жить у них постоянно, я согласилась с радостью. Мне даже думать было тошно, не то что вернуться в этот дом, который сейчас был мне чернее могилы, да еще с единственной компаньонкой в лице моей дочери. К тому же каждый день происходили все более зловещие события (немцы уже дошли до Фермо-

пил), что у меня не было ни сил, ни времени тосковать об умерших. Я понимала одно: если я хочу выжить сама и спасти это чудовище, что сидит на моей шее, все переживания нужно забросить в дальний угол и быть практичной. "Что это такое произошло, что твоя невестка не пришла вместе с тобой? – поинтересовалась я у киры Экави, так просто, чтобы нарушить молчание, которое уже начало сдавливать мне грудь. Я нуждалась в том, чтобы слышать звуки привычного человеческого голоса. – Разве ты не говорила позавчера, – продолжила я, – что и она тоже должна прийти нам помочь?" Кира Экави оторвала взгляд от юбки, которую подшивала, сплюнула нитку, прилипшую к губам, скривила рот в ядовитой усмешке и, подражая гримаскам Виктории, произнесла: "Ой, у нее голова болиииит, она хочет остаться однааа!.." – "А твой сын что делает?" Взгляд ее омрачился. "Понятия не имею. Когда-то он приходил ко мне и расписывал свои подвиги в мельчайших деталях. Теперь же со мной и словом не перемолвится. Как вернулся из Салоник вместе с этой, нет больше прежнего Димитриса. Вчера вечером пришел домой в два часа ночи. Ему, видите ли, нужно голову сломить, чтобы это давикосовское отродье было сыто. Я-то надеялась, что этот жид смирится, привыкнет да и сменит гнев на милость, но теперь боюсь, что моим мечтам не суждено воплотиться". – "Да, ладно, не торопи события, – говорю я, – дай ему немного времени на передышку. Подожди, пока все утрясется..."

После сцены в доме киры Экави Давикос отправился в гостиницу, полный решимости дождаться свою дочь. Но узнав на следующее утро о начале войны, махнул рукой на Викторию и мигом вернулся в Салоники, и с тех пор, как и следовало ожидать, не подавал никаких признаков жизни. Сообщения не было, почта не работала. Все зависло. Раз-другой кира Экави приводила ее ко мне, но все мои попытки вытащить Викторию из ее панциря пропали втуне. Она сидела в кресле, скрестив руки и склонив голову, с видом жертвы, стоически несущей свой мученический крест, но, как стало ясно из последующих событий, в глубине ее души горело неугасимое еврейское пламя – когда я ее о чем-нибудь спрашивала, она отвечала вежливо, но ни разу не открыла свой огромный рот, чтобы заговорить первой. Всем своим видом она, казалось, говорила: и что я забыла здесь, с этой Ниной и кирой Катинго? Я любила Димитриса. А этих вот я не знаю и знать не хочу. "Вот уже дня два-три, – кира Экави словно прочла мои мысли, – как она мне тут рожи корчит. Имеет наглость требовать, чтобы я им позволила вылупаться друг на друга прямо у меня в доме". "Э, да ладно тебе, а ты делай вид, что не замечаешь, – говорю я, – они же молодые, чем, ты хочешь, чтобы они занимались?"

И что ты, глупенькая, сидишь и надрываешь себе сердце из-за такой ерунды, вяло размышляла я. К чему все эти волнения и скандалы, если со дня на день мы все умрем? Такой вот я человек. Иной раз и меня возьмет за живое, и я переживаю и порчу себе жизнь из-за совершенно не стоящих того вещей, но в конце концов настает момент, когда я прихожу в себя и понимаю, насколько же мудры те, кто не переживает по пустякам. И в тот день я думала об этом уже раз десять, я поклялась прахом моего отца, что слова больше не скажу моей дочери. Пусть бездельничает, сколько хочет, пусть читает, что хочет, сказала я себе, пусть, ей же хуже. Не мне исправить этот мир. Самое главное сейчас выжить. Я подрядила не одного – трех посредников, чтобы найти арендатора на дом, но пока не

было никого подходящего. Всем нужен дом без мебели. И куда бы я ее дела? В дом тети Катинго даже стул уже нельзя было впихнуть. Одну из двух фасадных комнат занимала фройляйн Обер, в другую втиснули мебель из гостиной и столовой. Тетя Катинго на время выделила нам свою спальню, а сама с дядей Стефаносом спала в комнате Петроса. Но мы надеялись, что с Божьей помощью и Петрос скоро вернется. Один его друг уже вернулся и сказал нам, что Петрос жив и что он видел его под Ларисой.

Около шести кира Экави забрала своего внука и ушла. Я собрала шитье, чтоб не валялось где ни попадя, налепила котлет — пусть будут уже готовы, когда я позже начну жарить, и сели мы, помню, в холле послушать радио. Вскоре должны были начаться новости. Внезапно раздался стук в дверь. Я открыла. Это был Акис. "Может, к вам заходила, — спрашивает меня, — тетя Виктория?" — "Почему ты спрашиваешь? Ее нет дома?" — "Нет. И сундука ее тоже нет, а дядя Димитрис плачет и во всем обвиняет бабушку..." — "Пропала невестка киры Экави, — сообщила я тете Катинго, закрыв дверь за Акисом. — Забрала и сундук с приданым, и ищи ветра в поле. Я ведь ей говорила, дурочке, чтобы она закрыла на них глаза и не мешала им жить, но она меня не слушала. Что ж, кто посеет ветер, пожнет бурю". "Шшш! Да перестань ты, Нина, — зашипела на меня Ирини, не отлипая от радиоприемника. — Дай послушать!" — "Злой рок войны, — чеканил голос в приемнике, — вынуждает нас сегодня удалиться из Афин и перенести столицу государства на Крит. Не отчаивайтесь, эллины... Я всегда буду с вами... Противопоставьте вражеской силе и вражеским исхищрениям вашу национальную гордость... добрые дни еще вернутся... Да здравствует народ!.." "Кто это?" — спросила я у Ирини. "Король..." Тетя Катинго утирала слезы фартуком. Дядя Стефанос резко поднялся и вышел на веранду. Отзвучал национальный гимн, и начали зачитывать обращение Цудероса. А ну его к дьяволу, сказала я самой себе, да что же это мы, греки, никогда не избавимся от этой дурацкой привычки? Вечно будем себя оплакивать? Вечно блюсти траур? Да что же это за несчастный народ! Предполагается, что евреи распяли Христа и за то переносят все свои мучения, ну а мы-то *кого* распяли, за что Бог нас проклял, что не видать нам больше солнечного дня?...

В эту минуту открылась дверь, и в холле появилась фрейляйн Обер, бледная и растрепанная. За последние два-три года она сильно сдала. Когда-то она каждую зиму ездила в Германию и Рождество проводила вместе со своими племянниками, но с тех пор, как Гитлер вторгся в Польшу, у нее душа больше не лежала к поездкам. Ее отец был немцем, а мать полькой. Она ненавидела Гитлера, как мы не сумели даже после самых черных дней Оккупации. Всякий раз, как я слышала, что покойный Андонис готов лопнуть, доказывая, что Гитлер — это новый Мессия, говорила ему: "Не сходить ли тебе к фрейляйн Обер, чтобы она объяснила тебе, что такое Гитлер?.." Когда-то она ходила и давала уроки. Как-то начала учить немецкому даже и мое светило, но перестала. Их высочество отказалось, это было "скучно". Но в тридцать девятом здоровье не позволяло уже ей столько бегать вверх-вниз по городу, как раньше. Несколько учеников приходили заниматься на дом, но после начала войны в Албании исчезли и они. Тетя Катинго и Ирини были очень холодны с ней. Каждый раз, когда она была нездорова и не могла пойти поесть в ресторан, они, хотя и относили тарелку еды ей в комнату, но швыряли так, будто она была шавкой подзаборной. По правде говоря, не потому что она была немкой, — они просто от

нее устали. Она жила у них уже семь лет. Но именно из-за того, что все вокруг нас было так, как оно было, я считала, что следует вести себя с ней как можно более вежливо, и говорила им об этом не раз. Я понимала, что она страдает больше всех нас вместе взятых. Мало радости провести полжизни в чужой стране, любить ее как свою собственную и вдруг без вины виноватым оказаться во вражеском лагере. На несколько секунд она нерешительно замерла перед дверью. Сказала что-то Ирини (по-немецки), но той уже надоело оказывать ей услуги и она бросила (по-гречески): "Ну ладно, я вам принесу это позже..." Я видела, что фройляйн Обер не в себе, губы ее дрожали. Меня вдруг охватило совершенно непроизвольное желание сказать ей что-нибудь, показать, пусть даже не прямо, что мы не считаем ее врагом, и когда она уже готова была вернуться в свою комнату, сказала ей с улыбкой: "Представляете, фройляйн Обер, что-то мне подсказывает, теперь на старости лет и я выучу немецкий. Буду приходить к тебе в комнату на уроки, вот и будет нам обеим чем заняться. Вот увидишь, — продолжила я, — за полгода я у тебя мастером стану!" Она замерла на секунду и, поняв, что я имела в виду, попыталась было выдавить из себя улыбку, словно благодаря. Потом вошла в комнату и прикрыла дверь. И вдруг — вот кто видел Господа и не устрашился его — моя дочь, прямо львица взъяренная, кинулась на меня, словно желая растерзать на части. "Да как тебе не стыдно! — завопила как резаная специально, чтобы старуха ее услышала. — Да как тебе не стыдно, ты хочешь выучить язык наших врагов! Если они войдут в Афины, я выйду на улицу и на первого же, кто пройдет мимо, плюну! А мы еще держим этих чудовищ в своих домах!" "Заткнись, скотина, — процедила я сквозь зубы, пытаясь держать себя в руках. — Заткнись, чтобы тебя не услышала эта несчастная женщина, уж она-то точно неповинна в том, что я родила тебя на свет божий! Марш в свою комнату и заткнись там, и чтоб я тебя не слышала, иначе я тебя на куски разрежу! Ты у меня уже вот где сидишь!.." Но она даже с места не сдвинулась и все разглагольствовала, да так, что уже тетя Катинго была вынуждена вмешаться. "Вот что я тебе скажу, Мария, — говорит она ей. — Кого уж мы там держим в своем доме и почему мы их тут держим, это наше дело. Давай предположим, что мы это делаем, потому что мы — люди гостеприимные, иначе и тебя бы сейчас здесь не было..." И, содрогаясь от волнения, удалилась в кухню. "Дрянь! — рявкнула я тогда и схватила ее за волосы. — Мы еще и въехать не успели, а ты уже рассорила меня насмерть с моей же собственной теткой!" Потому что мне, видите ли, совсем не понравились намеки на гостеприимство. Как же, гостеприимство, чепуха на постном масле! Они взяли нас к себе не только не в убыток, но даже с прибылью, и если бы я не помогла им во время Оккупации, они все сдохли бы от голода. "Тварь! — говорю ей. — Откуда у нас этот неожиданный патриотизм? Когда ты могла помочь делом, ты предпочитала читать Делли и Мари Корелли. Два месяца с одним шарфом справиться не могла!" Она меня так вывела из себя, что я всю ночь глаз не сомкнула. Слушала ее безмятежный храп и с трудом удерживалась, чтобы не протянуть руки и не задушить ее. Ах, господи боже мой, какой бы счастливой женщиной я была, если бы не это фотисовское отродье!

На следующий день, часов в одиннадцать, я оделась и решила прогуляться до киры Экави, узнать новости и глотнуть свежего воздуха. Со дня

смерти Андониса я на улицу и носу не казала, не считая тех нескольких случаев, когда я ходила в наш дом взять самое необходимое. Так что меня это уже стало тяготить. Тетя Катинго никогда не относилась к тому типу женщин, что всегда составляют приятную компанию. Она ни в чем не походила на бедного папу. А сейчас, когда только и делала, что с ума сходила из-за своих сыновей, была и вовсе невероятно утомительна. Сидит на веранде и вздыхает, и нет чтоб хоть слово сказать, нет, она рта не раскроет. Вот кира Экави была занимательной даже и во время самых страшных ее бурь. Тогда она становилась даже еще более занимательной. Ах, и что она за страдалица, размышляла я, опять ей досталось ни за что ни про что, да еще в такое смутное время, когда мы и сами не знаем, что нам уготовил завтрашний день! Но, может, это и к лучшему. Да и как ни крути, ну не могла она ужиться с Викторией на одной кухне. Пойду-ка, отнесу ей банку-другую консервов, подумала я. За полчаса до того к нам пришли попрощаться двое англичан, с которыми мы познакомились у Дейонов. Сначала они отправились к Дейонам, а потом уже к нам. Была объявлена срочная эвакуация британских войск, так что они снялись с места в два счета. С самого утра они открыли свои склады для гражданских, чтобы продовольствие и прочие припасы не попали в руки фашистов. И вот они приехали к нам на грузовике, а тот почти доверху забит самыми разными припасами, там были даже тропические шлемы, такие носят охотники на сафари в Африке. Они знали, что мы не из тех, кто будет биться с честным народом за банку консервов. Слава богу, до этого момента нам всего хватало. В общем, половину грузовика они отвезли Дейонам, а половину — нам. Том был влюблен в Ирини. "Привет, Том, дорогой!" — говорю ему. — "Х...хау ар йю?" Я уже начала чуть-чуть разговаривать на их языке. Когда-никогда, но сунусь в самоучитель английского. "Бу-бу-бу!" — отвечает мне Том. Он выплевывал слова изо рта прямо как пулемет какой-то. Я ни звука не разобрала. "Нот андерстанд, Том!" — говорю ему. "Что же, они и кофе не попьют?" — спрашивает тетя Катинго. Временами простодушие этой женщины доводило меня до бешенства. "Да что еще за ерунда с вашим кофе, дорогая мама, — говорит ей Ирини, — вы что, не видите, что люди бегут со всех ног, как будто за ними гонятся?" Том смотрел на нее так, будто взглядом хотел выразить все то, что не мог сказать словами. От волнения стал пунцовым как помидор. "Гуд бай, Айрин!.." — так он ее звал: Айрин. "Какие чудные ребятки! — сказала мне Дейон, она сидела у себя на балконе и увидела, как я вышла из дома. — Моя Берта как кошка влюблена в Мервина. Когда вернется с работы и узнает, что они заходили попрощаться, а ее не было, с ума сойдет от горя. Еще вчера вечером они клялись друг другу в вечной любви..." Так она и говорила. Человек, который плохо ее знал, подумал бы, что эта женщина не сильно встревожилась бы, даже если бы у ее дочери было сто возлюбленных, а не один. Но позже мы с ней стали подругами, и я сошлась с ней поближе. Если за все время Оккупации и наберется с десяток сносных вечеров, то их я провела именно там, и так я увидела, что трудно было бы сыскать более преданную супругу и бдительную мать. А что ее действительно отличало от прочих гречанок, так это удивительное прямодушие. На любую тему она говорила без лишних околичностей. И уж точно она была не из тех, кто взыскует порядочности ниже пояса, изображает из себя святых и невинных, а сам у тебя за спиной делает гадости. Ее муж был англичани-

ном, и, конечно, тут не обошлось без его влияния. Уилли служил главным инженером в "Пауэре". Уже лет тридцать, как жил в Греции. А сейчас они все в Лондоне.

"Ты бы мне лучше яду принесла, а не тушенку! — заявила кира Экави, когда увидела консервы. — Так и знай, Нина, я умру, я это больше не выдержу". — "Да что случилось? — спрашиваю. — Нашлась наконец твоя невестка или нет?" — "Да пропади она пропадом, еще не хватало, чтобы нашлась, Господи помилуй, Пресвятая Богородица! Да чтоб эта чертова баба сдохла страшной смертью! Пошла она куда подальше! Я потеряла моего Димитриса, Нина, нету больше у меня сына! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить!.." Она села и рассказала мне всю историю с самого начала. Когда Димитрис понял, что Викторию уже не найти, начал плакать и грозить, что покончит с собой, и тут в самый разгар этой сцены вернулся Тодорос с ночного дежурства в редакции, и стоило ему узнать о причине этих ночных бдений, он выпучил свои глазищи да как раскричится: "Да ты повзрослеешь когда-нибудь или нет, Христос тебя разэтак! — орет он ему. — Ты мужчина или где? Если есть у тебя хоть какое-нибудь чувство собственного достоинства, *пойди* и покончи с собой уже наконец!.." Тот вскочил и прямо посреди ночи прочь из дома. На следующее утро пришел забрать свои вещи. "Пришла бы ты чуть раньше, — причитала она в отчаянии, раскачиваясь взад-вперед, — застала бы. Он был спокоен, как море в штиль, и улыбался блаженной улыбкой, словно видел самый сладкий свой сон..." — "Но *как же так*! — воскликнула я в изумлении. — Он нашел ее?" Я еще не поняла. И когда она объяснила *как*, то я от потрясения только и смогла выдавить: "Да что ты говоришь, кира Экави! Бедная ты, бедная моя голубушка!" Я не знала, что сказать и как утешить. Мы это уже проходили с Диносом, подумала я. И лучше бы он уж раз и навсегда перерезал себе вены, чем сделал то, что сделал. "Да что это, ты, магнитом, что ли, притягиваешь к себе все эти несчастья, бедняжечка ты моя?" — воскликнула я. Я понимала, что пусть даже я и скажу ей, что на самом деле думаю, она и есть единственная причина всех этих несчастий, и чему это поможет? Я только сильнее ее расстрою, подумала я. Вот если бы была надежда, что урок пойдет ей впрок, я бы всю правду выложила, пусть даже она никогда бы больше доброго слова мне не сказала. Но мой дорогой папа был совершенно прав, когда говорил, что люди неспособны сопоставлять одно с другим и поэтому страдают так, как они страдают. А я, подумалось мне, лучше, что ли? Но что я действительно считала своим первейшим долгом, так это дать ей практический совет. "Не теряй ни секунды! — говорю ей. — Договорись со своим старшим сыном и отведите его к хорошему невропатологу, пусть даже силой, пока не поздно". Я знала несколько таких случаев, некоторые мои знакомые переносили тяжелые операции и привыкали к морфию, но им помогала специальная терапия. "В самом крайнем случае, — сказала я жестко, — заприте его в сумасшедшем доме..." И впервые за всю историю нашего знакомства я, ничего не скрывая, рассказала всю правду о бедном Диносе. До этого дня я старалась не слишком раскрываться даже и перед ней. В отличие от киры Экави, мне не очень-то нравится сидеть и перемывать все грязное белье нашей семьи.

По пути к дому я прошла мимо английских складов. Люди дрались у входа, чтобы попасть внутрь и добрать, что осталось. Несколько оборванцев запрыгнули на джип и разбирали его на запчасти. Поднимаясь к дому, я

вдруг почувствовала, как чудовищная пустота заполняет мою душу. Спроси меня кто-нибудь в тот момент: во что ты веришь? — я бы ответила: ни во что!.. Придя домой, измученная, будто прошла километры, а не два переулка, сбросила туфли и упала на кровать. Принцесса валялась на соседней и почесывала голову с блаженной простотой идиотов. Потом она начала гундеть, изображая младенца, хотя и знала, как меня это раздражает. Я бросила на нее косой взгляд, но не сказала ни слова. Вот бездушное существо! — подумала я. Она уже и не помнит, до чего довела меня вчера. Я прикурила сигарету. Со смерти Андониса я снова пристрастилась к курению. "Давай, давай! — говорит она мне. — Снова начинаем наш пых-пых!" — "Заткнись, я тебя умоляю, — говорю я уже наготове всыпать ей по первое число, если она осмелится еще хоть слово вякнуть. — Не тебе указывать, что мне делать, а что нет. Пошла отсюда. Иди чесать свою лысину куда-нибудь в другое место! Да что же я такого сделала в этой жизни? Да неужели же Всеблагой Господь *никогда* не избавит меня от твоего присутствия?.."

2

Немцы уже неделю как вошли в Афины, когда Петрос наконец-то вернулся с фронта. Бедный мальчик, двадцать дней он шел пешком, когда сытый, когда голодный! "О, кузина!" — я как раз подметала во дворе, когда услышала чей-то возглас позади себя. "Петрос!" — взвизгнула я и давай кричать во всю мочь, чтобы услышала тетя Катинго, хлопотавшая на кухне. Если бы она увидела его вот так, внезапно, с ней бы запросто и обморок мог бы случиться. Бросилась было его обнимать, но он оттолкнул меня. "Не прикасайся ко мне! — говорит. — Я весь кишу этими маленькими симпатичными животными!.." Но тете Катинго было наплевать на вшей. Она упала ему на грудь и разрыдалась. Потом всю неделю чесалась. "Где же твои телеса, дорогой Петрос?" — говорю ему. Петрос всегда был слегка полноват, как и его отец. Я его всегда любила, он не был таким напыщенным павлином, как его братец Такис. У него было нежное сердце. Всё от доброго своего сердца и любви к людям он и заделался коммунистом и пострадал за это. Он не был партийцем того типа, к какому принадлежали Динос и сын киры Экави. В глубине души он был куда религиознее всех нас вместе взятых. "Ну, Петрос, голубчик! — говорю я ему, — и перепугал же ты всех нас! Мы уж думали, не сыскать нам твоих костей. Ты когда спал последний раз?" А эта-то что здесь делает, должно быть, думал он про себя, глядя на то, как я хозяйничаю в их доме. "А почему ты в трауре?" — спрашивает. "Андонис..." — прошептала тетя Катинго. Он и так уже приобнимал меня за плечи, только сжал их чуть сильнее. "А Такис?" — "О, Такис! — я выскочила вперед, чтобы успеть превратить все в шутку, прежде чем тетя Катинго опять начнет разливаться весенним ручьем. — Наш Такис теперь большой человек". Его перевели в министерство, и он теперь переводил какие-то секретные документы для немцев. "Ты бы только его видел, Петрос, каков он теперь без формы!" Я чуть было не ляпнула "что твой ощипанный петух", но вовремя удержалась. "Он теперь совсем другой человек", — закончила я. Тетя Катинго терпеть не могла шутки в адрес своего возлюбленного первенца. Для нее демобилизация Такиса была равносильна его смерти. Несколько дней назад она отгладила все его фор-

менные костюмы и спрятала их в одном из сундуков, поливая горькими слезами, как будто не форму в сундуки укладывала, но сына в могилу. Одна она знала, чего им стоили эти несчастные формы. Она — и на много лет — была вынуждена превратиться в горничную фройляйн Обер. Ирини пришлось отказаться от учебы на стоматолога. Дядя Стефанос имел глупость продать свою кофейню и уйти от дел раньше времени, потому, видите ли, что первый лорд английского военно-морского министерства стеснялся папаши-кабатчика. Все ворчал, что тот мешает его продвижению по службе. И ладно бы дядя просто продал это кафе, рано или поздно он так и так бы его продал, хотя Петрос и не был таким надменным идиотом, как его брат, но и он не родился для того, чтобы сидеть за стойкой, перетирать кофейные чашки и смотреть, сколько партий в бильярд было сегодня сыграно. Он был книжным червем, изучал филологию. Хотел стать преподавателем. Но хуже всего было то, что вместо того, чтобы положить вырученные деньги под проценты, как им советовал Андонис, или купить имение в Баци, о чем постоянно зудела тетя Болена, чтобы у них по крайней мере всегда было свое масло, они пошли и выкинули все деньги на покупку "французской" гостиной и "английской" столовой у Варангиса, и, прямо скажем, не для приданого Ирини, как вяло оправдывалась тетя Катинго, когда я взяла ее за горло, но единственно для того, чтобы господин Такис мог устраивать вечеринки для своих благородных друзей из Колонаки. Теперь же все эти немыслимые жертвоприношения вместе с формой были захоронены в сундуке, переложены нафталином и одному Богу было известно, когда надежды тети Катинго воплотятся в жизнь, *да и* воплотятся ли вообще.

В этот день я увидела первых немцев. Незадолго до смерти незабвенного я начала ставить пломбы на зубы, но после забросила это дело на полпути, сначала у меня не было ни сил, ни желания на подобные экзерсисы, потом, когда немцы заняли Афины, я уже и не осмеливалась спускаться в центр города до тех пор во всяком случае, пока все как-то не утрясется. Да и боялась, что стоит их увидеть, так я непременно разволнуюсь. Из окна автобуса я печально разглядывала улицы, на которых еще совсем недавно жизнь била ключом. Теперь же они как вымерли. А редкие прохожие были больше похожи на жертв гипнотизеров, даже и шум от автомобилей больше не был прежним, клаксоны и двигатели звучали приглушенно, как сквозь вату. Но когда я увидела немцев, меня не посетило желание в них плюнуть, как то намеревалась сделать моя безмозглая дочь. Сначала я испытала скорее жалость, чем страх или ненависть. Должно было пройти время, нужно было пережить за годы Оккупации все то, что нам довелось пережить, увидеть исхудавших детей, носившихся по улицам стаями оголодавших волков, провожать взглядом трупы, наваленные на муниципальные телеги, узнавать о заложниках, которых они брали, о расстрелах, и только тогда наконец понять, какое немыслимое скотство прячется за этими ангельскими, невозмутимыми лицами. Но в этот вечер победило любопытство. Я обнаружила скорее пришельцев с другой планеты, чем захватчиков. Тот первый, кого я увидела на расстоянии вытянутой руки, стоял, облокотившись на крыло автомобиля, и ел апельсин вместе с кожурой! Кожа его была шоколадного цвета от горячего солнца Средиземноморья, как будто его отец был белым, а мать негритянкой. На шее, прямо под воротничком зеленого мундира, у него был повязан красный платок. Два-три

малыша стояли вокруг него и глядели, не отрывая глаз. Для них он был странным существом, не имевшим ничего общего ни с кем, кого они знали до этого. Один из ребятишек что-то ему сказал, но поняв, что язык, который до этого служил ему верой и правдой в общении со всем миром, в этом случае оказался совершенно бесполезен, принял вид человека, оказавшегося внезапно перед лицом непостижимой загадки. Вся эта сценка отпечаталась на моей сетчатке за те доли секунды, что я бросила взгляд вполоборота, пока автобус проезжал мимо. Сама того не желая, я улыбнулась.

В моих планах на после зубного врача было посещение неврологической клиники — я собиралась пойти повидать сына киры Экави. Виктория уже давно объявилась, и теперь свекровь и невестка заливались слезами примирения. Димитрис сам решился лечь в клинику, как я им и советовала, чтобы порвать с наркотиками, и после его благополучного возвращения оттуда они должны были пожениться. Я знала, что если не навещу его, кира Экави меня не одобрит. Но когда наконец я расправилась со всеми делами, время шло к шести. У меня не было особого желания застрять на улице после захода солнца. И я решила сразу же вернуться домой.

И, как оказалось, правильно сделала. На следующий день ко мне пришла кира Экави и возвестила, что Димитрис уже выписался и приглашает меня на крестины Виктории. Через пятнадцать дней после крестин их должны были обвенчать. Я пошла одна. Петрос был болен и не вставал с кровати, а тетя Катинго, не желая его оставлять одного, вовсе не выходила из дома. Бедняга Петрос, только-только он начал приходить в себя после перенесенных мучений, как на него навалилась зверская простуда, как по заказу. У Ирини были "особые" дни. А когда случались "особые дни", ноги ее не было в церкви, как будто Господь не создал и это наравне со всем остальным. А моя дочь не сочла крестины двадцатипятилетней девицы зрелищем, ради которого она могла бы хотя бы ненадолго оторваться от безделья и чтения очередной книжонки Делли. Они и правда не стали засовывать ее голой в купель, как мы, давясь от смеха, себе это представляли. Священник перекрестил ее три раза, помазал елеем, щелкнул ножницами, отрезав прядь волос, зачитал из Евангелия кусок о Богоявлении и наконец нарек ее именем Фотини — "озаренная". Я-то уже привыкла к Виктории и мне на язык не шла эта Фотини. А потом на мой вкус это имя было несколько простонародным. Но киру Экави такие мелочи не смущали, только и слышно было: Фотини то, Фотини это, и когда она была в особо нежном настроении, а в то время такое с ней бывало, и нередко, то ласково звала ее Фофи. Чтобы избежать прежних размолвок, она сама пошла и нашла для них комнату с кухней в ее же квартале, чтобы, с одной стороны, они жили сами по себе, а с другой — она могла бы залетать к ним на постирушки. К моменту крестин "озаренная" *уже* была в положении. Кира Экави не могла на нее надышаться, пылинки с нее сдувала и, как говорится, не давала даже ложку самой поднять. И поскольку эта сладкая парочка так спелась, что все у них шло любо-дорого смотреть, за исключением таинственных приработков Димитриса, они пришли к выводу, что отдельный дом — излишняя роскошь, и снова решили жить всем вместе в целях экономии.

Все это я узнала от Акиса. Кира Экави больше не поверяла мне своих секретов и чем дальше, тем реже заходила в гости. В какой-то момент и я начала забывать о ее существовании, то же самое происходило с моей

дружбой с женами Кондопулоса и Касиматиса. И причин тому было немало: и она, и тетя Катинго с давних пор друг друга терпеть не могли. "Ну, я приду. Чтобы что делать? — говорила мне кира Экави вначале, когда я спрашивала ее, почему она ко мне глаз не кажет. — Вернешься в свой дом — я снова буду приходить..." Кроме того, дом тети Катинго стоял на холме, а спазмы в ногах, начавшиеся у нее еще со времени суда над Димитрисом, продолжали ее беспокоить. Но все это было так, предлоги. Если бы кира Экави и в самом деле хотела прийти повидаться, она бы пришла. Не из таких она была, чтобы ее остановили подобные препоны. Настоящая причина была в другом: за это время изменились наши отношения. Смерть Андониса, из-за которой на какое-то мгновение мы сошлись теснее некуда, позже стала нас разделять, отчуждать друг от друга. Она никогда не говорила мне этого впрямую, но по ее обращению и по целой горе намеков, что она обрушила на меня, я поняла, что она придерживается того мнения, что я слишком мало носила траур по Андонису, меньше, чем положено, и что я совсем его не оплакивала. И это она, та, которая тысячу раз была со мной согласна, что, может, в старые времена траур еще и имел какое-то значение, но в наше время низведен до не более чем низкопробного фарса и что никто не скорбит по своим возлюбленным, переодеваясь в черное, но только в своем сердце, и она теперь порицала меня за то, что я отказалась от черной вуали до пола! А что касается моих настоящих чувств по поводу смерти несчастного Андониса, что она могла о них знать, если даже я сама была не в состоянии разобраться с тем, что чувствовала? Если уж говорить с последней прямотой, то у меня не было ни малейшей необходимости разыгрывать представление из чувств, которых не было. Люди, которые могли хоть как-то меня контролировать, давно уже умерли. А киру Экави я к себе в свекрови не приглашала! Потом уже я поняла, что ее раздражали мои визиты к Дейонам. Не потому что она не одобряла игру в карты, но от ревности. Она раз зашла ко мне, когда я была у Клио, другой, и ей это не понравилось. Клио со своей обычной простотой окрикнула ее с балкона, предложила зайти и ей посидеть с нами, но она не хотела. Она считала Клио бесстыдной женщиной и исключительно неподходящей спутницей для меня. Она, которая говаривала, что проститутки порой бывают святее монахинь (*если*, конечно, предположить, что Клио была проституткой), теперь выступала единым фронтом с моими главными врагами — тетей Катинго и моей дочерью, да так, что они втроем составляли целые стратегии борьбы с ней. Как и следовало ожидать, я разозлилась.

Но теперь уже, спустя годы, я понимаю, что самой главной причиной, по которой мои отношения с ней перешли в фазу охлаждения, стало то, что, пока я отчаянно пыталась похоронить прошлое, забыть Андониса, кира Экави, даже если она слова о нем не говорила, одним только своим присутствием заставляла меня вспоминать его снова и снова. Я смотрела на нее, а видела его. И слышала его последние слова, которые он адресовал ей, не мне: "Кира Экави, я сказал тебе 'прощай'?". И хотя я понимала, что глупо было ревновать мертвеца, в глубине души я не могла простить ни его, ни ее. Я часто думала, загораясь горечью и гневом одновременно, что провела рядом с ним почти десять лет и что все это время рядом с нами всегда был кто-то третий, кто пусть в чем-то, но отнимал у меня моего Андониса. Кто-то еще, чье общество он предпочитал моему. И пусть тогда меня это не особо беспокоило, но по мере того, как шло время и я все больше это сама

с собой пережевывала, я все больше раздражалась. Одна только я знала, пусть даже я не признавалась в этом даже самой себе, чего мне стоила его смерть. Только когда я потеряла его, я поняла, что наш брак, такой или сякой, но был для меня возвращением, к несчастью, временным, в мою юность, в беззаботные, беспечные годы в Кифисье, когда я залезала в кошелек дяди Маркусиса и доставала оттуда столько денег, сколько помещалось в моих руках. Ну и что, что Андонис не был особо выдающимся любовником, эта часть жизни занимает не такое большое место в жизни женщины, но он был настоящим мужчиной в полном смысле этого слова. Рядом с ним я была маленькой девочкой, прячущейся за крепкой спиной отца. Его уход стал для меня крайне неприятным пробуждением ото сна... Вот в этом в двух словах и крылись причины, из-за чего я стала относиться к ней с холодком.

Но последним ударом по нашей дружбе стали ее намеки на возможность моего брака с Тодоросом. Она ни разу не сказала об этом прямо. Весьма и весьма туманно, хотя и не настолько, чтобы я не смогла понять. И мой ответ, который я ей дала, а вернее сказать, *не* дала вовсе (я притворилась, что не понимаю), ее оскорбил. Я увидела это в ее взгляде. Но кто кинет в меня камень за это? Однако только мысль, что я могу выйти за ее сына, казалась мне тогда абсурдной и чудовищной. И не потому что он был младше, и не потому что я не могла даже представить себя ее невесткой, но если уж мы об этом заговорили, то я была уверена, что он даже гроша ломаного не может мне предложить. У меня был дом, фунты, лес и никакой потребности в жиголо. Если бы он мне и понадобился, то я бы стала искать молодого и красивого, так что не было ни одной причины, по которой мне стоило выходить за Тодороса, к тому же туговатого на одно ухо и плешивого. Оставим даже в стороне и то, что как раз тогда у меня даже и мыслей таких не было, что я могу снова выйти замуж. Эту возможность я отвергла раз и навсегда. Двух замужеств более чем достаточно, в третий раз я на эти грабли не наступлю...

Изредка, от случая к случаю я узнавала, как она там, от малыша. Он частенько ко мне заглядывал и жаловался на нее. Что делать, он уже приблизился к тому возрасту, когда было бы странным, если бы он не восставал против ее тирании. Он рассказывал, как она воровала его порцию хлеба, эти слезы, которые нам выдавали тогда по карточкам, чтобы тайком подкармливать Фотини, потому, видите ли, что она должна была преподнести ей яичко к Христову дню, второго Димитриса (ей ни разу ни пришло в голову, что Фотини могла бы родить и девочку), что в тарелку Фотини она клала масла больше, чем ему, и так далее и тому подобное. От Акиса я узнавала и о последних подвигах Димитриса. Однажды он взял его и Фотини и повел по кинотеатрам, таким, где народу было что на твоей ярмарке. Усаживал их на балкон, а сам спускался в партер, а когда возвращался, брал сумку своей жены, молча плакавшей весь сеанс, и набивал ее добычей: кошельками, очками для дали и от солнца, золотыми цепочками, булавками, зажигалками, даже и лисьими хвостами, которые он срезал бритвой. Поэтому, несмотря на всю сдержанность киры Экави, я и об этом периоде ее жизни знаю больше чем достаточно, хватит, как говорится, на целый роман. И на то, чтобы "на виселицу вздернуть", как говорила она сама, тоже хватало. К тому же были и такие истории, как, например, ложная беременность Виктории, которые она не смогла бы утаить при всем желании. По-

мню, когда в один из этих ужасных зимних дней сорок второго зашла она ко мне и выдавила из себя новость, мне стало так смешно, что я едва сдержалась, чтобы не захохотать прямо при ней. Но, глядя, как она оплакивает смерть новой жизни, которой никогда не было даже и в виде зародыша, я расчувствовалась. Мне показалось, что во мне ожили какие-то слабые воспоминания о нашей прежней дружбе. Я силой заставила ее пообедать с нами, чтобы она хоть чуточку отвлеклась. И поскольку за едой время прошло быстро, а времена были страшными, то я предложила ей остаться: "Оставайся-ка ты на ночь сегодня, — говорю ей. — Ничего не случится, если один раз ты переночуешь не дома". После смерти фройляйн Обер тетя Катинго отдала нам ее комнату. Так что места было более чем достаточно. Я постелила ей на полу, и она заснула тут же, глубоко и спокойно, прямо как ребенок, и пусть даже она и не признала бы этого утром, но она была как измученный ребенок, который после долгих скитаний вернулся домой...

3

Я начала играть в карты по многим причинам, и не последней была та, что, изнывая от бессонницы по ночам, я вынуждена была спать днем, иной раз до четырех-пяти часов вечера. Таблетки люминала глотала как карамельки. В те дни сон был самым безвредным наркотиком, который можно было себе позволить, чтобы сбежать от кошмара, который, что ни делай, прекратить невозможно. Я знала, что даже если я разорю нашу кладовую и разделю все наши припасы между голодающими, я не только никого не спасу, но обреку всех нас на голодную смерть. Но всякий раз, когда я слышала бормотание "Я голодаю, добрая госпожа, мои кишочки уже высохли от голода...", сопровождавшее каждый наш следующий день, мне становилось дурно. У меня начинались нервные спазмы в желудке, пусть даже я была уверена, что этот нищий питается, может быть, даже лучше всех нас вместе взятых. Я думала о тех бесчисленных мириадах греков, которые и в самом деле подыхали от голода, и душа моя разрывалась, не потому что они должны были умереть — рано или поздно все там будем, — но потому что они подыхали как скоты, потому что, прежде всего, голод лишает последнего чувства собственного достоинства. А хуже всего то, что рядом с ними и мы теряли последние остатки человечности, потому что худо ли, бедно ли, но у нас еда была и мы все-таки ели. Каждый раз, когда я видела очередного живого мертвеца из тех, что падали каждый день прямо на улицах, видела и, как и все остальные, проходя мимо, непроизвольно ускоряла шаг, я была самой себе противна. Я приходила в ужас, осознавая всю степень собственной бездушности, и от отчаяния бросалась в игру, так же, как пьяница пьет иной раз только для того, чтобы забыть, что он пьет — обстоятельство, которое моей бестолковой и бездушной, счастливой в своем бездушии дочери понять было невозможно, ни тогда, ни когда-либо еще. Она называла меня "веселой вдовой" и "картежницей, как и твой папаша". Как вспомню, мне вся кровь в голову бросится.

Другой причиной, почему я начала играть в карты, было то, что отныне у меня не было обязанностей, которые связывали меня когда-то, когда у меня был свой дом, где мне было чем заняться и так убить время.

Тетя Катинго не подпускала меня ни к чему. Не чтобы облегчить мне жизнь, но исключительно из-за собственной неадекватности и желания, чтобы все было сделано, как она привыкла. И в книгах тоже я более не находила ни удовольствия, ни утешения, как это бывало прежде. Они казались мне сухими, лживыми и действовали на нервы. Что же до самой старинной моей страсти, кино, то и от него не было мне никакой радости. Сначала тебя испинают, пока ты стоишь за билетом, затем — пока ты ищешь свое место, а потом у тебя есть все шансы вернуться домой с головой, кишащей вшами. И дело было не только в том, что трудно придумать что-нибудь более отвратительное, чем необходимость давить их одну за другой ногтями или умащивать свои волосы керосином, как это мне однажды пришлось сделать. Вши, знаете ли, еще и переносчики сыпного тифа. Один из домов в нашем квартале на какое-то время закрыли на карантин, и ни один жилец не мог выйти наружу, даже чтобы отоварить карточки. Всю еду им привозили из Красного Креста и бросали у подъезда, как будто они были прокаженными. А проблемы с транспортом, из-за которых ты проклинал тот день и час, когда тебе приспичило куда-либо отправиться? Если тебе не хватало мужества пройтись пешком, надо было залезать в газозены, крошечные, скрипучие, разваливающиеся от старости автомобильчики на газовом ходу, да и то если они все-таки подходили, и домой ты возвращался черный от копоти.

До этого момента мои отношения с Дейон ограничивались несколькими вежливыми фразами, которыми мы перебрасывались, сидя каждая на своем балконе, да и те сопровождались постыдным чувством, что я делаю что-то крайне неприличное. Тетя Катинго начинала носом скрести стол из-за этого. Она с Дейон больше не общалась, из-за того, что Клио принимала у себя в доме одного итальянца, Фиоре, которого разместили в доме напротив. Никак она не могла уразуметь, что есть итальянцы и итальянцы. Фиоре был хорошим мальчиком. Ненавидел Муссолини и войну наравне со всеми нами, если не больше. Тетя Катинго обвиняла Клио в том, что тот был ее любовником, хотя я не заметила даже намека на адюльтер, при том, что я сидела у нее в гостях чуть ли не безвылазно и, прямо скажем, не была ни наивной дурочкой, ни слепой курицей. Она привечала его, не интересуясь, был он врагом или не был, как ребенка, оказавшегося вдали от дома и матери. Мы находили его забавным. Он немного выучился греческому и часами рассказывал нам об Италии и о Падуе, своем родном городе. Он учился на юридическом, но ему следовало бы стать клоуном, а не адвокатом. И, признаюсь, иной раз он приносил нам и немного кофе, настоящего кофе, а не горохового эрзаца. Как раз на чашку кофе Дейон и позвала меня однажды, и хотя тетя Катинго скорчила недовольную рожу, я сделала вид, что не замечаю, и пошла. И когда она пригласила меня в следующий раз, у нее уже собралась веселая компания, и мы расписали банчок — так просто, чтобы убить время, нам понравилось, и с тех пор каждый раз, когда она звала гостей на покер (и чем дальше, тем чаще мы играли), я бежала в первых рядах. В мире тузов и королей я хотя бы ненадолго отвлекалась от ужасающей действительности. Знала, что бессонница — смерть при моей язве, которая, как ни парадоксально, продолжала меня терзать, несмотря на вынужденный отказ от животных жиров, благодаря чему столь многие мои знакомые вернули себе здоровье за время Оккупации.

Но мне было наплевать. Я глотала аспирин тоннами и каждый или почти каждый вечер убегала к Клио.

Компания была небольшой, но отборной и приятной. Все это были люди, стоически расставшиеся с состояниями, на зарабатывание которых ушла чуть ли не вся их жизнь, потому что ни один из них не хотел сотрудничать с немцами или торговать на черном рынке. Доратос прежде был из судейских, Мела — вдова одного промышленника, друга Уилли, а Каравида была счастливой обладательницей имений на Пелопоннесе. Она оставалась самой жизнерадостной из всех. И как только она ухитрялась поднимать себе настроение, когда люди вокруг мерли как мухи, не знаю. Но теперь понимаю, что это умение забыться, а когда и посмеяться, нас и спасло, иначе бы мы давно рехнулись. Каждый раз, когда она отправлялась к Клио на карты, она предварительно заманивала мужа в постель и вырывала два-три волоса кое-откуда — на удачу, так она говорила. "Слушай, Ари, у тебя там хоть один волосок остался?" — спрашивали мы его дружно. Он был редкостным простофилей. И был просто одержим манией постоянно пересаживаться — готов был платить за то, чтобы ты с ним поменялся местами. А стоило ему получить хорошие карты, его лицо сияло от удовольствия. Я его как облупленного знала. Как и следовало ожидать, каждый раз, как мы видели, что он сидит и хихикает сам с собой, мы хором пасовали и ему никогда не удавалось сорвать банк.

Именно тогда я впервые заметила, что самые хладнокровные мужчины — это женщины. В один из вечеров мы схватились с Доратосом, и я выиграла у него шесть фунтов. В те дни он мне швырнул их, не считая. Он тоже был вдовцом, и Клио хотела нас поженить, но я прекратила эти шуры-муры и стала вести себя по отношению к нему очень сдержанно, если не холодно. Он упрямо швырял карты, хлоп, хлоп по столу, чтобы вынудить меня сдаться, так было задето его мужское честолюбие. Он швыряет, а я свои выкладываю с ледяным спокойствием. Никогда по моему лицу нельзя было понять, что у меня на руках. Ну-ка, голубок, что за черти у тебя там, что ты так тут расшвырялся! — задумалась я. Ну я тебя, старый козел, сейчас выведу на чистую воду, подумала я, да как липку обдеру. Просто так, чтоб ты понял, кому тут глазки строишь. Да тебе еще за мамкину титьку держаться и держаться, если ты и в самом деле полагаешь, что я и третьего рогоносца себе на шею посажу! Таак, или он собирает каре, задумалась я, или тройку, но тузы еще ни разу не проходили. Да и парочка тузов уже была надежно припрятана в моих картах. Мы играли в тимбукту. Раздали последний ряд, и ко мне пришел третий туз. "Твоя ставка", — говорю ему. А сама трепещу, не так уж и много у меня было денег, чтобы я могла потратить их, как хотела. А он вместо того, чтобы спасовать, говорит: "Еще фунт!" Немалая сумма, если прикинуть, на какие мелкие фишки мы играли. "Открываемся!" — говорю. Он выложил карты. Три короля. Он чуть в обморок не упал.

Незабываемые вечера! Клио, которая не так уж и любила карты (место главного картежника семейства прочно занял Уилли), уходила и готовила для нас халву или кейк с виноградным сахаром — откуда было взяться нормальному сахару в ту эпоху! А в десять мы включали радио и слушали новости на BBC. Узнавали все, что происходило на фронтах в Африке и России, те же самые события немцы в своих газетах представляли так, как им было удобно. Все радиоприемники давно были запре-

щены и опечатаны, но Уилли такими пустяками было не запугать, хотя он и так два месяца провел в концлагере в самом начале Оккупации как английский подданный и с тех пор должен был ежемесячно отмечаться в комендатуре. Он прятал его в комнатушке при террасе и каждый вечер утрамбовывал поглубже, завернутым в одеяло, прямо как младенца. Милый Уилли и милая Клио. Как же мне их не хватает!..

Но в тот вечер мы решили отказаться от игры, чтобы, как говорится, и сукно слегка подсохло, да и мы хоть раз отправились спать в нормальное время как нормальные люди. Но хотя я приняла целых три таблетки люминала, дело шло к часу ночи, а сна и в помине не было. Привычка — скверная штука. Да и был один из тех сияющих полной луной августовских вечеров, когда тебе совсем не до сна. А жизнь кажется прекрасной вопреки всему! С террасы дома, где жили итальянцы, доносилась одна из тех нежных песенок, что тогда были в моде. Dormi, dormi, bambina, mentre io veglio per te[1]... Как будто это пели обо мне! — подумала я. Разве что, увы, я уже давно не "bambina". У них и вправду красивые голоса. Невозможно пресытиться, слушая их. "Вот и не пришлось нам ехать в Италию, — заметила я как-то тете Катинго, — Италия сама пришла к нам в гости. Думала ли ты когда-нибудь, дорогая тетка, что у тебя под боком будет столько изумительных теноров, которые прибыли прямиком с родины пения, чтобы петь тебе серенады?"

И напротив, когда я слушала, как поют греки, чувствовала какое-то необъяснимое отвращение. Никто и не говорит, чтобы они совсем заткнулись, но некоторые из тех легкомысленных песенок, что пользовались тогда большим спросом, были настолько бессмысленными и ужасающе глупыми, что меня так и тянуло сблевать.

Ты так мала, малышка совсем,
В годы своей совсем первой весны,
Так жестоко испытывать любовь,
Когда разделяют нас годы.
Но вечерком совсем без мозгов...

Совсем без мозгов! Это ты сказал, подумала я, и все мое нутро возмутилось при мысли о каком-то неправдоподобном замороженном маразматике, который настолько глуп, что распевает о своем дешевеньком страданьице по поводу девчонки на тридцать лет его моложе. Пусть итальянцы поют, сколько хотят, про cuore и amore. Они победители — *не важно, как долго* это продлится — и потому им петь естественно. Для греков же самое лучшее если и не тотальное молчание, то хоть какое-нибудь самоуважение, хоть немного серьезности. Ясное дело, что моя дочь, чьим единственным увлечением в этой жизни всегда было одно только желание все делать назло мне, тут же объявила меня фашисткой. *Это я-то*, Нина, фашистка! Как будто это животное знало, что же это значит — фашизм и фашистка...

1. Спи, усни, моя девочка, а я буду охранять твой сон (*итал.*).

Вдруг послышались выстрелы. Итальянцы перебьют кошек! — было моей первой мыслью. Говорили, будто итальянцы считают котов первоклассной закуской, уж не знаю, правда это или ложь. Мы спросили об этом Фиоре, но он только загадочно улыбнулся в ответ. Пропали бедные котики! — вздохнула я. И они падут за веру и отечество. Но когда снова загромыхали выстрелы, и на этот раз куда ближе, я задергалась. Мысли мои тут же метнулись к радиоприемнику Уилли. Вот была бы "радость", если бы Фиоре нас продал, подумала я, и бедную Клио теперь ждут одни неприятности. Итальянцы не знают чести. Но это станет ей уроком. Никто и не говорит, что она не должна принимать его в своем доме. Но антифашист он там или нет, это же чистое безумие так подставляться. В последнее время подозрение, что Фиоре шпион, засланный, чтобы нас погубить, просверлило мне все мозги. Они пришли с обыском за радиоприемником, думала я, прислушиваясь к выстрелам, которые теперь раздавались почти под нашим балконом. Но не успела я додумать до конца, как вдруг слышу дребезжание нашей собственной калитки, торопливые шаги через двор, а потом знакомый скрип кухонной двери, которая вела в заднюю часть дома. Я подскакиваю, трясясь от страха, и бегу будить дядю Стефаноса и тетю Катинго. Когда я выскочила в холл, то чуть не упала прямо на перепуганного Петроса. "За мной гонятся немцы!" — прошептал он. Я растерялась. Схватилась за лицо. "Прячься! — говорю ему. — В кладовку!.." Они нас всех перебьют! — взвыла я про себя. Давай, Нина, готовься ко встрече со своим отцом. В ту же самую секунду начали ломиться в дверь, колотя по ней руками и ногами, словно хотели высадить ее ко всем чертям. Выходит мертвенно бледный дядя Стефанос, открывает, в холл врываются двое немцев в касках и с пальцами на спусковых крючках автоматов и трое наших, из охранки, ставят нас к стенке, руки за голову, обыскивают дом, находят его, надевают наручники, выгоняют пинками наружу и уходят. Тетя Катинго в крик. Мы двинулись на кухню сварить кофе. Уилли и Клио, и они тоже проснулись от этого визга и грохота, пришли и посидели чуть-чуть с нами для компании, но не могли же мы просидеть так всю ночь, оплакивая нашу горькую судьбинушку. "Все, хватит, идите уже спать, — приказала я своей тетке, — иначе завтра вы будете не лучше трупа, утро вечера мудренее, завтра и подумаем, что нам делать". Я уже с трудом концентрировала взгляд, проклятый люминал наконец-то решил подействовать!

На следующий день, с самого раннего утра, дядя Стефанос поставил на ноги все Афины, чтобы разыскать своего старого друга, который с немцами был не разлей вода. Они вместе помчались в комендатуру и узнали, что произошло. Группу Петроса застали за набором листовок ЭАМа[1], и в какое-то мгновение ему удалось сбежать. Его временно содержали в Хатзикирьякео. Но неделей позже перевели в тюрьму на проспекте Авероф, это было рядом с нами, так что я решила пойти его проведать. Посещения почти не разрешались, крайне редко, но люди заходили с тыла, один заключенный выкрикивал другому, и так они с тобой разговаривали или по крайней мере подавали знаки, повиснув на

1. ЭАМ — Греческий национально-освободительный фронт, основанный в 1941 г. по инициативе компартии Греции. В 1944 г. по решению ЦК ЭАМа был создан Политический комитет национального освобождения, фактически выполнявший функции временного правительства. В 1947 г. ЭАМ был объявлен вне закона.

лестнице прямо за решеткой. Вызвать Петроса так и не удалось. Как мы потом узнали, его посадили в карцер.

Но к величайшему своему удивлению, там же я увидела киру Экави и Викторию, как раз в тот момент, когда они кричали Димитрису. "Испугала!" – крикнула я ей. Она развернулась и застыла от ужаса, завидев меня. "А тебе-то что здесь понадобилось?" Я объяснила. "Ну и ну, – выдавила она, – ты пронырлива как дьявол. От тебя никуда не спрячешься!" И улыбнулась. Было ясно, что она мне рада. Уже месяца два как мы вовсе не виделись. "Пойдем ко мне, глотнем горохового кофе, – говорит она. – У меня для тебя такие новости есть, что ты содрогнешься!.." На какое-то мгновенье, хотя она стала тенью себя от вынужденной диеты, хотя за два года она постарела на все *десять*, я вдруг снова увидела прежнюю киру Экави. "Ты помнишь, – говорит она (и все прямо на улице), – ты помнишь, я тебе всегда говорила, что моя сестра Афродита заплатит именно тем, что ей дороже всего? Э, так она заплатила... – На ее губах нарисовалась злобная усмешка. – Тут днями пришла моя племянница Гого (и у нее, бедняжки, свои проблемы: ее муж ушел в горы и оставил ее одну с двумя детьми) и рассказала о своих делах. Эта шлюшка Эвантия спуталась с каким-то итальяшкой, и тот ей, нате вам пожалуйста, скорлупку-то разгрыз. И как раз в тот момент, когда моя сестрица надеялась, что сейчас она их поженит и грех прикроет, он получил предписание отправляться на русский фронт. И еще большой вопрос, вернется ли оттуда. Там, говорят, такая стужа, которую человеку и представить не под силу, не то что пережить. И теперь ее драгоценная дочка осталась на бобах, и она плачет и убивается. Я позавчера собралась и отправилась к ней. Афродита не рискнула от меня это скрыть. Понятное дело: если уж она приперлась спустя столько лет, значит, точно что-то знает. 'Ах, – стонет, – присаживайся, сестричка, я тебе сейчас все расскажу. Ой, горе у меня, горе тяжкое. Так и так...' Скажу тебе правду, Нина, я ее пожалела, но не могу не признать, что получила большое удовольствие, есть грех. Я всегда говорила, наплачется она от этой своей Эвантии. Не мог Господь оставить такое-то преступление против нас безнаказанным. А я тебе еще и про святую Евфимию сейчас расскажу!.." – "Да что ты?" – я была заинтригована. Святая Евфимия интересовала меня куда больше, чем какая-то Афродита, все-таки она была частью моего прошлого. "Умерла, – говорит мне кира Экави. – Вся насквозь прогнила. Не знали, где за нее ухватиться. И едва она сдохла, как открылась у нее дыра со вшами, и всю они ее проели". – "Ну что ты несешь, кира Экави, – говорю я ей, – и как ты только можешь верить в такие глупости!" – "Конечно же, я верю..."

Виктория слушала, не произнося ни слова. Я бросила на нее один-два быстрых взгляда, но на ее лице ничто не отразилось. Только густые ресницы чуть подрагивали, как крылья у птицы, что больше не может лететь. Когда мы уже почти дошли до их дома, она говорит: "Мама, я иду сами знаете куда". Она разговаривала с ней на "вы", как и все ее дети (только во время свары они переходили на "ты"). "Куда это она?" – спросила я киру Экави. "Да куда хочет, – отозвалась та. – Пусть катится ко всем чертям и не смеет возвращаться!.."

Она распахнула дверь, мы зашли и, как если бы у нее уже не было сил играть свою роль, она заплакала. Закусила губу. "Нина, – говорит мне, – я самая несчастная женщина на свете. Вот ты и вот я, такое положение не

может длиться вечно. Димитрису уже недолго осталось. Ах, прахом пошли все мои надежды и мечты, и так и знай (тут она погрозила кому-то кулаком), так и знай: если он умрет, я тоже жить не буду. И я умру, как моя мать, когда она потеряла Ахиллеса!" — "Будь мужественней, — говорю я ей. — Соберись, пока не закончится эта свистопляска. Война скоро кончится. И те, кто доживут до этого, еще увидят райские деньки!.." Но даже и в тот вечер она попыталась скрыть от меня настоящую причину ареста Димитриса. Мне она заявила, что Димитрис подрался с итальянцем, хотя позже я узнала от Акиса, что его взяли на продаже наркотиков какому-то поэту, который потом покончил с собой, — не помню, как его звали. А раз он их продает, задумалась я, значит, и сам их принимает. Но я сделала вид, что проглотила эту чушь насчет итальянца. В то время избить итальянца не только не считалось зазорным, но даже было героическим поступком, а кира Экави, как я поняла, отчаянно стремилась поверить в любую ложь. И вовсе не потому что она не хотела, чтобы я узнала всю правду, но потому что сама ее боялась. И хотя вслух она с этим соглашалась, но сердце ее было против, она не могла смириться с тем, что больше надеяться не на что, совершенно не на что, что все действительно закончилось...

С тех пор я не видела ее, наверное, месяца четыре, если не считать минутной встречи в один из дней на рынке, где мы обе столкнулись, когда покупали шишки, на них тогда разводили огонь в плитах. И как раз тогда Тодорос уехал на Средний Восток, а ее внук в Каламату. Решил пожить у своей матери. Их отношения с кирой Экави испортились дальше некуда. Та, что раньше души в нем не чаяла, теперь только и делала, что срывала на нем всю свою злобу и отчаяние. Они уже и драться начали. Когда Поликсена приехала в Афины погостить на неделю-другую и увидела, что тут творится, то решила взять его с собой. Кира Экави осталась один на один с Викторией — Димитрис все еще был в тюрьме, только его как чахоточного перевели в тюремные камеры при больнице "Сотирии". С тех пор мы снова начали встречаться.

В это время наша дружба пережила что-то вроде медового месяца, когда все было как в старые добрые довоенные времена. У нее под боком больше не было внука, на которого она могла бы кричать и таким занятным образом убивать свое время, и поэтому она стала приходить ко мне все чаще и чаще. Она приходила и забирала меня или я проходила мимо ее дома и подхватывала ее, и мы отправлялись в магазин Союза журналистов и там получали продукты по ее карточкам. Ей столько было не нужно, так что большую часть забирала я, а что оказывалось в излишке, отдавала Клио. Было бы просто преступлением, если бы еда пропадала попусту. Люди больше не падали на улицах от голода, как это было в сорок первом, но продукты по-прежнему были в дефиците и страшно дорогими. В стране свирепствовал черный рынок, цены росли не по дням, а по часам. Я уже не рисковала разменивать больше одного золотого за раз. Не успеешь потратить, как миллионы превращались в миллиарды, а вернее сказать, миллиарды в миллионы. Но, разумеется, я с ней встречалась не только ради пайка. Я ходила с ней не потому, что была своекорыстной стервой, как визжала эта неблагодарная отрыжка природы. Само собой, и ради пайка тоже, но больше из-за общения. В те дни мы уже не играли в карты у Клио так часто, как раньше, компания начала постепенно распадаться. Да мне

и самой хотелось выходить хоть куда-нибудь, чтобы только глотнуть свежего воздуха. Меня бы понял любой, кто прожил бы с тетей Катинго четыре года. И если честно, хотя чуть раньше наши отношения с кирой Экави слегка подмерзли, я никогда не переставала ее любить. Мы приходили, вставали в очередь и начинали болтать с женами журналистов. Время пролетало незаметно. Мы болтали, узнавали новые сплетни и вести с фронтов. После тех ужасов, что пережили и мы, и Дейоны в вечер ареста Петроса, мы уже больше не рисковали настраиваться на Лондон. Впервые я живьем видела всех тех людей, которых раньше знала только по именам: поэтов, писателей и так далее. Слушала, как продавец кричит: "Господин Варналис, вы заберете наконец вашу цветную капусту или как?" И мне это казалось таким забавным! Я не прочитала ни одной страницы у Варналиса. Если по правде, то я никогда не интересовалась поэзией. Для меня она всегда была олицетворением всего того, что разделяло нас с Аргирисом. Но само собой имя Варналиса было у всех на устах. Нет, ты представь, говорила я самой себе, и поэты едят цветную капусту! Я знаю, что это было глуповато с моей стороны. Я уже давным-давно не была наивной девчушкой, да и выросла во вполне культурном окружении. Покойный папа был знаком с целой кучей знаменитостей. Он лично знал Паламаса, они были коллегами по Университету. Он даже подарил отцу свой поэтический сборник с весьма лестной дарственной надписью. Я вспомнила об этом в день встречи с его экономкой. Мы с кирой Экави отправились за зеленью в лавку Союза в галерее на улице Паппу. Погода портилась. Заморосило. Стоило нам забраться под навес, чтобы не промокнуть, некоторые умники, которые, наверное, никогда не переведутся в Греции, сбежали из хвоста в начало очереди. Оказавшиеся сзади загудели от возмущения и подняли крик. Оборони тебя господь от журналистов, когда они разевают свою пасть! — подумала я. Некоторые из них были мерзее некуда. Но гнуснее некоего Асимакопулоса глаза мои не видали. Но вдруг все замерло, крики и проклятия стихли. Можно было подумать, что эта грязная лавчонка с зеленью как по волшебству превратилась в храм. Люди расступились, чтобы пропустить вперед какую-то девицу. "Как поживает господин Паламас?" — спросил ее какой-то журналист и застыл в ожидании ответа, как будто от этого зависело спасение или смерть всей Греции. В те дни Паламас был на последнем издыхании. После чего он дал ей пройти с таким почтением, как будто она была не экономкой Паламаса, о чем я узнала чуть позже, но им самим. Нет, я выросла среди образованных людей, но впервые оказалась среди людей, в чью компанию всегда мечтала попасть. И в этой новой компании я вдруг увидела, тоже в первый раз, совсем другую киру Экави, как всегда жизнерадостную и остроумную, но вела она себя совсем по-другому, ее манеры свидетельствовали о принадлежности к высшему обществу, о чем я прежде даже и не подозревала. Журналисты разговаривали с ней с большим почтением и интересовались последними новостями от Тодороса. Сама же она в этом надменном кружке интеллигентов чувствовала себя как рыба в воде. В один из дней мы ждали своей очереди, сидя на завалинке перед входом в другую лавку во дворе "Катимерини". Рядом с кирой Экави восседала грузная матрона необъятных размеров, на голове у нее была водружена одна из тех старомодных шляпок, что некогда украшали искусственными фиалками. А это еще кто такая? — ломала я себе голову. Где-то я ее уже видела.

И эту шляпку, и эти фиалки! В то время мы уже упразднили и чулки, и шляпки. У киры Экави завязалась с ней беседа. Она рассказывала ей какую-то историю. "Знаешь, кто это был?" – спросила я у нее, когда мы вышли на улицу. Я успела расспросить соседку по очереди, и она мне все рассказала. "Да кто бы ни была, мне-то что!" – фыркнула она смешливо. Мне, конечно же, всегда нравилась ее манера разговаривать, но когда я увидела, как она на равных болтает с женой Спанудиса и заставляет ту – кира Экави жену Спанудиса – корчиться от смеха, я начала задумываться, а не слишком ли я ее недооценивала. Пока был жив дорогой Андонис, я принимала ее в своем доме, но несмотря на всю мою любовь, признаюсь во грехе, я никогда не считала ее себе равной. Теперь я понимала, что несколько не попала со своими оценками. В конце концов, ну кто такой был Андонис? Подрядчик, который день-деньской болтался среди цемента и асбеста. У нас, конечно же, было больше денег, чем у киры Экави, но не деньги дают положение. Я вспомнила, как себя повела, когда она намекнула на брак с Тодоросом, и мне стало стыдно. Не потому что я какой-то там сноб, как уверяет моя сообразительная дочурка, но потому что, с одной стороны, я знала, что даже если Тодорос и смог бы гарантировать, что у меня будет все то, что так нужно женщине, когда она выходит замуж в моем возрасте, и то я ни за что бы не согласилась стать невесткой киры Экави и свояченицей Димитриса. А с другой стороны, предложи ты мне тогда даже принца на белом коне, и то я бы сказала "нет".

Но с течением времени я начала относиться к этому совсем по-другому. Да и кто смог бы меня упрекнуть? Чудовищное поведение моей дочери, которое день ото дня становилось все ужаснее, стало вызывать у меня все большие сомнения, а такой ли уж хорошей опорой она будет для меня, когда дело дойдет до счастливой старости. Если уж сейчас, пока я молода и командую парадом, она мне всю плешь проела, размышляла я, то ты подумай, во что это превратится, когда я состарюсь, обессилю и попаду в ее лапы. Да она меня живьем сожрет. К тому же я начала задыхаться от страшного одиночества. Брак, конечно, тоже не самое приятное занятие, но что вы хотите, это большое дело, когда ты можешь вечером улечься в постель рядом со своим родным человеком и побурчать ему о своих тяготах да печалях. Какая жалость! – досадовала я. Вот был бы он свободен от своих семейных проблем, не было бы лучшего решения. Ну и что, что у него нет денег, у меня есть. У меня еще оставались какие-то фунты, лес, который я могла куда выгоднее сдать, лишь только наладилась бы жизнь вокруг нас, в конце концов, оставался еще и дом. Через месяц после того, как немцы заняли Афины, я наконец-то нашла жильца, дельца с черного рынка из Фив, который согласился снять его вместе с мебелью. Так что и аренда бежала, и у меня больше не было никакой необходимости выходить за старика и превращаться в сиделку. Но само собой кире Экави я ни слова не сказала. И ни разу не дала ей даже заподозрить хоть что-нибудь подобное. Да вскоре и сама об этом позабыла. Просто выбросила из головы всю эту историю как совершенно немыслимую и уж тем более невыполнимую. Только сейчас вот вспоминаю об этих своих мыслях иной раз и понимаю, что наш брак, решенный вскоре после его возвращения с Ближнего Востока, не был ни таким уж внезапным, ни таким уж странным, каким он показался в тот момент моим родственникам, да, пожалуй, и мне самой.

4

Помню, я связала зеленый жакет для Клио и ждала киру Экави, чтобы она пришла и пришила рукава. Но вот уже и пятнадцать дней прошло, а ее все нет и нет, и я решила сама сходить, посмотреть, что там с ней происходит. Все эти дни мысли о ней постоянно крутились у меня в голове. Я, в общем-то, знала, что, если не считать ее нервных болей, во всем остальном кира Экави могла похвастаться просто железным здоровьем, но почему-то, и сама не знаю почему, каждый раз, когда я о ней вспоминала, представляла ее прикованной к постели, на грани жизни и смерти. Калитка у них в доме болталась распахнутая настежь — заходи кто хочет. Пока я поднималась по лестнице, до моих ушей донеслись яростные звуки, ошибиться было невозможно — чудовищный скандал. Ну точно, с Димитрисом лается, подумала я. Вошла в холл. Голоса раздавались из ее спальни. Я замерла в нерешительности. Голос Димитриса звучал так отчетливо, словно бы он ко мне обращался, и говорил он такое, что на мгновение у меня промелькнула мысль, что самое лучшее, что я сейчас могу сделать, это развернуться и уйти. Я не какая-нибудь мещанка и уж точно не ханжа, так что смутить меня трудно, но, послушайте, все имеет свои границы. "Я с тобой трахаться не буду! — кричал он ей... — С Викторией буду, а с тобой нет, чтоб ты сдохла! И не раз, а *десять* в день, и мы еще дверь открытой оставим, чтоб ты могла подглядывать, чтоб у тебя течка началась, если тебе так это нравится!.."

Да что же это такое, господи боже мой! — вздрогнула я. Они и до этого дошли? И я уже почти повернулась, чтобы выйти так же бесшумно, как и вошла, но внезапно дверь ее спальни распахнулась, и оттуда вырвалась кира Экави, растрепанная, в порванном платье, грудь вывалилась наружу, почерневшая и съежившаяся. Только в эту секунду я вдруг отчетливо осознала, как сильно она постарела со времени нашей первой встречи, тогда она была аппетитная и крепкая, едва разменяла пятый десяток. Завидев меня, она окаменела, словно встретившись взглядом с Медузой или с моим призраком. Но когда до нее дошло, что это действительно я, Нина, ее отпустило, и она всем телом навалилась на створку двери, тяжело дыша, как будто вырвалась из рук тысяч преследователей и могла наконец в безопасности перевести дух. "Нина! — выговорила она одними губами. — Нина! Слышала, что он мне сказал? Да думала ли ты хоть раз в своей жизни, что услышишь такое? И ведь это уже не первый раз. Я тебе не говорила. Стеснялась тебя... Он побил меня, Нина... Ты — свидетель... Мой Димитрис, мой малыш в матросском костюмчике, меня побил... Из-за девки... Из-за чертовой сучки..." И разразилась рыданиями. Я помогла ей дойти до кухни. "Не переживай ты так, — говорю. — Постарайся успокоиться. Иди, ополосни лицо... Ну, Димитри, — еле выговорила я, вернувшись в прихожую, — позор тебе. Что тут скажешь, такого я от тебя вообще не ожидала. Если бы она мне об этом рассказала, ни за что бы не поверила. Решила бы, что она преувеличивает. И мне-то еще казалось, что ты способен на благородные чувства. Да ты что, не видишь, что от нее и половины уже не осталось, что она скоро умрет?" — "Не бойтесь! — отвечает. — Не умрет. Сначала меня угробит..." — "Отлично, — говорю я. — И это что же, дает тебе право так с ней разговаривать? Даже если ты прав, это — лучший способ общаться с матерью для человека, который, как ты, прочитал свои пять

книг? В конце концов, — продолжила я, — подумай, сколько она за тебя перестрадала". — "Ей нравится, — и он посмотрел на меня в упор, — ей нравится страдать. Ей нравится, что я на нее ору, она жить не может без скандала, он для нее вместо хлеба. Так что она специально меня провоцирует..." Попутно он пытался привести в порядок свои пижамные штаны. Они были расстегнуты, так что наружу вываливалось все его хозяйство. "Она у меня уже в печенках сидит, госпожа Нина, — прошептал он. И он был настолько изможден от голода и наркотиков, что на его шее жилы проступали так, будто они были не под кожей, а на ней. — Она вламывается к нам не постучав! Я уже не смею обнять свою жену! Она устроила нам психическую войну. Она предпочитает меня мертвым, чем любимым собственной женой! Она даже паек от нас прячет! Мы голодаем, госпожа Нина, голодаем!.." — "А вот в это я *ни за что* не поверю! — взорвалась я, хотя в глубине души чувствовала, что это очень даже может быть правдой. Я ее уже изучила, знала, что она вполне способна и на благороднейшие движения души, и на самые гнусные поступки. Ни за что не поверю, — повторила я. — Я знаю, она любит тебя больше собственной жизни..." Он нетерпеливо тряхнул головой. "Да что я вам тут сижу объясняю... вам не понять... вы не знаете всю историю..." — "Напротив, — говорю я ему, — именно потому что я все знаю..."

Но он не дослушал. Вошел в свою комнату и запер дверь. Я услышала, как он говорит что-то Виктории вполголоса. Тем временем из кухни вернулась кира Экави, умытая и посвежевшая, с новыми силами. Она наклонилась и подобрала с пола свой гребешок, который, видимо, выпал в разгаре битвы, собрала и заколола пучок. Ее лицо пылало, как если бы у нее был жар, но движения ее были такими спокойными, будто ничего, ровным счетом ничего не происходило. Она расположилась в кресле и какое-то время молчала. Думала. Затем, словно только сейчас наконец приняла окончательное решение, начала: "Все, надоело, ничего больше не хочу, Нина! Ни к чему мне этот чертов наркоман в моем доме! Он мне больше не сын!.." Из комнаты снова донесся шепот Димитриса, который продолжал разговор с Викторией. Глаза киры Экави сверкнули. Она развернулась к закрытой двери: "Я тебя больше здесь не желаю! С этой минуты ты не сын мне! Если есть у тебя хоть капля достоинства, чтоб в эту же секунду собрал свое рванье и вон отсюда!.." — "Хватит, — попыталась я вмешаться, — прекрати и ты тоже..." — "Да что же это за злосчастье, — запричитала она. — Что же это за злосчастье на меня навалилось? Поймала вора, я его пускаю, а он меня нет... Ты понял? — снова завизжала она двери. — Ты больше для меня не существуешь! Умри! Сдохни! Да как ты посмел, гаденыш, поднять руку на свою мать, которая годами проливала кровь за тебя, которая дня хорошего не видала с тех пор, как ты родился, которая мужу своему и детям стала злейшим врагом, все тебе в угоду!.."

Но, поняв, что Димитрис не намерен отвечать, обратилась ко мне: "Нина, я хочу умереть..." Она сказала это спокойно, но так решительно, что у меня волосы на голове зашевелились. На этот раз спектакля не было, она хотела умереть не ради красного словца, но всем сердцем. "Да ты опомнись, кира Экави, — зачастила я. — Приди в чувство, потерпи еще немного. Не думай, что тебе одной так плохо! У нас у всех нервы на пределе. Одному Богу известно, как я сама еще не свихнулась. И я, как и все люди, надеюсь, что мы еще увидим майские деньки. Да вот, пожалуй-

ста, — говорю я, лишь бы что-нибудь говорить. — Итальянцы капитулировали, где бы они там сейчас ни были. И немцы сдадутся. И они за все заплатят, что нам сделали. Да мыслимое ли это дело — пройти через столько бурь и бесславно затонуть, когда вот она уже, мирная гавань? Когда наконец-то кончится война, все успокоится, и ты наконец-то воссоединишься со своими детьми, будешь вспоминать все это как дурной сон. Ты подумай, сколько миллионов людей погибло за эти три-четыре года... А вы все по крайней мере, постучу по дереву, живы!.."

Она впилась в меня взглядом и начала выстукивать дробь по крышке стола. Несколько минут мы провели в безмолвии. "Хочешь, — говорю ей, — переночевать у меня сегодня? Я постелю тебе на полу, как в прошлый раз". Она отрицательно покачала головой. Я посидела еще немного, но не знала, что сказать. В том, как все обернулось, не то что я, даже сам Господь Бог не мог бы ей помочь. Я поднялась и взяла со стола пакет с жакетом для Клио. "Ты правда не хочешь уйти со мной? Может, мне остаться сегодня здесь? Мне кажется, у тебя жар". — "Не бойся, — ответила она с легкой гримаской, — ничего у меня нет. Когда придет мой час, я тебя предупрежу..." Вся эта история произвела на меня такое тяжелое впечатление, что страшнее кошмаров, чем этой ночью, у меня еще не было — и все какие-то особенно гнусные и непристойные. Снился мне папа, совсем голый, бедный Андонис, который плакал точь-в-точь как в нашу первую брачную ночь. Приснился и Димитрис, или точнее бродяжка, который был как бы Димитрис, и по всему его телу ползали вши. Вдруг он начал уменьшаться, уменьшаться, пока не превратился в комочек размером с орех, не больше. Тогда появилась полуголая кира Экави, руки сгибаются под тяжестью золотых браслетов, волосы распущены по плечам, а в руках бубен, прямо картинка с шарманки, и давай танцевать...

Через несколько дней она пришла и рассказала, почти мимоходом, как если бы это была совершенно неинтересная новость, что Виктория снова исчезла, как и в прошлый раз. Но в отличие от того, что случилось тогда, теперь, сколько Димитрис ни искал, найти так и не смог. Позже он услышал, что ее видели в Салониках, и бросился на поиски туда, но уже было поздно. За это время немцы собрали всех евреев и отправили в Польшу. Когда он осознал, что потерял ее навсегда, вернулся в Афины и снова сел на иглу, но не как когда-то, чтобы забыться, а как человек, который бросается с последнего этажа, чтобы покончить с собой. Когда его взяли за какую-то мелкую кражу и снова посадили в тюрьму при больнице Спасения, он трижды вскрывал вены, у него, прости господи, начали выпадать зубы и он гадил под себя как младенец. "Ну, пиши пропало и с этим! — сказала я тете Катинго. — Помрет, как помер и Динос, и как же жалко, не таким уж он был скверным мальчишкой..." Тетя Катинго скривилась. Я знала, о чем она думала. Но я никогда не считала себя вправе судить кого-либо, никогда не спрашивала, что да как. Только возносила хвалы Господу, кем бы он там ни был, что он пощадил маму и вовремя наслал на нее катаракту, чтобы она не увидела, как Динос заживо разлагается. Что бы она там ни узнавала, но всегда трудно представить, что происходит, если мы не видим этого своими глазами.

Но кира Экави, которая полжизни прожила в непрестанном страхе, что она потеряет своего сына, теперь, когда было яснее ясного, что конец

не за горами, не хотела в это верить. Именно потому, что не было уже никакой надежды, она надеялась сильнее прежнего, что Господь свершит свое чудо. Верила, что теперь-то, когда дела приняли нужный оборот и злой демон Виктория убралась восвояси, надо было только помолиться посильнее. Теперь они смогут начать с того момента, где их жизнь остановилась после объявления войны. И только молитва помогла, что его снова заперли в тюрьму, да еще такую, которая одновременно и больница, и в этой тюрьме он будет надежно заперт от наркотиков и чертовых баб, которые ему все кости проели, от немцев и ЭАМа (он еще и с ЭАМом связался). А когда война наконец-то кончится и он выйдет из тюрьмы, у них начнется новая прекрасная жизнь. Так она думала, и я ее не осуждаю. Разве все мы не навеваем себе такие же сны золотые? Каждый был уверен, что тот, кто ухитрится выжить в этой бойне, будет есть золотыми ложками с золотых тарелок.

Но куда больше Димитриса в то время, весной 44-го, ее занимала Поликсена. В один из дней кира Экави пришла ко мне с письмом в руке и дала прочитать. Поликсена писала, что она обручилась. Женихом был майор жандармерии. И Поликсена, и Елена живописали его в самых нежных красках. Но кира Экави их энтузиазм не разделяла и не знала, что же ей делать, плакать или смеяться. "Я, конечно, Нина, хочу и ее увидеть пристроенную, и поскольку она вдова (пусть даже это от него скрыли), следует радоваться, что вообще нашелся хоть кто-то, кто согласен на ней жениться. Но надо было, я вас спрашиваю, чтобы он был фараоном? И вот как мне теперь объяснить это Димитрису? 'Мама, — скажет он мне и будет прав, — дорогая мама, а что, других мужчин уже не осталось? Надо было пойти и обручиться с одним из моих гонителей?..'" — "Ты с выводами-то не спеши, — говорю я ей, — прежде чем его увидишь. Не все же они сволочи!" Но она только с сомнением качала головой. В одной из частей письма Поликсена добавляла, что они ни под каким предлогом не поженятся, если прежде Сотирис (его звали Сотирисом) не обеспечит перевод в Афины. Все шло к тому, что немцам недолго осталось хозяйничать в Греции, и он боялся мести эласитов. "И кто знает, Нина, что за дрянь она себе подобрала. Я уж не говорю об этой стыдобе!" — "Какой?" — "Да он пошел, взял за грудки хахаля Елены и заставил того поклясться своими детьми, что Поликсена девственница. А что тому оставалось делать? Поклялся. Но ты понимаешь, что это за тип такой, если у него такие предрассудки? Они ему втюхали, что она якобы больна, чтобы отправить ее на несколько дней в Афины зашить одно место. И вот то, что я высмеивала..."

И в самом деле через неделю-другую Поликсена приехала из Каламаты, пережив по дороге то, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Хотя сейчас-то я очень даже хорошо себе представляю, что там было, но тогда мы еще понятия не имели, что это такое — партизаны. Я знала, что сын Касиматисов ушел в горы, но что это такое "горы", никто не понимал. Поликсену схватили, как она нам рассказала, почти сразу за Триполи, вывели из автобуса вместе с остальными и заставили под страхом смерти объяснить, какого черта она делала в Каламате и зачем ее понесло в Афины. Она была вынуждена сказать им правду. После выписки из больницы она вместе с кирой Экави в один из дней пришла к нам домой, и мы посидели на веранде — они, Клио и я, выпили кофе, и она расписала эту историю во всех красках. Мне она по-

казалась слегка измученной, но просто светящейся от счастья. Мы заговорили о глупости и безмозглости мужчин и обо всяких уловках, к которым приходится прибегать женщинам, чтобы заморочить им голову. И я поделилась своими злоключениями: как я пошла к гинекологу и потребовала стерилизовать меня после того, как вынуждена была начать все заново с отцом моей прекрасной дочери. Потому как, сколько ни предохраняйся, сколько ни высчитывай дни, а от этой напасти не убережешься. А у меня не было ну ни малейшего желания произвести на свет еще одного фотисовского выблядка.

Прошло два месяца. Как-то в обед я зашла проведать киру Экави и нашла ее склоненной над иконой святого Фанурия. Она пыталась переправить дату рождения Поликсены. Поликсена родилась в 1910-м, а кира Экави пыталась нарисовать вместо ноля шестерку. Она была в крайне приподнятом настроении. "Ты только посмотри, чем я занимаюсь", — поворачивается она ко мне и с трудом сдерживает смех. "Анафема на тебя, — говорю я ей, — ну нет тебе равных! Ты что же это, подделываешь надписи на иконах, совсем Бога не боишься?" — "А что мне делать? — отвечает она. — Что *мне* делать? Хорошо, если бы она ему сразу правду сказала, но раз уж она ему соврала, то я ее выдавать не хочу. Эти фараоны мастера находить скелеты в шкафу. А что как в один прекрасный день он перевернет другой стороной Святого Фанурия и увидит, сколько ей лет на самом деле? Рано или поздно, понятное дело, он так и так это узнает, все тайное всегда становится явным, лишь бы до него сейчас ничего не дошло, пока они еще новобрачные. А я тебе не говорила? Поженились! Через какие-то две недели будут здесь. Ему наконец-то удалось выхлопотать назначение в полицейское управление". — "Мои поздравления! — говорю я ей. — Дай им Бог совет да любовь". — "И тебе того же! Давай-ка присмотри себе какого-нибудь бедолагу и выходи за него, горемыка ты моя. Если ждешь, что твоя дочь обеспечит тебе спокойную старость, долго ждать придется, так и знай..." Я помогла ей переправить ноль на шесть, она уже не так хорошо видела, да и руки дрожали, но как мы обе ни старались, только слепой не разглядел бы, что надпись исправляли.

Прежде чем уйти, я договорилась, что дня через два зайду и мы вместе сходим, навестим Димитриса в тюрьме. О сватовстве она ему даже и не заикалась, не хотела волновать без явной причины. Но сейчас, когда брак уже был делом решенным, она не могла больше откладывать этот разговор. "Ох, Нина, даже не знаю, как он все это воспримет! — причитала она. — Меня начинает трясти, стоит подумать об этом. Но как бы он на это ни отреагировал, уж по крайней мере в твоем присутствии не посмеет закатить мне сцену..." И я сама всей душой хотела пойти навестить его, не столько ради него, сколько в память о покойном Диносе. Но в тот день, когда мы договорились пойти, меня скрутила жуткая боль в животе. Я послала Ирини к ней домой (Ирини — потому, что их высочество не пожелали оказать мне хотя бы такую малую услугу) передать, чтобы кира Экави меня не ждала или отложила этот поход на другой день. Но она пошла. Что они там друг другу наговорили, она так никогда и не рассказала, но кажется, они устроили дикую грызню. В "наказание" она восемь дней его не навещала. А в то время паек в тюрь-

ме был голодным пайком. Обычно она через день носила ему еду из дома. Когда же, наконец, она решила отложить "наказания" до следующего раза и отправилась в тюрьму с пакетиком гороховых котлет, ей сказали, что он вот уже три дня как умер.

5

Было самое начало мая, три-четыре часа дня, мы возвращались с больничного кладбища. За два-три дня до этого она заказала столяру деревянный крест, сама его покрасила и сама же тащила его всю дорогу до Холарго. Как я ни пыталась, как ни требовала, так и не смогла вырвать этот крест у нее из рук хоть на секунду. Она была как дикая оголодавшая волчица, у которой пытаешься вырвать из зубов кусок мяса. Я смотрела, как она задыхается под тяжестью креста, и сердце мое разрывалось. За две недели она исхудала так, как и близко не было во время великого голода сорок первого. Плечи ее поникли, лицо превратилось в застывшую маску, даже и пряди ее волос, когда-то распушавшиеся от малейшего дуновения, сейчас свисали как плетья спутанной проволоки.

Сначала мы отправились в тюрьму за сторожем, чтобы тот показал, в какой части кладбища похоронили Димитриса, и когда он ушел, зажгли маленький костерок из сухих веток и шишек, чтобы набрать угольков для курения ладана, что она принесла с собой. Весь этот день я так и не выдавила из нее ни полсловечка. Я ждала криков и рыданий, и это молчание наводило на меня ужас.

Чтобы дать ей побыть с ним наедине и еще и потому что запах ладана с давних пор вызывал у меня приступ удушья, — я была аллергиком, как это сейчас говорят, — я удалилась в заросли ромашки и тимьяна. Я впервые выехала из Афин с момента объявления войны. Я уже и забыла, что существует природа. Взволнованная, я вдыхала аромат тимьяна, смотрела на силуэты спокойных холмов, — *подушки, на которые как византийский император опер ноги свои Имиттос,* как я когда-то написала в одном из своих школьных сочинений в те времена, когда ходила в Арсакийскую школу для девочек. Душа моя наполнялась радостью, о существовании которой я давно позабыла. На какое-то сумасшедшее мгновение мне показалось, что время повернуло вспять, на двадцать пять лет назад, что мне снова восемнадцать и я, распластавшись в тимьяне, лежу рядом с Аргирисом и слушаю, как он читает мне стихи:

Что обольщают нас снова
Сны о возможной любви...

Ах! — вздыхала я наедине с собой, пока медленно-медленно направлялась обратно к тому месту, где оставила киру Экави, — как быстро пролетели годы! Я целую жизнь прожевала без остатка и так и не узнала, что же это такое — счастье. Теперь же, ну и пусть, что скоро кончится война, мне-то что с того? Мой ужин не только давно подан, но и съеден. Я состарилась, взращивая неблагодарное семя Фотиса...

Когда, наконец, я дошла до того места, где оставила киру Экави, то нашла ее сидящей прямо на земле, с головой, склоненной как у Распято-

го, руки безвольно упали на колени, такая же немая, с такими же сухими глазами, как и до того. Я помогла ей подняться, и мы направились домой по дороге, которая вилась средь сосновой рощи. Я всегда находила, что сосны — самые красивые деревья в мире. Когда я была маленькой, то частенько валялась под соснами в имении дяди Маркусиса. Мне нравилось ворочаться на густом ковре, сотканном из сухих, как будто лакированных иголок. Теперь же, проходя под этими соснами, я размышляла, как нам повезло, что, несмотря на всю безжалостную вырубку, обрушившуюся в последние годы на леса, в Аттике еще осталось несколько деревьев.

Мы шли, и прямо на дороге я увидела скамейку. "Давай присядем, передохнем", — предложила я. Я понимала, что она уже должна быть трупом от такой дороги и ноши. Мы сели, и я сбросила туфли, чтобы и ноги тоже подышали. "Ах, — и я глубоко вдохнула, — какой же здесь прекрасный ветерок! Вот ведь и хорошо, дорогая кира Экави, — говорю ей, — что они оставили хоть несколько деревьев. Но если война продлится еще хоть одну-две зимы, не то что деревьев — шишек не останется..." Пора уже, решила я, вытаскивать ее из этого давящего молчания. Если она и дальше так продолжит, то либо заболеет, либо сойдет с ума. Пусть кричит, в конце концов, пусть плачет. Кира Экави и чтоб не плакала! Мне это казалось крайне необычным. Но я и представить себе не могла, что мои слова вызовут такую бурю, которая на меня обрушилась. Она вдруг завизжала и завопила. Сколько слез в ней копилось все эти дни, все выплеснулись бурным потоком, как будто бы она сломала какую-то печать: "Сыночек мой! Мальчик мой! Сосны живут, мальчик мой, живут и здравствуют! И только ты у меня умер..." Я дала ей выплакаться. И когда мы поднялись, чтобы идти дальше, ее лицо уже не было мертвой маской. Она утешится, подумала я. Хочет не хочет, но забудет. Время — великий врач. Когда умер мой дорогой папа, мне казалось, что я никогда не привыкну к этой мысли, но через два-три месяца наступали мгновенья, когда мне казалось, что его вовсе никогда не было.

6

Конечно, это был совершенно неподходящий момент для приезда Поликсены и ее мужа. "Компания и домашние заботы, как прежде, ей только на пользу пойдут", — уверяла меня тетя Катинго, которая в первый раз за все время начала сочувствовать кире Экави. "Да что ты, тетя, — не соглашалась я, — ты просто ее не знаешь. Как раз сейчас она в том психическом состоянии, когда не может не то чтобы с кем-нибудь жить, но и просто видеть людей вокруг себя, и уж тем более счастливых новобрачных". Я знала, что она даже и кошку свою не в состоянии была перенести. "Я слышу, как эта чертова кошка мяучит от голода, — жаловалась она, — и мне хочется ее придушить. Не знаешь никого, кому можно было бы ее отдать?" В конце концов она засунула ее в мешок и оставила возле какой-то двери, в пяти-шести переулках от себя. Но через несколько дней дьяволица вернулась, и у киры Экави рука не поднялась снова ее вышвырнуть. Она думала, что кошка вернулась обратно, потому что любила ее и жалела. Как кошка понимала ее лучше людей — с эти-

ми вопросами не ко мне. Еще я поняла, что она затаила на меня обиду за то, что я не пошла тогда в тюрьму, в тот последний раз, когда они поругались с Димитрисом. Поняла — и сделала вид, что не услышала и переменила беседу. У меня сердце сжималось при мысли, что после того, как в ее доме вечно толклось столько народа, она опустилась до жизни с какой-то драной кошкой. Не потому, что она была счастлива даже в то время, когда вокруг нее были люди. Ее жизнь всегда была чем-то вроде постоянного смерча. Но и представления киры Экави о счастье не всегда совпадали с тем, что под этим понимает большинство людей. Может, и бывали моменты, когда и она жаждала хоть немного затишья, но если разобраться, ее счастьем как раз и был тот самый смерч.

Первое, что она заявила Поликсене, не успев даже поцеловать ее и поприветствовать зятя, было: "Твои чаяния осуществились, дочь моя, *я сварила для него кутью*, можешь доставать свой красный платок и плясать..." Поликсена пришла ко мне, рассказала и попросила совета, как себя вести, чтобы утихомирить мать. Ей и в самом деле было непросто. Она не то что была далека от радости и танцев, но еще и страшно мучилась от угрызений совести, бедная девочка. Я ее понимала, потому что и сама прошла через то же самое с покойным Диносом. Не раз и не два я приходила к идиотской мысли, что он умер, чтобы отомстить мне. Пока она была в Каламате, ей трудно было осознать, что Димитриса больше нет. Она убаюкивала себя мыслью, что и это тоже может оказаться одной из тех ловушек, в которые мать загоняла их столько лет. Но когда она приехала в Афины и столкнулась с реальностью, то поняла, что время обманов прошло, и это вызвало у нее нервное потрясение.

Но что бы она ни делала, убедить киру Экави в том, что она искренне горюет о брате, было невозможно. Траур, который она носила, хотя не прошло и месяца, как вышла замуж, кира Экави называла "притворством". Дня не проходило, чтобы в присутствии Сотириса или без него она не напомнила ей и новый эпизод вроде того с сотенной бумажкой. Она начинала рыдать прямо посреди ужина, испепеляла Сотириса взглядом каждый раз, когда он забывался и отпускал какую-нибудь шутку, и так далее и тому подобное. До тех пор, пока Поликсена не начала — и совершенно оправданно — терять терпение и поносить его даже и мертвым, как поносила когда-то при жизни. Если бы она была одна, все эти выходки ее бы не сильно беспокоили. Она привыкла к своей матери за столько лет. Но был, видишь ли, еще и Сотирис. Он-то ни за что ни про что, бедняжка, оказался в доме, где кадили смертью. Впервые женился и впервые попал в Афины. Ему все это представлялось несколько по-другому. Он-то за что должен был мучиться, не сметь улыбаться или целовать свою жену только потому, что это ранит киру Экави? И уж тем более, с чего ему было сильно скорбеть по человеку, которого он никогда не видел и которого так или иначе, но в силу своей профессии привык считать недостойным какой-либо скорби вообще?

Вначале он делал все, что мог, чтобы достойно играть роль нежного зятя, но кира Экави больше не нуждалась ни в чьей любви и ни в чьей нежности. И меньше всего она готова была принять ее от человека, которого косвенно считала виновным в смерти Димитриса, от какого-то фа-

раона, одного из тех "чудовищ", которые безжалостно преследовали ее сына всю его жизнь и которые в конце концов его убили... Так она думала. И еще больше атмосфера накалилась из-за самого Сотириса, который относился к тому типу людей, что просто пышут здоровьем и жизнерадостностью, громоподобно смеются и разговаривают, а если входят в дом, то заполняют его собой целиком. Но ему не надо было даже смеяться и разговаривать. Кире Экави действовало на нервы одно то, что он жив. Для нее был оскорбительным тот факт, что кто-то смеет дышать в то время, как Димитрис лежит глубоко в земле.

"Большей скотины, Нина, глаза мои не видали, — приходила она ко мне жаловаться. — И как только моя дочь согласилась выйти за такого человека? Что она в нем нашла? Позавчера он схватил ее за голову обеими ручищами и засосал своими губищами чуть не целиком от большой любви — вот те крест! Чтоб мне царствия небесного не видать, если я вру. Я как вспомню, прямо тошнота накатывает. И как увидит эта деревенщина, что меня от этого воротит, еще больше делает, чтобы меня позлить. Я уж не говорю, что их кровать так и ходит ходуном всю ночь без перерыва! А он ведь ее моложе, и она некрепкого здоровья — он ее уездит, она "мама" сказать не успеет. Моя Поликсена, девочка, на которую я надышаться не могла, после такого прекрасного мальчика, как Александр, попала в лапы этого грязного козла! Что бы ты, Нина, ни говорила, но я это терпеть не в состоянии!.." — "Да ладно тебе, — пыталась я ее успокоить, — ну что ты сидишь и проедаешь себе плешь из-за таких пустяков! Ты бы им еще расписание над кроватью повесила. В конце концов, еще ни одна женщина от *этого* не пострадала..."

Но все было как об стенку горох. Что бы я ни пыталась ей доказать, она это переносить была *не* в состоянии. Как и следовало ожидать, начались стычки, которые быстро переросли в скандалы с базарной бранью, в которые включились они оба, и между ними была Поликсена, не знающая, как себя повести и чью сторону принять. Когда она занимала сторону Сотириса, кира Экави угрожала, что выведет всю историю на чистую воду! И по поводу первого брака, и по поводу "пришивания девственности", и так далее и тому подобное. Когда же Поликсена, наоборот, переходила в ее лагерь и заклинала Сотириса, как более вменяемого, умерить свой гнев, кира Экави оскорблялась. Для нее скандал был в тысячу раз лучше, чем презрение. Она не желала помощи своей дочери, она не желала ее на своей стороне, не желала ее жалости, не желала более видеть ни его, ни ее и постоянно угрожала выгнать их из дома. Когда Поликсена рассказала мне обо всем этом, я задумалась: "Что тут скажешь, Поликсена, я и ее люблю, и твое положение понимаю лучше некуда. Но найти себе жилье и съехать — это не решение ни для вас, ни для нее. Будет она снова жить одна-одинешенька, в компании своей кошки — умрет на час раньше. Самое лучшее, что тут можно сделать (и я предложила это не для того, чтобы Сотирис мог пожить спокойно, может, он и не виноват был во всем этом, но его поведение было бесчеловечным, так себя не ведут по отношению к старой, несчастной, измученной женщине, я придумала все только ради одной киры Экави)... самое лучшее, что тут можно сделать, Поликсена, — это послать ее на время к Елене. Если бы у меня было куда, я бы ее, бог свидетель, к себе взяла и отвезла бы на месяцочек

на Андрос, да и сама бы вместе с ней отдохнула. Но по тому, как идут дела, единственное решение — отправить ее к Елене. Перемена обстановки пойдет ей во благо, и, может, еще больше подействует встреча с внуком. Не знаю, что она тебе сказала, но ее сильно подкосило то, что он ее покинул и уехал к матери..."

Поликсена написала письмо Елене, и та немедленно приехала в Афины. Я ее так и не встретила. В тот день, когда я ходила к ним в гости, Елена ушла по делам. Сначала кира Экави не хотела ехать. "Поезжай! убеждала ее я. — Перемена пойдет тебе на пользу. Если бы и я могла поехать с тобой, чтоб хоть ненадолго избавиться от созерцания прекрасной рожи моей дочери..."

Какой же я была наивной, если думала, что перемена окружения могла ее спасти! Для нее вся земля была уже одним крошечным шариком, везде одно и то же, везде похоронен Димитрис, и куда бы она ни отправилась, везде шла по его могиле. Но в конце концов она согласилась уехать. С одной стороны, потому что каждый раз, ругаясь с Поликсеной, она обнаруживала все новые и новые достоинства у Елены, а с другой — ее охватило истерическое желание вернуть внука. Как стало ясно впоследствии, это была ее последняя попытка найти себе цель, хоть какую-нибудь цель, которая удерживала бы ее в этой жизни. Потому что, сколько бы она ни говорила, что хочет умереть, инстинкт самосохранения был в ней слишком силен, чтобы она сдалась так легко. Как утопающий хватается за собственные волосы, так и она хваталась за идею, что ее святой долг — спасти Акиса из когтей его матери, пусть даже и вопреки его желанию.

Но планам увезти его из плена, как она когда-то проделала это в Салониках, не суждено было увенчаться успехом. Что там точно случилось, я не знаю, если не считать того, что мне рассказала Елена во время своего приезда в Афины после декабрьских событий. Уже месяца два прошло, как она уехала, и у меня было ощущение, что она все еще в Каламате, как вдруг появляется Поликсена и говорит: "Мама очень больна и хочет вас видеть". — "И когда же она вернулась из Каламаты?" — "Почти три недели". — "А что же ты мне ничего не сказала, Поликсена? Что с ней?" — "Не знаю. До вчерашнего дня врач убеждал меня, что у нее грипп. Вчера она впала в кому, я вызвала профессора из Иппократио, и он обнаружил уремию. И болезнь очень прогрессировала..." Ее глаза наполнились слезами. Я поняла, что дела хуже некуда. "По, по, Поликсена, — говорю ей, — даже не говори мне! Ни за что не поверю". А сама чувствую, что у меня ноги подкашиваются.

Набросила манто. Был конец сентября, и уже начались первые холода. Небо нахмурилось, вот-вот хлынет ливень. Едва мы вошли в прихожую, в нос ударил смешанный запах лекарств и прокисшей рвоты. Поликсена зажгла старую керосиновую лампу. Вот уже несколько дней совсем не было электричества, люди говорили, будто бы немцы специально его перерезали. Они, наконец, начали вытряхиваться и бегом бежать, сволочи, и не хотели, чтобы люди наблюдали за их перемещениями. Пребывание на улице разрешалось только до семи. Время от времени были слышны приглушенные звуки выстрелов. Как мы потом узнали, они пытались прикрыть свое отступление. Партизаны дошли уже до Фив.

Кира Экави полулежала, опершись на несколько подушек, чтобы легче было дышать. И это была не она, но тень ее прежней. Если бы я увидела ее, не зная, что это кира Экави, не узнала бы. Изо рта вырывался хрип, похожий на сильный храп. Я взяла ее за руку. Она издала жалобный, глубокий стон и открыла глаза. "Ты кто?.." — "Это Нина..." — "А, пришла... Спасибо, что пришла..." — "Да что с тобой, кира Экави? — говорю самым естественным тоном, на который только была способна в попытке скрыть волнение. — Что же ты, сидишь здесь столько времени, и ни весточки мне не послала!.." Она не ответила. "Как ты себя чувствуешь?" — "Я тебя плохо вижу... У меня голова болит... Но это пройдет..." Внезапно она, выгоняя, нетерпеливо махнула рукой в сторону Поликсены, стоявшей тут же, рядом со мной. Поликсена, задыхаясь от слез, вышла из комнаты и оставила нас одних. "Нина... Я не хочу умирать... Помнишь, я тебе говорила, что хочу?.. А вот теперь не хочу... Я хочу жить и увидеть другого своего сына... Может, он единственный из всех моих детей, кто хоть немного меня любил... Но если я умру..." — "Прекрати! — говорю я ей. — И речи нет, что ты умрешь. Через несколько дней будешь как огурец". Она попыталась улыбнуться, словно говоря: ты и сама не веришь в это. "Но если я умру, — снова начала она, — хочу, чтобы ты пообещала, что все ему расскажешь..." — "Что ты хочешь, чтобы я рассказала?" — "То, что они со мной сделали..." — "Даю тебе слово..."

Ее лицо просветлело. Она упала на подушки, будто с души у нее свалилась огромная тяжесть, и снова захрипела. На улице уже совсем стемнело. Я вспомнила, что после семи начинался комендантский час. Я аккуратно высвободила руку, но кажется, это ее потревожило, потому что она снова открыла глаза и попыталась подняться на подушках. "Не мучай себя! — говорю. — Тебе лучше лечь..." Она скорчила нетерпеливую гримаску, взяла меня за руку и притянула к себе, словно желая прошептать какой-то секрет на ушко. "Нина... Бога нет!" На несколько мгновений она так и застыла в этом положении, повиснув на моей руке, вопросительно глядя, будто бы хотела, будто бы надеялась, что я скажу, что она неправа.

Я не знала, что сказать, да и вообще не могла выдавить ни слова. В горле застрял душивший меня комок. Я хотела бы сказать все то, о чем так часто думала в последние несколько лет, когда мы жили в объятиях смерти, но не знала, с чего начать. Так или иначе, но теперь в этом не было никакого смысла, все это уже было ни к чему. Я бы только взволновала ее еще больше, и она покинула бы этот мир с прискорбным ощущением, что она *была* неправа, в то время как я точно знала, что она права. Тот Бог, которого она имела в виду, тот Бог, в которого нас с детства учили верить, Бог покойной мамы и Эразмии — этого Бога, конечно же, *не* существовало, а другого, настоящего, было уже слишком поздно искать. Я уложила ее на подушки, и на этот раз она не стала сопротивляться.

7

Петрос провел в тюрьме полгода. Три раза его выводили на расстрел, однажды даже уже вывезли на Поля в Кесарьяни, и трижды мы вырыва-

ли его прямо у Харона из пасти. И все это благодаря старому другу дяди Стефаноса. В то время, когда дядя еще держал кофейню, он этого человека облагодетельствовал, дал ему денег, чтобы тот смог положить жену в больницу, и тот и в самом деле оказался человеком и добра не забыл, хотя последнее происходит сплошь и рядом. Спасти Петроса-то они спасли, но за какие деньги, да чего только не пережили, а вместе с ними и я, эти несчастья одному только Богу ведомы!..

Когда мы, наконец, ухитрились вытащить Петроса из тюрьмы, он возжелал во что бы то ни стало сбежать в горы, но тут взвыл Такис, и тетя Катинго упала ему в ноги, и я пару слов добавила, и общими усилиями мы его дожали и уговорили уехать на какое-то время на Андрос к тете Болене, чтобы не мозолить глаза немцам, дать им возможность забыть о нем, а себе время отдохнуть и набраться сил. Душевные и физические мучения, что он претерпел в тюрьме, расстроили его здоровье. Но стоило немцам сняться с мест и отступить, он сей же момент вернулся в Афины и, чего и следовало ожидать, тут же связался с ЭАМ: собирал ребятишек из Союза молодежи и занимался их обучением. Когда-то и я симпатизировала ЭАМ, но постепенно, как и все, начала понимать, что за волк прятался под этой овечьей шкурой. В один прекрасный день мы проснулись и обнаружили, что теперь у нас вместо немцев ЭАМ, и они начали брать заложников, как это когда-то делали немцы, и перерезать людям горло консервными ножами, и хотя я знала, что сам Петрос и мухи бы не обидел, каждый раз, когда он принимался мне выставлять их белыми и пушистыми, я вскипала и орала на него, как базарная торговка. "И если ты полагаешь, что я и есть 'черное сопротивление', — кричала я, — давай, беги, сдай меня своим соратникам и шлюшкам-соратницам. Вы на все способны. Ленин хорошо вас научил ничего не почитать и даже собственную мать не жалеть!.."

Петрос улыбался, глядя на мой гнев. Мне это нравилось, да и он не держал на меня зла. И вскоре мы снова становились друзьями. Бывали моменты, когда и я соглашалась, что в чем-то они правы — немало дурного было в устройстве Греции. А он со своей стороны признавал, пусть даже и никогда не говорил об этом открыто, что и в моих словах есть истина, что резня никогда ничего не исправит, что кровь призывает кровь.

Но в то время как Петрос, который, заметьте, был мужчиной и был в самой гуще событий и знал все, что там происходило, сам Петрос был способен на уступки, эта мерзость моя дочь, которая и с самим дьяволом пошла бы на сговор, лишь бы это было мне назло, имела наглость вмешиваться в наши разговоры и принимать сторону эласитов. "Ну и пусть зарежут каких-нибудь уродов!" — визжала она и доводила меня до того, что я просто заболевала. У меня начинался нервный срыв, и я, как рыба на песке, задыхалась от волнения. Однажды она довела меня до того, что я схватила ее за горло и чуть не придушила. "Скотина! — крикнула я. — Да как ты смеешь лезть со своими дурацкими мыслишками, у тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы с умными людьми разговаривать! Если бы прирезали только какую-нибудь сволочь вроде тебя, я бы за них свечку поставила, но, к несчастью, они вырезают ни в чем не повинных людей: 'Ты состоял в ЭАМ? Ах нет? Ну-ка иди сюда...' И если у тебя был знакомый эласит и он на

тебя что-то затаил, он заносил тебя в черный список, и тебя поглощала пучина". Не успели мы вознести хвалу Господу за избавление от гестаповцев, а уже пора было бояться собственных убийц, которые были в десять раз хуже, как говорится в пословице: бей своих, чтобы чужие боялись...

"И что же, только потому, что они последователи капиталистов и не понимают свою выгоду, — говорила я Петросу, — нужно всех их под нож пустить? Только вот не надо мне тут петь песни про французскую революцию, — вопила я, чуть из штанов не выпрыгивая, когда он мне начинал сызнова свои измышления. — И *я* тоже читала учебник истории. Во время французской революции на гильотину отправили аристократов. Простому народу никто головы консервными ножами не отрезал. Вот посмотришь, — продолжала я, — вот ты и вот я, и я тебе обещаю, народ от вас отойдет из-за всех этих ужасов, которые вы тут устраиваете, и движение ваше захлебнется в той крови, которую вы пролили, и все эти моря крови будут пролиты напрасно. Только смотри, голубчик, — вздыхала я, — не подставляйся слишком сильно, чтобы тебя никто не приметил, когда времена переменятся, тебе уже не выкрутиться..." — "А за каким чертом ты у меня сестричкой числишься? — хохотал он. — За спасением я приду к тебе". Это все были шуточки. Но он даже представить себе не мог, что настанет день, и очень даже скоро, когда я и в самом деле его спасу.

Как-то днем он зашел домой ополоснуться и переменить белье. Мы уже неделю его не видели и не знали, что и думать, жив он, мертв. В те дни на улицах постоянно вспыхивали драки. Афины поделили на две части. В одной засели эласиты[1], в другой англичане и национальная гвардия. Мы же оказались ровно посередине. В одних домах окопались эласиты, в других — националисты, и днем, и ночью трещали выстрелы. И пока он перебежками перемещался от двери к двери, чтобы добраться до дома, вдруг почувствовал острую боль под коленом, потерял равновесие и упал. Еле вполз в какую-то дверь, и когда прекратилась перестрелка, его нашли жильцы, которые, к счастью, оказались знакомыми дяди Стефаноса, так что они погрузили его на повозку, найденную у лавки зеленщика, и отвезли в клинику Геруланоса. Потом пришли к нам домой и все нам рассказали.

Как раз в те дни тетя Катинго не вставала с постели из-за пневмонии. Дядя Стефанос сильно сдал в последние несколько лет, с трудом ходил, еле передвигая ноги. Такиса мы не видели уже недели три. Он позвонил Дейонам, чтобы те нам передали, что у него все хорошо и что он живет в гостинице "Grand Bretagne". Его временно откомандировали в штаб Скоби как англоговорящего. "Ни отцу, ни матери ни слова, — предупредила я Ирини, которая от ужаса была как потерянная. — Надевай пальто и бежим в клинику, посмотрим, что там действительно случилось..."

Слава богу, ничего такого ужасного, чего мы себе навоображали, не было. Пулю ему удалили, к несчастью, кость была разбита вдребезги. И хуже всего было то, что во всей клинике не наскреблось даже пригорш-

1. Эласиты — бойцы ЭЛАС, Греческой народно-освободительной армии (вооруженных сил Движения сопротивления в Греции в годы Второй мировой войны). ЭЛАС была создана по решению ЦК ЭАМа в декабре 1941 г. на базе действовавших в Греции партизанских отрядов; в 1945 г. расформирована.

ни гипса, даже чтобы посмотреть на нее. "Господи, пресвятая Богородица! — возопила я, адресуясь к сестре. — Да может ли такое быть, чтобы во всех Афинах вовсе не было гипса?" Она покачала головой. "Конечно, какой-нибудь найдется, — говорит она мне, — но до тех пор, пока держится такое положение, мы ничего не можем сделать. У меня семь больных с переломами, и все на наркотиках..." Я подумала было, не кинуться ли домой и не найти ли Каллиника, у него была стройплощадка. Когда-то он был большим другом покойного Андониса. Но когда медсестра объяснила, что требуется специальный гипс, я приуныла. И только было я повернулась уйти, как меня озарило: "Может, подойдет гипс, из которого делают статуи?" — спросила я у нее. "Этот подойдет, — отвечает, — но где же вы его сейчас отыщете?.."

Я хватаю Ирини под руку, и мы выносимся наружу, туда, сюда, и уже бежим в Колонаки. На улице Асклепиу нас остановили гвардейцы. "Хальт!" — говорят. Обыскали сумку и пощупали хорошенько и спереди, и сзади, якобы чтобы найти оружие. "И куда же вы, девочки, собрались?" — спрашивают. Обычно они разрешали людям ходить в Колонаки за покупками — еда была только там. Но после захода солнца проход был запрещен, а тем временем уже начало смеркаться. "Да ладно, ребята, — взмолилась я, — не заворачивайте нас назад! Мы что, похожи на этих соратниц?" — и рассказала им, из-за чего весь сыр-бор. Один из них засмеялся. Ему это показалось смешным. "Ну ладно, идите! — говорит, — но чтоб даже священнику в этом не признавались..."

Приходим мы к дому Афины, стучим в дверь. Она жила на улице Спевсиппу. Мы познакомились у Клио. Была картежницей, каких мало. Ее мужа я не знала, но слышала, будто он был скульптором и преподавателем в Школе изящных искусств. "Да ты блаженная просто!" — говорит она мне, когда мы уселись в гостиной и я объяснила ей, в чем дело. Она была очень жизнерадостным человеком и очень смелой. По ней сразу было видно, что она наслаждалась и продолжает наслаждаться жизнью. Не была таким жвачным животным, как я. "Ну что ж, золотце, — проговорила она, вытащив изо рта сигарету с длинным мундштуком, — Телис — сокровище, но попробуй только влезть в его мастерскую. Да он меня даже внутрь не пускает, а когда я посылаю служанку подмести, так стоит у нее над душой как цербер, не дай бог к чему прикоснется". — "А ты не входи, — говорю я, — я сама зайду!" — "Ну да, конечно, — она недовольно на меня посмотрела, — но ведь ему может понадобиться весь тот гипс, который у него есть. Позавчера он сказал, что начал новый барельеф". — "Да помилуй, Афина, — еле выговорила я, — до барельефов ли теперь? Ты же женщина, ну сама подумай. Единственная наша задача в этих условиях — выжить. А потом уже дойдет и до барельефов. Люди гибнут! — говорю я. — Я без гипса не уйду. Сяду на пол, пока тебе это не осточертеет". Она слегка поморщилась, но что делать, не могла отказать. Отвела нас в мастерскую своего мужа, мы нашли большой пакет, и я нагребала полные пригоршни гипса из мешка и перекладывала в пакет. На мне была чернобурка, и в один миг я стала похожа на мельника в муке.

Мы положили пакет в сетку и отправились обратно, чтобы успеть вернуться в клинику. Но едва дошли до улицы Сина, услышали грохот от разрыва гранаты. "Давай-ка мы отложим это до завтра", — говорю я

Ирини. Мы поднялись к Французскому институту, срезали через сосновую рощу возле Айос Николаос и вернулись домой.

Назавтра с утра пораньше я оставила Ирини дома ухаживать за матерью, взяла сетку с гипсом и пошла на Харилау Трикупи. Клиника была прямо над нейтральной зоной. Начиная с улицы Зоодоху Пигис и книзу засели эласиты, а от Мавромихали и вверх всю территорию контролировали гвардейцы. Химфак был забит англичанами. Дверь клиники была закрыта. Стучу, вижу, как дверь медленно и очень осторожно приоткрывается, и в щелке показывается дуло револьвера. "Быстро внутрь! — слышу голос. — Делай вид, что ничего не происходит... Дернешься, я тебя пристрелю..." Сердце бухнулось вниз. Вхожу и оказываюсь нос к носу с десятком эласитов, борода до пояса, больше похожих на разбойников с большой дороги, чем на радетелей народного счастья. На большинстве военная форма, перекрашенная в черный цвет. Как я потом узнала, через пару часов после того, как мы ушли за гипсом, они пробрались через пересохшую канализацию, вылезли во дворе клиники и захватили ее, но прятались, чтобы про то не прознали англичане, удерживающие химический факультет, и не принялись бы их обстреливать из минометов. Вместе с ними были и две их соратницы, на груди пулеметные обоймы крест-накрест и штаны хаки. Нет более отвратительного зрелища, чем толстозадая корова, напялившая штаны. Одна из них вырвала у меня сетку с гипсом и открыла посмотреть, что там. Обыскала мою сумку, потом стала шарить своими ручищами у меня под пальто, и даже под подкладку залезла. Шлюха! — думала я, глядя на ее дешевый перманент, волосы у нее так и лоснились от брильянтина, как от сала. От ее подмышек несло как от козла. Шлюха, как ты смеешь меня обыскивать! Да я бы тебя даже полы мыть не пустила!..

Но внешне я сохраняла хладнокровие и даже попыталась ей улыбнуться. Я понимала: хочешь жить — нужно ломать комедию. "К кому пришла?" — спрашивает один из этих бандитов. По тому, как на него смотрели прочие, я поняла, что то был главарь. Он впился в меня взглядом и не отводил, словно хотел проверить, отведу я первая глаза или нет. "К Эммануилу..." Он сделал знак "коллеге", чтобы тот передал ему блокнот, который был у него в руках, открыл его, закрыл, потом снова враждебно на меня уставился. "Я тебя сейчас отправлю в расстрельную команду! — вдруг говорит. — Тебя сюда англичане заслали шпионить..." Он говорил медленно и сдержанно, но как раз это и вызывало у меня ощущение, будто я нахожусь перед судом. "Да ты не в своем уме! — взвыла я. — Нет, только послушайте: меня послали англичане! Как ты их терпеть не можешь, так и я не люблю их, треклятых. Если бы не они, Греция сейчас была бы самым процветающим государством!" — "Говори медленнее..." — "Если ты не веришь, что я на вашей стороне, так спроси хоть моего двоюродного брата..." — "А что такое этот твой двоюродный брат?" — "Ты не меня спрашивай, — говорю, — ты позвони Ахтиде, жене Гизоса, там тебе скажут, что такое Эммануил!.." Он начал буравить взглядом мое пальто. "Ты на пальто не гляди, — говорю, — нельзя судить человека по какому-то поганому пальто. — Мое пальто, разумеется, было вовсе не поганым, но дорогущей чернобуркой. — Между прочим, — продолжаю я, — даже в России люди носят меха!" На его губах проскользнула легкая улыбка: смотри-ка, сколько эта знает! У

меня зародилась надежда. "Могу я на секунду вызвать медсестру, чтобы отдать ей гипс?" — спрашиваю. "Зови ее сколько твоей душеньке угодно, можешь и сегодня хоть весь день с ней общаться, и завтра, и послезавтра..." Он сделал знак "соратникам" и "соратницам", чтобы они дали мне пройти, и повернулся спиной. "Стоп, стоп. Стоп, куда это ты собрался? — говорю ему. — Это что такое — и сегодня, и завтра, и послезавтра? Ты что это, собрался меня тут удерживать? У меня, знаешь ли, дом есть, мои с ума сойдут от беспокойства". Он повернулся и смерил меня взглядом. "Ну, давай предположим, что я тебя отпущу. Какие у меня гарантии, что ты не разболтаешь англичанам, что видела?" — "Опять двадцать пять! — воскликнула я. — Да на чем тебе поклясться? Слово даю. Пошли одного из своих ребят или сам пойди к моему брату, чтоб он объяснил, кто я. Его комната четвертая справа. Вот я тебе как на духу признаюсь, меня эта ваша политика вообще не занимает. Что хорошо для Греции и рабочего люда, так пусть и будет". Он еще раз смерил меня взглядом снизу доверху, взвесил меня, разложил по полочкам. "Договорились, — говорит, — давай свой гипс и уходи. — Но не успела я вздохнуть с облегчением, добавил: — Если же на нас нападут англичане, ответственность на тебе, так что я расстреляю твоего брата прямо в постели!" — "Но он же коммунист!" — "Да хоть сам Сталин!.." И снова повернулся ко мне спиной.

Я застыла в оцепенении. Потом начала взвешивать. Куда ни кинь, везде клин. И к ним в лапы попасть мне не сильно хотелось, и уйти, оставив Петроса в заложниках, я тоже не могла. Англичане от кого угодно могли узнать, что эласиты ворвались в клинику, и напасть. А по его виду я поняла, что он не шутит. Коммунист, не коммунист — расстреляет без сомнений. Для таких людей успех движения важнее отдельно взятого интеллигента-коммуниста со сломанной ногой. И что я скажу тете Катинго? Да она будет обвинять меня всю оставшуюся жизнь. Я подобрала сетку с гипсом и побрела в сторону палаты Петроса, еле сдерживая слезы. Мне хотелось визжать от бешенства. Чтобы *я*, Нина, да попала в грязные лапы этого оборванца, и еще должна была поклясться, что я на его стороне!..

В клинике я провела неделю. Ела вместе с больными пустую баланду на картофельных очистках, а спала на двух сдвинутых креслах, прикрываясь собственным пальто вместо одеяла. И как только я не подцепила воспаление легких за эти дни, просто чудо Господне. Прежде чем я оказалась запертой в клинике, они уже выломали и сожгли все, что только может гореть, чтобы протопить помещение. Выломали даже ставни на нескольких окнах. И ко всему у меня еще началось и чудовищное кровотечение: ото всех переживаний месячные пришли раньше времени и не думали прекращаться. А какие-то капли, которые мне выписал врач, не только не улучшили, но даже ухудшили положение.

На восьмой день, проснувшись затемно от холода и дурных снов, я почувствовала, что что-то изменилось. Вскакиваю, выбегаю в коридор и попадаю прямиком в объятия гвардейского офицера. "Наши! — взвизгнула я вне себя от счастья. — Наши!.." Я обняла его и поцеловала, плача, у меня началась истерика. Бегу в палату Петроса — нет Петроса! Весь мой восторг сдулся, как проколотый шарик. "Где мой брат?" — вцепилась я в медсестру, а перед глазами промелькнули все возможные ужасы. "Не переживайте, — проговорила та, улыбаясь. — Я разрешила ему самому дой-

ти до туалета...” Я перевела дух. Но не прошло и десяти секунд, как в палату ввалился хитис[1], премерзкая беретка на голове, и ноготь одного из пальцев не меньше двух сантиметров длиной, ну я вам скажу, нет более гадостного зрелища, чем длиннющие ногти, которые отпускают некоторые пшюты. “Ты, что ли, кузина Эммануила?” — говорит. И по роже, и по голосу было понятно, к бабке не ходи, что наркоман. Да что же это, из огня да в полымя! — пронеслось у меня в голове. В конце концов, эласиты делают то, что они делают, потому что им кажется, будто бы таким тупым образом они могут хоть чуть-чуть, но изменить Элладу к лучшему, а этот стукач, эта помойная отрыжка чего хочет добиться, во *что* верит? “Не я!” — заявляю. Нутром почуяла, что эти расспросы не к добру, интуиция никогда меня не подводила. “Брат мой, — отчетливо произнесла я, — именуется Лонгос... Димитрис Лонгос...” Это было первое, что мне пришло в голову. Как вспомню, просто передергивает. Он посмотрел подозрительно. В этот момент в дверях показался Петрос. Кровь застыла у меня в жилах. “Димитри! — вскричала я, глядя в упор, чтобы до него дошло. — Скажи этому господину, как тебя зовут. Он не верит, что твое имя — Димитрис Лонгос...” Петрос растерялся на долю секунды, но он никогда не был идиотом. Быстро сообразил, к чему все клонится. “Ну да, меня зовут Лонгос”, — с честнейшей скукой в голосе сообщил хитису и завалился на кровать. “Ты наверх сходи, — говорю я этому бандиту, — что-то мне кажется, будто какой-то Эммануил жил в такой же палате, как у нас, но то ли на втором, то ли на третьем этаже...”

Хитис вышел и начал подниматься по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. “Быстро! — прошипела я тогда Петросу. — Поднимайся, нет времени на разговоры! Смог дойти до туалета — дойдешь и до дома...” Его палата была как раз на первом этаже. Он оперся на мое плечо, и — прыг-скок — мы добрались до ворот. Офицер, которого я расцеловала в приступе восторга, стоял на улице и разговаривал с каким-то англичанином. Завидев меня, улыбнулся и отдал честь. “Благодарю, — едва проговорила я, — благодарю”, — и улыбнулась ему в ответ как ни в чем не бывало. А сама чуть с ног не валюсь от ужаса, все боялась, как бы не появился этот хитис и не схватил нас. Все мое нутро просто визжало: беги! А поскольку нужно было приноравливаться к походке Петроса, мои нервы были натянуты до предела. Когда же мы наконец добрались до дома и я почувствовала себя в безопасности, рухнула на кровать и разразилась безудержными рыданиями. Я уже целую вечность не плакала так сильно.

Через пять, а может, шесть дней Тодорос вернулся с Ближнего Востока.

8

Сотириса взяли одним из первых. Еще до возвращения покойной киры Экави из Каламаты он как офицер полиции реквизировал дом в Халандри. Накануне Дня святой Варвары Поликсена оставила его дома бо-

1. Во время Оккупации — член вооруженного объединения, обозначавшегося буквой “Х” или называвшегося “Партией Хитисов” и имевшего антикоммунистическую направленность.

леть (он лежал с гриппом), а сама спустилась на площадь за покупками. Когда вернулась, обнаружила пустой дом. "Так и так, — говорит ей соседка. — Беги, я слышала, как они обсуждали, что вернутся". В полном безумии Поликсена бросилась по дороге к Турковунья, срезала через Галатци и добралась до дома покойницы, где и осталась ждать, чем все кончится. В то время дом стоял пустой, эласиты забрали и хозяина, и его жену, и двоих детей — он сотрудничал с гестапо и был номархом в Халкиде. Несколько раз Поликсена приходила, и мы пили кофе. Я пыталась ее утешить, она прямо с лица спала ото всех этих напастей. Каким бы человек ни был крепким и хладнокровным, но приходит день, когда и такой не выдерживает. Шутка ли, потерять первого мужа, когда они еще и месяца не были женаты, потом за три месяца брата и мать, а теперь забрали и второго мужа, и кто знает, свидятся ли они когда-нибудь еще... Но теперь, когда вернулся Тодорос, рядом с ней хоть живая душа была в доме. О Димитрисе и кире Экави он узнал от своих коллег-журналистов, поехавших в Египет сразу после победы.

В те дни освободился и мой собственный дом. Мой жилец, заправила черного рынка, прятался, пока буйствовали эласиты, и носа не казал, пока те не убрались из Афин. Но даже и тогда, несмотря на то, что опасности больше не было, он решил, что лучше сменить дом. По-хорошему мне надо было сразу же найти нового жильца, мы отчаянно нуждались в деньгах, есть уже было не на что. Но я настолько осатанела от тети Катинго и ее придури за все эти годы, что решила: к черту! Я сбегу, вернусь в собственный дом, пусть даже я там сдохну от голода!..

В первые несколько дней он казался мне очень странным, как будто вовсе не был моим. Даже тот особенный запах, который есть у каждого дома, более не был прежним. Понадобилось несколько дней, чтобы все переложить на свои места и создать хотя бы видимость того, что все как прежде. До этого момента мы так и не почувствовали, что уже мир. Не успели порадоваться, что удрапали немцы, пришли эласиты. Теперь же впервые начали понимать, что война действительно закончилась. Продукты потихоньку возвращались на прилавки, и стоило только чуть-чуть порадовать животы, как люди полностью вернулись к жизни. Люди распахнули двери и с распростертыми объятиями принимали героев-победителей с Ближнего Востока, не особо интересуясь анкетными данными. Если у тебя был сын, брат, кузен или даже просто знакомый среди тех, кто вернулся, он тащил к тебе своих однополчан, и в складчину, из консервов и пива, принесенных ими, и из продуктов, что получали мы по нашим карточкам, ухитрялись закатывать фантастические пирушки, так что время пролетало стрелой. Тодорос тогда дружил с флотским офицером и с сержантом бригады Римини. Я пригласила их, Поликсену, Клио и Уилли с Бертой, Такиса и Ирини, и мы ели, заводили граммофон и танцевали. А когда отпустили Сотириса, измученного и изможденного, но живого, ощущение праздника достигло своего апогея.

Тодорос начал подбивать ко мне клинья, но я делала вид, что не понимаю. А вот посмотрим, что он станет делать, думала я. Я видела, что он пытается оттереть от меня всех прочих, но я его избегала. По правде сказать, на меня произвело несколько неприятное впечатление то, что он не задал мне ни одного вопроса ни о брате, ни о матери. Он ни разу о них не заговорил, словно бы их никогда не было, хотя, конечно

же, даже если бы он и начал спрашивать, я бы не стала рассказывать ему ничего из того, что знала. Хотя я и дала кире Экави слово рассказать Тодоросу всю правду, я была полна решимости держать рот на замке. Это лучшее, что можно сделать, решила я, пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Было бы неправильным стравить их с Сотирисом. Так или иначе, их отношения, во всяком случае судя по тому, что я видела, и так были не слишком теплыми. У них не было ничего общего. Каждый раз, когда Сотирис открывал рот, чтобы изрыгнуть очередную глупую шутку записного деревенщины, Тодорос закатывал глаза и надувался. Поликсена ничего мне не говорила, но я видела, что еще немного — и они сцепятся. Сотирис не имел ни малейшего желания делить свою жену с ее братом, и Поликсена не могла стирать и гладить рубашки Тодороса. В конце концов, в доме киры Экави они задержались лишь на время. Рано или поздно они должны были вернуться к себе в Халандри.

Нетрудно было догадаться, что все они сочтут, что лучший выход из положения — женить Тодороса. И внезапно я заметила, как их отношение ко мне изменилось. Поликсена стала сердечной и ласковой, Сотирис начал звать меня "кумой", а Тодорос начал флиртовать еще больше, чем прежде. Но, как это ни парадоксально, предложение мне сделала Елена. Как только все немного успокоилось, она приехала ненадолго из Каламаты. Когда я впервые встретилась с ней лицом к лицу, то испытала примерно те же чувства, что и чуть позже при знакомстве с ее тетей Афродитой. Нет, ты только представь себе! — подумала я. Ну мыслимое ли дело, чтобы эта приятная симпатичная женщина была таким чудовищем, каким ее описывала ее же собственная мать? Как-то вечером я уговорила ее остаться переночевать, чтобы составить мне компанию. У принцессы снова была отдельная комната, как и когда-то. Поэтому бояться ночами мне частенько приходилось в одиночестве. Мы легли и потушили ночник, но ни у нее, ни у меня сна не было ни в одном глазу. Мы начали болтать. Я выспрашивала самые разные вещи о кире Экави. Елена с большим воодушевлением согласилась остаться у меня для компании, но не за красивые глаза. Я понимала, что у нее своя цель, и в том, что это за цель, не сомневалась ни секунды. Однако даже при одной только мысли о том, что же она мне скажет, я впадала в ступор, словно была сопливой восемнадцатилетней девчонкой. Как только я чувствовала, что она уже готова вытащить своего туза из рукава, я подбрасывала и следующий вопрос. "Елена, но что же все-таки случилось в Каламате? — спрашиваю. — Что это вдруг она вскочила и бросилась прочь? Вы поругались?" Где-то в темноте Елена тяжело вздохнула. "Представляю, что она тебе наговорила! Господи, упокой ее душу, но она всегда меня не переваривала. Моему же собственному ребенку рисовала меня хуже черта. В тот день, когда она уехала, мимо проходил зеленщик, который продавал свежих фиг. Был август. Я вышла и купила кило с лишним и, пока мы сидели во дворе, дала ей и детям по несколько штук. Но ей показалось, что Анне я дала больше, якобы ее я люблю больше, чем Акиса, и она пустилась в крик. Но опять же ничего бы не случилось, если бы он сам ей не сказал: 'Ну что ты, бабушка, за меня переживаешь? Если я захочу еще, то вот же тарелка, я сам возьму!..' И ее так задело, что даже обожаемый внук не принял ее сторону, что она попыталась покончить

с собой. Она, видишь ли, приехала в Каламату с безумной целью забрать его с собой..."

"А подвеска? Правда, что ее украл покойный Димитрис?" — "Так она и *это* тебе рассказала? — поразилась Елена. — Ну конечно, он ее взял. Полицейские нашли ее у одного скупщика краденого, он ее продал ни за понюшку табаку, Господи, прости его..."

Хотя было темно и я не видела ее лица, но по тому, как она говорила, я поняла, что это правда. "В конце концов, — решилась, наконец, она, — давай уже оставим все это прошлое мертвым, что их теперь судить. Поговорим лучше про настоящее и про будущее. Вот что я хочу тебе сказать..." Ну вот, обреченно подумала я, началось. "Я, — продолжала тем временем Елена, — не умею говорить так живо, как моя мать, я, знаешь ли, немного провинциальна. Мы в Афинах не росли, и если мне есть что сказать, говорю без обиняков. Мы тут с Тодоросом и Поликсеной поговорили... В общем, мы были бы счастливы сделать тебя нашей невесткой!.. Не отвечай сразу же. Подумай хорошенько и скажи все завтра утром".

Я была счастлива, что темнота скрывает мое волнение и румянец. Но мне не нужно было больше думать. За последние несколько дней я подумала об этом не один, но сто раз, и взвесила все "за" и "против". Я прекрасно осознавала, какой визг поднимут и моя дочь, и тетя Катинго, и многие наши родственники и знакомые, но у меня не было ни малейшего желания строить свою жизнь исходя из пожеланий посторонних людей. С надеждами на дочь мне давно пришлось распрощаться. Кира Экави была права, стоит попасть в ее руки, она меня живьем зажарит. С другой стороны, мои золотые фунты кончились, как раз в этом месяце мы доедали последний. Половину леса я продала, а вторую половину украли, когда кто-то залез на склад во время декабрьской неразберихи. Все, что у нас осталось, это дом, но или следовало снова его сдать и продолжать жить как беженке вдвоем в одной комнате, или продать и обглодать до последней косточки. Но это, что бы там эта ошибка природы ни бурчала, я делать не собиралась, не из-за себя, но ради нее. Чтобы у нее хоть что-то осталось, когда я навеки закрою глаза. Такая сонная и бестолковая, если она останется одна и даже дома у нее не будет, она точно превратится в уличную попрошайку. И потом, думала я, может, Тодорос и не сказочный принц. Теперь, когда я лучше его узнала и мы стали куда ближе, я увидела, что покойница была права: он человек высокомерный и немного ограниченный. Но ведь и я уже не юная девица и уж точно не красавица. "Да что тут думать, — говорю Елене. — Что я тебе скажу утром, то же могу сказать и сейчас. Единственное препятствие — что он захочет детей, а я уже не смогу..." Менструация, измучившая меня в те дни, что я была в клинике, оказалась последней. "Ах, дети! — промурлыкала Елена. — Дети не потребуются. Чем меньше потомства оставит лонгово семя, тем лучше для мира!.."

Через месяц после свадьбы мы отправились в дом покойницы, он, Поликсена и я, чтобы поделить вещи. Мебель нам была не нужна. Мы с Тодоросом договорились отдать ее Поликсене. Взяли только несколько фотографий в рамках, одну — с самой кирой Экави, другую — с моим свекром, ту самую, где он был снят в форме партизанского командира

времен Македонской войны, и холст с портретом короля Константина — именно тот, что вместе с фотографией Метаксаса заставлял ее теперь уже тоже покойного брата Мильтиадиса злобно сплевывать на пол. Взяли мы еще и красное покрывало с ворсом, пару к тому, что украл Димитрис, вышитую скатерть и большую пепельницу из устричной раковины с видом Акрополя внутри. "Возьмите и снаряды дяди Мильтиадиса!" — сказала Поликсена, считавшая, что Тодоросу они принадлежат по праву. "Снаряды! Избавь меня от этого, — прошептала я, чтобы не услышал Тодорос, слонявшийся из комнаты в комнату. — Пошли их Елене..."

Забравшись на стул, я одну за другой снимала со стены и передавала Поликсене иконы: святого Димитрия, ту самую, что треснула, когда она родила своего сына, святого Фанурия с подделанной датой рождения Поликсены и святой Анастасии Узорешительницы. Теперь, после стольких лет чисток губками и содой, стала исчезать и сама "Экави"... Я вспомнила историю чуда: "Святая моя Анастасия, что же ты предсказала мою погибель, да не смогла ее отвратить?" Но чем тебе поможет святая, Нина, чем тебе сам Господь Бог поможет, если сам ты сидишь сложа руки? Меня предупредили. Только в моей власти было раскрыть глаза и принять меры..." Бедная кира Экави! Она не была дурочкой. Знала свои недостатки. Но у нее были слишком слабые нервы, я всегда ей об этом говорила: "У тебя слабые нервы, постарайся быть поприземленней". Но она не послушала. Некоторые люди носят в себе зерно собственной гибели. Несмотря на весь свой ум, она не умела смотреть жизни в лицо хладнокровно и опираясь на логику и поэтому все время падала с небес на землю.

Но в тот день у меня не было особого настроения сидеть и вспоминать прошлое и мертвых. К тому же ее смерть была еще слишком недавней. Иной раз мне казалось,что она вовсе не умирала, что она уехала в путешествие, и я не только не оплакивала ее тогда, но зачастую ловила себя на мыслях эгоистичных и полных цинизма — как это было, когда умер Андонис и я постоянно думала о фунтах. Уф, говорила я самой себе, хорошо все-таки, что она умерла. Будь она сейчас жива, я бы не вышла за Тодороса, и уж такой он там или не такой, но что бы мы без него делали, и не знаю! Должны были пройти все эти годы, чтобы я начала по ней скорбеть. Чтобы я поняла, что потеряла единственного человека, если не считать покойного папу, который чуть-чуть понимал мою душу и который много чему научил меня в этой жизни. *Поэтому* я так бешусь сейчас, когда эта человекоподобная мерзость начинает ее поносить.

Спрыгнув со стула и держа в руках последнюю икону и красную лампадку, я услышала громкие рыдания, доносящиеся из кухни. Мы с Поликсеной обменялись многозначительными взглядами. "Не ходи туда, — прошептала я. — Пусть поплачет". Это был первый — и последний — признак того, что, как говорится, он был в курсе того, что его матери и брата больше не было среди живых! Такой вот у него странный закрытый характер. Когда он, наконец, вернулся в комнату, у него на лице и следа не было, что этот человек только что плакал. И когда мы вернулись домой, он был в таком прекрасном настроении, как очень редко после того. Ах, подумала я, бедная, бедная кира Экави! Ты говорила,

что, когда тебя не станет, они придут и ногтями раскопают твою могилу. И это тоже было одной из твоих многочисленных иллюзий. Правда же в том, что живые забывают, увы, тех, кто умер.

Не успели мы войти в нашу кухню, как он начал принюхиваться, смешно сморщив нос, чтобы догадаться, что стоит в плите. "Тебе понравится, лысик мой", — говорю я ему. Я ласково называла его "лысиком". И это я-то, я всегда высмеивала лысых мужчин, а вот теперь меня это ничуть не смущало. Он радостно потер руки, прямо как ребенок. И он тоже — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить — обжора и чревоугодник, как Андонис. Я до краев положила ему в тарелку мусаки, и он накинулся на нее, как стая голодных волков.

С тех пор прошло шесть — почти семь лет. Если бы я сказала, что довольна своей жизнью, это была бы ложь. Тодорос, несмотря на все свое ворчанье и странности, хороший человек, но что в том толку, если мы живем на одну зарплату? Моя дочь превзошла все мои даже самые мрачные ожидания. Она не упускает случая, чтобы поиздеваться надо мной и превратить мою жизнь в сплошной кошмар. Я часто ощущаю и в собственной душе, и вокруг себя ту самую ужасную пустоту, как в те дни, когда мы ждали, что немцы вот-вот войдут в Афины. И думаю: вот за *это* мы воевали? Ради *этого* пролилось столько крови? Иногда я сижу и начинаю сомневаться, а вдруг Петрос все-таки был прав. Может быть, так или иначе, но все-таки было бы лучше, если бы в Гражданской войне победили коммунисты? Кто знает! Может, наша жизнь и изменилась бы чуть-чуть к лучшему. В то время как сейчас — зубы есть, да нечего есть. Бедный по-прежнему голодает, и единственное, что ему дозволено, да и то в виде большого одолжения, это оплакивать горькую судьбинушку, распевая рембетику, которая деградировала ныне дальше некуда:

Чертова жизнь, чертов народ и чертово общество...

и оплакивая свою участь — а что еще остается, если нельзя ее изменить? — чтобы толпы американцев (а в последнее время и некоторые немцы) могли поглазеть на него, как на зверей из зоопарка.

Но, в конце концов, а бывает ли человек доволен? Что действительно имеет значение, так это то, что ты жив и здоров. А я сейчас, слава богу и к великому разочарованию моей дочери, чувствую себя живее и здоровее, чем когда-либо прежде. Даже купила краску для волос. Раз мне это разрешает мой муж, плевать я хотела, что по этому поводу скажет моя дочь и иже с ней.

На днях получила письмо от Клио. Бедняжка Клио! Она меня не забывает. Они уехали из Олдрингама и живут теперь в Лондоне. Берта вышла замуж за летчика из гражданской авиации, и у них родился мальчик. Уилли ушел на пенсию и, как пишет Клио, теперь целыми днями играет в гольф. Ах, если бы я была птичкой и могла бы слетать повидаться с ними, мы бы снова разложили покерок, чего бы мне очень хотелось, да и я бы, наконец, посмотрела, *каков* же мир за пределами Греции! Действительно ли там все по-другому, как рассказывают, или везде одно и то же?

Но все это чепуха, сон в летнюю ночь! Даже и теперь, когда закончилась наконец эта разбойничья война и каждый может с легкостью отправиться за границу, пока у меня на шее сидмя сидит этот трутень, эта Горгона, которую мне приходится кормить и одевать, нет никакой надежды, что нам хоть червонец удастся отложить не то что на Лондоны и Парижи, но хотя бы на две недели в Корти. Не говоря уже о том, что Тодорос не из тех, кто легок на подъем. Он ни в чем не похож на свою мать. Как член Союза журналистов он мог бы путешествовать по всей Европе чуть ли не даром. Но он даже и не думает трогаться из этих чертовых Афин. Скучный человек. И с возрастом становится только хуже. Хотя я не раз и не два говорила ему, что познакомилась бы с какими-нибудь интересными людьми, он взял да и уволился из газеты. Разорвал все свои связи в журналистском мире. Его, видите ли, от них тошнит. Работает только по утрам в какой-то компании, а по вечерам просиживает в той же кофейне, в которую ходил покойный Андонис, и играет в преферанс с пенсионерами. Или идет в гости к Ирини и играет в нарды с ее мужем. Нет чтобы ходить в компании своих друзей, им он предпочитает мою родню. Настолько, что я ему даже как-то сказала: "Слушай, Тодорос, дорогой, ты мне не скажешь, у тебя вообще друзья когда-нибудь были?"

Даже в Халандри нужно его на аркане тащить. Но это, по правде говоря, не из-за того, что его пугает расстояние, — Сотирис действует ему на нервы.

В последний раз, когда мы там были, Тодорос вдруг встал, надел шляпу и ушел — увидел, что Сотирис носит пижаму *поверх* кальсон.

"Да тебе-то что до этого? — поинтересовалась я, вернувшись домой. — Ну что тебе до того, что делает Сотирис? Да хоть бы он в фуражке спал! Ты туда едешь не за Сотирисом, а чтоб сестру повидать".

Конечно, все мы понимаем, что Сотирис деревенщина и иногда глуп до отвращения. Но это что, я вас умоляю, причина туда не ездить и не видеться с собственной сестрой, доводя ее до слез? Что вам сказать, я в таких вопросах мягче. Я с кем хочешь договорюсь. Иной раз сяду на автобус и поеду к ним сама, чтобы хоть ненадолго свободно вздохнуть и не видеть рожи моей дочери. Меня не волнует, что там Тодорос себе думает. Я только знаю, что Сотирис, глупый не глупый, вульгарный не вульгарный, зато очень хороший муж для Поликсены. И она с ним что хочет, то и делает. Она оказалась счастливее всех нас. Единственная ее печаль, что нету у них детей. "Знал бы, что ты бесплодна, — говорит он ей, — через это бы тебя не взял. Я бы поехал в деревню и завсегда бы нашел себе здоровую крепкую девку!.." В такие моменты Поликсена мне подмигивает. Конечно, она же не может ему сказать: у меня-то есть доказательства, что я не бесплодна, это *ты* пустой! "Ну, кто ж тебе теперь виноват? — смеется она. — Надо было, прежде чем на мне жениться, сначала опробовать!.."

Елена теперь живет в Афинах. Ее дочь, не успев закончить гимназию, познакомилась с инженером-строителем, из хорошей семьи, он в нее влюбился и женился ни о чем не думая, без приданого, без денег, безо всего. Они живут все вместе на Плаке, в красивом доме возле церкви Спасителя, и уже у них родился мальчик. Но мы очень редко видимся.

Елена холодна со мной. Обиделась, что мы ничего ей не дали из вещей киры Экави, можно подумать, это я там командовала, тоже мне сокровища Али-Бабы. Я дважды говорила Поликсене, что надо что-то отправить и Елене, просто так, чтобы была и у нее вещь от матери. Ума не приложу, почему теперь я во всем виновата оказалась.

Но Акиса я часто вижу. Он приходит как минимум два раза в неделю и ужинает вместе с нами.

"Даже если бы ты и не вышла замуж за моего дядю, — говорит он, — я бы все равно приходил. Мы с тобой старые друзья..."

Я частенько смотрю на него и не могу поверить, что этот молодой мужчина и есть тот самый крошечный мальчик, который вязал шарфы и шапки для солдат. Ясное дело, что, как и у всех Лонгосов, и у него есть свои странности: вместо того чтобы заняться чем-нибудь серьезным, стать врачом или инженером и зарабатывать кучу денег, он во что бы то ни стало мечтает выучиться на художника! В позапрошлом году поступил в Школу изящных искусств, а в прошлом получил вторую премию в своей группе. Ммм, у него есть талант, ничего не скажу. В конце концов, то, что он делает в Школе: старые афинские дома, пейзажи и натюрморты — написаны с большим вкусом, содержательны, ты их понимаешь. Но когда он приходит и показывает мне какие-то современные глупости, которые пишет дома, мы начинаем грызться.

Я, конечно, не специалист, но кое-что в этих делах понимаю. В юности я часто ходила на художественные выставки в "Парнассос". Папа был близким другом Талии Флоры-Каравиа. И она обязательно присылала нам приглашения на свои вернисажи и продолжала присылать еще два или три года даже после его смерти. Вот *она* была художницей! Это вам не бездарная мазня современных творцов. "Но послушай, Акис, — говорю я ему постоянно, — скажи мне, пожалуйста, ну ты что, совсем псих? Да где это видано, чтобы нос был под подбородком?" — "А я так вижу", — отвечает он. Или: "А так ты будешь выглядеть, когда умрешь". Хотя в большинстве случаев он и вовсе не удостаивает меня ответами. Только качает головой, снисходительно улыбаясь: да ну его, объяснять этим старикам...

Одну из таких картин, кипящую черными, желтыми и голубыми пятнами, он имел нахальство представить на выставку в Заппионе, он подписал ее: "*Греза: моя бабушка!*" Тодорос все больше из-за ядовитого языка Марии запретил нам даже упоминать имя покойницы. Так вы понимаете, как он разъярился, когда узнал об этом. Два месяца с ним не разговаривал. Я, разумеется, понимаю порыв Акиса. Он-то ее помнит лучше всех нас. Она же его вырастила, была ему лучше матери. Как она его любила! "Ребенок моего ребенка, — говаривала она, — дважды мой ребенок". И однажды, когда она рассказывала, как помешала Елене сделать аборт, повернулась, помню, к нему и говорит: "Если бы не я, господин мой, тебя бы сейчас на свете не было". "Ты помнишь это, Акис?" — спросила я его на днях. Он помнит. И тоскует. Он никогда не говорил мне об этом открыто, но я очень хорошо его понимаю. Его мучает совесть, что он оставил ее совсем одну в Афинах и уехал к своей матери. Если бы ее не покинул и он тоже, было бы ей кем заниматься и кому готовить, может, она бы и ела лучше, может, не заболела бы уремией, может быть, не умерла бы...

Позавчера, прочитав в каком-то журнале статью про гипноз, я вспомнила историю с дядькой Никосом, которая стала предлогом для изгнания из дома ее бедного брата. "Слушай, Аки, — спросила я, — а дядька Никос вправду тебя загипнотизировал?" — "Шутишь, что ли? Я *притворился*, что он меня загипнотизировал". — "И о чем он тебя спрашивал?" — "Ну, он сказал мне, чтобы я поднялся на небо и спросил у Бога, оправдают ли дядю Димитриса. 'Ты Его видишь?' — говорит он ok. 'Вижу'. — 'Во что Он одет?' — 'На Нем красная мантия, Он сидит на золотом троне, а трон стоит в облаках, белых как вата...' — 'Он Один?' — 'Да. Один...' 'Спроси Его: оправдают ли моего дядю Димитриса?' Я не знал, что сказать. 'Он не отвечает', — говорю ему. Но он настаивает, козел: 'Спроси Его еще раз'. 'Что сказал? Оправдают?' 'Мм...д.. да. Оправдают'. Он начал молиться. А когда закончил, говорит: 'Теперь я досчитаю до трех и как только я скажу ффффф!, ты проснешься и не вспомнишь ничего из того, что видел'".

На святых Феодоров мы похоронили и тетю Катинго. Когда я вернулась с кладбища, поднялась на крышу, чтобы немного побыть одной. Я не оплакивала ее. Хотя она была старше моего отца на восемь лет, прожила на целых шестнадцать дольше. Если я и сочувствовала ей в чем-то, так это в том, что она ни одного дня не прожила полной жизнью, так, как я понимаю жизнь. Никогда ни о чем не беспокоилась, никогда ни в чем не сомневалась. Кира Экави, может, и перенесла страдания Иова, может, и была слегка невротичкой, но зато она была живой. Она была одним из тех людей, кто оставляет после себя что-то, кого не так легко забыть. А тетя Катинго жила и умерла как растение. Ее единственной печалью, да и то она не воспринимала это слишком трагически, было то, что она так и не успела увидеть Петроса прежде, чем закрыла глаза навеки. И Такис сделал все, что мог, через Генштаб, и Тодорос пытался надавить через своих знакомых в Министерстве внутренних дел, чтобы Петросу позволили приехать с Макронисо хоть на несколько часов, под охраной, но ничего не вышло.

Я откинулась на спинку скамейки и безмятежно разглядывала жимолость во дворике у Ноты. Она начала цвести. Серебристый тополь во дворе соседнего дома, который в сороковом дорос до нашей крыши, теперь уже вымахал на все пять метров выше и почти полностью закрывал вид на Ликавиттос. Я смотрела на его листья и только сейчас поняла, какие они странные: как двусторонняя ткань! Чертовы деревья! — подумала я. Покойница и в этом была права: они умирают и возрождаются, умирают и возрождаются. И только мы, когда умираем, уходим навсегда...

"Чтоб ты сдохла! — заявило мне сегодня это фотисовское отродье. — Ты сдохнешь! Сдохнешь, как подохла твоя свекровь-прачка! А вот Елена живет и процветает!" — "Моя свекровь, — отвечаю я ей, — конечно, сдохла, и возможно даже, что и в полном одиночестве, но совсем не из-за того, что ты там себе напридумывала своим куцым умишком. Все люди умирают в одиночестве. Что же до Елены, то, хм, может, она живет, но вот процветает ли, это только одна она знает. Но даже если и так, не тебе с Еленой равняться. И не думай, что если она прожила свою жизнь так, как она ее прожила, то ты лучше. Наоборот. Если бы, — продолжила я, — ты только была *хотя бы* и как Елена. Она вышла замуж, родила

двоих детей и бросила мужа, когда была помладше тебя. И правильно сделала, если он таким ничтожеством был. И она когтями выцарапывала у жизни свое. Всегда сама. Она бы никогда не согласилась жить на шее у матери и отчима, как ты! Если есть у тебя хоть капля достоинства, давай, и ты сделай то же самое. Конечно, подвиги Елены тебе не светят, с такой-то красотой и приятным нравом, так что и речи нет, что ты на своей роже кучу денег огребешь. Но найди приличную работу, пойди продавщицей, работницей, чтобы и ты хоть что-то приносила в этот дом. Сколько же это может продолжаться, чтобы я тебя содержала — до старости, что ли?! И не торопись, голуба, — добавила я, — готовиться к моим похоронам. Может, это я тебя похороню. У меня кость крепкая. Глядишь, я еще и до ста протяну... Был бы только муж мой жив и здоров, мы бы вместе потихоньку старели, опирались бы друг на друга и в горе, и в радости, и в зрелости, и в старости и прогуливались бы под ручку в парке, как и все старики". К несчастью, последние анализы оказались не очень-то хорошими: слишком высокий сахар, а учитывая тот прискорбный факт, что он обжора и не уступит в этом ни на йоту, похоже, ничего хорошего нам не светит. Надеюсь, Господь обнесет меня этой чашей — это уж было бы слишком. Но если не дай бог случится что-то и с ним, то попы, как я слышала, разрешают и четвертый брак, так что я вполне могу выйти замуж и еще разок. "И не потому, что мне так уж этого хочется, — говорю ей, — только чтобы тебе насолить!.."

Ирина Ковалева

От "поколения титанов" к "поколению уединенной лампады": греческая поэзия второй половины XX века

Так сложилось, что в современной греческой литературе поэзия куда более авторитетна, чем проза. Отчасти дело здесь в том, что греки действительно очень любят поэзию: иногда кажется, что каждый второй пишет стихи, а каждый третий — печатает; звание "поэта" — одно из самых престижных в Греции, и часто бывает, что люди не довольствуются вполне заслуженной славой хорошего критика, эссеиста, философа или, например, адвоката, а стремятся обязательно выпустить книгу стихов. Отчасти дело в обаянии знаменитого "поколения 1930-х годов", к которому принадлежат два Нобелевских лауреата — Георгос Сеферис (1900—1971) и Одиссеас Элитис (1911—1996), Яннис Рицос (1909—1990), лучше других знакомый нашему читателю, знаменитые греческие сюрреалисты Никос Энгонопулос (1910—1985) и Андреас Эмбирикос (1901—1975)... Эти поэты, помимо прочего, отличались завидным творческим долголетием: так, О. Элитис последнюю книгу ("Западнее печали") выпустил в 1995 году, незадолго до смерти[1], а последний сборник стихов Я. Рицоса "Поздно, поздно ночью" вышел в 1991 году, уже после смерти поэта. Если учесть, что в том же 1991 году была опубликована еще одна (предпоследняя) книга Элитиса, — "Элегии порога", ставшая заметным поэтическим событием, — то можно сказать, что по крайней мере первая половина 1990-х годов отмечена неослабевающим влиянием этого "поколения титанов".

Мильтос Сахтурис (1919—2005) был последним из "великих". В своем поколении он был младшим[2] и держался наособицу. Его часто причисляют к сюрреалистам; он *дружил* с ними, его первые публикации состоялись при непосредственном содействии Элитиса (в знаменитом в свое время журнале "Новая литература", 1944) и Энгонопулоса (первая книга "Забытая", 1945), но Сахтурис — создатель своего, уникального, поэтического мира, по-своему преображающий архаический миф[3]. Сахтурису принадлежат 14 книг стихов и два собрания стихотворений —

© Ирина Ковалева, наследники, 2008

1. В 1998 г., уже посмертно, вышла еще одна книга Элитиса — "С близкого расстояния". Об Элитисе подробнее см. раздел "Из классики XX века" в настоящем номере.

2. Нужно сказать, что некоторые греческие критики причисляют Сахтуриса к "военному" (или даже "первому послевоенному") поколению. И хотя, действительно, его первая книга вышла в 1945 г. — тогда же, когда и первая книга Манолиса Анагностакиса, — идеологически и стилистически Сахтурис тяготеет к "поколению 1930-х". Точно так же Г. Павлопулос (р. 1924, см. "ИЛ", 2005, № 1), чья первая книга вышла в 1971 г. (хотя первая журнальная публикация — в 1943 г), хронологически принадлежит к "военному поколению", но во многом продолжает традиции поэзии Г. Сефериса.

3. См. И. Ковалева. Герменевтика мифа: Мильтос Сахтурис. Голова поэта // Новое литературное обозрение, 2003 № 61. С. 98 — 102.

первое вышло в 1977 году под заглавием "Стихи 1945—1971 гг.", второе — "Стихи 1980—1998 гг." — увидело свет в 2001 году. Дважды — в 1962 и 1987 годах — Сахтурису присуждалась Государственная премия в области поэзии (за книги "Отметины" и "Эктоплазмы", соответственно). Стихи Сахтуриса переводились на английский, французский, итальянский, немецкий языки; в 2003 году вышло довольно представительное издание на русском[1]. Для настоящей публикации мы выбрали стихи из самой первой и самой последней книг Сахтуриса. В упомянутое выше издание 2003 года вошло всего по одному стихотворению из этих книг.

В Греции принято делить поэтов на "поколения". Вслед за блистательным "поколением 1930-х" на поэтической сцене появляется так называемое "военное поколение" — это те, кто успел поучаствовать в Движении Сопротивления в годы Второй мировой войны, сидел в тюрьмах и лагерях во время гражданской войны 1946—1949 годов — и примерно тогда же или чуть позже (почему это поколение называют еще "первым послевоенным") издал свои первые книги. Среди наиболее известных имен — Такис Синопулос (1917—1981)[2], Титос Патрикиос (р. 1928)[3], Гектор Какнаватос (р. 1920)[4], Костас Стериопулос (р. 1926)[5] и др. Но самый, наверное, яркий голос этого поколения — **Манолис Анагностакис** (р. 1925)[6]. Хотя слово "яркий" здесь не очень годится: эти поэты как раз противопоставили себя своим предшественникам намеренным отказом от "поэтичности", каких бы то ни было украшений слога — прямой и жестокий опыт смерти, с которым они столкнулись лицом к лицу (Анагностакис в конце гражданской войны, в 1949 году, был приговорен — за то, что сражался не на победившей стороне, — к смертной казни, которую заменили тремя годами тюремного заключения) требовал (по крайней мере так им представлялось) сухой, нейтральной интонации, самых простых, повседневных слов. Характерно, что если сборники Сахтуриса назывались, например, "Призраки Спектра, или Радость на другой улице" (1958), "Цветораны" (1980), то первая книга Анагностакиса называлась "Времена" (1945), вторая — "Времена-2" (1948), третья — "Времена-3"... В 1971 году в Салониках было издано собрание его стихотворений "Стихи 1941—1971 гг.", выдержавшее 10 переизданий. Несколькими изданиями вышли также сборники "Антидогматическое" (1978) и "На полях" (1979). Анагностакис — поэт, который как будто "не дается" нашему читателю: очень долго отношение к нему (и, соответственно, возможность переводить его и печатать) зависело, как теперь говорят, от "экстралингвистических" обстоятельств. В 1970 году Анагностакис, вместе с Сеферисом, Такисом Синопулосом и некоторыми другими поэтами и прозаиками, опубликовал несколько своих стихотворений в знаменитом антидиктаторском сборнике[7] "Восемнадцать текстов"[8]. За этим последовало издание нескольких переводов его стихотворений в СССР — в сборнике "Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы. Греция" (1970), — там, между прочим,

1. Мильтос Сахтурис. Голова поэта / Перевод И. И. Ковалевой, С. Б. Ильинской. Вступ. ст. И. И. Ковалевой, Д. А. Яламаса. – М.: ОГИ, 2003. Во вступительной статье к этой книге биография поэта изложена довольно подробно; в той же вступительной статье и в послесловии охарактеризована и его поэтика.
2. См. "ИЛ", 1971, № 11. Перевод Ю. Мориц; "Геракл и мы". Перевод С. Ильинской, Ю. Мориц. – М.: Радуга, 1983.
3. См. Литературное Обозрение, 1997, № 1. Перевод С. Ильинской. Греция; Поэзия. Из "послевоенного поколения". Перевод Евг. Смагиной. – М.: Индрик, 1998.
4. См. "Геракл и мы". Перевод А. Ревича; Греция. Поэзия. Из "послевоенного поколения". Перевод Евг. Смагиной.
5. См. "Геракл и мы". Перевод С. Ильинской.
6. См. "ИЛ", 1971, № 11. Перевод Ю. Мориц, С. Ильинской.
7. Речь идет о так называемой "диктатуре черных полковников" (1967–1974).
8. См. "ИЛ", 1971, № 11. С. 64–69.

одним из переводчиков Анагностакиса был Иосиф Бродский[1]. Во 2-м номере "ИЛ" за 1973 год была опубликована рецензия С. Б. Ильинской на собрание стихотворений Анагностакиса "Стихи 1941—1971 гг.". Но к началу 1980-х картина резко изменилась: у себя на родине поэт разошелся во взглядах с той ветвью коммунистической партии, которая тесно сотрудничала с КПСС, здесь его стали считать "еврокоммунистом" (интересно, многие ли сейчас помнят, что это такое?) — и, соответственно, на издание стихов Анагностакиса был наложен негласный, но непреодолимый запрет... Следующая публикация стала возможной лишь в 1997 году — тогда в подготовленном мною специальном выпуске журнала "Литературное Обозрение", посвященном греческой литературе, было напечатано несколько стихотворений Анагностакиса в переводах С. Б. Ильинской. Для нашей антологии я выбрала тексты из одной из последних книг поэта — "P. S." (1992).

Кики Димула (р. 1931)[2] принадлежит к так называемому "второму послевоенному поколению"[3]. Казалось бы, разница в возрасте небольшая — но за ней скрывается принципиально иной для греческих реалий опыт. Суть этой разницы хорошо сформулировал тот же Манолис Анагностакис: "Ты старше меня всего на семь лет — а вот успел повоевать в Испании"[4]. Юность "второго послевоенного поколения" пришлась не на героическую эпоху борьбы с фашизмом, а на страшное время гражданской войны. Можно сказать и по-другому: 15-16-летние мальчики эпохи Сопротивления могли уходить в горы, сражаться с врагом рядом со взрослыми... 15-летние девочки в эпоху гражданской войны должны были сидеть дома. На их долю в более поздние годы достались другие испытания — военная хунта 1967—1974 гг., восстание студентов Политехнического в Афинах, подавленное танками (1973)... Но у них был и выбор — не уйти с головой в политику, а сосредоточиться на своем внутреннем мире. Неслучайно наиболее яркое выражение опыт студенческих волнений нашел в творчестве старшего поэта — Одиссеаса Элитиса, в его драматической поэме "Мария Нефели" (1978)[5].

Кики Димула выбирает другой путь — рефлексии, на первый взгляд, над частными, иногда даже — сугубо личными проблемами, сквозь которые, однако, просвечивают вопросы экзистенциальные и даже онтологические. Только исследуются они без всякого пафоса, и то, что говорится, говорится негромким, чуть отстраненным голосом... Также и биография Кики Димула лишена какого бы то ни было пафоса: двадцать пять лет она проработала в банке. Была замужем за известным поэтом Атосом Димуласом, после его смерти (в 1985 году) многие ее стихи обращены к его памяти. Выпустила 10 книг стихов, трем из которых присуждалась Государственная премия в области поэзии. Одна из наиболее читаемых и популярных в Греции поэтов.

На годы диктатуры приходится и дебют того поколения, которое "задает тон" в сегодняшней греческой поэзии, — это так называемое "поколение 1970-х"[6].

1. Этот перевод перепечатан в кн.: В ожидании варваров. Мировая поэзия в переводах Иосифа Бродского. – СПб., 2001.
2. См. Греция. Поэзия. Из "послевоенного поколения" / Перевод Евг. Смагиной. – М.: Индрик, 1998.
3. К нему относят также таких поэтов, как Динос Христианопулос, Маркос Мескос, Маттеос Мунтес, Нана Исаиа (см. "Геракл и мы". Переводы А. Величанского, В. Лунина, А. Ревича, Ю. Мориц), Манос Элефтериу и др. Заметим, что ряд влиятельных греческих критиков не выделяет "второе послевоенное поколение" как нечто отличное от "поколения 1970-х", или различает их только в отношении прозаиков.
4. Перевод мой.
5. См. раздел "Из классики XX века" в настоящем номере.
6. Наиболее значительные поэты этого поколения – Яннис Кондос (р. 1943), Дзени Масторакі (р. 1949), Лефтерис Пулиос (р. 1944), Насос Вагенас (р. 1945) (см. "Геракл и мы". Переводы С. Ильинской, Ю. Мориц), Михалис Ганас (р. 1944) и др.

Бурных биографий мы здесь не найдем, напротив: эти поэты, получив филологическое, экономическое или иное образование, занимаются, наряду с писанием стихов, переводами, научными изысканиями, ведут критические рубрики в газетах и т. п. Бороться им пришлось уже не с врагами, а с предшествующей и современной им поэтической традицией. Не стоит думать, что это легко: ко времени их активного вступления на поэтическую сцену и еще долго после "титаны" "поколения 1930-х" были в полном расцвете сил и публиковали книгу за книгой; недаром известнейший греческий критик Д. Маронитис сравнил поколение Рицоса и Элитиса с титаном Кроносом — отцом олимпийских богов, который, согласно древнему мифу, пожрал своих детей. Часто оказывалось, что открытия в области выразительных средств, которые, казалось бы, надлежало сделать молодым поколениям, уже сделаны в новых книгах 60-летних, 70-летних, 80-летних "титанов"; практически каждая из этих книг надолго становилась поэтическим событием, которое обсуждала вся страна. Кроме книг активно продолжавших писать Элитиса и Рицоса, в 1980-е годы посмертно публикуются написанные значительно раньше, но долго лежавшие в архиве тексты главы греческих сюрреалистов — Андреаса Эмбирикова (1901—1975): "Октана" (1980) и "Сегодня как завтра и как вчера" (1984)[1], которые также стали предметом бурного обсуждения критиков — и пристального внимания поэтов и читателей. Что оставалось делать молодым поэтам? Вынести на первый план подчеркнуто-личное: здесь принято говорить не "от имени страны", или "от имени поколения", или хотя бы от имени какой-то группы; здесь говорят "от себя". Недаром поэт и критик Костас Стериопулос окрестил это поколение "поколением уединенной лампады". На помощь приходит ирония — и возвращение к самым истокам новогреческой поэзии: к народным песням и фольклору византийских и поствизантийских времен, диалог с новогреческой классикой — и с европейским модернизмом.

Два самых ярких имени этого поколения, в поэзии которых отразились две основные вышеназванные тенденции: Михалис Ганас и Насос Вагенас. **Михалис Ганас**[2] (р. 1944) родился в северной, гористой и сумрачной области Греции — в Феспротии, но с восемнадцати лет живет в Афинах. Работал книготорговцем, редактором литературных программ на телевидении, писал рекламные тексты... Но, главным образом, конечно, писал стихи. Ганас — поэт немногословный; его дебютный сборник "Акафистная вечеря" вышел в 1978 году, и с тех пор к нему присоединилось всего три нетолстые книги — "Черные камни" (1981), "Стеклянная Яннина" (1989) и "Баллада" (1993) да сборник коротких прозаических текстов, балансирующих на грани стихотворений в прозе, "Родина-мачеха" (1981)[3], но каждая из этих книг выдержала по четыре, пять, шесть изданий — для Греции это очень много. Книги Ганаса неоднократно переводились на немецкий и французский языки, а отдельные стихотворения — и на другие. За сборник "Баллада" Ганас был удостоен Государственной премии в области поэзии. Название это — "баллада" — непростое: греческое слово, стоящее в оригинале (paralogi), отсылает не к европейским балладам, а к особому жанру новогреческого фольклора, и буквально означает народную песню с фантастическим сюжетом. В таких "балладах" часто повествуется о воскресших на время мертвецах, о роковых событи-

1. В 1977 г. вышло двухтомное собрание "Стихотворений" другого виднейшего сюрреалиста – Н. Энгонопулоса (1910–1985). С конца 1950-х гг. Энгонопулос практически перестал публиковать стихи и целиком посвятил себя живописи.
2. См. "ИЛ", 1988, № 7. Перевод С. Ильинской.
3. В 1993 г. Михалис Ганас, совместно с Д. Капсалисом, Г. Коропулисом и И. Лагиосом, выпустил книгу "Букет. Стихи и песни" (некоторые стихи Ганаса положены на музыку известными греческими композиторами).

ях и чудесных спасениях, в них участвуют низшие демонические существа, вроде наших русалок и леших, и т. п. Для нашей антологии я выбрала стихи из сборников "Баллада" и "Стеклянная Яннина".

Насос Вагенас (р. 1945)[1] — тоже уроженец северной Греции и тоже с ранней юности живет в Афинах, но в остальном он — практически полная противоположность Ганасу. Вагенас — очень влиятельный филолог и критик. Получив диплом Афинского университета, он затем учился в Риме, Эссексе, наконец, в Кембридже, где и защитил докторскую диссертацию. Его исследование поэтики Сефериса, "Поэт и танцор" (1979), остается классическим в своей области; в 1980 году за эту книгу Вагенас был награжден Государственной премией в области критики. Двенадцать лет профессорствовал в Критском университете, преподавал новогреческую филологию, потом стал профессором Афинского университета, издал четыре толстых книги критических эссе... Типичная "академическая" биография. Но... за эти же годы Насос Вагенас выпустил семь книг стихов, неопровержимо свидетельствующих о том, что их автор — один из наиболее значительных поэтов сегодняшней Греции. Одна из "критических" книг Вагенаса называется "Язык иронии" (1994)[2], и в своей поэзии он щедро пользуется этим оружием, "выясняя отношения" как с классиками новогреческой поэзии — Кальвосом, Кавафисом, Кариотакисом, Сефери сом, — так и с европейской традицией, прежде всего — с модернизмом. Здесь уместно сказать, что Вагенас переводил на греческий Элиота, Паунда, Марианну Мур, Карла Сэндберга, Аполлинера, Эудженио Монтале, э. э. каммингса, Борхеса и других. Стихи самого Вагенаса, в свою очередь, переведены на многие языки. Последний сборник Вагенаса, из которого взяты предлагаемые вниманию читателя стихи, называется "Темные баллады и другие стихотворения" (2001). Здесь "баллады" совсем другие, чем у Ганаса, и слово другое, именно "баллады" (mpallantes), и отсылки — не к фольклору, а к Шекспиру и Гёте, Лафоргу и Рильке... На фоне современной греческой поэзии, пользующейся почти исключительно верлибром уже более восьмидесяти лет, Вагенас дерзко возрождает регулярный рифмованный стих (конечно, в должной мере позволяя себе, где нужно, его изрядно "расшатать") и такие формы, как сонет, "Мадригал", "Ода" и даже "Вилланелла"[3]. При всем том, ирония для поэта — не самоцель: просто свои "ума холодные наблюденья и сердца горестные заметы" он облекает в это привычное для него "Одеянье богини"[4].

В заключение стоит сказать, что в греческой критике делались попытки выделить некое "поколение 1980-х", но особенного успеха эти попытки не имели, хотя, разумеется, отдельные интересные имена на поэтической карте появляются и будут появляться. С другой стороны, именно 1980 и 1990 годы отмечены в Греции бурным развитием прозы. Об этом читатель может судить в публикуемой в настоящем номере Антологии греческой новеллы.

1. См. "ИЛ", 1978, № 1. Перевод Ю. Мориц.
2. В 1995 г. эта книга также была удостоена Государственной премии.
3. Стихотворения из сборника "Темные баллады".
4. Так называется сборник эссе Вагенаса о поэзии и критике (1988).

Мильтос Сахтурис

Перевод Р. Гузя, Ирины Ковалевой

Из книги "Забытая" (1945)

Красота

Окропил уродство красотой
взял гитару
взял в придачу реку
Напевая

Лишился голоса
его похитила безумная женщина
чья голова отрублена в алых водах
и бедный уж не может петь нет голоса
и река спокойную голову
несет с закрытыми веками

Напевая

© Miltos Sachtouris, 1977, 1988; Kedros A. E. 1977, 1988, 1998
© Р. Гузь. Перевод, 2008
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

Ночь *забытой*

Этот человек
с тяжелой речью
в ночи
без голоса
приходит зовет тебя
отрезаешь себе одну руку
забытая
приходит зовет тебя
отрезаешь себе одну грудь
забытая
приходит зовет тебя
у тебя уже нет глаз
забытая
приходит зовет тебя
идешь
забытая
на ощупь
в черных колодцах
ни поцелуя
не сожжешь
ни в колодец
не упадешь
кровь свою
не соберешь
когда он согнет тебя
своей тяжестью
отнимешь
его палец
сделаешь своей
ночь
встретишь
снова целая
снова прекрасная
рассвет

Три *любовника*

На вечерних мокрых дорогах
дымится лазоревый свет
широкая рука на сердце
шаги неровные
три любовника проходят взявшись за руки
первый

Повесил свою любовь на дереве
в полночь молится под деревом о том
чтобы любовь спустилась держась за листья
чтобы стихло буйство тающих листьев
его слезы на земле их глотает собака
любовь с ветвей бросает в него камнями
дерево завывает ветер собака

второй

Подарил свою любовь безумному скрипачу
безумный сделал из нее песню
небо льется цветами монетами
эхом вторят дороги губительной скрипке
песню любви уже выучили все
губами сросшимися посиневшими ее насвистывают
только он ее не знает

третий

Сделал из своей любви корабль
проводил его за три моря
теперь опять стал ребенком
строит песочные замки
и собирает камушки ракушки
и надеется что вернется снова
корабль любовь

В сердце своем все трое начертали дерево
скрипка над ухом сведет их с ума
и капитан играет в глубине кораллами

Рождество 1943 г.

Праздничные дни многолюдны
женщины берут в охапку зеленые ветки не плачут
и дряхлый ботанический сад[1] тащит на плечах
трех мертвых лебедей
и дети бросают крошки в небо
у праздничных дней нет морщин
в каждой слезе забытой женщины маленький Христос
агнец капелькой в ее ледяных ладонях
звездная птица заколкой в ее волосах

Перевод Р. Гузя

1. Бывший королевский, а ныне национальный ботанический сад в Афинах. (*Прим. перев.*)

Из книги "Противоход времени" (1998)

Вторжение черной бабочки на Порос

Каждый год
в августе месяце
вторгается во двор
Монастыря на Поросе
черная Монастырская бабочка
перелетает с камня на камень
дети хотят ее изловить
и не могут
это Святая Бабочка
Монастыря на Поросе
перелетает с камня на камень
всего несколько дней
а потом исчезает
чтобы опять появиться
в новом августе
Святая черная Бабочка
Монастыря на Поросе...

Паук и Святой

Большой паук снял со
стены икону Святого и стал
носить ее туда-сюда
по комнате.
И хотя икона была ему
тяжела, он волок ее потихоньку,
пока не принес опять на место,
с которого снял, повесил
ее обратно и пропал.

Черный петух

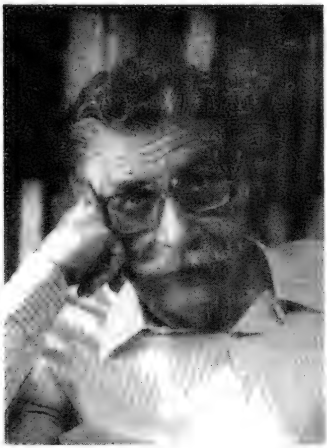
Рассмеялся
черный петух
когда ему сказали
что его зарежут
но когда пришел час
злой его час
заплакал черный петух
заплакал черный петух

Белый голубь

Сегодня прилетел и уселся
на моем подоконнике
белый голубь.
— Что тебе тут надо, — сказал я, — а
может, тебе дали неверный адрес?
— Вовсе нет, — ответил он, — ты что же думаешь,
что твой подоконник
только для черных птиц?
Прошелся два-три раза туда-сюда,
нагадил и улетел,
оставив меня в изумлении!

Перевод Ирины Ковалевой

Манолис Анагностакис



Из *книги* "P. S."

Перевод Ирины Ковалевой

Он хотел стать художником, чтобы рисовать только ее руки.

Когда воскресными вечерами после матча все устремлялись в таверны рядом со стадионом, ты мчался домой — заниматься.

В еврейском квартале дети не играли с ним, потому что он не еврей.

На старых друзей смотришь с волнением, на прежних любовниц — с отвращением.

Потихоньку вокруг тебя делается пусто.

Ты больше не ждешь писем.

Ты не верил, что можно забыть, и вот забыл.

Сколько лет ты уже не слышал, как играет аккордеон...

И как сказать, что он сволочь, — ведь он двадцать лет отсидел в тюрьме...

Он не боялся смерти — по крайней мере чужой.

Старинные большие семьи во французских романах — братья и сестры, кузены-ровесники, большие загородные дома — и лето.

Восемь лет спустя он узнал, что в тот вечер у нее не работал телефон.

Сколько пустословия в одном-единственном стихе.

© Manolis Anagnostakis
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

Прошлое одной иллюзии.

Таверна называлась "Красавица Севилья".

Кальвос и Соломос[1] двадцать лет прожили в одном городе и никогда не встречались.

Ты никогда не плакала на похоронах.

Там, в старых журналах, они все теперь мертвые.

Он любил даже номер ее телефона.

Всегда есть две категории: деятели и зрители.

Помню — следовательно, существую.

В ящике стола он обнаружил тетрадь с записками отца.

Интеллектуального героизма не существует.

Мы пожили — имеется в виду: повеселились.

Изготовитель воспоминаний.

Снова дождь...

Ты старше меня всего на семь лет — а вот успел повоевать в Испании.

Сколько зла во имя гуманизма!

Искали слов — и начали лгать.

На нервы действовало то, что он непременно хотел писать слово Истина с большой буквы.

Заглавия в "Содержании", если их читать подряд, складываются в новое стихотворение — самое лучшее: без лишних слов, без болтовни, без прикрас.

Ты ведь тоже состарился.

Он искал — за словами ничего нет.

Взыскание истины — какой истины?

Какие прекрасные книги мы пишем, какие прекрасные песни поем, на каких прекрасных панихидах плачем.

Молчание.

В конце концов, они вернулись все к тем же словам: дружба, понимание, доверие.

1 Андреас Кальвос (1792–1869) и Дионисиос Соломос (1798–1857) — наиболее значительные греческие поэты первой половины XIX в. Оба были уроженцами о. Закинф, но Кальвос в действительности бóльшую часть жизни прожил за границей. Оба в ранней юности учились в Италии, но в разных местах (Кальвос — в Ливорно, Соломос — в Кремоне и Павии). Соломос жил на Закинфе с 1818 по 1828 гг., но Кальвос в это время жил за рубежом, в основном в Англии. (*Примеч. перев.*)

Кики Димула

Перевод Евгении Смагиной

По *осени...*
(Сцена в парке со статуей)

Мраморная женщина
ты лежишь немного подавшись вперед
со своего пьедестала
кажется вот-вот убежишь
а под сенью твоей тоски
на просторе полудня
спит молодой рабочий.
Рваная блуза
рассказывает о его жизни.
Мы читаем рассказ – я и ты;
и по этому случаю
тебя посещает мысль
о тленности вещей
о юности минутной
и та невероятная поэзия
когда случается
что осень
с деревьев
смотрит за движеньями души.

© Kikh Dhmoula kai Ikaros ekdotikh Etairia, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005
© Евгения Смагина. Перевод, 2008

Пусть хлынет дождь проливной,
молилась я. Пусть льет посильнее.
Тогда бы мы остались подольше
в галерее. Хороший предлог.

В глубине вывеска "Бар";
кофе, напитки,
хмельная горечь.
За ним "Швейная мастерская",
искусная перелицовка
вашей жизни,
художественная штопка
ваших пустот.
Дальше "Маклерская контора",
рынки сбыта, биржевые курсы,
продажа чувств по случаю,
вечные ценности.
А здесь, где мы остановились надолго,
витрина мелочной лавки:
разноцветные бруски мыла,
рамки для обликов постоянства,
цепочки, чтоб порвать их в неудержимом порыве,
яркие зажигалки,
чтоб загорался твой взгляд,
и бесчисленные зеркальца,
чтобы твое лицо
умножалось столько же раз.

Вот о чем я молилась.

Но ни дождь, ни ты
по моим молитвам
не приходили.

О *причине дождя*
и пользе незнакомцев
(Экскурсия в дождливые выходные)

Сегодня дождь, и тому есть причина...

Площадь этого городка
выражала великое согласие;
её захватили пустота и беззвучье...

Что ж, день был
скорее уж для таких вот мест:
"Бильярдная – Азартные игры".
Зал большой
– для больших движений судьбы –
весь пронизанный окнами
с видом на кухню
и на футбольное поле,
полон убитого времени,
полон людей из этого городка,
этого воскресенья,
с этой закрытой площади.

И полон тобою, приезжий.

Одна твоя беглая фраза –
и всё засияло сразу;
как чуждая нота с небес,
ты входишь в зал
в резиновых сапогах до колен
– каждый твой шаг, как победа –
в рубашке расстегнутой
до самого сердца,
ничуть не воскресный,
но и не будничный,
как будто затерявшийся
в глубине моих чувств.
Ты встаешь возле music box[1],
бросаешь монетку, драхму,
и чувство заиграло
"Ах, как разлука тяжела"
– ты как крушенье мыслей –
падает драхма, играет чувство
"Тихо моросит"
(вдобавок сегодня дождь
и тому есть причина)
еще драхма, еще чувство
"One day the rain came"[2]
а это на мой счет,
конечно, ведь что я такое?
Одна из главных причин
сегодняшнего дождя.

Белее белого

Большое-пребольшое дерево.
Отчий дом цикад.

1. Музыкальный автомат (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Однажды пошел дождь" (*англ.*).

Соломенные голоса цикад,
широкополая шляпа на голове полудня,
чтобы он, могучий, не сжег сам себя.

Семейственные голоса цикад.
Звуки произрастают отовсюду,
и каждая работает, как хочет:
дерево целуется со стеклом,
о струны смоляные
трутся желатиновые крылья,
солома точится на камне,
восходит ударенье на опаре тона,
с храпом скачет ритм
в галопе встречных ритмов,
наэлектризованные
пальцы ударяют
в сомнамбулические лиры
и металлические плясуны
заводят алюминиевые пляски.
Звуки произрастают отовсюду:
стрекочут крохотные швейные машинки,
шьют юбочки жаре
и свадебный наряд безветрию.
В одну нить прядется каждый голос,
плетет поодиночке долгое шитье,
тепло и в одну нитку
"конечно, конечно, конечно"
уж если бóльшая часть жизни —
зимняя.
Хруп хруп хруп хруп
наждак наждак стеклянный
трутся голоса цикад,
шлифуют мимолетные мгновенья
поскольку бóльшая часть жизни —
зимняя
"конечно, конечно, конечно".
Соломенные корзиночки висят на отголоске
пусть время в них положит смотанную пряжу
и зимняя жизнь положит
свою бóльшую часть
и слух положит долгое свое шитье
"конечно, конечно, конечно".

Я думала: укроюсь
под тень этого дерева,
под отчий дом цикад,
и уложу в корзиночки их голосов
свой цвет и пряжу в одну нитку,
спрячусь
и лето не найдет меня на ощупь

и солнце жгучее не доберется
до моего изношенного тела.
Но через маленькие щелки
между листьев
ползком прокрался свет,
косые взгляды солнца.
И тень как ветошь,
как лист изъеденный гусеницами.
Сплошные скважины замочные.
Как спрятаться?
Я и видна и вижу.

Я не желаю видеть
неуемной страсти зноя,
какой соблазн какие оргии кружит он,
как в огненных его объятьях,
гибких достающих
далеко до края
до крайнего предела страсти,
застревает замирает сохнет
тело лета
крестьянской девушки.
Шуршит костистый стан сосновой иголки
как только он коснется, раскрывается
заглавной сладострастной буквой Л.
Я не желаю видеть как он снимает
с шишек закрытых плотно
зеленую их стыдливость
и они раскрываются одна другая третья
щелкая согласно и томно
крак крак кра аааах.

Ах, плотоядный зной.
Я не хочу смотреть
как посреди проезжей дороги
он обвился змеей
вокруг тельца какого-нибудь ветерка,
слиянье стоймя, качающееся вращенье —
ничего однако предосудительного,
кажется видишь бесцветное пламя —
этакий дым стеклянный
пляшет восточный танец
на закрытой террасе.

Ах, ненасытный зной.
Он, вожделея к мертвым,
пристал и к тем полудням,
что мне запомнились,
и к тому белому, крахмальному
с короткими рукавчиками полдню,

в который ты оделся, июнь крахмальный,
на первый выход.

"Конечно, конечно, конечно"
уж если бóльшая часть жизни —
зимняя.

Род приходит, и род уходит

Я по натуре художник
на что еще жаловаться как не на это?

Вещь потускнела. Денно и нощно время
шарит по ней погаными ручищами. Надо почистить.
Погрузи её в жидкую кислоту вызывающую из прошлого
потом в мягкий фланелевый гласный звук.

Маленький медный сосуд похожий на фляжку
(включи звук сопоставления чуть погромче
а то воду совсем не слышно).

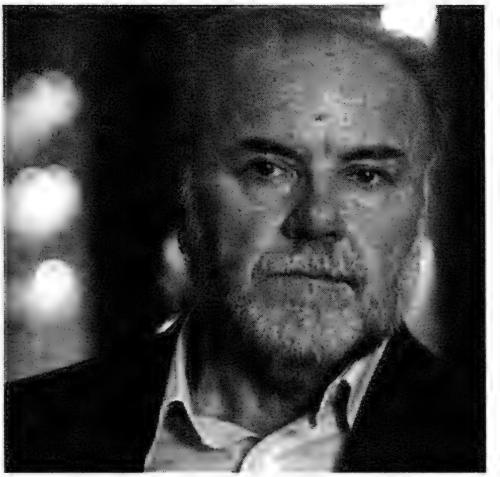
Амфора лекиф орибалл вместилище
благовоний или масла для атлетических игр
чтобы атлеты умащали тело
так и не выучила его название
до сих пор неясно для чего он служил
знаю только он древний очень древний
из морской пучины извлеченный
так сказал ты и подарил его мне
накануне отъезда —
и с чего я решила что это клятва?

Из пучины — кануна твоего отъезда.
А вдруг это сосуд для слёз?
Для атлетических игр — для тела.

Тела? Повтори еще раз. Тела.
Вещь потускнела ничего не слышно. Спроси осязанье
произнеси может оно помнит это слово?
— вороши осторожно, ты знаешь
недоумение возрождает печаль смертей.
Может быть лучше поискать в снах?
Сны знают. Они соучастники грабежей.

Или лучше хватит на сегодня
к чему вспаивать воду нашими слезами.

Михалис Ганас



Перевод Ирины Ковалевой

*

— Ты ведь не умрешь.
— Погаси огонь.
— Разве мамы умирают? Не умирают.
— Нет. Смотри не обожгись.
— А Николиса мама почему умерла?
— Болела, бедная, плохо ей было.
— А у тебя зуб болел?
— Зуб — другое дело. От зуба не умирают.
Пойди поиграй.
— Не хочу. Хочу, чтобы ты не умерла.
— Не болтай глупости. Принеси мне сковороду.
— А бабушка умрет?
— Ты тогда будешь большой, не бойся.
— Какой буду большой?
— Взрослый мужчина. У тебя будут жена и дети.
А может, и внуки.
— А ты тогда какая будешь?
— Как бабушка. Старенькая.
— Как бабушка? Беззубая, на один глаз слепая...
Ты такая не будешь. И не умрешь.
Умрешь?
— Нет, не умру. Подай мне кастрюлю.
— Если ты умрешь, я тоже умру, так и знай.
— Типун тебе на язык. Не говори так.
— Если ты умрешь, я тоже умру. Слышишь?

© Michalis Ganas — Kastaniotis, 1989, 1993
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

Слышу. Врунишка.
И того, что обещал мне в детстве, не сделал.

*

Каждый раз ты была от меня все дальше.
Все отчужденней. Жена моего брата
беременна Андреасом
а мне четырнадцать.
Той ночью в подполе
ты держала треснувший кувшин
и светила мне свечой.
Переливание, трудное,
точно то была кровь — не вино
в четыре руки
не глядя в глаза
а если твой или мой взгляд ошибался
то тотчас раскаивался
упирался в струйку
эту хмельную нить
что связывала нас как пуповина
превращая хлеб и вино тел
в причастие.

*

Я творю тебя понемногу каждую ночь.
Наступает утро и все рушится — я вместе с тобой.

Целиком я никогда тебя не увижу.
И ты не будешь моей. Каждый раз
твое тело создано заново и лишь отчасти.
Ради тебя я стал всемогущ
Но богом не стал.
И на что мне это всемогущество
если чудо запрещено.

*

Ты стоишь за прутьями ограды и я не могу на тебя
наглядеться. Мне страшно: вдруг
что-то случится и ты исчезнешь. В стеклянном глазу-объективе
застывает кадр но на
твоем месте растет кипарис.
Пылающий и без единой птицы.
Струйка дыма шуршит наполняя клубами небеса и мы как
будто на улице Скуфа и ты меряешь юбки.

Наклоняюсь и целую тебя в губы. У тебя была черная помада я измазался и вечереет губы немеют ты улыбаешься несмело заплаканная блондинка.
Ты никогда не была блондинкой.
И я проснулся.

*

Ночь напролет
ты шла одна
по старому мосту.

И я погружаясь в сон
боялся проснуться.

Ты высокая
на меня падает твоя тень
и я вечерею.

Превращаюсь в глубокий колодец
и во мне болят звезды.

Закрой глаза
чтобы я снова увидел мир
своими глазами.

Вижу закрытые веки
и трепещущие ресницы.

Рождественская история

Он сидит в одиночестве
у очага и чистит ружье.
Никто не придет, он знает,
как прошлый год, дороги завалило снегом,
и позапрошлый, и опять на Рождество,
и выпивка в буфете замерзает.
И самогон кислит, и узо смерзлось в молоко,
вино в бутылках малость забродило.
Ее четвертый год как схоронили.

У очага один сидит он,
не курит и не пьет, не молвит слова.
И в телевизоре все тот же снег,
он ровным слоем покрывает пол и стол
и выцветшие фото,
глаза умерших на него глядят

из будущего.
Ее четвертый год как схоронили,
и только взгляд ее
из прошлого приходит.

Скоро полночь,
а он с утра свое ружье все чистит.
Как мне его поздравить с Рождеством?
Туда ведь поздравленья не доходят,
дороги завалило, телефон отрублен,
и пусть туда и рвутся мысль и память,
но через это одиночество им не пробиться.
То одиночество, что выросло неспешно
без слов и из всего, что есть вокруг.

Уже светает; он еще сидит
у очага и полирует ствол.
Движенья медленные, точно ласки.
На пальцах остается масло,
но ласка исчезает.
Он вспоминает прежние охоты.
Кабан на окровавленном снегу.
А скоро он и сам добычей станет –
на мушке он у тайного охотника,
невидимого до поры, но выдают
его то блеск ствола,
то шорох остролиста,
а то и сильный запах табака.
Он знает – длинноствольное ружье
старинное тот держит, с крупной дробью
и черным порохом. Когда он наконец
решится выстрелить, его не будет видно
за дымным облаком от выстрела его.

Когда и впрямь он думает об этом,
– и я его за то не осуждаю, –
то где уж тут ложиться и уснуть.
Отцом бы стать мне моему отцу,
отцом, которому достался
ребенок молчаливый и упрямый,
и я ему рассказывал бы сказку,
чтоб он уснул.

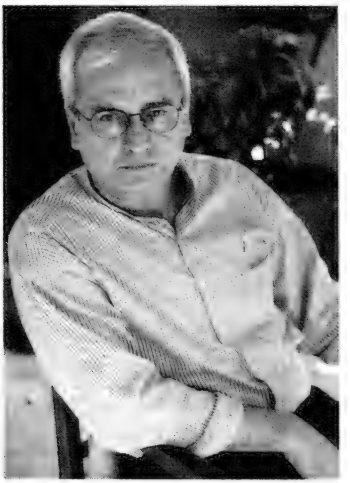
Сон, что баюкаешь детей, убаюкай и отца...

Сон, что баюкаешь детей,
убаюкай и отца; возьми его на руки,
как будто бы он ранен, отнеси туда,
куда детей ты водишь, теплый китель
набрось ему на плечи.

Хорошую собаку дай ему
и старых возврати ему друзей, и снег насыпь
такой же белый, как всегда. И мама на крыльцо
пусть выйдет, со всегдашнею заботой
во взоре голубом, и мы усердно скроем от нее,
что умерла она.

Сон, что баюкаешь детей,
Возьми и нас с собой; родители пусть маленькими будут
детьми детей; всех уложи нас на пол
зимней ночью, в зарослях,
прислушиваться станем: взрослые молчат, и кашляют,
и проклинают снег. Мы пожалеем их
за то, что выросли, но будем торопиться
стать как они: пускай они увидят, как мы выросли —
им это в утешенье.

Насос Вагенас



Переводы Антонины Калининой, Ирины Ковалевой

Из сборника "Сумрачные баллады"

Ода к луне (в манере Лафорга[1])

I

Сколь благословенно
Ты царишь, Селена!

Сон ты гонишь прочь,
Горем полнишь ночь.
Клевету, навет
Одеваешь в свет.

© Kedros A. E., 1989
© Антонина Калинина. Перевод, 2008
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

1. Жюль Лафорг 1860–1887) – французский поэт-символист. "Ода к луне" Вагенаса перекликается со многими стихотворениями Лафорга, но по форме ближе всего к "Litanies des premiers quartiers de la lune" ("Литания новолуния" в переводе В. Брюсова) и "Litanies des derniers quartiers de la lune" из сборника "L'imitation de Notre-Dame la Lune" ("Подражание государыне нашей Луне", 1885). Размер и структуру рифмы этих стихотворений Вагенас имитирует в своей "Оде", но по манере она отсылает также к "Complainte de la Lune en province" (в русском переводе В. Шора "Романс о провинциальной луне") из сборника "Complaintes" ("Жалобы", 1885). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Мрак к тебе теснится,
О времен криница.

Узами без имени
Влажными — свяжи меня!

II

Словно фиговый листок,
Вниз рассвет тебя совлек.

Ты — бенгальская тигрица,
Мне в тебе иная мнится.

Тихо твое плаванье
От фессальской гавани.

III

Чиста, как весталка —
Всего-то что свалка...

Тайный, священный —
Склеп сокровенный

Чувства. Наших страстей
Нет подобья точней...

Чем же, как во время оно,
Ты пленишь Эндимиона?

IV

Вальс Штрауса,
Эликсир хаоса.

Парки челнок —
За стежком стежок

Ведешь по основе
Прошлого, нови —

Лазурной, черной
Нитью узорной.

Мисс или донна,
Диана, мадонна,

Мария, Гелла,
regina caeli[1].

Ток моей слезы —
От твоей лозы:

Отягощающей,
Неопьяняющей.

Сумрачная баллада

Пусть выдержка моя неистощима,
Терпение пускай неколебимо,
Меня свобода нравов тяготит:
Фальшивый бюст блондинок мне претит,
Претят авто с открытым верхом дорогие,
Соблазны, скидки и возможности другие.

Меня гнетет возвышенность идей
Немногословных, сдержанных людей,
Их всепрощающее снисхождение,
Поправшее исконное деление
(Законное вообще-то) — на живое,
И механическое, и тупое.

Меня трясет от гладкости и лоска,
Красот повапленных гадка мне роскошь,
Которые не трогают ничуть.
Героев древности завиден путь:
Кто знал, где смерть, почти искал кончины,
Отмечен быть добычею судьбины.

Душа моя, отверзни свои вежды,
Сбрось с плеча Нарциссовы одежды!
Встань с мягкой своей перины,
Шагни в око кружащейся стремнины.
Где в сердце мрака брезжит тускломлечным
Свеченьем — твоя встреча с бесконечным.

1. Царица Небесная (*лат.*).

Возвращение

Яннису Кондосу[1]

Изгнанье — наше бытие земное,
Я убеждаюсь в этом, в вышине
Завидев звезды — и цветок в окне,
Кивая, соглашается со мною.

Да: лилий и гортензий аромат,
Которым дышит то, чье имя — "горе",
Нам вовсе не понадобится вскоре,
Когда из ссылки мы придем назад.

Впивая неразбавленную тьму,
Мы воскресим для света пропитанье,
Лампад и масла возвратив ему
Нас некогда терзавшее мерцанье.

Поэтика

И в самом деле: наше время
Не для писания стихов:
Из бренья слепленное племя
Своей натуры слышит зов.

Ты — глиняный; каким бы ни был
Бой между добрым и дурным —
Что до добра тебе, раз гибель
Нависла надо злом меньшим.

Давно привычным? Прикипает
Так сердце к той, с кем ты живешь —
Милей та грудь, что увядает,
Родней волос поблекших рожь.

Перевод Антонины Калининой

1. Яннис Кондос (р. 1943) — современный греческий поэт.

Что-то случилось с Музой

Что-то случилось с моею Музой.
Не идет на колени ко мне, рассыпая смех.
Исчисляет мои ошибки, зовет обузой –
это меня, кто из нашего творческого союза
ее любил горячее всех.

Та, кто надушенными перстами ласкала смело
мою шевелюру – выпустила коготки,
и в голосе ее звучат не свирели,
а слова впиваются, точно индейские стрелы, –
там, где ложились розовые лепестки.

Я чувствую – голову ей закружили, –
обсуждая совсем не стихи, – на мои дела
намекнув едва, – но ее убедили,
что выходом для обоих бы было,
если б она со мной порвала;

можно встречаться, как добрым друзьям, – мы, безусловно
выше, чем пресловутое "М" и "Ж",
у нас есть другие общие интересы, и есть готовность
тонко рассуждать не о плотском, а о духовном,
и изредка о любви, конечно же.

Знаю – она меня бросит; дело за малым,
скоро во всем мне откажет она:
пару раз уже Афанасием называла
та, что раньше для меня сочиняла
самые нежные имена.

Перевод Ирины Ковалевой

Георгос Иоанну

Эвтихула[1]

Перевод Владимира Потапова
Под редакцией Ирины Ковалевой

Когда она родилась, ее лицо, точно вуалью, покрывала прозрачная пленка, от которой ее вмиг освободила повитуха. Все, кто узнал об этом, решили, что жизнь девочки сложится счастливо, и поэтому, когда пришло время ее крестить, ей дали имя Эвтихия[2]. Ее родители были уже в возрасте, и Эвтихула была их единственным чадом. Мама девочки, коренастая, полноватая женщина, долго не решалась выходить замуж и еще сильнее боялась рожать. Их семья, впрочем, располагала тем скромным достатком, который в нашей стране обычно приобретают люди ближе к сорока годам. Свою дочь родители буквально носили на руках, и вся округа возмущалась тем, что девочке каждый день меняли трусики. Не говоря уже о том, что за столом ей всегда подавали ее собственный стакан для воды и отдельную тарелку для салата. Все только об этом и толковали. "Покажи-ка нам свои трусы", — подшучивали обычно мы над Эвтихулой. И когда она, всегда милая и послушная, нам их показывала, мы переглядывались многозначительно и с тайным восторгом. Трусики действительно были каждый день разные.

В школе она училась хорошо, по всем предметам была первой. К тому же у нее был превосходный почерк, поэтому вскоре она стала нарасхват — ее то и дело просили надписать адрес на почтовом конверте. По

© Giorgos Ioannou, 1974, 1982; Kedros, 1982
© Владимир Потапов. Перевод, 2008

1. Уменьшительная форма имени от Эвтихия (*греч.* Εὐτυχία, буквально "счастье"). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. У греков до крестин ребенку не дают никакого имени. *(Прим. ред.)*

соседству с нами жила семья, чей родственник находился в ссылке. Раньше большая часть их писем и даже посылок так и не доходила до адресата. Теперь же они постоянно обращались за помощью к Эвтихуле, только всякий раз говорили: "Не рассказывай маме". А та им отвечала: "И я не хочу, чтобы вы рассказывали". Говорить она умела складно и выразительно и вообще была очень сообразительной. Мама Эвтихулы выписывала религиозный журнал "Жизнь", а папа регулярно просматривал газету правого толка "Свет" — главным образом, передовицу. Поэтому никто и никогда их не беспокоил. Ни во время диктатуры, ни во время оккупации[1], ни тем более после. Они и в этом избрали благую часть[2].

Эвтихула поступила в университет без экзаменов. Это был период оккупации, когда на какое-то время отменили вступительные испытания. Она взахлеб рассказывала дома о своих сокурсниках, пересказывала их едкие шутки и остроумные ответы профессорам. Мама слушала всегда молча, но с беспокойством. Ее воспитали в самых строгих понятиях о приличии и благопристойности, и все эти скабрезности ей претили. Эвтихула вскоре это поняла и навсегда оставила подобные разговоры за порогом дома. Впредь ничего из пульсирующего потока жизни не попадало в их дом неотфильтрованным. Все громкие события — облавы, казни, гонения на евреев[3], голод и унижения — казались им чем-то вроде отдаленного эха и объяснялись волей Божьей. При этом, конечно, подразумевалось, что к их семье Божья воля всегда благосклонна. Впрочем, так оно и было. Единственное, на что они сетовали, так это на потерю крупной суммы из довоенных сбережений в банке, и единственный человек, которого они когда-либо ругали, причем в весьма резких выражениях, был покойный Сволос[4].

Первой слегла мама. Внезапно с ней случился инсульт, и она потеряла способность говорить и передвигаться. Тем не менее вскоре все встало на свои места, без лишних стенаний и треволнений. На утренние часы нашли благочестивую домработницу, и в доме воцарились еще большее спокойствие и порядок. Эвтихула к этому времени уже стала личным секретарем министра и каждый день помечала в своем блокнотике пожелания и распоряжения начальника. Министры сменялись один за другим; а Эвтихула оставалась на своем посту. Она была для всех идеальным и незаменимым помощником. Мама прожила еще много лет, и ей не становилось ни лучше, ни хуже. Однажды она тихо угасла, и ее похоронили в дорогом и строгом гробу, но без причитаний и венков.

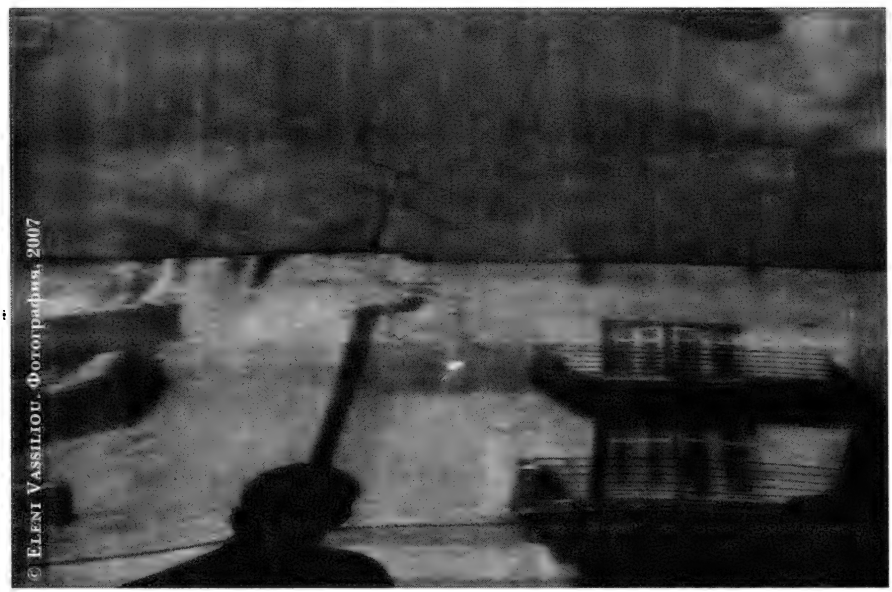
На распорядок в доме это событие никак не повлияло. Только отец, который к тому времени вышел на пенсию, стал несколько болтлив и рассеян и даже пристрастился к выпивке, слоняясь потихоньку из одной таверны в другую. Затем слег и он. Домработница не могла ухаживать за

1. Речь идет о военной диктатуре И. Метаксаса (1936–1940) и об оккупации Греции немецкими войсками во время Второй мировой войны. (*Прим. ред.*)
2. Ироническая аллюзия на евангельский стих: "Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее" (Лк. 10:42). (*Прим. ред.*)
3. В годы Второй мировой войны было практически полностью уничтожено еврейское население Салоник, которые до того на протяжении нескольких веков были крупнейшим центром еврейской культуры на Балканах. (*Прим. ред.*)
4. Александрос Сволос (1892–1956) — известный греческий политик. В годы войны активно участвовал в освободительном движении Греции. В 1944 году — министр финансов в правительстве Г. Папандреу.

мужчиной, поэтому этим приходилось заниматься Эвтихуле, по вечерам, после работы. Отец был первым и единственным мужчиной, которого она видела обнаженным. Никто так и не узнал, испытывала ли она при этом любопытство, удовольствие или страх. Она всегда с достоинством говорила о своих невзгодах и не вдавалась в излишние подробности.

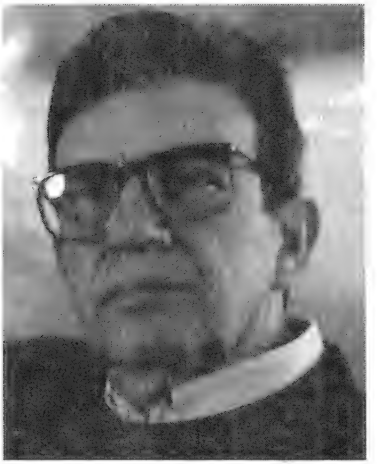
Когда в конце концов, умер и отец, Эвтихуле было уже за сорок. Впрочем, она хорошо сохранилась, ее кожа сияла мраморной белизной, и было очевидно, что на черный день у нее отложена кругленькая сумма. Из-за похорон отца о ней снова заговорили, и кое-кто зашевелился, имея в виду жениться на ней. Эвтихула никак не отозвалась на это, точно ничего не заметила. Она по-прежнему ходила на работу, а иногда и в кино, в компании одной своей степенной соседки. Эвтихула отказалась также отдать под снос для строительства многоэтажки их старинный турецкий особняк[1]. И уж теперь, после стольких лет службы, у нее высокая должность в министерстве. Каждый полдень, пускай и в одиночестве, но согласно всем правилам этикета, она поглощает обед, который приготовила для нее невидимая и неслышимая домработница. Дома ее никто не ждет: ни кошка, ни канарейка, нет даже рыбок. Все спокойно и размеренно, как прежде, и журнал "Жизнь" продолжают приносить, только упаковочная пленка часто так и остается неразрезанной.

Лишь иногда ночью, когда Эвтихия спит в сверкающей белизной девственной постели, ее что-то беспокоит; она как будто старается смахнуть что-то с лица — что-то, что мешает видеть или дышать. Но вскоре она снова замирает, словно вдруг ее одернул чей-то строгий приказ. Ее черты смягчаются, лицо, как всегда, выражает послушание и радость. И до сих пор еще прекрасна Эвтихия.



1. Салоники оставались под властью Турции вплоть до 1912 г. (*Прим. ред.*)

Менис Кумандареас



Бледный юноша

Первый рассказ из цикла "Их аромат вызывает у меня слезы"

Перевод Владимира Потапова

1

МЕНЯ зовут Еврипид. С таким именем непросто зарабатывать на хлеб. Может, из меня вышел бы неплохой священник, врач или писатель. Люди любят говорить о себе. Гораздо легче поведать свою историю, находясь в кресле парикмахера, чем на кушетке психоаналитика. Вот уже многие годы я слушаю своих посетителей и понемногу научился понимать их с полуслова. Стрижка помогает людям облегчить душу.

СТОЯЛ ЖАРКИЙ И ДУШНЫЙ ПОЛДЕНЬ. Посетителей не намечалось, и я просматривал газету. Хозяйка соседнего магазина, где торгуют бельем, приоткрыла дверь и сунула внутрь свою рыжую, как у лисы, голову.

— Еврипид, ты вчера вечером смотрел кино по телевизору? Лично я не люблю вестерны, но актер, который играл Бледнолицего, — это нечто. Вылитый Адонис. Таких мужиков еще поискать.

Я и бровью не повел, и она, выпалив это, быстро захлопнула дверь. Хотел бы я знать: ей просто поболтать захотелось, или что-то было у нее на уме? Всякий раз, как она заходит, что-нибудь да происходит. На днях, к примеру, не успела она уйти, как пришел брат одного моего клиента, которого я не видел уже несколько месяцев.

— А Павлос где? — спросил я.

— Пойдем, Еврипид, побреешь его на дому, — попросил он.

© Menis Koumandareas, 1996; Ekdoseis Kedros A. E., 1996
© Владимир Потапов. Перевод, 2008

Он был бледен и казался очень подавленным. И я, хоть и был простужен, и голова у меня раскалывалась, пошел с ним. Мой клиент лежал, обложенный подушками, весь в черном.

— Побрей его в последний раз, — сказал его брат, — ведь у него даже сейчас растет борода.

Сидя с газетой на коленях, я глубоко задумался, вспомнив эту историю. Внезапно солнечный свет померк. Я поднял глаза и увидел силуэт, густой и мрачный, точно тень кипариса[1].

Я было подумал, что в дверях стоит кто-то из служащих похоронного бюро, с которым я соседствую. По возможности, я стараюсь обходить бюро стороной. Траурно-фиолетовая витрина этого мрачного заведения меня угнетает, так что я, сложив пальцы крестом, стараюсь побыстрее проскользнуть мимо.

— Что вам угодно? — спросил я молодого человека на пороге.

Его волосы, под стать костюму, были цвета вороного крыла. Я бы голову дал на отсечение, что передо мной самый настоящий гробовщик, — если бы не кричащая розовая рубашка. А может, это один из тех смазливых молодцев, что ищут приключений, шатаясь по городу. Юноша молчал. Темные очки казались приклеенными к его белому, словно напудренному лицу.

— Желаете подстричься? — Что еще я мог ему предложить.

Он кивнул и зашел внутрь. И мне тут же захотелось, чтобы он не заходил вовсе. Одно дело, когда предвестник несчастья стоит у порога и совсем другое, когда он заходит в твою парикмахерскую. Поколебавшись, я дал ему пройти.

Должен сказать, что уже по тому, как посетитель садится, можно судить о его характере. Некоторые всей тяжестью плюхаются в кресло, другие вертятся в нем, словно грешники на сковороде. Юноша сначала провел по креслу пальцем, проверив, нет ли пыли, и только потом сел. Сидел он прямо и напряженно — будто манекен в витрине. На нем был костюм из дорогой ткани, сшитый у портного, а не купленный в какомнибудь магазине готовой одежды. Из-под манжет солнцем сверкал золотой "ролекс". Ухоженные ногти были безупречно подпилены. Таких рук не увидишь ни у аристократа, ни у обычного буржуа. Вены на них вздувались, и в руках юноши чувствовалась сила, способная крошить камни.

— Вы не снимете пиджак?

Поколебавшись, юноша позволил снять с себя пиджак и пристально проследил, куда я его повесил. В своей розовой рубашке он напоминал дикого жеребца на родео, обвешанного праздничными погремушками. Я обернул его полотенцем и попытался придать его голове правильный наклон. Это обычная процедура с каждым новым клиентом. Так сразу чувствуешь его настроение: хочет ли он по-быстрому обкарнаться или ему нужна настоящая стрижка.

С этим же юношей ничего не получалось, как я ни старался — он был слишком зажат и напряжен. Эта его бледность — она сразу произвела на меня впечатление, а теперь меня потрясло качество его волос. Редко попадаются такие клиенты. Даже у подростков с их густыми ше-

1. В греческой фольклорной традиции кипарис символизирует смерть. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

велюрами я легко могу определить склонность к облысению. У этого же волосы сохранялись бы сотню лет — разумеется, если бы столько прожил их владелец.

— Вы не снимете очки?

Это прозвучало так, будто бы я попросил его снять брюки. Юноша в нерешительности помедлил, потом, уступив моей настойчивости, одним быстрым движением отлепил очки от лица и опустил их в карман рубашки. Густые ресницы прикрывали его глаза, как шторки.

— Как вас постричь?

— Чуть покороче, да получше помыть голову, — ответил юноша. — Без затей.

Он говорил тихо и отрывисто, будто только что пробежал целую милю.

По небрежным выстригам на его голове было ясно, что последний его парикмахер был неуклюжим дилетантом.

— Вот это да, — не удержался я, — что же с вами сделали!

Он поднял глаза, чуть раскосые, как у китайца — два пронзительных черных полумесяца. Усталость придает таким глазам особое очарование. Безупречная правильность форм не всегда делает человека прекрасным: некрасивое лицо не может стать еще уродливей, а вот красивое может исказиться гримасой, от которой не по себе.

Я начал понимать, что за безупречной внешностью этого юноши скрывается какая-то тайная изможденность, душевная или телесная. Хотя порой та и другая идут рука об руку.

— Не хотите ли кофе?

Он уже приготовился отказаться, но я его опередил.

— И я с вами выпью.

— Спасибо, — просто, без малейшего намека на жеманство ответил юноша.

Неожиданно он предстал в ином, лучшем свете. Парень — ему не дашь больше двадцати пяти — возможно, просто не успел перевести дух после тяжелого рабочего дня. За этой одеревенелостью, скорее всего, скрывается обыкновенный человек. Наверное, даже способный переживать.

— У тебя, должно быть, тяжелая работа, — я перешел на "ты". По возрасту он годился мне в сыновья.

— Да, очень, — произнес юноша с облегчением.

Наконец он с чем-то согласился.

— Надеюсь, не физическая?

Он посмотрел на меня настороженно. Очень осмотрительный и наблюдательный молодой человек. К тому же, кажется, совсем неглупый.

— Даже если ты не с работы, выглядишь ты уставшим, — продолжал я.

— Такая уж у меня работа, — отрезал юноша.

Я отпил глоток кофе и принялся за его виски.

— Сделать покороче? — спросил я, потому что одни любят отпускать бакенбарды до самого рта, а другие выбривают их начисто, как в армии.

— А как больше нравится женщинам? — тут же поинтересовался юноша.

Понятно, подумалось мне, он идет к женщине. Странная штука, ведь обычно именно свидания и выматывают больше всего. Ах, чего бы только я не дал, чтобы снова оказаться двадцатипятилетним юношей!

— Женщины ценят чувство меры, они обожают золотую середину.

— Да? А мне иногда кажется, они обожают посредственность, — ответил юноша, закусив нижнюю губу.

— Согласен, но все равно мы готовы исполнять любые их прихоти. Представь, не будь женщин — мы, мужчины, остались бы без работы.

Он тут же напрягся. Я опустил ножницы.

— Послушай, ну что тут смущаться, — произнес я, — мы же мужчины и можем называть вещи своими именами.

Юноша не отреагировал.

— Ты не допил свой кофе, — попытался я сменить тему.

— Больше не хочу, — ответил он, — кофе возбуждает, а мне бы отоспаться.

Вот оно что, подумал я, потому-то ты такой бледный.

— Ты работаешь по ночам?

— Да, но часто еще и днем.

Я начал стричь его еще медленней, что наверняка нервировало молодого человека — но любопытство было сильнее меня.

— У тебя что, две работы?

Юноша усмехнулся.

— Да, две — было бы совсем хорошо, — произнес он, ослабляя полотенце на шее, — и так все время на бегу и ничего не успеваешь.

— Не жмет? — лукаво спросил я.

Чем больше я ослаблял полотенце на его шее, тем сильнее сжимались мои невидимые клещи. Возможно, работа у него самая обыкновенная, а может, и такая, о которой я и не слыхивал.

До конца стрижки юноша сидел молча. Я помог ему надеть пиджак. Он снова надел очки и ждал, пока я стряхну с шеи волосы.

— Черные волосы всюду липнут... впрочем, и светлые тоже, — отметил я.

— Совсем как женщины, — кивнул он, — брюнетки, блондинки — все оставляют следы.

— Ты женат? — поинтересовался я.

Юноша искоса посмотрел на меня, будто спрашивая: разве похоже?

— Надеюсь, мы еще увидимся, — прервал я молчание, — если, конечно, ты остался доволен и у тебя нет постоянного парикмахера.

В последнем я сильно сомневался.

Молодой человек взглянул на себя в зеркало.

— Нет, постоянного нет, стригусь, где придется.

— Ну конечно, — засмеялся я, — ты продаешь качественный и дорогой товар, потому и бегаешь днем и ночью, я прав?

А вдруг, хоть и в последний момент мне все-таки удалось разгадать его секрет.

— Ты не так уж далек от истины, — произнес юноша, но тут же замкнулся снова.

Этот человек, подумалось мне, не подпускает к себе никого, кроме матери. Ну, может быть, еще любовницы.

— В любом случае, я буду тебя ждать, — заверил его я, — что-то мне подсказывает, что скоро ты снова придешь. Уверен — для твоей работы надо выглядеть на все сто.

– Бывай, – промолвил юноша без улыбки и, повернувшись ко мне спиной, снова превратился в одну из теней на дороге. На полу остались только пряди его волос.

На следующий день старая лиса из соседнего магазина просто забросала меня вопросами:

– Еврипид, может у тебя найдется чашечка кофе? Скажи, а что это за молодой человек, которого ты стриг вчера? Красивый юноша, но взгляд какой-то странный. Я даже испугалась.

Она смотрела на меня, вопросительно хлопая глазами.

– Гробовщик, – ответил я.

Она тут же исчезла, позабыв про кофе.

ПРОШЛО ОКОЛО ДВУХ МЕСЯЦЕВ, наступила осень, с деревьев падали листья. Я уже протер стойку и собрался закрываться, как вдруг заметил за стеклом витрины какой-то силуэт. Из-под темных очков он смотрел на меня точно налетчик, перед тем как деловито и без шума обчистить кассу.

Придя в себя, я бросился к выходу и распахнул перед ним дверь. На нем был другой костюм, такой же дорогой и строгий, как в прошлый раз, и фиолетового цвета рубашка с расстегнутым воротником. Под адамовым яблоком виднелась ямочка и приоткрытая грудь.

– Проходи, – посторонился я, – я знал, что ты придешь.

Меня обуревало любопытство, смешанное с радостью.

На этот раз он небрежно кинул на стул свой пиджак, который я аккуратно повесил. Под рубашкой у юноши не было ничего, и я мог различить его белое, как мрамор, тело. Он опустился в кресло с видом человека, который приходит сюда не в первый раз. На его запястье сиял золотой "ролекс" – его гордость или атрибут рабочего костюма? Юноша взглянул на себя в зеркало и тут же отвел взгляд. Убедился, что выглядит на все сто? Или увидел что-то, чего не хотел видеть? Никто не знает, что скажет человеку зеркало. Скулы сильно выдавались на его бледном, белее белого лице.

– Кофе, тост? – я снял трубку телефона. Юноша никак не отреагировал. – Так и будешь сидеть в очках?

Он послушно, как маленький ребенок, стянул очки.

– Тот, кто тебя стриг – просто сапожник, – сказал я, орудуя расческой, – надо иметь постоянного парикмахера, пусть даже не самого лучшего, но который хотя бы знает твою голову.

Это одна из моих уловок, к которым я обычно прибегаю, когда уже успел заслужить некоторое доверие клиента.

– Как идет работа, – поинтересовался я, – неплохо? Осень – чудное время года, все начинается заново. – Он пожал плечами. – Или у тебя, что зима, что лето, все одним цветом? – продолжал я прощупывать.

Юноша искоса посматривал на меня в зеркало, хотя я пытался говорить как можно более безразлично.

– Я всем нужен, в любое время года, – ответил он.

– Кому это – всем?

Юноша засмеялся. Когда он начинал смеяться, низкие мужские нотки в голосе пропадали, и он становился похож на маленького наивного мальчика. Как выяснилось, таким же наивным оказался и я.

— Чем бы ты ни занимался, уверен, на работе ты выкладываешься. Бездельников видать издалека. К сожалению, почти все твои сверстники хотят легких денег.

Улыбка сошла с его лица.

— Я сам сперва был таким, даже слышать не хотел о работе. То, чем занимаются старшие, казалось мне утомительной и пустой тратой времени. Да и сейчас кажется. Я тоже начал с простого, — продолжал юноша, — но простые пути на самом деле — самые тяжелые.

Неожиданно его язык развязался, стоило мне слегка поднажать, и он открыл бы свой секрет.

— Тебе лучше знать, — сказал я, — в твоем возрасте ты, видно, уже многому успел научиться.

— Сколько ты мне дашь? — спросил он меня.

— Двадцать пять-двадцать шесть.

— Двадцать три, — произнес он разочарованно, — и если бы я столько не работал, то и сейчас бы выглядел как мальчик. В нашей семье все выглядят моложе своих лет. Это у нас в роду.

— Почему, ты и сейчас еще как подросток, — я попытался его подбодрить, — живешь-то с родителями? — Он отрицательно мотнул головой. — Единственный сын? — не унимался я.

— У меня есть младший брат, в лицее учится, — его голос впервые потеплел.

Я соображал, продолжая работать ножницами. Этот его парикмахер натворил делов.

— Завязывай ты с этим. Будешь продолжать в том же духе — добра не жди.

Юноша вздрогнул так, что я чуть не отрезал ему ухо:

— Ты про что?

— Про тех парикмахеров, которые тебя стригут, — ответил я, — про что же еще?

Понемногу он начал успокаиваться. Слишком рано.

— Главное в моей работе — это внешность, — сказал мне юноша, — без нее я был бы ноль без палочки.

— Когда у мужчины есть характер, — возразил я, — внешность роли не играет.

Парень нахмурился.

— Не хмурься, — заметил я, — а то будут морщины.

Он пожал плечами:

— Какая разница. Если б ты узнал, чем я занимаюсь, то не стал бы со мной разговаривать.

Я прервался и посмотрел ему в глаза.

— Как, ты говоришь, тебя зовут?

Поколебавшись немного, он ответил:

— Антонис.

Антонис, подумалось мне, совсем как Адонис.

— Антонис, — сказал я ему, — мне все равно кто ты — как говорится, будь ты хоть отпетым уголовником, главное, чтоб со мной обходился хорошо.

Он засмеялся:

— То же самое говорят и мои клиентки.

— Твои клиенты только женщины? — безразлично спросил я.

— Да, — ответил он, не глядя на меня, — и я никак не успеваю обслужить всех желающих.

Вдруг мою правую руку, а затем и всю спину пронзила боль. Возраст дает себя знать.

— С женщинами проще заключать сделки, чем с мужчинами, — сказал я, следя за его реакцией, — они уступчивей.

Я чувствовал, что балансирую на острие бритвы.

— Они выжимают из тебя соки, — бросил он. В его голосе слышались усталость и равнодушие. — Если так пойдет дальше, — продолжал он, не глядя на меня, — я загнусь от чахотки.

— Какое отношение это имеет к твоей работе? — спросил я.

Он сполз по креслу, как будто сидел на наклонной плоскости. И моя мысль скользнула в какую-то бездонную глубину.

— Самое прямое, — произнес Антонис. — Женщины — они и есть моя работа.

Я наклонился, чтобы поднять с пола ножницы. Впервые за столько лет у меня выпал из рук инструмент. Уж его-то инструмент никогда не должен падать.

— Я же говорил, что ты не захочешь иметь со мной дело, — промолвил он.

Я опустил ножницы в банку со спиртом.

— Замолчи, — резко сказал я, — видишь, каким сапожникам ты доверяешь свои волосы — а ведь должен ходить к лучшему парикмахеру Афин.

Я снова принялся за стрижку, а он поведал мне свою историю.

— Я ВЫРОС В ЭГАЛЕО[1]. В четырнадцать лет я еще был наивным подростком. К нам заходили девушки, старше меня, гладили, трепали меня по лицу. При этом они задорно смеялись и о чем-то перешептывались. Нука прочь, негодницы, ругалась мать, вы испортите мне мальчишку. Мне тоже доставалось: а ну оденься сейчас же, ты что, маленький? Потом я начал ходить в спортзал. И чего тебе надо?! — сказал тренер, сам Господь создал твое тело. Отец стал брать меня с собой на работу — чинить холодильники. Хватит шляться без дела, говорил он, пора понять, каким трудом достаются деньги.

Как раз тогда к нам переехала дальняя родственница по отцовской линии. До этого она жила в Патрах[2] и привыкла ходить в шелках, душиться, а с первых дней весны уже разгуливала без чулок. У нас в семье такого отродясь не было. Однажды вечером мы остались с ней дома вдвоем, и она принялась меня расспрашивать, есть ли у меня девушка, целовался ли я уже с кем-нибудь. Я чувствовал, как от смущения у меня словно комок застрял в горле, а она все не унималась. Не стесняйся, говорит, это же так естественно. И одной рукой гладила меня по голове, а другой массировала спину между лопаток. Не горбись, повторяла она, тело юноши — его богатство. С женщинами будь разборчив, гляди в оба. Я недоумевал, почему она все это говорила. Под вечер она уходила из дома, а возвращалась уже далеко за полночь. Заслышав сквозь сон, как поворачивается ключ в замке, я просыпался в сильном возбуждении.

1. Западная окраина Афин.
2. Патры — город на Пелопоннесе.

Днем отец с матерью о чем-то перешептывались за ее спиной, но, если я оказывался рядом, тут же замолкали.

Как-то вечером я снова услышал звук ключа, царапающего дверной замок. Он все царапался и скребся и никак не мог найти замочную скважину. Послышался шум — проснулись родители. Я приоткрыл дверь и увидел: отец с матерью держат ее под руки, а она бьется в истерике, как рыба, выброшенная на берег. А может, она была в стельку пьяна? Под распахнутой блузкой колыхались ее груди — два упругих мяча. Через пару минут она завизжала, как резаная, и родителям пришлось срочно закрывать все двери и окна. Утром она собрала вещи, и больше мы никогда не виделись. Но ее слова звучали эхом где-то внутри: с женщинами гляди в оба.

Я начал вечерами пропадать из дома и возвращаться под утро. С отцом мы жутко из-за этого ругались, а мама, наедине с отцом, всегда вставала на мою сторону. Я словно с цепи сорвался и обошел все публичные дома в округе. Как-то раз мне попалась там одна, голубоглазая блондиночка. По сравнению с другими — потасканными и грязными — она казалась мне ангелом. Она оставила меня дожидаться, пока закончит с остальными клиентами. Пойдем ко мне домой, сразу предложила она. Мы отправились к ней домой, она отдала мне выручку за целый день, и так продолжалось еще месяц.

— Значит, Антонис, ты остался с проститутками? — спросил я.

— Нет, хуже. Отца вызвали в полицейский участок. Займись сыном, сказали ему, пока дело не зашло слишком далеко. Я смекнул, что за меня, того и гляди, возьмутся всерьез, и вернулся на работу. Тогда же у меня появилась первая подружка — она училась на парикмахера. Она не была красавицей, но по крайней мере ее привлекала не только моя внешность. Мы вместе ходили в кино, пили кофе, она сделала мне стрижку — каре. Но пришло время, и меня забрали в армию. Она регулярно писала мне письма.

— А где ты служил? — спросил я его.

— На Эвросе[1] и на островах. Натерпелся там всякого, а когда стало совсем уж невмоготу, притворился больным. Меня отправили в 401-й[2], ну и уволили из армии. Вернее, дали отсрочку: "временно не годен" — гласила бумажка. Я вернулся к своей парикмахерше, и все закрутилось по новой. Только она уже вела себя по-другому. Куда бы мы с ней ни пошли, она начинала меня ревновать и цепляться ко мне. "Ты это нарочно делаешь, всем глазки строишь, а со мной ходишь, надутый как павлин..." А я все оправдывался, клялся именем матери — самым святым, что у меня есть. В кафе, где я часто бывал, как-то заявился некий продюсер и принялся меня уговаривать: пойдем со мной, я дам тебе главную роль, и все в таком духе. Оставил даже свой телефон, чтобы я позвонил. Зря стараешься, сказал я, нет у меня таланта. Я понимал, к чему он клонит. Потому и говорю тебе, Еврипид, — всем им нужно мое тело.

— А дальше-то что было, Антонис? — меня разбирало любопытство.

— Отцу я заявил, что с холодильниками возиться больше не буду, и по объявлению нашел место в торговом центре на Эрму[3]. Там было много женщин, и на меня они засматривались, как на товар. А ты, наверное, китаец, — обратилась ко мне одна хорошо одетая женщина лет сорока, в

1. Эврос — самая крупная река на Балканах, по которой, в частности, проходит граница Греции и Турции.
2. Военный госпиталь в Афинах.
3. Центральная улица Афин.

шляпе, похожей на горшок. Нет, вьетнамец, ответил я. А парень с юмором, повернулась она к своей подруге. Женщина в шляпе скупила полмагазина и потребовала, чтобы я лично доставил покупки к ней домой.

Это был богатый дом, там устраивали чаепития и собирались дамы ее круга. Все они трепали меня по щекам и весело смеялись. Тогда я не был таким худым, у меня были щеки. Не обращай внимания на этих дур, сказала мне госпожа Олимпия, я открою тебе другой мир, о котором ты и не мечтал.

Она научила меня, как правильно держать чашку. Не отставлять в сторону мизинец, одну ложку использовать для сахара, другой — размешивать чай, не расставлять колени, когда сидишь, не щелкать пальцами. Так делают одни бродяги. Не знаю почему, но все они держали меня за уличного хулигана. Но зачем тогда я был им нужен? Я не спрашивал. Отсрочка моя закончилась, и пришло время вернуться в армию.

Потом я угодил в тюрьму. Она находилась в Триполи — мороз там был такой, что обжигал лицо. Меня заперли в камере с сотней деревенских парней. Я писал слезные письма домой. Смотри, не натвори еще глупостей, отвечали родители.

Наконец, меня комиссовали — с пометкой, что я психически нездоров. Родные даже на порог меня не пустили. Я позвонил своей парикмахерше: "Не могу с тобой встретиться, разрываюсь на работе".

Тут я и правда чуть с ума не сошел и в конце концов постучался в дверь госпожи Олимпии. Случилось так, что в тот день у нее в гостях был мужчина лет сорока, в итальянском костюме, галстуке от Диора, модной жилетке и с цепочкой в кармашке. Он грыз зубочистку, а когда смеялся, обнажались его воспаленные десны.

"— Агисилай, — представился он, — продюсер.

Что еще за продюсер, я так и не понял.

— Где ты его нашла? — спросил он Олимпию, ткнув в меня пальцем.

— Удачная находка, — ответила она смеясь, — для тебя привела, забирай на здоровье.

Они говорили обо мне, будто я был вещью. Но, рассорившись с родителями, без гроша в кармане, я молчал в тряпочку и уехал от Олимпии с этим Агисилаем.

— Будешь работать на меня, — сказал он в машине, серебряной 'феррари', — будешь сидеть на телефоне в состоянии стэнд-бай. — Оператором, что ли? — Помолчи! Когда тебе позвонят, ты должен быть готов выехать. — Куда выехать? — Куда же еще, идиот, к дамам, конечно. Не ко всяким там Олимпиям и старым клячам, а к аристократии и *джет сет*.

Я не знал, что такое *джет сет*.

— Да расслабься ты, с твоими-то данными — половина тебе, половина мне, не считая того, что тебе лично перепадет.

— Это сколько? — спросил я.

— В среднем, сотня — ты что, не доволен? Плюс чаевые. Главное: тебе необходимы хорошие шмотки, маникюр, педикюр, займись гимнастикой. — Он отправил меня в спортзал в Колонаки[1]. — Если захочешь и не будешь халтурить — далеко пойдешь, и деньги хорошие будут. Все зависит от тебя".

С тех пор пошло-поехало. Замкнутый круг: утром, днем, вечером у телефона. Как в армии. Договариваешься, куда ехать — такая-то улица, дом

1. Престижный район в центре Афин.

такой-то. Причем гонять приходится, куда скажут: от Глифады[1] до Фракомакедонес[2]. И в самое невообразимое время суток: бывает, в два часа дня, а бывает, что и в два ночи. Чешется у них в это время, как выражался мой начальник. Потихоньку накопишь денег на машину, говорил он мне, а постараешься, так и на дом хватит. Тогда я снимал гарсоньерку на Макриянни и разъезжал на мотоциклетке. Прежде я был сам по себе — мог запросто закрутить роман с любой женщиной, пусть и немолодой, какая разница — главное, что я не зависел от родных. У Агисилая я стал профессионалом. Я должен был быть в определенном месте в определенное время, свежий и одетый с иголочки. Нужно еще уметь правильно вести себя, говорить немного, но складно. Я бывал в таких домах, что и во сне не снились, с прислугой — филиппинками, албанцами, поляками, которые ловят каждый твой взгляд; обычно их отправляли присмотреть за детьми, пока хозяйки дома принимали меня в постели.

— Шлюхи, — возмутился я, — по сравнению с ними уличные проститутки — просто ангелы! Как ты считаешь, Антонис?

— Не знаю, — произнес юноша. Он снова отрешенно глядел в пустоту, как будто гашишем обкурился.

— А как вы договариваетесь о встрече? — спросил я, склонившись к нему. Меня разбирало любопытство — было ощущение, словно я смотрю кино.

— Для начала они звонят в контору, и контора организует встречу, — объяснил юноша — разумеется, если человек проверенный, и дело не пахнет провокацией и встречей с полицией.

— А полиция что?

— Смотрит сквозь пальцы, хотя, конечно, иногда приходится и подмазать. Представь себе, однажды мне довелось встретиться с одной начальницей из Асфалии[3]. Эти женщины в форме — они лучше всех.

— Не знал, что и они обращаются к вам.

— У каждого из нас есть паспорт с фотографией, только вместо данных — псевдоним, что-то вроде прозвища. Клыкастый, Арап, Неутомимый, Отпетый.

— Понятно — и вас выбирают по этим именам?

— Для желающих существует салон, где можно познакомиться, вроде бара в гостинице или релакс-хауса, понимаешь?

— А! Теперь это называется релакс-хауса!

— Так вот, — продолжал он, — одна дамочка делится впечатлениями с другой, обмениваются телефонами, визитками, — и все шито-крыто.

— Подумать только, какого прогресса достигли Афины!

Можно было не спрашивать, какое прозвище дали ему. Бледнолицый, он и есть бледнолицый.

— А как твоя девушка? — спросил я его.

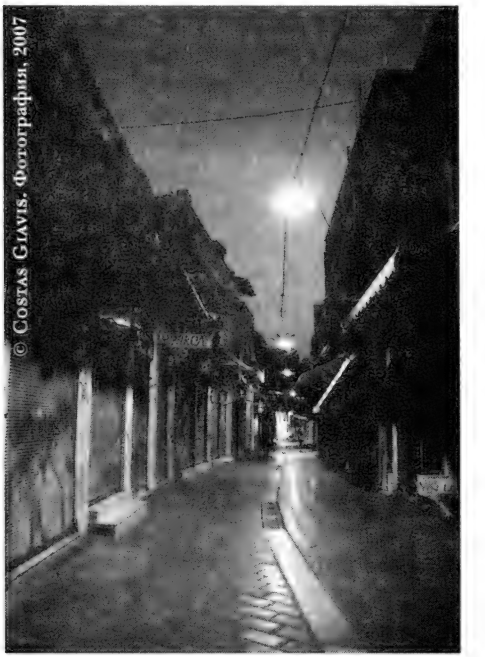
— Я дал ей отставку. Глупость с моей стороны. А она — она была в ярости.

— Но ты, наверно, быстро нашел ей замену?

— Однажды меня отправили в аэропорт получить какую-то посылку. Там я столкнулся с одной стюардессой — моего роста, спадающие длинные волосы, фигура бесподобная. Она как раз заканчивала смену и пе-

1. Набережная Афин.
2. Северная окраина города.
3. Асфалия — греческая служба госбезопасности.

реодевалась в туалете для посетителей. Мой взгляд случайно упал на нее. Самое важное в жизни я всегда замечал тайком, украдкой. Я следил за ней со спины, как ищейка, исподтишка, хоть это и нехорошо. Меня заворожили ее движения, волосы, волнами спадающие на плечи, изгиб бедра. Вот это была женщина.



Я нагнал ее на улице, у автобусной остановки.

"– Устала, поди. Давай подвезу, – сказал ей, – я за рулем. – У меня уже была серебряная "феррари".

– Твоя? – спросила она.

– Моя, – кивнул я."

В тот же вечер я пригласил ее в ресторан, затем на дискотеку, и, наконец, мы пришли к ней домой. Там был камин и кровать размером с аэродром. Так вышло, что на следующий день оба мы были свободны. Мы слушали радио, любовались ночными огнями города. Если чего и просить от жизни, Еврипид, – так это побольше таких вечеров.

– Она блондинка, брюнетка? – поинтересовался я.

– Русая, – сказал он.

Плохо дело, подумал я и смахнул срезанные пряди волос с его шеи.

– Самое главное, – признался мне юноша, – хотя она и стюардесса, на земле она в облаках не витает.

– Антонис, – я склонился над ним, – можно тебя спросить: а она знает правду?

Он взглянул на меня, словно хотел сказать – ты что, шутишь?

– И ничего не подозревает?

– Она все время на работе, то в Амстердаме, то в Нью-Йорке. В перерывах между ее рейсами и моей работой мы встречаемся у нее дома, разжигаем камин, и тогда я чувствую, что у меня есть семья, как будто домой, к маме, вернулся.

– Сколько ей лет?

– Тридцать.

Если женщина говорит тридцать, подумал я, пиши все сорок.

– И ты никогда не встречался с девушками своего возраста, Антонис?

– Нет, они слишком малы и назойливы. Только зрелые женщины знают, чего им нужно.

– И ты, между делом, – скорей продолжил я, – сменил квартиру, поселился в хоромах...

– Нет, – прервал меня юноша, – я, как и раньше, снимаю гарсоньерку на Макриянни, только купил с рук спортивную машину для разъездов. Чтобы создать впечатление – ведь в обществе о тебе судят по твоей тачке.

— Можно тебя еще кое о чем спросить, Антонис?

Он выразительно посмотрел на меня, будто говоря: теперь уже спрашивай о чем угодно.

— Как происходит оплата? Тебе платят сразу?

— Мне платят как всем, в конторе.

— Пятьдесят на пятьдесят то есть?

— Да, но тут никак не проверишь.

— А эти дамы, — поинтересовался я, — они тебе ничего не приплачивают?

— Только символически, — ответил он, — дарят разные безделушки. В знак благодарности.

Он говорил тоном оскорбленного попрошайки.

— Ладно, — сказал я, — а с твоей девушкой как у вас дела, ты после других, что, совсем не устаешь?

Может быть, он и начал терять терпение, но уже не в силах был идти на попятный, жаждал выговориться до конца, а я — я сгорал от любопытства.

— А ты знаешь хоть одну женщину, которая не хотела бы, чтобы ей доставили удовольствие? Не сможешь, она тебя просто выбросит, как ненужный хлам.

— Это точно, — согласился я, — но тебе-то с ней хорошо? Извини, что спрашиваю.

— Знаешь, — произнес он, — вначале я чувствовал, что занимаюсь любовью с близким человеком, которого выбрал сам. Постепенно и это стало привычным, перестало дарить те ощущения, что раньше.

Было видно, что он с горечью признавал это.

— И что ты теперь делаешь?

— Я закрываю глаза и представляю себе других. Разных. Женщин, проносящихся мимо на мотоциклетках, с развевающимися волосами, а ветер задирает им юбки. Женщин, с которыми ехал в одном лифте. Женщин, которых видел на видео.

Он полуприкрыл веки, как портьеры, за которыми игралось порно. Вот это да, столько женщин у парня, а ему еще и еще подавай!

Юноша наклонился посмотреть на часы. Золотой "ролекс".

— Спешишь? У тебя опять свидание?

— Мне надо быть у телефона — сегодня должна звонить моя девушка, — сказал он, будто оправдываясь. — Она задаривает меня подарками, привозит то из Нью-Йорка, то из Гонконга, хоть я все время повторяю: хватит, перестань, брось это.

— Почему, — удивился я — разве она не твоя девушка?

Он засмеялся.

— Ты не понимаешь, Еврипид. Все они помешаны на мужских духах, цепочках и перстнях. Скоро мне начнет казаться, что я и к ней прихожу за деньги.

Сказав это, он будто камень снял с души. Я опустил руки ему на плечи, чтобы успокоить.

— А ты сам ничего ей не даришь?

— Почему же, — возразил юноша, — кроме одежды я трачусь на нее и на Такиса. Остальное идет в банк.

— А Такис, это кто? — поинтересовался я.

— Малыш, — улыбнулся он, — мой братишка.

Усталость сделала его мягче, лицо прояснилось. Как будто сейчас лето, он дома, курит во дворе с отцом и рассуждает о холодильниках.

— В одном я уверен, — сказал я ему, — в своем деле ты мастер и ты действительно нужен всем этим женщинам.

— Да, — вынужден был признать он, — я всегда стараюсь их удовлетворить, а то и сделать хоть ненадолго счастливыми. Это настоящее искусство — дарить радость другому.

Он говорил так, будто сам давно ее лишился.

— Везет, наверное, тем, кто попадает в твои руки, — сказал я ему.

Он не ответил. А может, подумалось мне, и я попал в его сети? Что, если за раскосыми глазами и беломраморной кожей скрывается холодный и беспринципный жиголо? Не исключено, что он еще и мужеложец.

— Скажи, Антонис, эти твои "коллеги" — они все такие красивые?

У меня едва не сорвалось — "как ты", но я вовремя прикусил язык.

— Не знаю... — произнес он. — Что ты так на меня смотришь? Какое мне дело до мужчин, чтобы интересоваться, красивы они или нет?

Кажется, мой вопрос задел его за живое.

— И ты не сравниваешь себя с другими? — не унимался я.

— Нет, — сказал он, любуясь собой в зеркало, — мне нет до них дела. Важно, чтобы я был собой доволен.

— Я имею в виду, ты не похож на хулигана, — произнес я, желая увидеть его реакцию.

— Естественно, — ответил он, — все-таки я вырос в приличной семье.

— А дома что думают?

— То же, что и моя девушка, — что я работаю моделью.

Что модель, что бордель, подумалось мне, — все одно.

— Они тебе верят, — сказал я. — Как и я, хоть вижу тебя второй раз в жизни. Ты внушаешь доверие.

Молния сверкнула в его глазах, он сощурился еще сильней.

— Никогда нельзя быть до конца уверенным, Еврипид. С тех пор как я научился скрывать правду, я не доверяю даже самому себе.

— Правильно делаешь, Антонис.

Я спрыснул его волосы хинином и начал растирать.

— Скажи, — спросил я его, — ты не хочешь стать моим постоянным клиентом?

И тут я подумал, что похож на его дам, и чуть не рассмеялся. Он не ответил.

— А из тех женщин, — продолжил я, — не встречалась какая-нибудь, которая отнеслась к тебе как к человеку, которая тебе самому понравилась, которая была бы тебе ближе?

— Таких я обычно избегаю, — сказал он, — но есть одна женщина... не такая, как все.

Хинин расслабляюще подействовал на него. Это ощущение передалось и мне.

— Одна дама лет пятидесяти с Папагу[1], офицерская жена. До постели у нас дело редко доходит, мы больше катаемся на машине и разгова-

1. Улица в Афинах.

риваем. Она хочет знать все о моей жизни, какой я был в детстве, во что меня одевали, кто мои отец и мать, на кого из них я больше похож... Она расспрашивает про моего братишку, у нее одни вопросы, у этой дамы — прямо как у тебя, Еврипид.

— И ты ей все рассказываешь, как мне?

Он взглянул на меня, желая понять, к чему я веду.

— Не знаю, — произнес он, — меня покорила ее искренность, она дала понять, что я ей нужен не ради моего тела.

Это было его слабое место, его пунктик.

— Ну а когда дело доходит до постели, — спросил я, — тогда что?

— Ей нравится постепенно раздевать меня. Снимать рубашку, брюки, туфли и приговаривать: "Ах, какая у мальчика жилетка, ах, какие красивые носочки, какие еще вещички хочет мой мальчик?"

— Ну ничего себе, — сказал я. — У этой дамы есть дети?

— Будь они, разве я был бы ей нужен?

— Понятно, — произнес я, — и эта госпожа кладет на твой счет деньги в банке, оплачивает автостраховку, гараж?

— Да, — неожиданно вскричал он, — так и есть. Если ты все знаешь, зачем спрашиваешь?

У него снова сдали нервы.

— Одного я не пойму, Антонис. Это же ни в какие рамки не лезет!

— Аа, — сказал он, — о чем тут говорить! Денег им девать некуда, вот и бесятся с жиру. И еще... — он понизил голос. — Мне иногда кажется, что всех их гложет одиночество.

— А ты, — сказал я ему, — любишь свою стюардессу.

— Не знаю, не уверен, — устало произнес он, — просто я хочу где-нибудь осесть, но не могу себе представить, как можно все время жить с одной-единственной женщиной. Наверное, меня испортила работа.

— Скорее, улица, — сказал я.

Его плечи дрожали под покрывалом. Будто у него температура или ломка — и нужна доза. Я принялся разминать его плечи, а он продолжил рассказ.

— Моя мечта, Еврипид, — сказал он, — уехать в Америку, начать там все сначала: я слышал, жизнь в других странах лучше и справедливей.

— Народ там, — возразил я, — не знает, ни что значит в кофейне посидеть, ни с друзьями погулять. Будет у тебя один-единственный выходной, и тот проведешь в каком-нибудь "фольксвагене". До каких пор думаешь оставаться на этой работе, Антонис?

— Проценты бегут, — сказал он, — когда-нибудь кубышка наполнится.

— Может, ты слишком выкладываешься?

Я аккуратно провел бритвой по его затылку.

— Когда тело устанет, — сказал он, — оно даст знать. Тебя все это пугает, Еврипид? — произнес он вдруг загадочно.

Может, ему и вправду хотелось попугать меня.

— Нет, — ответил я, — в молодости я сам наломал дров — любой мужчина, если ему не мешает образование, пускается во все тяжкие.

— Хочешь сказать, будь у меня образование, я был бы другим? — спросил он как маленький ребенок.

— Конечно, — сказал я, — ты был бы интеллигентом, бедным и голодным.

— А ты, — спросил он, — почему стал парикмахером?

— Чтобы делать людей красивыми, — сказал я.

Он посмотрел на меня в недоумении.

– Тебя это задевает, Еврипид? – спросил он.

– Что именно?

– То, что я тебе рассказываю?

– Для того ты ко мне и пришел, Антонис, – я склонился над ним, – чтобы выговориться. Мы, парикмахеры, такой народ – нам все исповедуются. Историй, что я услышал от своих клиентов, хватило бы на целую книгу.

Он надел пиджак, темные очки и повернулся, чтобы заплатить. Обычный парень, таким он мне показался теперь, немного бледнее и худощавее, чем другие, с чуть более узкими глазами, спокойный в своей нервозности. Может быть, откровенность сделала его похожим на всех. Он больше не напоминал прожженного циника. Врочем, не напоминал он и то совершенство, которое я чуть было не вообразил себе. Все когда-нибудь уходит, подумалось мне, молодость, красота, остаешься один в собственной шкуре, без друзей, без родственников и даже без Бога. Он сунул руку в карман. Легкие деньги: быстро достаются и быстро уходят.

– А если ты не уедешь за границу, Антонис, что ты будешь делать?

– Что же еще, – сказал он, – вернусь в Эгалео. Открою там какое-нибудь дело.

– Почему в Эгалео?

– Там мой дом, – ответил он, – там я родился.

Я проводил его до двери. В мягком осеннем свете он казался милее, хоть и выглядел, как всегда, бледным и печальным. Я провожал его взглядом, пока он снова не превратился в тень. До сих пор не могу понять, как он решился мне все рассказать; должно быть, слишком много накипело внутри. Чем больше он замыкался, тем тяжелее становилось. Если когда-нибудь исчезнет необходимость зарабатывать себе на жизнь и человек сможет посвятить себя своему настоящему призванию, только тогда появится надежда, что этот мир станет лучше. Не нарушая правил. А если его призвание – быть жиголо, подумал я, если только так он может самовыразиться и найти себя? Разве не делают то же самое все художники мира? Разве они не нарушают правил? Художником в своем роде был и он.

ВОСЕМЬ УТРА, я только что открылся. Уже глубокая зима и ветер такой, словно дует прямо из Сибири. В такую погоду мысли то и дело возвращаются к плохому. Наверное, потому я нисколько не удивился, когда заметил сперва его тень, а затем и его самого на пороге парикмахерской. Он был во всем черном, только рубашка белая. Кто знает, может, за это время он и правда стал гробовщиком. Юноша молча снял темные очки – наверное, он не расставался с ними даже ночью – и уселся в кресло, как давний клиент. На этот раз он не снял пиджак, плечи которого были чем-то испачканы.

– Перхоть? – спросил я.

Он не ответил.

Шевелюра его была в ужасном состоянии, лицо бледнее обычного, глаза глубоко запали и обведены темными кругами. Можно подумать, эти ведьмы из него всю кровь выпили.

– Кофе? Я закажу, а ты можешь не пить.

Я поинтересовался, как у него идут дела, он спросил, есть ли у меня клиенты. Я заметил, что на нем не было часов.

— Где твои часы? — спросил я.

— Сломались, — отрезал он.

Когда принесли кофе, он решительно отказался от своей чашки.

— Нет, Еврипид, с кофе и сигаретами покончено, врач запретил.

— Врач... в твоем возрасте? — удивился я.

— Сначала и мне это казалось странным, — сказал он, — но я неважно себя чувствую в последнее время.

— Ты устаешь, я уже говорил, тебе надо отдохнуть.

Я продолжал стричь его молча, а он молча терпел меня.

— Мне хотелось, чтобы напоследок постриг меня ты, — произнес он спустя некоторое время, — завтра я ложусь в больницу на обследование.

По моей спине побежали мурашки, откуда-то сквозило — наверное, забыл прикрыть окно.

— Не доверяю я больничным парикмахерам, — продолжил он, — этим санитарам, которые только и умеют, что щелкать ножницами.

— Почему на тебе черный галстук?

Мне хотелось спросить об этом сразу, как он пришел.

— Я потерял отца.

— Упокой Господь его душу. Ему было много лет?

— Семьдесят, мы столько не проживем.

Мы? Кого он имел в виду? Себя лично или своих друзей с работы?

— Не говори так, — сказал я, — все у тебя в порядке, твое поколение при сегодняшнем уровне медицины до ста доживет.

Он взглянул на меня с иронией.

— Разве ты не видишь, до чего я дошел? Позавчера отменил два рандеву.

— Впервые?

— Нет, уже второй раз, а чтобы не было третьего, ложусь на обследование.

— Сначала надо бы провериться, скажем, у микробиолога.

— Проверялся, анализ крови показал низкий уровень гемоглобина и повышенный лейкоцитов.

— А что тебя беспокоит, Антонис? — спросил я мягко, чтобы его не испугать.

— Вялость, еще и вес потерял. Ночами я вижу один и тот же сон: кто-то ключом пытается найти замочную скважину и это никак у него не получается.

Мы переглянулись. По взгляду я могу читать мысли клиента.

— Давай сменим тему — как поживает твоя девушка? — спросил я.

— Сегодня летит в Нью-Йорк. Если бы у меня и ее не было, я бы давно свихнулся.

— О чем вы разговариваете?

— Обо всем на свете, о Таймс-сквер, о Мисиссипи, о кукурузных плантациях.

Он говорил это, как вызубренный урок.

— Она не знает, что ты болен?

— Я стесняюсь сказать ей правду.

Подумать только, ему стыдно признаться, что у него проблемы со здоровьем, а за болезнь под названием "женщины" ему не стыдно.

– Разве твоей матери, – сказал я, – не следовало бы сказать?

– Она только начала приходить в себя после смерти отца.

– А что Агисилай?

– Этому все равно, я уже попросил у него двухнедельный отгул по семейным обстоятельствам, а он мне в ответ: опять?

– А Такис, – спросил я, – твой младший брат?

– Ему бы я рассказал в последнюю очередь, – сказал он.

Нам обоим было душно в стенах парикмахерской. Зима – самое неподходящее время для подобных бесед.

– У тебя обычное переутомление, – сказал я ему, – через месяц ты снова будешь в форме. И не ходи ни к кому другому, – пригрозил я ему, – придешь ко мне, я тебя сделаю красавцем.

– Красавцем, – усмехнулся он, – а здоровье ты мне можешь сделать?

Я склонился к нему, так что наши лица оказались на одном уровне. Род людской – глядит на себя в зеркало и не узнает себя.

– Послушай меня, – произнес я прямо у его уха, – я не знаю, как там в Америке, но в Греции парикмахер и есть врач, слышишь?

– Не переживай из-за меня, – у него хватило духу сказать, – ты меня видишь третий раз в жизни.

– И еще не раз увижу, не забывай: мы теперь с тобой друзья.

Я увидел, как глаза его увлажнились.

– Еврипид, можно тебя попросить об одном одолжении?

– О тысяче одолжений.

– Оставь мне свой номер телефона: ведь я ложусь в больницу, и мне нужен кто-то, кому можно сказать, понимаешь?

Как тут не понять.

– Дам я тебе телефон, – рассердился я, – но он тебе не понадобится, скоро ты опять вернешься к своим женщинам. Везучий ты, негодник, целый гарем!

Его лицо исказила гримаса отвращения. Я схватил его за плечи.

– Я тебе все это говорю потому, что мы, мужчины, и можем доверять друг другу, ведь так, Антонис?

– Меня зовут не Антонис, – сказал он.

– Как бы тебя ни звали, – сказал я, придя в себя, – это ничего не меняет.

Он не ответил. Повисло тягостное молчание – будто в комнате стало нечем дышать. Я торопился скорей закончить стрижку и вполголоса сказал: готово. Он достал деньги.

– Убери, пожалуйста, у тебя сейчас расходы, анализы, больницы, заплатишь в другой раз.

– В моей профессии ничего не делается авансом, – сказал он, – так же как и в твоей, – и сунул мне деньги в карман рубашки.

Я проводил его до двери.

– И не стесняйся звонить мне! – успел я крикнуть в последний момент.

На улице закутанные в пальто люди выдыхали изо рта пар. Я провожал его взглядом, пока он не растворился в толпе – в одном пиджачишке, тонкий, как хворостинка.

ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ. По соседству, в похоронном бюро, клиентов хоть отбавляй — снуют туда-сюда каждый день. От меня же никто не выходил, потому что никто и не заходил. Тишина. Как-то раз зазвонил телефон. Я всегда подскакиваю от неожиданности, когда слышу звонок. Но в тот день телефонная трель пронзила меня словно током.

— Господин Еврипид? — спросил женский голос.

В мою парикмахерскую редко звонят женщины.

— Он самый, — уверил я ее, — чем обязан?

— У меня есть заказ на ваше имя, назовите, пожалуйста, ваш адрес, я вышлю вам посылку.

— От кого эта посылка, девушка?

— От одного вашего клиента.

— А вы сами кто будете?

— Я его знакомая.

Настаивать было бесполезно — она как тот Бледный юноша. На том мы и распрощались.

Пришла весна, и яркое солнце уже щекотало лучами бороду. Я и думать забыл про телефонный звонок, как однажды днем в стеклянную дверь парикмахерской постучал почтальон. Три раза — говорят, так стучится судьба.

— Еврипид, тебе посылка.

Я подписал квитанцию. Плотно завернутая и запечатанная сургучом посылка призывно смотрела на меня с рабочего столика. Но я ждал до конца дня, пока уйдет последний посетитель.

Только я стал разворачивать посылку, как открылась дверь, и старая лиса всунула свою физиономию. Хуже не бывает, когда целый день ждешь чего-то, а тут приходят и прерывают тебя в самый неподходящий момент.

— Добрый день, Еврипид. Весна пришла, смотри, какое солнце! — И стоит на одной ноге, прямо как аист. — К тебе почтальон приходил?

Я молча взглянул на нее.

— Что-то случилось, — спросила она, — я могу чем-то помочь?

Я молчу.

— Слушай, а что с тем самым клиентом, ты понимаешь, о ком я, что-то давно его не видно?

А сама косит взглядом на посылку.

— Хочешь знать? — сказал я, доставая содержимое пакета и помахав им у нее перед носом, — вот прядь его волос!

Она в ужасе подалась назад, я мигом захлопнул дверь и дважды повернул ключ в замке.

За окном была весна, и солнце сияло, как золотой "ролекс".

Танасис Вальтинос

Айстратиг – святой полководец

Перевод Евгении Смагиной

Он был самый младший. Между ним и моим отцом были одиннадцать лет разницы и восемь сестер, выросших в те годы. Тогда считалось, что дети – от Бога; "дети" означало мальчики. Девочки – это так, бабье.

Бабка Марфа, которая до глубокой старости поминала мужа хвалой за то, что он до самой смерти (а умер он в преклонных годах) не переставал ее ублажать, однажды, "тяжелая" десятым ребенком, проходила по горе Котронас. Распространенная легенда гласит: на вершине Котронаса был дворец. Франкской эпохи. В дворцовом водоеме, который существует и поныне, заросший кустарником и бурьяном, ядовитые змеи стерегут сокровища принцессы. Сундуки с золотыми монетами. Есть и еще один страж, хотя и более поздний, чем дворец: построенный на северо-восточном краю того же самого Котронаса безымянными проезжими мастерами стоит Айстратиг, святой полководец – часовня Михаила Архангела. Неясно, какой безумный порыв души побудил их выбрать именно это место.

Место опасное – будто огромный окаменевший нос корабля. Здесь ветры затевают ссоры, и маленькая, в рост человека, часовня как бы парит в воздухе над зияющей пропастью. Парит и Архангел внутри часовни на ее старинном иконостасе. Крылья за спиной легко держат его невысоко над землей; в правой руке большой меч, голова склонена – склоненный диск солнца. Грация полета не смягчает суровости облика.

Как и зачем забрела туда бабка Марфа, неизвестно. Так или иначе, она поднималась из оврага по тропинке, протоптанной на скудной поч-

© Ekdoseis METAIKHMIO kai Thanases Baltinos,2003
© Евгения Смагина. Перевод, 2008

ве горного склона. Может быть, шла с мельницы Анагностиса Проэстопулоса — развалины мельницы еще сохранились в этой скалистой преисподней.

Она торопилась успеть домой до ночи, совсем запыхалась, и как только поднялась наверх, сразу остановилась перевести дух, опершись рукой о каменную стену у входа в часовню. Жест родственной близости. Было тогда бабке Марфе хорошо за тридцать.

— Айстратиг, — сказала она, тоже как близкому, — дай мне ребенка, и я назову его твоим именем.

Просьба ее была услышана, и договор соблюден в точности. Так к длинному ряду наших традиционных семейных имен прибавилось еще одно — Айстратиг.

Первое мое воспоминание о нем связано с кровью. Мне было пять лет. Воспоминание отрывочное, но отчетливое. Стоит солнечный, холодный день. Далее: на темном, грязном поле там и сям рассеяны островки снега. Звук выстрела врывается не в тишину пейзажа, а в ясность дня — раскалывает ее. Большая птица падает, сбитая выстрелом. Насколько велика она была? Ясное дело, меньше, чем мне тогда казалось. Самое большее — залетный бекас. Беру птицу в руки. Она теплая. Я еще не осознаю, что такое смерть, но вид красного пятнышка на белом-пребелом снегу вызывает тревогу. Я смотрю на дядю с чувством какой-то вины. Он держит двустволку под мышкой, закурил сигарету и выдувает первое колечко дыма; он как будто освободился. От чего?

Только это и осталось от всей сцены. И я никогда не охотился. Но все же он научил меня любить горы Кинурии[1]. Как легко он перескакивал с камня на камень, когда мы поднимались по горным склонам; то и дело он останавливался, поджидая меня. Каким взглядом всматривался в горизонт за вершинами Парнона[2], чтобы определить время.

— Я нашел глинище. Стал докапываться до воды. Но неправильно выбрал место. После нашел другое и копал там.

Давно это было.

— Сколько тебе лет сейчас? — спросил я.

— Восемьдесят третий пошел.

Это звучало, как прощание. Он разлил вино по стаканам, рука дрожала. Криста молча смотрела на него. И через некоторое время констатировала в свойственной ей манере:

— Старческая дрожь.

Зря я это сделал. Напрасно рассказывал ей о дяде: она создала в душе его образ и теперь глубоко опечалена. Потому что нынешний образ оказался совсем непохож на тот.

Но так ли уж зря?

— Деда моего звали Кириаком, бабушку Катериной. Я не застал их в живых.

Я спросил его, помнит ли он еще кого-нибудь.

— Стаматину, — ответил он. — От нее у нас большая нога.

Он имел в виду длинные ступни — нашу семейную особенность.

— Так смешивается разная кровь.

Потом он замолчал. А когда мы собрались уходить, сказал мне:

1. Кинурия — прибрежная область Арголидского залива на юго-востоке полуострова Пелопоннес. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
2. Парнон — горный хребет на полуострове Пелопоннес.

— Приходи меня хоронить. В церковь-то меня никто не понесет.

Он разругался со всеми соседями.

В последний раз он уходил далеко от дома в 1964 году. Было ему тогда под шестьдесят. Он отправился пешком в Платанаки. Два дня пути.

— Стратиг! — узнал его Параскевис Рорис.

Сколько лет прошло с тех пор — двадцать три года.

— Ступай, помоги этому сумасшедшему спуститься оттуда, — приказал командир сержанту.

— Как же я пойду, господин майор? Среди бела дня?

— Иди ущельем. Оно не простреливается.

На снегу была расстелена плащ-палатка, бечева переднего стояка привязана к итальянскому солдатскому ботинку. Только этот ботинок и был виден. Сержант Рорис, капрал Мустафелос и рядовой Плаянис откинули задубевшую от мороза парусину и обнаружили Стратига — он лежал на спине улыбаясь, как мраморный курос. Сначала они стали растирать его. В области сердца, потом пошли выше и ниже, к голове и ногам. Растирали долго. Потом влили коньяку ему в рот, между стиснутыми зубами. Он слабо вздохнул, веки дрогнули.

— Тебе что, жить надоело? — спросил сержант Рорис.

— Не надоело, — прошептал Стратиг.

— Но другие-то ушли еще вчера.

Стратиг слышал сержанта, но ответить не мог. А если бы и мог, как бы объяснил?

На десятый день в Янине ему сказали, что он не обезножил. Только поморозился. В палату пришла медсестра. Такая хорошенькая, притрагивалась к нему голыми руками, помогала помочиться, да так, что он при этом не чувствовал унижения.

— Ах, Стратиг, — повторял Параскевис Рорис.

Он стал полуседым. Усы поседели.

Сначала они пустились в воспоминания. Потом стали открывать бочки и помаленьку пробовать вино. Потом выпили, распевая песни. Потом пустились танцевать. Потом обнялись и троекратно поцеловались. Потом вместе поплакали. Под конец они сказали:

— Чтоб на будущий год все были живы-здоровы.

Это была первая разлука.

С тех пор он начал чуждаться людей. Разрывать связи. Стал взбалмошным, на всех брюзжал. Перессорился со всей деревней. Как сам-то он выносил свою гордость?

В 1978 году он попросил у меня пистолет. Зачем? Ему не с кем было сражаться, нечего бояться врагов. Что-то прозвучало в воздухе, как будто лопнула натянутая струна — пронзительный отдаленный звук, отдаленный, но настойчивый, как сверло вонзался в виски; и больше не к кому было обратиться.

Я из кожи вон вылез, но нашел пистолет. Подержанное оружие с темным прошлым. Купил за немалые деньги. И привез ему в следующий свой приезд. Он взял, не говоря ни слова. И с тех пор всегда носил его при себе. В заднем кармане брюк. Смазывал, начищал до блеска. Всегда держал заряженным, но пустить его в ход так и не довелось.

Я был единственный из родственников, к кому он по-прежнему питал привязанность. Которого не чуждался. Я знаю почему. Я то и дело приезжал со своими подружками, что приводило в смущение местных жителей.

— Нынче уже другую привез? — вопрошали они и исподтишка посмеивались.

А он меня понимал. Свое собственное одиночество он прожил в чрезвычайной строгости. Но одиночество есть одиночество, как ни живи. Как ни живи, оно наложит на тебя ту же самую печать. И он узнавал эту печать на других.

В 1992 году 7 июля в семь утра позвонила мама. Ее извиняло то, что и теперь, хоть ей и было уже за восемьдесят, она не переставала беспокоиться о "малыше". Каждый раз, как я пренебрегал этим долгом, она обращалась ко мне сама — с упреками. Чувство, что ее авторитет еще в силе, шло ей на пользу. Она как бы возвращалась в пору расцвета. Часто я нарочно позволял себе пренебрежение — именно для этого. Так же нарошку, как я соблюдал ее устаревшие правила жизни.

— Недобрые сны, — сказал я ей. — Мне снились рыбы.

— Это к горю, — отвечал ее голос.

На другой день мы узнали, что Стратиг умер.

"Вроде как грохнуло что-то у меня в затылке, под самым корнем головы. И в глазах потемнело".

Он упал. Речь стала невнятной. Один. Его нашли, какая-то соседка вызвала врача. Врач прописал покой, велел не двигаться. Стратиг не мог протестовать — язык не слушался. Это выводило его из себя. Тут он встал, с трудом вышел на двор помочиться. Толкнулся в дверь уборной и увидел, что к нему с улыбкой подходит та самая хорошенькая медсестра.

— Тебе помочь? — сказала она.

Я старался не поддаваться коварству памяти — и тщеславию, к которому оно ведет.

— Иной раз гнев рушится на тебя как снег на голову, — как-то сказал он мне.

Единственное его замечание о самом себе. Но я тогда был еще недостаточно зрелым, не мог ничего толком сопоставить.

А теперь я ехал в гору, по направлению к Драгуни; на переднем сиденье ехала мама. Она могла чувствовать страх — пока еще могла. Четыре месяца назад мы потеряли Йоргоса. Это внезапное горе она перенесла мужественно. Теперь ушел Стратиг. Где два несчастья, там и третье. Если считать по порядку, настал ее черед. Сколько надо мужества, чтобы принять это. В руках она держала лимон. Хотела отдать покойнику, чтобы тот отнес лимон ее среднему сыну. Лимонное дерево — символ женщины. И лимон — знак горечи. Реже — символ женской груди.

Мы проехали мимо постоялых дворов на перевале и начали спускаться на ту сторону. Впереди были горы Кинурии, нагорье Ксерокамбио, а в глубине, на дальнем горизонте, — Арголидский залив. Другого берега не видно.

Оказалось, зря Стратиг боялся: в церковь пришли все. Восемнадцать человек. Похороны назначили на полседьмого вечера. Чтобы успела приехать дальняя родня из Мантинеи и Нафплиона, если бы кто-нибудь из них собрался приехать. До начала оставалось еще сорок минут. Гроб, по обычаю непокрытый, стоял на двух стульях, точно под куполом. А в гробу — Стратиг, с подвязанными руками, с подвязанной челюстью, над каменной плитой с византийским двуглавым орлом.

Когда его нашли, то нашли и пистолет. Как всегда начищенный и заряженный. Непонятно было, что с ним делать, и его отдали мне. Носить оружие было запрещено. Я потихоньку подошел к гробу, приподнял маленькую подушечку под головой Стратига и положил под нее

пистолет. Потом я вышел покурить. Вскоре, поднимая облако пыли, подъехал грузовичок, из тех, что называют "сельскими". Из кабины вышел водитель, человек моих лет. Незнакомый. Он увидел, что на мне черный галстук.

— Учитель Плаянис, — представился он, — из Гераки.

И поздоровался со мной за руку. Потом показалось еще одно облако пыли. Тот, кто появился из него, был похож на военного. Загорелый, коротко стриженный, с короткой, жесткой бородой.

— Мустафелис, — угадал я, как только он подошел.

Он улыбнулся мне, потом сказал:

— Рориса не ждем.

Мы вошли в церковь.

— Стратиг, вот твои друзья пришли, — сказала моя мама.

Они сидели на стульях, сбоку от гроба. В черных платьях. Сама она посредине, справа от нее Мариго, слева Кацавена. Эти две женщины обряжали его в последний путь. К лацкану его темного пиджака прикололи искусственную веточку цветов лимона. Конечно, не в шутку. А в знак того, что он был не женат.

Внезапно, прервав томительное молчание, мама затянула погребальный плач. Плач по Стратигу восьмидесяти восьми лет. Кто-то отозвался нервным смешком, но сразу смолк. Монотонное, настойчивое причитание пресекло его. Выражала ли она свою привязанность к ровеснику и родичу или просто воздавала ему справедливость?

Я встал позади, взял маму за плечи. Как бы ей не стало худо. Я не хотел ее останавливать, но вскоре она сама замолчала. Недолгая тишина — и снова начались причитания.

Две другие женщины ей не вторили. А Стратиг все лежал перед ними, с цветущей лимонной веточкой на лацкане, недвижимый, изношенный временем — пустая, брошенная оболочка. И мама принялась излагать то, что уже забылось со временем: историю его великой любви. И рыданье звучало в припеве, то и дело повторяющемся: "Ах, Стратиг, ой, бедный парень". Так продолжалось, пока не заскрипела алтарная дверь. В царских вратах появился священник, укоризненно оглядел немногочисленных прихожан — и тем положил конец любительскому спектаклю.

P. S. Привожу эту балладу в пересказе. Подробности сюжета я сохраняю, но особенности языка, форму импровизированного погребального плача здесь передать невозможно.

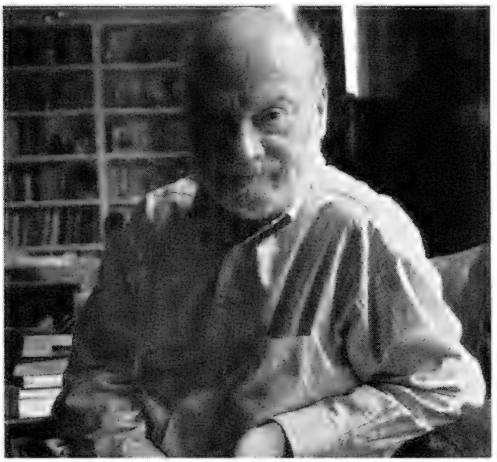
Стратиг любил одну девушку. Но неожиданно, не спросив девушку (как часто делалось в те времена), семья решила выдать ее за другого. И однажды в воскресенье после обедни на церковном дворе Стратиг, которому тогда было двадцать пять лет, встал перед ее женихом, и за поясом у него был нож; все поняли, что́ он сейчас сделает. Народ в ужасе отшатнулся. И в эту роковую минуту между ними бросилась девушка:

— Если ты должен стать убийцей, сперва убей меня!

Говорила ли она ему что-нибудь лестное? Сказала ли про жениха: он того не стоит, куда ему до тебя? Во всеуслышание ли призналась в любви? Так или иначе, убийства не произошло. А накануне свадьбы ее нашли мертвой — она повесилась на притолоке в своей комнате.

С тех пор Стратиг удалился от мира, и теперь моя мама по справедливости воздавала ему за это одиночество, которое он избрал и пронес — безмолвно, без сожалений — через всю оставшуюся жизнь, до восьмидесяти восьми лет.

Димитрис Ноллас



Кутья на земле

Перевод Ирины Ковалевой

СТАТИС качнул ботинком и вышиб две крышки из-под пива, коекак уравновешивавшие колченогий столик. "Вот суки, — выругался он про себя, — задарма всё хотят получить". Он сидел в компании туристов и торговался с ними насчет земельного участка, лежавшего в горах, у подножия скалы. То был клочок земли, где, как говорится, ногу поставить некуда. Одни камни, опунции и от дороги далеко. Ни воды, ничего.

Участок на самом деле находился в конце узкой и длинной полосы земли, которая начиналась от бархатистого песчаного пляжа, пересекала плодородную равнину, потом взбегала по обрывистому горному склону и, наконец, упиралась в маленький клочок земли у подножия скалы, высоко в горах. Сюда, под сень этой скалы, он приходил отдохнуть с тех пор, как овдовел, а дети выросли и разлетелись из гнезда. Здесь он любил поразмышлять на разные темы, и мысли летели вместе с голубыми колечками дыма от недокуренной сигареты. Он лежал на спине и вглядывался в высокое небо.

И все это он распродал, начиная с лучшей, приморской части и постепенно поднимаясь все выше и выше, откусывал кусок за куском — всякий раз по серьезной надобности. Образование детей, квартира в Пирее — надо же где-то жить, — поездка к брату в Чикаго, приданое дочери. Всегда найдется веский аргумент причинить себе зло, думал Статис. Эта мысль частенько его посещала, но самое удивительное — он тут же о ней забывал и был готов начать все сначала, вот, например, как се-

© Dimitris Nollas
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

годня, когда он был готов продать последнее, только его не устроила цена, которую давали иностранцы.

По воскресным и праздничным дням Статис приходил в таверну Панагиса и пристраивался, где находилось место. У него был тут открытый счет. В обмен на это с хозяином у них был как будто тайный уговор, хотя ни тот ни другой никогда бы в этом не признались: он должен был подсаживаться к иностранцам и рассказывать им что-нибудь зажигательное. То, что он не знал языков, делу не мешало. Его повествования были столь выразительны, что гости обычно делали вид, будто понимают, о чем он говорит, а он устраивал целые представления: когда на ломаном немецком, когда на греческом, похожем на немецкий. И говорил когда о горестях жизни, а когда о всяческой ерунде.

А бесчисленные графинчики с выпивкой следовали один за другим среди рассказов о военных подвигах, среди величественных богатырских жестов и изъявлений любви — покуда сотрапезники Статиса, а иной раз и он сам, не доходили до того, что не могли уже ни пить, ни слушать. Обычно Статис чувствовал заблаговременно, что приближается момент, когда пора остановиться. Но сегодня он был огорчен, и ему требовалось высказаться. И пускай слушает, кто хочет. Огорчила его низкая цена, которую ему предложили за тот клочок земли в горах, у подножия скалы. Поэтому, когда жарким осенним воскресным утром Панагис вызвал его в кухню и сказал:

— Да ведь то, что у тебя там осталось, на хрен никому не нужно, — а потом добавил: — Хуже того, это одна головная боль... Продал бы ты его, чтобы уж отвязаться.

И тут Статис завелся, но повиновался тайному знаку, который ему сделал хозяин таверны, и вошел внутрь.

— Не нужно, говоришь? А почему же тогда они о нем толкуют? Они что, издеваются надо мной — дают за него ломаный грош?!

Так он думал тем жарким утром и не мог решить, на кого выплеснуть обиду. Он искал правды на дне стакана с прозрачным, сверкающим узо, чтобы скрасить одиночество, выдумывал все новые обиды, растравлял себя и запутывался все сильнее. Минуту назад он воображал, что его собутыльники — это изголодавшиеся демоны, готовые силой отнять у него его собственность; а сейчас он смотрел на них из глубины темной кухни, и ему казалось, что они — груда летучих рыбок и безвредной рыбьей мелочи, в которой он увяз по уши.

— Иди сюда! Ком, капетано! Эввива! — кричали, утомленно чокаясь, иностранцы. Они почувствовали, что у него испортилось настроение.

Панагис потому и позвал его на кухню — понял, что тот повесил нос, а клиенты дошли до ручки. Руководствуясь логикой продавца, умеющего предотвратить ущерб, пока он не обернулся крупными убытками, Панагис сказал:

— Раз они больше не в настроении, гони их к черту. Заканчивай!

— Вот, стало быть, как, — вымолвил пожилой, просоленный в море островитянин, сощурился, чтобы глаза притерпелись к полумраку кухни, и повторил: — Вот, стало быть, как. А землю у меня забрать они в настроении. И ведь взять хотят задаром. А я-то их столько времени ублажаю как дурак... Даже на лодке их катал. Это я-то — да я ради родной матери веслом не шевельнул. А они хотят все получить за ломоть черствого хлеба.

Хозяин таверны поглядел на Статисовых туристов, готовых раствориться в лучах полуденного солнца, прикинул в уме, сколько он на них заработал, и остался весьма доволен. Этот Статис был сущей находкой для заведения. Даже из своего раздражения он умудрялся извлечь радость жизни, которая претворялась в жажду и желание пировать. Панагис подумал, что Статис заслуживает доброго слова, и сказал:

– Брось ты переживать из-за какого-то пустыря. Лучше сегодня продать его за ломоть хлеба, чем завтра отдать за просто так.

Статис не ответил. Перспектива мрачных событий, на которые намекал хозяин таверны, с каждым днем приближалась – он это чувствовал и запутывался еще больше. Он взял кофе и нерешительно пристроился в углу. Он и сам не знал, что стал бы делать с этими деньгами, если бы, разумеется, они столковались о разумной цене. Нельзя сказать, что он очень уж в них нуждался, – ему хватало маленькой пенсии и того, что он выручал за рыбу, которую удавалось поймать. На самом деле его грызло одиночество и беспокойство о том, как быстро все проходит. Что – "все", он не сумел бы ответить, если бы его кто-нибудь спросил. Все, думал он, и эта мысль рождалась точно не в голове его, а во чреве.

Вдруг набежали черные тучи – под стать его настроению. Он медленно поднялся и пошел домой, чтобы успеть до дождя. Он собирался немножко отдохнуть перед тем, как выходить в море, когда погода прояснится. Гроза была, по всей видимости, ненадолго.

За невысокой оградой кладбища он заметил склонившуюся над могильными плитами Марианфи, племянницу со стороны жены. За выбеленной стеной, сверкавшей, точно свежевыстиранная простыня, он увидел черный платок, остановился и стал смотреть, как она выпалывает траву, густо разросшуюся среди могил. Она только что отслужила панихиду по мужу, скончавшемуся три года назад, и сейчас ее окружала стайка малышей, поглощавших кутью.

Марианфи подошла к нему и дала ему ложку кутьи. Статис подумал, что и ему следовало бы хоть изредка поухаживать за могилой жены, и Марианфи, точно угадав, о чем может думать мужчина, который десять лет назад схоронил жену и теперь ест кутью на чужих поминках, сказала:

— Я и у покойной тети лампадку зажгла.

— Спасибо, дочка, — поблагодарил он, но не успело его лицо принять доброе выражение, как вдруг он снова рассвирепел и крикнул игравшим малышам: — Эй, что это вы там делаете, а?

Дети замерли. Серьезно и торжественно, распевая псалмы, они смешивали в ладошках кутью с землей, а потом, растопырив пальчики, просеивали эту смесь, и она сыпалась на могилы.

Тоненький, но уверенный голосок ответил — и нельзя было различить, кто именно говорит, до того тесно они прибились друг к дружке: "Пойдет дождь, заберет это вниз, и души поймут, что мы тут были. Рядом с ними".

Марианфи машинально вытрясла пустое блюдо, и ветер унес крупинки сахара и два-три пшеничных зерна. Она кивнула Статису, а детишки запрыгали между плитами, следя, чтобы не наступить на могильную землю.

Ему пришло в голову, что он должен поговорить с ней, дать ей совет; он не видел ее около года, и его тронуло, что она ухаживала за могилой его жены.

— Что ты сидишь тут, девка, и не уезжаешь? — сказал он. — У тебя вся жизнь впереди. Почему бы тебе не уехать отсюда и не устроить свою судьбу?

С тех пор как Марианфи овдовела, ни один мужчина не обратился к ней с серьезными намерениями. Осталась она без защитника, ни отца, ни братьев, одна-одинешенька в бабьем царстве — тетки, бабки, племянницы, двоюродные сестры, — ну и, конечно, какие мужики к ней подступались, у них все мысли были о ее заднице, думал Статис, любуясь исподтишка стройным телом племянницы.

— С чего это мне уезжать? — резко сказала молодая женщина, не видевшая, похоже, никакого добра в том, чтобы быть под защитой мужа. — Все наши тут живут — и она сделала широкий жест, обведя маленькую гавань, бушующее море и детей, разбежавшихся теперь, под первыми каплями дождя. — Да ведь и ты тоже тут, — продолжала Марианфи, — и землю вот, как я узнала, не продаешь. Зачем же мне куда-то ехать?

Статису не хотелось продолжать этот разговор. Слова Марианфи — или, может быть, ее тело? — вместе с крупными каплями дождя охладили ему голову — эту раскаленную печь, вечно выдававшую одну мысль за другой, — и он поспешил уйти. Шаги его были легки. И хотя над ним клубились тяжелые тучи, окутывая остров, на душе у него было ясно.

Когда он закрыл за собой дверь дома, короткая гроза уже пронеслась. Тучи растаяли, и белые стены домов стали окрашиваться в золото и зелень; и точно сильный дождь прочистил ему мозги, он подумал, что пройдет немало времени, прежде чем он снова примется решать, что делать с тем участком.

Аманда Михалопулу

Лермонтов

Перевод Ирины Ковалевой, Антона Нестерова

Я — я узнала бы ее всюду. Она была все так же похожа на маленькую девочку, которую мать в спешке одевала, прежде чем выпроводить в школу: джинсы с цветными вставками, лиловое вязаное платье, поверх — светлая замшевая куртка, швами наружу. И в довершение — широкополая рыбацкая шляпа. Вещи совершенно несочетаемые. Но на ней они смотрелись — ведь носила их она. Носила — как раньше — легко и уверенно. Волосы ее были растрепаны — и я почувствовала некое замешательство от того, что свои я стараюсь выпрямить, когда сушу феном. Я подняла глаза, притворившись, что меня страшно занимает водосток углового дома на улице Солона. Но она уже увидела меня. Она всегда все замечала.

— Господи, Ирена! Какими судьбами?

Можно подумать, мы столкнулись где-то в Африке. Она тут же взяла меня под локоть. Ну да, вспомнила я, ей всегда нужен был физический контакт с собеседником: она вцеплялась тебе в локоть или обнимала за плечи.

— Я здесь живу. А ты какими судьбами?

— Навещала мать. Я ведь переехала в Нью-Йорк. Уже столько лет там...

Я обратила внимание: она сказала "мать" — не "родителей". Я ограничилась понимающе-сочувственным кивком. Со школьными друзьями теперь чаще всего именно так: один из родителей — в больнице, или умер.

© Amanda Mihalopulu
© Ирина Ковалева, Антон Нестеров. Перевод, 2008

— Что, как в той книжке? Деревце растет в Бруклине?[1]

— Именно! Именно в Бруклине я и живу!

Я-то сказала об этом, только чтобы проверить — помнит ли она ту историю с книжным шкафом, а Катерина — Катерина в ответ лишь рассмеялась. И с улыбкой добавила:

— В Бруклине, только на другом берегу.

И тут мы невольно рассмеялись обе — совсем как тогда, над греческим переводом этой книжки.

— И что, Франсин Нолан все так же сидит под деревом? — не удержалась я.

— Ага! И жует пастилки! Дерево, дом, даже изгородь — они действительно существуют. Их даже показывают туристам. Специально привозят туда народ на двухэтажных автобусах!

Говоря это, она расплылась в улыбке — очень американской улыбке. Так улыбаются люди, которые много путешествуют оттого, что их снедает неисцелимая тоска по дому. Казалось, ее улыбка говорила: она принимает прошлое, как нечто само собой разумеющееся. Две школьных подруги в выходной день встретились на улице Солона, под аккомпанемент сигналящих автомобилей. Прошло двадцать лет, подруги вспоминают, что их связывало. Одного того, что когда-то они ходили в школу с ранцами за спиной и носили школьную форму, достаточно, чтобы впасть в депрессию. А может, когда им стало пятнадцать, девочки разочаровались друг в друге?

Хотя, мелькнуло в сознании, может, никакого *очарования* мной у нее и не было? Может, она с самого начала ничего не ждала от нашей дружбы, а сразу знала, чем все кончится? Но для меня-то она так и осталась образцом для подражания. Героиней моих снов — и моих ночных кошмаров. Всякий раз, когда меня охватывали — стыд ли, ревность, или я чувствовала: "я должна это сделать" — в сознании возникал ее образ: девочка в цветастой одежке, с красным ранцем, с кудряшками. Настоящая фея. Именно так она выглядела на школьных фотографиях — фея, да и только. Но то, что меня в ней очаровывало, в невнятице этих фотографий ускользало. И все-таки — к чему я ревновала? Чего так боялась? Порой я ловлю себя на мысли: зачем я ищу скрытые мотивы в чужих поступках?

— И что же ты делаешь в Бруклине?

— Живу. Поехала в Америку, да и осела. Даже не знаю, как это получилось. Вышла замуж, муж — музыкант. Держу небольшой магазинчик — продукты для здорового образа жизни. А у тебя что?

— Работаю в газете. Пишу рецензии.

— Книжные рецензии? — она хихикнула. — Ну да, и такое бывает... Как там поживает твой книжный шкаф?

— Какой шкаф? — выдавила я из себя. Впору потерять дар речи.

— У тебя книги в шкафу стояли в идеальном порядке... В этом было что-то... нездоровое...

— Нездоровое?

1. "Деревце растет в Бруклине" (1943) — роман американской писательницы Бетти Смит о семье маленькой девочки Франсин Нолан, жившей в Бруклине в 10-е годы XX века. Роман считается классикой американской детской литературы и переиздается по сей день. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

– Да ладно, я просто над тобой посмеиваюсь. Книги – это и тогда был твой пунктик. Что же удивляться...

Она так ничего и не поняла. Или просто она глупей, чем я думала? А может, дело в том, что она больше, чем я, доверяла людям? Может, дело в доверии? Она распахнула передо мной дверь своего дома и стояла, ждала, пока я войду. В этом было столько достоинства. Вежливости. Готовности давать. Входи. Стянем у отца сигару? А Маяковского ты читала? Поговори с мамой – пусть она разрешит тебе остаться ночевать. Ей было пятнадцать – она открыла свой дом для подруги, предлагая ей всю свою жизнь. А школьная подруга вошла, закурила сигарку и, как зачарованная, двинулась вдоль книжных полок. Выдыхая дымок на корешки книг: история, социология, поэзия – и видно было, что все это здесь читали. Тем же вечером подруга сладко спала под вязаным одеялом. На стене висел плакат: нагой мальчишка, писающий на венок из цветов, а рядом – пара темных литографий. На одной что-то героическое: какие-то солдаты с винтовками, на другой – женщина, чье лицо искажено страданием. Лица солдат – они были скрыты башлыками, за которыми угадывались суровые, как из камня тесанные черты. Дом насквозь пропах табаком и кофе – этот запах чувствовался даже в ванной. Родители Катерины целыми днями курили, пили кофе и читали. Они работали дома и их занимало то, что в ту пору могло интересовать лишь людей, связанных с университетом, да радиообозревателей: как изменить систему образования, где будет проводиться митинг протеста, насколько правительство несет ответственность за ситуацию. Казалось, у родителей Катерины нет ни одной свободной минуты. Они все время что-то искали в рукописях, разбросанных по всему дому, звонили друзьям, у которых были такие же интересы, обсуждали новый сборник Рицоса[1] или Брехта, принесенный накануне из книжного.

У нас дома были совсем другие книги, и дом наш был другим. Наша гостиная – в ней высился солидный палисандровый шкаф. Бурые разводы от пролитой когда-то воды въелись в его полки: казалось, здесь произошло какое-то преступление – о котором все забыли. Преступление действительно произошло, но только не было забыто. Кто-кто, а я о нем помнила.

Этот шкаф – он служил чем-то вроде горки. Шкаф начинался где-то под потолком, а внизу у него был небольшой выдвижной столик. По субботам, когда устраивалась уборка, мама задвигала этот столик на место. В нашем доме "порядок" и "беспорядок" означали одно и то же. По субботам мы все, что можно, должны были прятать с глаз долой. На неделе столик был выдвинут. Мы складывали на него ключи, газеты – даже куртки. В субботу мама с возмущением сметала всю эту кучу со стола. С горечью смотрела на стол, словно он самим фактом своего существования поощрял нашу неряшливость. Крышка стола покоилась на двух тумбочках – в них-то и стояли наши книги. Запертые на замок. Ключи от этих замков – ими бы монастырские ворота открывать, такого они были размера. Тумбочки, ко-

1. Янис Рицос (1909–1990) – один из крупнейших греческих поэтов. См. в данном номере: Ирина Ковалева. От "поколения титанов" к "поколению уединенной лампады".

нечно же, предназначались совсем не для книг. Но родители настаивали на том, чтобы там стояли книги — а то вдруг запылятся.

Родители работали в фармацевтической компании — и как-то с рождественской премии купили энциклопедию "Domi". Они говорили об этой энциклопедии с придыханием: словно то была квинтэссенция всего человеческого знания, в чистом виде. "Посмотри 'Domi'", — отвечали они всякий раз, когда младший брат спрашивал, почему отопительная батарея — ребристая, а старший интересовался, как набивают чучела птиц. Отец любовно проводил пальцем по корешкам энциклопедии: двенадцать томов, переплетенных в кожу, страницы с золотым обрезом, — но ни разу не удосужился ее открыть. Достаточно было того, что эта дюжина томов солидно пополнила наше скудное книжное собрание. Собрание сие ограничивалось парой кулинарных книг с картинками, Библией, справочником "Семейный доктор", брошюркой "Распространенные заблуждения", "Прекрасной нивернезкой" Альфонса Доде, "Жизнеописаниями великих", брошюрой "Проблемный ребенок", выпущенной Парижской школой родителей, парой книжечек про Полианну для меня да "Приключениями Гекльберри Финна" для Йоргоса и Маноса. И все. А если я что и позабыла, то потому, что мне невыносимо об этом вспоминать. Наша книжная полка — она заставляла меня краснеть от стыда, и это в том возрасте, когда ты и так краснеешь по любому поводу.

На самой верхней полке книжного шкафа родители поставили три птичьих чучела. Все наше детство братья и я видели только их грудки да клювы, где-то там, под самым потолком. Две следующих полки — казалось, они вопиют своей пустотой, при том, что на них стояло множество предметов: серебряные вазочками с шоколадками в форме маргаритки, янтарные четки, фарфоровые пастушки с гусями, лампадка, иконка со святым Георгием, вонзающим копье в дракона желто-зеленого цвета. Я понимала — не головой — инстинктом, что родители — консерваторы по натуре. Они никогда не пили кофе, не курили. Они приносили домой газеты, которые родители Катерины презирали — и газеты эти лежали, раскрытые на телепрограмме. Деревянные полы в доме были застелены ковровыми дорожками, и все ходили по ним в шлепанцах.

А вот дома у Катерины правил и предписаний не существовало. Книги доставали с полок, ставили на место — и никому в голову не приходило, что они могут запылиться, а на столах лежали кучи всякой всячины среди журналов и пепельниц, забитых окурками. Я так завидовала этой семье — их непринужденности, независимости от вещей: книги для того, чтобы читать, диван — чтобы пачкаться. Я мечтала о том, чтобы жить в этом доме — и читать, забравшись с ногами на диван — не снимая туфель, "Схватку с сомнительным исходом" или "Консервный ряд" Стейнбека.

Это был первый — и как потом выяснилось последний — год моей дружбы с Катериной. К нам в школу она пришла, когда мы были в шестом классе; прежде она училась и жила на другом конце города. Не стесняясь, она села за парту, которую я облюбовала для себя. На меня произвел впечатление ее наряд, в котором сочеталось несочетаемое, и то, как она взяла меня под локоть, говоря, будто на исповеди: "Меня зовут Катерина Вреттоу. Я новенькая". В тот же день она позвала меня к себе домой ужинать — на ужин у них был бифштекс и жареный картофель. Она рос-

ла единственным ребенком в семье. По ее словам, родителям просто некогда заводить еще одного: все время уходит на то, чтобы думать о происходящем в мире. Что ж, я это объяснение приняла: оно вполне соответствовало книжным полкам в их доме. Полки эти не сияли чистотой, как у нас, зато звали погрузиться в чтение. Именно тогда во мне и вспыхнула страсть к книгам. В тот вечер я то и дело выпадала из разговора: Катерина что-то щебетала, а я доставала книгу за книгой и, открыв наугад, читала стихи, которые были непохожи на стихи: "трубы, железные мачты, железные поршни, / смерть из цилиндров, победа цилиндров, артерии цилиндров, / — по ним течет кровь городов", или кусок из гессевского "Кнульпа": "Можно наблюдать людскую глупость, можно смеяться над ней или чувствовать к ней сострадание, но не надо мешать людям идти своей дорогой"[1]. Это волшебное зерно — оно было посеяно в моей душе в стенах этой комнаты. Книги, что стояли на полках — они подталкивали тебя к тому, чтобы тут же раскрыть другие — еще и еще. Родители Катерины — они не признавали общепринятых авторитетов и правил, они могли даже не поднять головы, чтобы сказать мне "здравствуй". Но ведь они были так заняты. Ведь им надо было вместить в себя все идеи, что содержались в этих книгах, — чтобы учить, как надо жить, всех, кто застилает деревянные полы ковровыми дорожками и ставит птичьи чучела на книжные полки. Что ж, я готова была стать другой. Я знала: стоит мне открыть любую книгу — и она преобразит меня, я потеряю свое "я", мне станет чего-то не хватать.

Катерина же чувствовала себя совершенно самодостаточной, без всяких книг. Вся эта библиотека была у нее под рукой — бери и читай, а она вновь и вновь перечитывала одну и ту же книжку — "Деревце растет в Бруклине". В 1912 году героине "Деревца" Франсин Нолан было примерно столько же лет, сколько нам тогда с Катериной. Франсин расстилала коврик на лестнице, что вела в комнату прислуги, и листала роман, позаимствованный в публичной библиотеке, посасывая мятные пастилки. Катерина отождествляла себя с Франсин. И я чувствовала себя неловко: этот книжный шкаф, уют этого дома — все это доставалось мне.

— Когда мы читали эту книжку, нам казалось, что мать Франсин — старуха... — усмехнулась Катерина. Ее фраза прервала поток моих мыслей.

Сейчас-то она и выскажет мне все — все, что крутится у меня в голове. Все эти годы она ждала, когда же ей представится случай меня унизить.... Но она ничего не сказала. Просто продолжала смотреть на меня — с улыбкой на губах, с тоской по прошлому в глазах.

— Ну, не старухой... — пробормотала я.

— Ну да, — усмехнулась она. — Тридцатилетняя женщина в возрасте. Теперь и нам уже по тридцать.

— Да. Но у нас нет дочек.

— Нет? У меня есть.

— Правда?

— Да. Ей три годика. Ее зовут Франсин.

Я представила себе эту девочку: будто мать вылепила ее из розового пластилина, чтобы она в точности соответствовала родительским фан-

1. Перевод Е. Маркович.

тазиям. Создание, выросшее в Бруклине, носящее имя Франсин, лелеемое родителями: она должна быть не похожей на других, во всем идти до конца... Сосать мятные пастилки... Меня никогда не загоняли в рамки. Ну да, у нас дома царила маниакальная идея порядка — и что с того? Может, пестуй я свои странности, я бы стала писательницей. Но, когда мне было пятнадцать, я сравнила две книжных полки — и сделала выводы. И это заставило меня страдать. Я придумывала сотни предлогов — лишь бы Катерина не пришла ко мне в гости. Я ссылалась на то, что родители вечерами работают в гостиной, а братья и я — мы лунатики и ходим во сне... "Не очень-то оно приятно", — я грустно пожимала плечами. Мне не надо было кривить душой: наш дом и впрямь был не самым лучшим местом на свете.

Катерина все настойчивее заявляла, что хочет ко мне в гости. Я же раз за разом отговаривалась то тем, то этим; за год из этого выросла целая история. Мои родители — юристы, говорила я, они приносят домой бумаги, которые никто не должен видеть. В моих фантазиях мать ходила по дому в изящном костюме, а не в халате, разрисованном синими цикламенами. Отец носил очки и курил трубку. Они литрами пили кофе — это помогало им работать всю ночь напролет, листая книги. Разводы от кофейных чашек намертво въелись в поверхность стола: в те времена я искренне полагала, что людям, которые много думают о серьезных вещах, не до уборки.

Катерина брала меня под локоть: "Я приду к тебе, вот увидишь!" В голосе ее звучала угроза. "Если ты не позовешь меня сама, я явлюсь без приглашения — не погонишь же ты меня!" Из ночи в ночь мне снился один и тот же кошмар — страшнее его я не видела ни до, ни после. Вечер — звенит дверной колокольчик, мать идет открывать — с этой ее усталой улыбкой, в цветастом халате: "Ты подружка Ирены? Входи, входи. Ноги тщательней вытирай. Вместе домашнее задание будете делать? Ну и славно. У нас есть энциклопедия 'Domi'". Мне достаточно было мысленно представить эту сцену — и глаза тут же наполнялись слезами. Йоргос — из нас троих он был старшим — как-то застал меня в таком виде: я сидела за выдвижным столиком, уткнув лицо в ладони, и всхлипывала. Он испугался, так как знал, что я девица не плаксивая, и пообещал помочь. Тем же вечером он придумал, что делать. Надо позвать Катерину на День святого Николая, когда родители, как это у них принято, уйдут праздновать именины дядюшки.

— А книги — мы сделаем им обложки, сами! Они будут совсем другими!

Мы купили оберточной бумаги, и все выходные возились, запершись в комнате брата. План заключался в том, чтобы превратить наше книжное собрание в нечто впечатляющее, обернув книги поверх обложек однотонной бумагой, а на ней написать совсем другие названия и совсем других авторов. Манос, умевший красиво резать бумагу, вымерил все книжки и нарезал по их размерам обложки. А Йоргос и я аккуратно вывели на корешках названия — из тех, что я помнила по книжным полкам в доме Катерины. "Майкл Стогофф. История русской революции", "Мариос Хаккас. Община", "Василикос. Ночь в тайном штабе", "Маро Дука. Где крылья?" И уж конечно, я не забыла про "Деревце растет в Бруклине". Когда мы покончили с книжками поменьше, я на-

писала новое название на одном из обернутых бумагой корешков энциклопедии "Domi".

Как только родители вышли за дверь, отправившись на именины к дядюшке, мы метнулись в гостиную и принялись лихорадочно приводить все в нужный вид. Птичьи чучела, пастушек и лампадку мы заперли в комод. Янтарные четки решено было оставить на месте — нам казалось, они смотрятся даже аристократично. Мы расставили книги по полкам, корешок к корешку. На диван мы набросили синее покрывало с вышивкой: золото с багрянцем, очень даже художественно. С мраморного столика в гостиной мы убрали все статуэтки нереид, поставив вместо них резную шкатулочку, которую кто-то привез нам из Румынии. Шкатулочка наполняла комнату тяжелым запахом пачулей. Мы совершенно вымотались. Когда раздался звонок в дверь и на пороге возникла Катерина, я рассчитывала услышать от нее комплимент нашему жилищу — не зря же мы столько старались. Но она даже не посмотрела вокруг, а просто направилась к дивану и упала на него.

— Взглянешь на книжки? — спросила я, чувствуя, как меня бьет легкая дрожь.

— Ну давай...

Она стояла рядом — а я объясняла ей, что у отца пунктик, он сам оборачивает книжки...чтобы лучше сберечь их.

— Сберечь? От чего?

Не от пыли. Это неправильный ответ.

— От зачитывания... — пробормотала я.

— Ой, у тебя есть "Деревце растет в Бруклине"? — воскликнула Катерина и потянулась за книгой. Однако я предусмотрительно стояла между ней и шкафом.

— Книги нельзя трогать просто так. Отец — у него есть приметы, по которым он узнаёт: книги доставали без разрешения. Ну знаешь: волоски, и все такое прочее. Обязательно надо спрашивать разрешение.

Катерина послушно отдернула руку.

— А почему она такая большая? Как энциклопедия?

К этому вопросу я была готова.

— Старинное издание. Теперь такое не достать. С картинками.

— С картинками?

— На них нарисованы все: Франсин, Нелли — все-все.

— Что, и барышни Тинмор? И капрал Райнор? И Бен?

— Все-все.

— Ирена! Ну пожалуйста, достань ее. Я хочу посмотреть! Я хочу на них глянуть!

— Не-а. Нельзя. Не проси.

И тут ее глаза сузились:

— А почему на обложке написано "Лермонтов"? — спросила она. — Это ведь Бетти Смит — автор "Деревца"!

Все-таки, я напутала. Не запомнила с одного раза. Все эти русские, немцы, американцы. Мужчины и женщины с труднопроизносимыми именами, рядами стоящие у них на полке. Эпохи, теории, история. Все вперемежку.

— Лермонтов, — медленно повторила я. — Лермонтов. Это ведь псевдоним Бетти Смит. В те времена женщине нельзя было просто печа-

таться под своим именем. Женщин тогда угнетали. А правда — она всплыла потом. Лермонтов был... женщиной. — От этой внезапной лжи у меня пересохло во рту.

— Серьезно? А почему она взяла русский псевдоним?

— А ты не заметила, как она относится к бедным? Бетти Смит была коммунисткой!

Катерина покачала головой — и на этом все кончилось. А я — я больше не могла взглянуть ей в глаза. Всякий раз, когда она заявляла: "Я хочу с тобой поговорить" и брала меня за руку, я думала: сейчас скажет про настоящего Лермонтова, которого, наконец, достала дома с полки. А я каждый раз говорила, что сейчас страшно спешу, и старалась ее избегать. Наша дружба, которая, казалось, навсегда, таяла на глазах. Мои попытки избегать Катерину ничему не помогали: мой позор оставался при мне. Стоило нам столкнуться на лестнице или в раздевалке школьного бассейна — я ждала, что Катерина начнет дразнить меня: "Лермонтов! Лермонтов!" Всякий раз, когда учительница музыки вызывала ее к доске, мне казалось, что Катерина поет не задание по сольфеджио, а "лер" вместо ля, "мон" вместо ми, "тов" вместо до.

— И дочку ты назвала Франсин, — вырвалось у меня помимо воли, слишком ярки были воспоминания. — Ты так и не забыла "Деревце в Бруклине".

— Да нет, забыла, — пожала плечами Катерина. — Но муж — он шотландец, и при этом в роду у него были русские. Представляешь? Когда мы встретились, я вспомнила про русский псевдоним Бетти Смит. Мир, что ни говори, так мал... Вот я и выбрала для дочки имя Франсин. Оно напомнило мне школу, тебя, наш книжный шкаф. А это издание с картинками, которое было у твоего отца!

И она вцепилась мне в руку — эмоции переполняли ее. Я натянуто улыбнулась и, наконец, заставила себя посмотреть ей в глаза.

Одиссеас Элитис

Стихи

Нобелевская премия 1979 года

Перевод Ирины Ковалевой, Софьи Ильинской

Вступительная статья Ирины Ковалевой

© Odysseas Elytis
© Mario Vitty. Фото, 1951, 1971
© Ирина Ковалева, наследники. Вступление, перевод, 2008
© Софья Ильинская. Перевод, 2008

Под знаменем греческой поэзии Одиссеас Элитис (1911—1996) прослужил ровно 60 лет, все это время будучи одним из самых влиятельных поэтов (а в 1980—1990-х годах, вероятно, и самым влиятельным), чье творчество в значительной мере определяет литературный пейзаж.

У Элитиса был яркий дебют. Публикация (1935) в авторитетнейшем журнале "Новая литература" ("Та нэа граммата") "Первых стихотворений" сразу привлекла к 24-летнему поэту внимание читателей и критиков. С Элитисом в греческую поэзию, страдавшую постсимволистской депрессией и только-только начавшую открывать для себя Сефериса и — всерьез — Кавафиса[1], ворвались солнце, море, ветер, радость жизни — и заимствованные у французских сюрреалистов техники (собственно, и псевдоним "Элитис" Одиссеас Алепуделис — таково настоящее имя поэта — придумал себе в честь Поля Элюара, которым восхищался).

Плеск поцелуй на влажном песке побережья — Эрос
Волю свою лазурную легкая чайка
Дарит горизонту
Волн прилив и отлив
На ушко раковине шепчет пена морская

Кому — загорелая кому — златокудрая дева?
Бриза прозрачное чистое веянье
Грез паруса колышет
Вдали
Эрос бормочет сонно свои обещанья — Плеск[2].

С сюрреализмом Элитис угадал: как раз в это время входят в греческую литературу А. Эмбирикос, глава греческих сюрреалистов, и Н. Энгонопулос, поэт и художник, может быть, из всех сюрреалистов самый талантливый[3]. Элитис познакомился и подружился с ними, писал и печатал в журнале стихи в манере "автоматического письма", в 1939 году издал свою первую книгу — "Ориентиры"[4]. Те же мотивы ликующего, упоенно-чувственного любования греческой природой преобладают и во второй книге Элитиса — "Солнце первое", вышедшей в 1943 году (тиражом 600 экз.). Между тем началась Вторая мировая война. Младший лейтенант Элитис в 1940 году оказался в суровых албанских горах, на передовой греко-итальянского фронта, потом заболел тяжелейшим брюшным тифом, в безнадежном состоянии был эвакуирован в Афины, где, против ожидания, поправился. И написал поэму — "Песнь героическую и траурную о младшем лейтенанте, погибшем в Албании". Эта поэма, изданная в 1945 году, принесла Элитису популярность уже не только у элитарного читателя, но и в народе: военный опыт поэта — страдания и скорбь, мужество и надежда, смерть и воскресение — совпал с опытом многих и многих его соотечественников, и выражен этот опыт был уже не сюрреалистически. Элитис, в довоенные годы писавший о "концерте гиацинтов"

1. Первая книга стихов Сефериса ("Поворот") вышла в 1931 г.; в 1935-м были опубликованы "Роман-миф" Сефериса (см. "ИЛ", 2005, № 6. Перевод М. Л. Гаспарова и Е. П. Светличной – "Мифосказ") и первое представительное собрание стихотворений Кавафиса, изданное уже после смерти поэта. Переводы стихов К. Кавафиса и статьи о нем см. в "ИЛ", 1995, № 12.
2. Перевод М. Арутюновой.
3. Первая книга А. Эмбирикоса "Доменная печь" вышла в 1935 г., первая книга Н. Энгонопулоса "Не разговаривайте с водителем" – в 1938 г.
4. Дата на обложке – 1940 г., но в действительности "Ориентиры" вышли из печати в 1939 г. Тираж ее составил всего 300 экз.

О. Элитис в Париже, 1951

и "лебединой бессоннице", теперь находит суровые и точные слова о крови убитых, о горе матерей и о вечной греческой мечте — о свободе.

Ревет, бьется ветер, и снова бьется ветер
Туго заворачивается пустыня в черный плат
Согнувшись за спиной месяцев-облаков прислушивается
К чему прислушивается — месяцы-облака далеко?
Простоволосая, неубранная — ах, оставьте ее —
Вместе свеча и пламя, что жжет свечу, плачет мать — оставьте ее —
В комнатах пустых, ледяных блуждает — оставьте ее!
Ибо Судьба — никому не вдова,
Суждено матери — плакать, мужчинам — воевать,
В садах — соцветиям девушек расцветать,
Крови — литься, прибою — биться о берег,
А свободе — молнией сверкать снова и снова![1]

Элитис даже сетовал впоследствии, что слава "Младшего лейтенанта..." заслоняла подчас другие, более поздние стихи, которые поэт считал более важными для себя. Но самое главное его создание было впереди. В 1948 году Элитис переезжает в Париж, где и живет несколько лет, общаясь с Полем Элюаром, Андре Бретоном, Тристаном Тцара, знакомится с Джакометти и Пикассо, с Элиотом, Камю и Сартром, едет в Англию и Испанию... Но основное его дело в эти годы — поэма "Достойно есть", повествующая о сотворении мира и об ужасах войны, о родной земле и о любви к ней, и из мук и скорби поэт (а по-гречески это слово значит "творец", в том числе — "Создатель"; этим именем называют Бога, и Элитис никогда не забывает об этом и не упускает случая напомнить читателю) произносит свое благословение "этому миру — малому и великому". Названия частей поэмы (да и само ее заглавие) настойчиво напоминают о книгах Священного Писания и об элементах

1. Перевод И. Ковалевой.

православной церковной службы: "Бытие"[1] и "Страсти", "Чтение первое", "Чтение второе"... Эпиграфом к "Достойно есть" Элитис взял слова 128 Псалма: "Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня". Поэт создает глубоко символическое произведение, повествуя и о сотворении мира (которое начинается, естественно, с любимого Элитисом света) — первый стих поэмы звучит:

В начале — свет И час первый —

и об ужасах войны. В 1960 году поэма была опубликована, и тогда же удостоена государственной премии. В 1964 году Микис Теодоракис положил ее на музыку, и слава поэмы — и ее автора — стала в Греции всенародной. Элитис между тем продолжает работать. В 1960 году одновременно с "большой" поэмой "Достойно есть" выходит книга лирических стихотворений "Шесть и одно переживание о небесах"; в 1962 году делает новую редакцию "Младшего лейтенанта...", в 1966 году — новую редакцию "Ориентиров". В 1970-е годы присутствие Элитиса в греческой поэзии ощутимо как никогда; одна за одной публикуются четыре книги стихов — "Светодерево и четырнадцатая красота", "Солнце всемогущее" (обе в 1971 году), "Монограмма" и "ЭР Эроса" (обе в 1972 году), чуть позже появляются "Единокровные" (1974). В этих книгах шестидесятилетний поэт предстает изобретательным и свежим, удивительно разнообразным, виртуозно владеющим самыми разными поэтическими формами. Например, такими:

Марина свет мой ненаглядный
моя зеленая заря
Мой голубь дикий неразгадный
и лета лилия моя[2]

Марина, из книги *ЭР Эроса*

И такими:

Как накануне вечером, когда что-то у тебя разбилось
Старая дружба фарфоровое воспоминание
Снова как неправедно умел ты судить
Ты видишь теперь когда рассвело
И горько во рту у тебя прежде глотка кофе
Бесцельно размахивая руками, — кто знает, — быть может,
В какой-то другой жизни ты вызываешь эхо и по этой причине
(Или, может быть, и от мысли
Некогда столь могучей, что она выдается вперед)
Напротив тебя, вдруг, сверху донизу зеркало дает трещину[3].

Villa Natacha, из книги *Единокровные*

В 1978 году публикуется сценическая поэма "Мария Нефели", в которой собеседницей Поэта оказывается сама Юность, — и обнаруживается, что Элитис "в курсе" злободневных проблем, волнующих поколение, пережившее студенческие волнения времен хунты "черных полковников" (1967—1974) и знаменитое восстание Политехнического университета в Афинах. Это поколение, выразительницей точки зрения которого в поэме является юная Мария Нефели, настроено анархистски-радикально, оно готово осудить несовершенство мира — и в то же время открыто к постижению вечных ценностей.

1. В буквальном смысле "Рождение", "Становление" – так переводится на русский греческое название Книги Бытия, но в нашем языке утвердилась традиция, связанная со славянским переводом Библии.
2. Перевод Ю. Мориц.
3. Перевод И. Ковалевой.

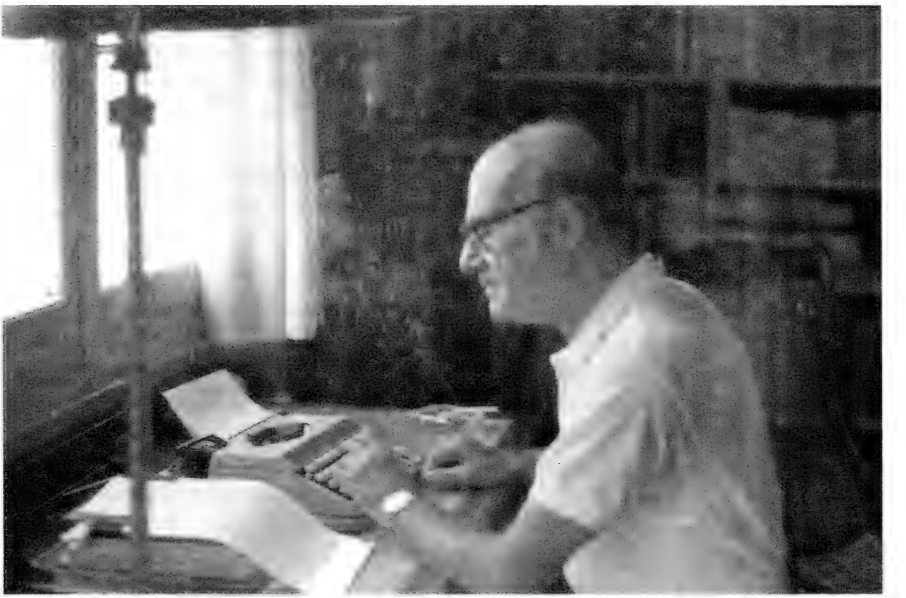
Надо сказать, что в то же в высшей степени продуктивное для Элитиса десятилетие, помимо названных выше книг стихов, вышли также собранные в отдельный том эссе и критические статьи "Открытым текстом" (1974) и том переводов "Написано заново" (1978).

Элитис всю жизнь избегал наград и почестей. Когда во времена диктатуры "черных полковников" ему пытались присудить премию размером в миллион драхм, он скрывался, как прежде во время оккупации Афин скрывался от ареста. Когда уже после восстановления демократии ему предлагали баллотироваться в парламент, он отказался. Когда в 1977 году его хотели сделать академиком, он отказался: "Поэзия — это миссия, которая не нуждается в наградах". Но когда в 1979 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе, отказаться он не мог. Премия была присуждена "за его поэзию, которая, опираясь на греческие традиции, с вдохновенной эмоциональной мощью и проницательностью духа отражает борьбу современного человека за свободу и творчество". После Нобелевской премии, естественно, последовали и другие знаки признания: его стихи публикуются в переводах в Германии, Франции, Югославии, Испании, Румынии, Эстонии, Мексике, Венгрии, Аргентине, Италии, Финляндии... Ему присуждают степень почетного доктора Сорбонны и Лондонского университета, золотую медаль мэрии Афин... А он продолжает работать. В 1984 году выходит в свет том его переводов из Сапфо (с древнегреческого на новогреческий) и очередная книга стихов — "Дневник невидимого апреля", в 1985 году — перевод "Откровения Иоанна Богослова" и сборник "Юнга". Название этой книги трудно перевести: "O mikros nautilos" буквально, конечно, значит "юнга", но для греческого уха в нем звучит и название знаменитого корабля Жюля Верна, поэтому можно было бы перевести это заглавие как "Юнга с 'Наутилуса'" или как "Маленький капитан Немо"... В 1991 году выходят "Элегии Порога", в 1992-м — второе собрание критических работ поэта "Карт бланш". В 1995 году — "Западнее печали". Во всех последних поэтических книгах Элитис размышляет о смерти — для 80-летнего поэта это неудивительно. Удивительно другое — неослабевающая мощь его поэтического голоса, неослабевающая любовь к жизни — и к Греции. В последних его книгах (как и в первых) это практически синонимы.

В 1996 году Элитиса не стало. Перед смертью он просил не устраивать ему пышных похорон, не произносить речей — ничего, кроме отпевания в самом узком кругу близких. Эту просьбу погруженная в глубокую скорбь страна почтила. Но через три месяца, летом 1996 года, в честь памяти поэта состоялось исполнение оратории "Достойно есть" в Олимпии. Дирижировал сам Теодоракис. Казалось, вся Греция собралась там, а кто не мог приехать, смотрел телевизор: трансляция из Олимпии потеснила в тот вечер выступления политиков, боевики и футбольные матчи. И как в день смерти поэта страна была едина в горе, так в этот день она была едина — в радости. О том, что Элитис — был, и его поэзия — есть и пребудет в этом мире, малом, Великом...

И когда тебя уничтожат этот мир еще будет прекрасен
Благодаря тебе ослепителен
    ведь сердце твое — настоящее
Вместо сердца того которое у нас беспощадно отняли
Будет биться еще и жить и благодарные ветви
Тех деревьев которых коснулся будут всячески нас охранять[1]

1. Перевод Ю. Мориц.



О. Элитис в Афинах, 1971

Элитис очень мало переведен на русский язык. Переводить его невероятно трудно, ибо его поэзия живет внутри языка. Правда, те высокопрофессиональные переводчики, которые брались за это, оказывались на высоте — С. Ильинская, Ю. Мориц, Л. Якушева. Однако переведены буквально единичные стихотворения. Ни один сборник Элитиса — за исключением "Песни героической и траурной о младшем лейтенанте, погибшем в Албании" — до сего дня не переведен на русский язык целиком. Наиболее представительные на сегодня публикации — в антологии "Геракл и мы" (1983) и в книге "Поэты — лауреаты Нобелевской премии" (1997), во многом дублирующие друг друга. Для нашей подборки мне показалось уместным взять стихи из двух первых и двух поздних книг Элитиса, чтобы читатель увидел, как менялся "почерк" поэта — и как главное оставалось на протяжении всей его жизни неизменным.

Из книги "Ориентиры"

Настроение пустоты

I

Все облака земле исповедались
Вместо них моя боль

А когда в моих космах опечалилась
Нераскаянная рука

Я сжался как сердце

II

Вечерея время забылось
Беспамятное
Древо его немое
У моря
Вечерея забылось
Бескрылое
Стать его неподвижна
У моря
Вечерея
Безлюбое
Рот его непреклонен
У моря

И я — в Тишине зачарованной мною

III

Полдень
И уединенье его державное
И восторг его бурь
И опасный блеск его
Ничто не приходит пусть Ничто
Пусть не уходит

Нагота всех фронтов

Настроенье хрусталь.

Вторая натура

I

Улыбка! Владычица ее пожелала
Родиться под властью династии роз!

II

Время — быстрая птичья тень
Изумленно и пристально гляжу на его картины

Вкруг зеленого триумфа листвы
Бабочки переживают великие приключенья

Покуда невинность
Совлекает с себя последнюю ложь

Дивное приключение Дивное
Жизнь.

Перевод Ирины Ковалевой

Из книги "Солнце первое"

VII

Внизу на гумне ромашковом
Пустились в безумный танец малютки пчелы
Солнце в поту рябится вода
Зернышки пламени падают неторопливо
Колосья высокие гнутся на смуглом небе.

С бронзовыми губами тела нагие
Облупленные в огниве задора
Эй! Эй! С грохотом проезжают возницы
В масленной глади склона лошади тонут
Лошади предаются мечтам
О городе где прохлада и стойла мраморные
Трилистник тучка готовая пролиться дождем
На холмы гибких деревьев их опаленные уши
На бубны больших равнин прыгающих через помет.

В копнах золотистого проса спят девчонки-подростки
Сон их пахнет пожаром

В зубах у них солнце трепещет
Под мышкой у них сладко сочится мускатный орех
А дыханье хмельное тяжелым шагом
Шатаясь идет по зарослям ивняка и азалий.

VIII

Жил я с любимым именем
В тени старушки оливы
В рокоте вечного моря.

Тех что камни бросали в меня уже нет в живых
Их камни собрав соорудил я источник
Возле него собираются девочки юные юные
Губы у них рождены зарей
Волосы развеваются устремляясь в далекое будущее.

Прилетают ласточки ветра младенцы
Пьют и взмывают чтобы жизнь летела вперед
Страх сновидений превращается в сон
Печаль минует мыс доброты
В полнозвучии неба ни один не теряется голос.

О нетленное море о чем ты шепчешь скажи
Спозаранку я в устах твоих утренних
На вершине где обозрима твоя любовь
Вижу желание ночи выплеснуть звезды
Желание дня изведать всю прелесть земли.

Сею в долинах жизни тысячи синих точек
Вручаю честному ветру тысячу красивых детей
Красивых крепких излучающих доброту
Способных видеть дальние горизонты
Когда в звуках музыки вздымаются острова.

Высек я имя любимое
В тени старушки оливы
В рокоте вечного моря.

IX

Сад ступал прямо в море
Темной гвоздикой мыса
Рука твоя ускользала с водой
Чтобы море расстелило подвенечный наряд
Рука твоя раскрывала небо.

Ангелы с одиннадцатью мечами
Плыли возле имени твоего
Рассекая цветущие волны
Склонялись белые паруса
В вереницах пещер норд-оста.

Белыми иглами роз
Ты шила банты ожидания
Для прически холмов любимых тобой
Ты говорила: Гребенка света
Это родник земли которая развлекается.

Воровка стрела виновница смеха
О внучка старика-солнцепека
Ты дразнила корни деревьев
Открывала воронки воды
Бичуя ивы забвенья.

Или же ночью опять с беспутными скрипками
Среди полуразрушенных мельниц
Тайком беседовала с колдуньей
Прятала на груди дивное диво
Саму луну.

Луна вездесущна и здесь и там
Загадка которую разгадало море
В угоду тебе
Сад ступал прямо в море
Темной гвоздикой мыса

Перевод С. Ильинской

Из книги "Юнга"

Чуять наилучшее

II

Я поселился в стране, что выступала из другой, реальной, как сон — из событий моей жизни. Ее я тоже назвал Грецией и начертил на карте, чтобы видеть ее. Она казалась такой маленькой, такой неуловимой. Шло время, и я устраивал ей испытания: то внезапные землетрясения, то чистокровные старинные бури. Менял местами предметы, чтобы лишить их всякой цены. Штудировал Записи Недреманных и Уединенных чтобы удостоиться умения создавать бурые холмы, церковки, родники. Так что однажды сделал целый сад цитрусовых, благоухавших Гераклитом и Архилохом, но аромат был такой, что я

испугался. И принялся потихоньку нанизывать слова, как бриллианты, чтобы увенчать ими страну, которую любил. Пускай и не увидит никто ее красоту. Пускай и подозревают, что она, наверное, не существует.

III

И вот я бродил по моей стране, и ее малость казалась мне столь естественной, что я говорил себе: ну как же так, не может быть, есть же какая-то цель у этого деревянного стола под окном, с помидорами и оливками. Чтобы чувство, рожденное прямоугольником доски, немногим ярко-красным и обильным черным, шагало прямиком в иконопись. А та, воздавая, как должно, простирается в блаженном сиянии над морем, — покуда не станет явным истинное величие малости.

Мне страшно пользоваться аргументами, которыми только весна владеет по праву: и, однако, только так я понимаю исповедуемую мною невинность и только так воображаю ее — хранящей свою тайную добродетель: обращая в мусор все средства, которые могут выдумать люди, чтобы ее сберечь и обновить.

IX

"Вчера я сунул руку в песок и нащупал ее руку. И потом весь день герани во дворах поглядывали на меня со значением. Лодки, вытащенные на берег, стали чем-то знакомым, родным. И вечером, поздно, когда я снимал с нее серьги, чтобы поцеловать так, как мне хотелось, — упираясь спиной в церковную ограду, — море зашумело, и Святые вышли со свечками посветить мне".

Несомненно, для каждого из нас существует особенное, неповторимое чувство, и если ты не ухватил его, не отделил вовремя, чтобы потом жить с ним, так чтобы оно наполняло зримые действия, — плохо твое дело.

XXVIII

Тысячи лет мы в пути. Называем небо "небо" и море "море". Все изменится однажды, и мы тоже изменимся, но наша суть неизменно будет вычерчена по законам той геометрии, которой мы пренебрегали у Платона. И в ней, наклоняясь, как мы порой наклоняемся над водами нашего острова, мы найдем те же бурые холмы, гавани и мысы, те же ветряные мельницы и часовни, домишки, что лепятся один к другому, и виноградники, спящие как младенцы, купола и голубятни.

Не говорю — *те же самые*. Говорю — те же самые естественные и спонтанные движенья души, что рождают и влекут в заданном

направленьи материю; те же импульсы и то же стремленье к глубинному смыслу *смиренного Рая*, который есть наше истинное "я", наше право, наша свобода, наше второе — и настоящее — духовное солнце.

Из книги "Элегии Порога"

Акиндина, Эльпидофора, Анемподиста[1]

Теперь где ни выйдешь в море на лодке — причалит порожней
Я нацелился на дальнее морское кладбище
С мраморными Девами и цветами. Будет ночь и
август
Время когда у созвездий меняется смена. И легкие
горы
Полные темного воздуха встанут чуть выше линии
горизонта
Там и тут пахнет горелой травой. И печаль неизвестного рода
С высоты
бороздит уснувшее море

Светит во мне то, чего я не знаю. Но оно светит

Ах, красота, хоть ты никогда не предалась мне всецело
Кое-что я сумел у тебя похитить. Говорю: зелень зеницы
ока, что перво-
вступает в страсть, и еще — золото, которое, где ни поставь
будет июль.
Налегайте на весла, вы, привычные к тяготам. Отвезите меня
туда
Куда все идут
Невозможно. Я уродился не принадлежать ни к чему
Феодал неба, там требую восстановленья
В правах. Вот и ветер говорит
От маленького чуда цветок а когда вырастет смерть

Ах, красота, ты-то меня предашь яко Иуда
Будет ночь и август. Могучие арфы зазвучат
там и тут и
Со скудной лазурью моей души Порог из черноты
Начнет всплывать. Маленькие богини, предвечно юные
Фригиянки или лидиянки, в серебряных диадемах и с
зеленоватыми
крыльями вкруг меня соберутся с песней

1. По греческому календарю день памяти этих святых отмечается 2 ноября — в день рождения Элитиса. (*Прим. перев.*)

Тогда будут оплачены каждого муки
Цвета горькой гальки: столько
За всю твою любовь с шипами боли: столько
За торфяную гору и беззащитного сна твоего ужасную
трещину: дважды по столько

Покуда однажды глубина светящаяся планктоном
Не опрокинется над моей головой. И иное, дотоле
сокровенное
Точно сквозь плоть мою увиденное станет явным
Рыбы эфира, гибкотелые козочки по-над волнами
Колокольный звон Мироточивого

А там далеко-далеко еще будет вращаться земля
с черной пустой лодкой
затерявшейся в море.

Перевод Ирины Ковалевой

Георгос Сеферис

Стихи[1]

Перевод Ирины Ковалевой, Антона Нестерова

Нобелевская премия 1963 года

© 1992, 1993, Maro G. Seferi
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008
© Ирина Ковалева, Антон Нестеров. Перевод, 2008

1. Ирина Ковалева готовила целую книгу Сефериса, но не успела завершить свое начинание. Часть стихотворений была переведена ею не полностью: найдены какие-то очень сильные переводческие решения отдельных фрагментов – и текст ждал, пока "сложится" остальное. Я взял на себя риск, пользуясь консультациями ее коллег-неоэллинистов, доделать некоторые из этих текстов до конца. (Выражаю особую признательность А. Новохатько за ее долготерпеливую помощь в этой работе). То же самое – с примечаниями к стихам: большая часть из них принадлежит самой Ирине Ковалевой, те же, что подписаны мной, сделаны, опираясь на ее книгу "В мастерской Кавафиса и другие очерки поэтики греческого модернизма" (М., 2006). (*Прим. А. Н.*)

Из "Пяти стихотворений г-на Стратиса Морехода"

Костры на Ивана Купалу

Судьба наша, расплавленный свинец, ее не изменишь
ничего не поделать.
Лили в воду свинец под звездами и
пусть костры запылают.

В полночь встань нагая пред зеркалом
и увидишь
увидишь в глубине зеркала человека
человека что входит в судьбу твою он будет править
телом твоим,
в одиночестве и молчанье увидишь человека
молчания и одиночества
и пусть костры запылают.

В час когда день завершен а другой еще медлит начаться
в час когда время пресеклось
того кто отныне и изначала правил
телом твоим
должна ты найти
должна загадать чтоб по крайней мере нашел его
кто-то другой, когда тебя уже не будет.

Мальчишки зажигают костры и кричат
перед пламенем в жаркой ночи
(Разве, Герострат, был хоть один пожар
не разожженный мальчишкой)
и бросают соль в огонь чтобы он вспыхнул и зашипел
(Как странно взглядывают на нас дома,
наши плавильные печи, когда их вдруг озарит
ласкою отблеск.)

Но ты познав милость камня на изъеденном морем
утесе
в тот вечер когда опустился покой
слышал издалека человеческий голос молчанья и
одиночества
в собственном своем теле
в ту ночь на Ивана Купалу
когда все костры догорели
и ты ворошил золу под звездами.

Лондон, июль 1932 г.

Из книги "Судовой журнал-III" (1955)

Елена[1]

ТЕВКР. ...чтобы Кипра
Достичь верней: там Аполлон велел
Нам обитать и город там назвать
По имени родного Саламина.
.....
ЕЛЕНА. Там, в Трое, был мой
призрак, не сама я.
.....
СЛУГА. Что ты сказал?
Все муки — даром?
И награда — призрак?

Еврипид *Елена*[2]

"А в Платрах[3] соловьи тебе всю ночь уснуть мешают".

Робкий соловей, в шелесте листьев
ты даруешь мусическую прохладу леса
разлученным телам и душам тех,
кто знают что не вернутся.
Голос слепой, нащупывающий в сумерках памяти
Шаги и жесты; не осмелюсь сказать — поцелуи;
и горькую вспышку рассвирепевшей рабыни.

"А в Платрах соловьи тебе всю ночь уснуть мешают".

Что это за Платры? Кто его знает, этот остров?
Всю жизнь я слышал неслыханные имена:
новые места, новые безумства людей
или богов;
нес меня вал судьбы
между последним ударом меча какого-то Аякса
и каким-то другим Саламином
и вот принес сюда, к этому берегу.
Луна
вышла из моря как Афродита

1. Стихотворение основано на сюжете, почерпнутом у Еврипида (трагедия "Елена"). Тевкр, брат Аякса Великого, лучший лучник ахейского войска, уцелел на Троянской войне, но Теламон, отец Аякса и Тевкра, удрученный гибелью одного сына (Аякс, не стерпев того, что доспехи Ахилла присудили не ему, а Одиссею, впал в безумие и перебил ахейский скот, думая, что убивает вождей; придя в себя, не вынес позора и покончил с собой, бросившись на свой же меч), не пожелал видеть и второго и отправил Тевкра в изгнание. Аполлон приказал Тевкру отправиться на Кипр и основать там город, назвав его по имени родины, Саламином. По дороге на Кипр Тевкр оказывается в Египте, в том месте нильской дельты, где жил когда-то Протей (и где через много веков будет основана Александрия) — у Гомера морской бог, Еврипид делает его мудрым царем, да еще покойным, у которого все годы Троянской войны скрывалась Елена, перенесенная туда богами. Тевкр встречает Елену и узнает от нее, что в Трое находился лишь ее призрак.
2. Перевод И. Анненского.
3. Платры — место на Кипре. (*Прим. Сефериса.*) Известно как курорт.

и затмила созвездье Стрельца, а теперь подбирается
к Скорпионову сердцу[1]; и все изменится.
Где есть истина?
Был и я на войне стрелком;
участь моя — участь того, кто промахнулся.

Соловей-сказитель[2],
такой же ночью на побережье Протея
слушали твою песнь рабыни спартанки и плакали,
и между ними — подумать только — Елена!
Та, за которую мы столько лет рубились у Скамандра.
Она была там, на краю пустыни; я ее коснулся, она заговорила:
"Неправда это, все неправда, — прокричала, —
Я на корабль смоленый не всходила.
На землю смелой Трои не ступала"[3].

Высокая грудь, солнце в волосах и эта стать
тени и улыбки везде
на плечах на коленях на бедрах
свежая кожа и глаза
под ресницами длинными
она была на нильском берегу.
А в Трое что же?
В Трое — ничего; лишь призрак.
Так пожелали боги.
Парис в постель ложился с тенью, точно с женщиной живою.
А мы под Троей гибли за Елену десять лет!

Великая настигла боль Элладу.
Брошено столько тел
в челюсти моря и в пасть земли[4]
столько душ
размолото жерновами как зерно.
И реки вздувались кровавой жижей
ради колыхания ткани льняной ради облака
ради бабочкиного крылышка лебяжьего пуха
ради ризы пустой ради какой-то Елены.
А мой брат?
Соловей соловушка соловей,
что есть бог? И что не бог? И между ними что?[5]

"А в Платрах соловьи тебе всю ночь уснуть мешают".

1. Сердце Скорпиона — звезда Антарес, самая яркая в этом созвездии. Здесь также содержится отсылка к поэме Сефериса "Кихли", где она упоминается под таким же названием.
2. В оригинале употреблено слово "Poiitaris" — кипрский народный поэт-сказитель, певец.
3. Сеферис перифразирует "Палинодию" древнегреческого поэта Стесихора, согласно легенде сперва написавшего стихи, порочащие Елену, и ослепшего, а затем сочинившего отрицание всех предыдущих обвинений — и прозревшего вновь.
4. Как на фреске в великолепной церкви в Асину. (*Прим. Сефериса.*)
5. Еврипид. Елена. 1137.

Заплаканная птичка[1],
к Кипру, зацелованному волной,
созданному напоминать мне родину,
один я причалил с этой вот сказкой,
если только правда, что это сказка,
если правда, что люди не схватят снова
старую наживку богов;
если правда,
что годы спустя какой-нибудь другой Тевкр,
или какой-то Аякс, или Приам, или Гекуба,
или кто-то неведомый, безымянный, но видевший тоже,
как Скамандр захлебываясь несет трупы, —
разве ему суждено услышать
вестников, приближающихся со словами
что вся эта боль все эти жизни
канули в бездну
ради ризы пустой ради какой-то Елены[2].

Блудный бес[3]

...Стон Никосии, Фамагусты крик,
Которых лютый зверь терзает яро.

Рай[4]

...и блудный бес, искушающий весь мир,
обманул короля и вверг во грех...

Хроника Леонтия Махеры

Жуан Висконти написал всю правду.
Как сводней подкупил граф Терухас,
как повстречались он и королева,

1. Соловей в греческой мифологии — афинская царевна Филомела, вечно оплакивающая убитого сю из мести мужу, совершившему насилие над ее сестрой, сына Итиса: в песне соловья древним слышался зов "Итис, Итис".
2. Друг, прочитавший стихотворение в рукописи, напомнил мне, что во время Второй мировой войны официальные плакаты, призывавшие вступать в армию, гласили: "Fight for Greece and Liberty" ("В бой за Грецию и Свободу"). (*Прим. Сефериса.*)
3. Сюжет стихотворения заимствован из *Хроники* Леонтия Махеры, кипрского писателя начала XV в., и относится ко времени правления Пьера I Лузиньяна, короля Кипра и Иерусалима (1359–1369). Король был женат на Элеоноре Арагонской и очень любил ее. В 1368 г. по государственным делам король Пьер был вынужден уехать в Европу и поручил свою семью заботам рыцаря Жуана Висконти, который и написал королю письмо, извещавшее о неверности королевы, увлекшейся Жуаном де Морфу, графом де Рухасом (Терухасом). Королева тем временем заключила в тюрьму одну из двух любовниц короля, Джоанну л'Алеман. Когда король вернулся на Кипр, он потребовал суда над королевой. Советники, исходя из своего понимания блага государства, объявили, что королева невинна, а Жуан Висконти "развращенный лжец". Король, однако, раздраженный оскорблением, нанесенным его чести, искал отмщения, бесчестя жен знатных сеньоров. 17 января 1369 г. три рыцаря убили короля Пьера, вытащив его из спальни любовницы. Тело его было обезглавлено, исколото мечами, а начальник стражи Иаков Деноре отсек половые органы короля. В течение следующих четырех лет королева Элеонора добилась публичной казни всех участников убийства и тайно умертвила принца Иоанна, брата короля, считая его вдохновителем убийства.
4. Данте. Божественная комедия. Рай. XIX, 146–147. Перевод М. Лозинского.

как дело началось и как свершилось, —
о том все подмастерья Никосии
судачили на площадях и в переулках.
Что он письмо правдивое послал
в Европу королю —
советники то знали.
Но сейчас
сошлись они и думают, какой подать совет
Короне Кипра и Ерусалима.
Им ныне повелел король судить
Линору, королеву и супругу:
Она родня владыкам каталонским,
а каталонцы жалости не знают.
Коль жажду мести утолит король,
Они тотчас придут во всеоружье
и ни самих их, ни добра не пощадят.
Ответственность тягчайшая на них:
от мненья их зависит королевство.

Что честен был и верен был Висконти,
они, конечно, знали; но беда, что он поторопился,
и опрометчиво и дерзко поступил.
Как не учел он, что король ужасно вспыльчив
и до безумья увлечен Линорой!
Он, уезжая, брал с собой ее рубашку
И засыпал, держа ее в объятьях.
И написать осмелился безбожник,
Что-де нашли с его овечкою барана.
Да пишутся ли королям такие речи?!
Он был дурак. Попомнил бы, по крайней мере,
что и король грешил. Томился по Линоре,
но в дальней комнате держал же двух любовниц.
Весь Кипр кипел, когда Линора приказала
доставить к ней ту, что была брюхата,
и, жернов положив ей на живот, молоть
зерно за мерой меру.
И худшее — что не вмещает ум, —
когда известно даже малым детям:
король рожден под знаком Козерога —
тот дуралей берется за перо,
когда Луна стояла в Козероге,
и пишет — о рогах и о баранах!
О нет, разумные судьбу не искушают.
Наряжены мы не о том судить,
где справедливость. Долг иной лежит на нас —
определить, где меньшее из зол.
И лучше пусть, коль суждено, один погибнет,
Чем под удар поставить нас и королевство.

Так совещался они весь день
и на закате к королю пошли
и, поклонясь ему, сказали, что Жуан Висконти
обманщик есть и развращенный лжец.

Жуан Висконти в камере подземной умер
голодной смертью.
Но в сердце короля пустило корни семя
его позора, и его влекло,
что сам он испытал, то причинить и прочим.
И не осталось госпожи, которой он не пожелал бы
обесчестить —
и обесчестил. Сопрягались ненависть и страх
и наполняли страхом и враждою землю.

Так, с "наименьшим злом", ступала Участь
вплоть до Антониева дня, до той среды, когда с рассветом
явились рыцари и, вырвав
из рук любовницы, зарезали его.
"Последним подошел начальник стражи
и короля нашел окровавленным, — говорит хронист, —
и вынул меч, и отрубил ему
мужские части, молвив:
"За *это* заплатил ты жизнью!"
Таковой конец
Для Пьера короля назначил блудный бес.

Перевод Ирины Ковалевой

Из книги "Судовой журнал-II" *(1944)*

Дни апреля 1943 года[1]

Тромбоны, трамваи, литавры, лязг тормозов:
Так хлороформ проникает в сознанье:
вдохни и считай,
покуда бесчувственным мясом не сдашься
на милость хирурга.

По улице он идет осторожно, боясь поскользнуться
на арбузной корке — их швыряют рассеянные арабы
или изгнанники-политиканы и их свора,

1. Своего рода отсылка к Кавафису, часто дававшему своим стихам подобные названия: "Дни 1896 года", "Дни 1901 года", "Дни 1909, 1910 и 1911 годов". В основу стихотворения легли впечатления Сефериса от пребывания в Египте, где тогда находилось правительство Греции в изгнании, с которым Сеферис был связан — он занимал пост начальника Отдела печати и информации МИДа Греции. (*Прим. А. Н.*)

швыряют и ждут: наступит? или не наступит?
– как на ромашке гадают... Идет
– в руке связка ключей: где те двери, что они отпирают?
Поверх – сушь и синь неба:
повыцветшие рекламы круизов,
ставни, закрывшие окна дома и лица любимых,
вода, что пролита на корни платана...

Он идет:
Словно спешит на работу
За ним – стая голодных псов, что рвет
ему брюки.
Рвет, пока донага не разденет.
Он идет, спотыкаясь, – вслед ему тычут пальцем,
и душный, горячий ветер метет в лицо
огрызки, дерьмо, вонь и клевету.

Из книги "Судовой журнал-III" (1955)

Айя-Напа

И видишь свет солнца, как говорили древние[1].
Что же, я думал, что вижу, долгие годы
скитаясь меж горами и морем
встречая людей в блестящих доспехах;
странно, но я не заметил, что вижу только их голос.
Кровь вынудила их говорить, кровь барана,
зарезанного мной, – я положил его к их ногам[2],
но не был светом *тот* красный ковер[3].
Мне говорили: свет – это то, что – на ощупь, чутьем.
Будто бежишь от погони, а ночью таишься в конюшне,
будто ты обретаешь женщину, тело и лоно,
и в комнате – вязкий, удушливый запах.
Мне говорили: кожа и шелк.
И вот – в удивлении: вижу. Свет солнца –
как золотистая сеть, а в ней, будто рыба,
бьется все сущее, и ангел
– огромный ангел тянет ее, в такт
движениям рыбаков, выбирающих ловчие сети.

1. В древнегреческом языке "видеть свет солнца" и "быть живым" – синонимы. (Прим. *А. Н.*)
2. Аллюзия на Гомера: сходя в Аид, Одиссей приносит в жертву черного барана – напившись жертвенной крови, души умерших на недолгое время обретают способность говорить (Одиссея. XI). (*Прим. А. Н.*)
3. Строка напоминает об "Агамемноне" Эсхила, где вернувшийся с войны царь ступил на *пурпурный* ковер и был убит.

Из книги "Три сокровенных поэмы" (1966)

"Летнее солнцестояние", гл. 8

Белый лист бумаги суровое зеркало
возвращает лишь то, чем ты был.
Белый лист – он говорит твоим голосом,
Твоим, –
не тем, который хотелось услышать.
Этот напев – жизнь,
растраченная впустую...
Но еще можно ее отыграть, –
если только припасть
к этой белизне равнодушной,
белизне, что отбрасывает тебя
назад, к твоему началу.
Ты странствовал, видел множество лун и много солнц
прикасался к живым и мертвым
испытал боль юноши
муки роженицы
огорченье ребенка,
но все, что ты испытал – бесполезная груда
если ты не доверишься этой вот пустоте.
Может ты и найдешь то, что, ты думал, навеки утрачено:
цвет юности, справедливые волны возраста, сомкнувшиеся
над тобой.

Жизнь это то, что ты отдал
эта пустота – то, что ты отдал,
белый лист бумаги.

Перевод Ирины Ковалевой и Антона Нестерова

Георгос Сеферис

Страницы из дневника (Т. С. Элиот)

Перевод Ирины Ковалевой

На Рождество я, как обычно, получил от него поздравительную открытку; на ней было изображено Благовещение. Накануне Богоявления я прочитал в утренних газетах сообщение о смерти Томаса Элиота. Так явилась мне, издалека[1], его кончина.

...точно он прошел в невидимую дверь,

как сказано в "Старом политике", или — как в "Эдипе в Колоне"[2]:

на безвидные равнины
он незримой смертью взят.

"Старый орел"[3] улетел от нас. Сейчас не время для оценок и споров. Оно, время, рассудит, какое место займет каждый из нас; время знает, как упорны бывают семена, прорастающие на самой странной, самой неожиданной почве, — не только там, где мы их посеяли.

Сейчас единственное, что остается нам, его друзьям, сколько нас есть, — это заглянуть в свои записные книжки: каковы бы ни были наши заметки, прощание одевает их дымкой печали, доступной только нам.

Переписываю здесь строки, которые я наскоро успевал записать в дневнике после наших нечастых встреч. Я ничего не правил, ничего не добавлял, только кое-что выпустил. Тогда мне хотелось среди повседневной суеты сохранить его слова, пусть самые незначительные. Они помогали мне осознавать, что такой человек существует.

Понедельник, 28 мая 1951 г.

Вчера вечером — прием в честь Одена у Стивена Спендера. Много литературного народа, по большей части незнакомого. И я, грекоязычный, отчужденный и чуждающийся, пытался соединить лица, которые видел впервые, с давно известными мне книгами. Не удивительно ли, напри-

© 1992, 1993, Maro G. Seferi
© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

1. Сеферис в это время был уже в отставке и жил в Афинах. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. "Старый политик" — пьеса Т. С. Элиота. "Эдип в Колоне" — трагедия Софокла.
3. Аллюзия на образ Орла в драме Т. С. Элиота "Скала".

мер, видеть перед собой Одена, которого я представлял себе хладнокровным поэтом-атлетом, — а он человек невероятной чувствительности, сновал туда-сюда, умоляя опустить шторы, поскольку не выносит сумерек? Зато я познакомился с Элиотом. Только все было так организовано, что он весь вечер проговорил с моей женой — их посадили за один стол.

Понедельник, 15 октября 1951 г.

Несколько дней назад я шел на работу, и вдруг меня остановила какая-то пожилая особа и сунула мне в руку бумажку. Как оказалось, листок некой христианской организации, пытающейся соединить кубок футбольного первенства, который оспаривает команда Англии, с евангельским "Да минует Меня чаша сия". И все это — абсолютно серьезно. Когда я упомянул о футбольном мяче в том письме об Элиоте[1], я не представлял, что такое и в самом деле возможно.

Днем — в Petit Club Français[2] — коктейль Луиса Макниса. Это маленький клуб, выходящий на Сент-Джеймс-стрит, почти тайный. Но тут и куда бóльшие заведения кажутся тайными. Мне объяснили, что он появился в годы войны, "a very good place"[3], — но теперь, в Лондоне времен "ограничений", и "good" имеет некое переходное значение — как и вся наша эпоха. Тусклое освещение; литераторы, со стаканом в руке; Джон Хауард на своей коляске; и двое-трое коллег из Форин Оффис.

Когда я подошел к Элиоту, он беседовал с каким-то своим знакомым, который собирался в Испанию. Сегодня я виделся с ним во второй раз, его наружность напомнила мне четверостишие из "Ист-Коукер"[4] — о раненом хирурге — тот же внимательный наклон головы. Он говорил своему собеседнику заботливо, почти как врач:

— Вы должны принять меры. В Испании ужасно поздно садятся за стол.

Он произносил это вдумчиво, тем же тоном, что и самые серьезные вещи.

Потом он обратился ко мне:

— У вас остается время для работы?

— Теперь — ни минуты.

— Хорошо по крайней мере, что у вас нет официальных литературных постов. Я помню, однажды, когда кто-то спросил, не советник ли вы по культуре, с каким облегчением вы сказали: "Слава богу, нет".

— Тем не менее недавно со мной кое-что приключилось. Им пришла в голову дикая мысль послать меня на конгресс поэтов в Бельгию. Там пытались найти определение Европы и определение поэзии.

— Что ж, они начали прямо с противоположного конца. Я хотел бы дать обед в вашу честь.

— Спасибо. Чего бы мнé хотелось — так это поговорить с вами подольше.

1. Имеется в виду эссе Сефериса "Письмо другу-иностранцу", написанное к 60-летию Элиота (см. "ИЛ", 2005, № 6).
2. Маленький французский клуб (*франц.*).
3. Очень хорошее место (*англ.*).
4. Ист-Коукер — второй "квартет" из поэмы Т. С. Элиота "Четыре квартета".

— Наверное, вы правы; давайте сначала встретимся сами. Все другое устраивают, чтобы оказать кому-то честь. И потом, когда народу много, хозяин дома не всегда может говорить с теми, с кем хочет.

Четверг, 7 февраля 1952 г.

Сегодня — ланч с Элиотом в "Garrick". Я впервые в этом клубе. Записываю (вчера умер король Великобритании), сколько могу припомнить, разговор — первый разговор без помех с человеком, который, безусловно, произвел на меня самое сильное впечатление из всех, с кем я познакомился в Англии.

Пил он, если не ошибаюсь, джин.

— Поэтическое творчество становится все более трудным, потому что становится все более сознательным, — заметил он.

Потом перескочили на эссе:

— Видите ли, если хочешь быть честным, приходится делать слишком много оговорок; текст перегружен вводными фразами, и читатель не чувствует удовлетворения.

Я сказал, что переход от приватности к публичности в работе с каждым годом для меня становится все более болезненным.

— Да, это так, хотя, казалось бы, должно было бы быть наоборот. Трудность в том, что вокруг вещи, которую пишешь, образуется гало[1], из которого черпает творец. И вот оно теряется. Но иметь другую работу необходимо. Нельзя посвятить себя исключительно поэзии: ведь значительная часть поэтического творчества совершается бессознательно (unconscious), и нужно, чтобы много времени было занято чем-то другим.

— Да, — согласился я, — но проблема в том, что это "другое" начинает вмешиваться в наше бессознательное. Я именно тогда понял, что моя публичность опасна, когда ощутил в начале войны, что она вредит: она стала мне сниться. "Ответственность начинается со снов", — сказал кто-то из вас. Однако и в те трудные годы я всегда писал, для тренировки, хоть страничку, хоть несколько строк в дневнике. Только для того, чтобы удержаться на поверхности. А вот теперь не могу.

— Великое упорство (tenacity).

Отсюда мы перешли к войне. Я сказал, что самым большим ужасом была гражданская война[2].

Он заметил:

— Тяжело, когда питаешь симпатию к врагу.

Я напомнил ему "Семерых против Фив", где хор раскалывается надвое, точно разделенная кровь. Он посмотрел на меня в упор, будто хотел глубже прочувствовать это. Я сказал, что ему надо поехать в Грецию — *встретиться* с Грецией. Он говорил, сколько времени ему понадобилось бы для лекций, которые пришлось бы там прочитать. Кажется, решение у него еще не созрело.

Заговорили о православном мистицизме.

1. Гало — круги около светил, наблюдаемые, когда между светилом и наблюдателем находится облако из ледяных кристаллов.
2. Имеется в виду гражданская война в Греции, начавшаяся фактически еще во время Второй мировой войны и продолжавшаяся по 1949 г. включительно.

— Мне кажется, что православие ближе к изначальному христианству, — заметил он.

Встав из-за стола, заговорили об Эзре Паунде. Элиот хочет способствовать тому, чтобы в Италию была отправлена комиссия.

Я проводил его до станции метро. Вернувшись в офис, я старался уловить, в чем именно мое сродство с этим человеком; я не хочу сказать, что мы из одного стручка.

Суббота, 7 октября 1952 г.

В начале ноября уезжаю в Сирофиникийские королевства[1]. Безнадежная, тупая усталость. К счастью, сон меня еще не покинул. В прошлый вторник, в четыре часа пополудни, я пошел в Faber[2] попрощаться с Элиотом.

Он прислал мне записку с приглашением на чай.

Из дома я ехал на автобусе, а потом шел пешком по кварталам, которые лет двадцать назад для меня неразрывно связались с голодом Томаса де Куинси и с его бедной Анной, потерявшейся в безбрежном океане Лондона; печальное соседство. В те годы я впервые вошел в это здание, чтобы купить книги Элиота. Оно все еще стоит на углу, целехонькое, такое, каким я его помнил, среди разрушений, нанесенных блицкригом.

Консьержка-телефонистка, не выходя из своей стеклянной конурки, пригласила меня подождать в маленькой комнатке. В коридоре и комнате — кипы узких и длинных свертков, достающих до потолка, — книги; но внутренний голос шепнул мне, что там могли бы быть кофе или пряности. Думаю, эту мысль я почерпнул из старых рекламных плакатов. Я выглянул в окно: там, на площади, желтели высокие осенние деревья; небо в густых тучах. Напротив сидела крошечная, плохо одетая женщина в рваных чулках, с растрепанными редкими волосами, в видавшей виды двурогой шляпке. Измученное лицо; в руках бумаги. Должно быть, она ждала ответа — принята или нет какая-нибудь рукопись.

Вскоре пришел швейцар и провел меня к лифту. Он терпеливо нажимал на кнопку — никакой реакции. Здесь есть закутки — наверное, самые трогательные, — где все кажется изношенным от старости; удивительно, иногда что-то работает лишь по привычке.

— Пойдем пешком, мне все равно, — сказал я.

— Но ведь это три пролета, сэр!

Он повел меня с таким видом, точно я вынудил его сделать что-то неподобающее. На втором этаже я услышал его одышку.

Кабинет у Элиота маленький; в эпоху Паламаса[3] его назвали бы *кельей*. Он узкий и длинный, в нем с трудом поместились бы три посетителя. В глубине — окно, выходящее на шпиль какой-то церкви; справа, в нише, — письменный стол. За спиной поэта — высокий плоский книж-

1. В 1952 г. Сеферис был назначен послом Греции в Ливане, Сирии, Иордании и Ираке с резиденцией в Бейруте.
2. Имеется в виду издательство "Faber and Faber", в котором работал Элиот.
3. Костис Паламас (1859–1943) — греческий поэт, крупнейший представитель неоромантизма.

ный шкаф; я заметил несколько выпусков "Commerce". Я сел в кресло напротив него, между нами — стол, накрытый для чая.

— Я слышал, вы отправляетесь в дальние края, — сказал он.

— Я еду в арабские страны. Но сначала меня собирались послать в Австралию, Вы, наверное, слышали об этом.

— Да. При столь частых перемещениях вам, разумеется, нелегко работать.

За столько месяцев, пока шла утомительная борьба по поводу моего перевода на другое место, при полном равнодушии к затрате человеческих сил, я впервые услышал, что кто-то принимает меня в расчет.

— Вы провели здесь военные годы, — сказал я. — Тут довольно высоко, и этот квартал, как видно, сильно бомбили.

— Некоторое время, но потом нам везло.

— Я слышал, что в эпоху блицкрига вам приходилось дежурить в здании.

— О, я не делал ничего, что и впрямь предотвратило бы разрушения. Каждый из нас, работавших тут, раз в неделю дежурил на крыше. Мне на крыше не нравилось; здесь, в этом кабинете, я чувствовал себя в большей безопасности.

— Иногда кажется, что знакомые предметы нас защищают.

— Это странно, но во время блицкрига я очень не любил, если воздушная тревога застигала меня в чужом месте. И еще более странно, что, находясь в убежище, под землей, в абсолютной безопасности, я чувствовал настоятельное желание как можно скорее выйти, удрать от всех прячущихся там, удрать от этого "рода человеческого" (humanity). Я помню трагические толпы на станциях метро летом 44 года. Вытянутые лица, остановившиеся, потухшие от усталости глаза. Дети.

— Во время частых налетов на Крит, — сказал я, — мне было лучше на воздухе, в саду, читать старинные стихи вместе с каким-нибудь стариком-крестьянином, который знал их наизусть.

— А молодые? Не знают?

— Намного меньше.

— Вот как; образование (education) убивает поэзию.

Он предложил мне закурить "Marylend".

— Швейцарские; если вам нравится французский табак, эти лучше, вот увидите.

Он начал разливать чай. Я рассказал ему историю крупного турецкого торговца виноградом, с которым познакомился в Смирне, — выпитый мистер Евгенидис[1]. Это его позабавило:

— Иногда слышишь удивительные, даже трогательные вещи. Когда в Лондоне впервые поставили "Убийство в соборе", в антракте двое беседовали в баре (это слышал мой друг). Один спрашивает: "Вам нравятся стихи Элиота?" А второй: "А что, Элиот и стихи писал?"

Он сказал это с явным удовольствием и рассмеялся.

— На самом деле мистер Евгенидис — человек, с которым я познакомился, когда работал в Сити.

Я спросил, как он написал "Бесплодную землю".

1. Персонаж поэмы "Бесплодная земля" Т. С. Элиота.

— Я заболел, и врачи посоветовали мне поехать отдохнуть. Я отправился в Маргит (он улыбнулся). В ноябре. Там я написал первую часть. А потом поехал в отпуск в Швейцарию и там закончил поэму. Она была вдвое больше. Я послал ее Паунду, и он выкинул половину.

— Жаль, что он не сделал того же с "Cantos"[1].

— В последнее время Паунд намного меньше ценил поэзию. Считал, что он прежде всего экономист или социальный реформатор. Тем не менее в "Cantos" есть отличные куски...

— "Make it New"[2] скорее производит на меня впечатление заявленной программы, чем настоящей критической мысли, но думаю, что его советы были очень полезны его друзьям.

— Это манифест, — поправил он, — но его устные критические замечания были очень дельные, и письма тоже. Я их пришлю вам, если хотите.

— Спасибо, у меня они есть, только я еще не успел прочитать.

Я закурил. Он снова наполнил мою чашку и указал на маленькую грампластинку, лежавшую между нами.

— Вот что я могу вам подарить.

— Знаете, я вчера получил из Америки пластинки с Вашей записью "Бесплодной земли" и "Пепельной среды". Я очень им рад.

— Но я могу вам подарить запись "Квартетов" — она намного лучше. В Америке любят все делать очень быстро. Меня заставили сделать запись за один-два дня, а над "Квартетами" я много работал.

— И у меня совсем недавно был опыт записи в Гарвардском университете. Первая запись, по-моему, неудачная, слишком тяжелая. Звукозапись — это особая техника, которой надо учиться. Причем весьма утомительная.

— Да, очень. Дело в том, что "живое" чтение может быть лучше или хуже, но ты знаешь, что оно пройдет, и все. А во время звукозаписи, если сделаешь ошибку, она будет повторяться снова и снова, и это вызывает напряжение и не дает сосредоточиться.

— Я вышел из студии еле живой. Мне нравится ваше чтение в фильме "Убийство в соборе".

— Сначала я записал всю пьесу целиком — прочитал, чтобы актеры усвоили ритм. Потом, когда дошли до Четвертого Искушения, у режиссера появилась счастливая мысль оставить голос поэта как есть, без лица актера на экране. Тогда я предложил снова прочитать эту часть, отвечая записанному на пленку голосу актера, игравшего Беккета[3]. Трудность заключалась в том, чтобы точно уложиться в паузы, оставшиеся для меня. Несомненно, кинематограф — особое выразительное средство. В нем роль зрителя куда более пассивна. Все его внимание сосредоточено на картине, которую он смотрит, это как сон наяву.

— Экранизация "Убийства в соборе" заставила меня задуматься, как можно было бы поставить в кино древнегреческую трагедию.

— Я бы очень хотел увидеть ее в оригинале.

1. "Cantos" — поэма Эзры Паунда (1885–1972).
2. "Make It New" — сборник эссе Эзры Паунда.
3. Фома Беккет (1118–1170) — архиепископ Кентерберийский, герой пьесы Элиота.

— Да, но как быть с произношением?[1]

— И страшно трудная проблема хора?

— До сих пор вам не удалось побывать в Греции. Есть ли хоть малая надежда на то, что вы совершите путешествие туда будущей весной?

— К сожалению, я должен закончить пьесу, которую пишу сейчас для Эдинбургского фестиваля, он состоится следующим летом. И, кроме того, я должен съездить в Америку; полечу самолетом; мне необходимо сократить эту поездку насколько возможно.

— Меня интересует, — только поэтому я и взял на себя смелость настаивать на подобном путешествии, — не "светская" сторона дела, а Элиот в Греции: их противостояние; все остальное я не беру в расчет.

— Благодарю вас за эти слова. Поехать в Грецию — все равно что найти мать.

— Все равно что встретиться с самим собой, — сказал я.

Он взглянул на меня. Должно быть, я выразил свое личное ощущение.

— Я бы хотел поехать в Дельфы и на Делос. Как там осенью?

Я сказал ему про бабье лето.

— Все-таки, думаю, мне бы понравилась весна.

— На Пасху в какую-нибудь деревню. Вас бы растрогала Страстная Пятница.

— Я поеду; я отказался от идеи поехать на Дальний Восток (он имел в виду Индию).

— Те края — точно вековые деревья, они могут подождать. Греция — другое дело.

Я спросил о пьесе, которую он пишет, — она о современности? Он ответил решительно:

— О да, о современности и в стихах, если то, что я пишу, — стихи.

Заговорили о "Coctail Party", которую он сравнивает в своем последнем эссе с "Алкестой"[2].

— Я не очень понял, в чем тут сходство, — сказал я.

— Разумеется, все очень изменено. И все-таки я думал об Алкесте, о том, как она вернулась, и о том, что с ней что-то произошло там, где она была.

И, помолчав:

— Я бы хотел вдохновиться "Эдипом", не "Царем Эдипом", а "Эдипом в Колоне", который, разумеется, опирается на первого. Но это нужно понять. Тут дело в зрелости.

Он произнес последнюю фразу с особым чувством. Я не ответил. Он продолжил:

— Мне понравилось, как вы перевели хоровые партии в "Убийстве в соборе".

1. Англичане, как и большинство европейцев, читают древнегреческие тексты в так называемом эразмовом произношении — это восходящая к эпохе Возрождения реконструкция древнегреческого произношения (естественно, во многом условная), опирающаяся на орфографию; современные греки предпочитают читать древнегреческие тексты с тем же произношением, что и новогреческие; разница между тем и другим довольно значительная. Скажем, не отягощенные классическим образованием российские туристы не всегда могут опознать в "Эвии" остров Эвбею, а в "Виотии" — Беотию.

2. "Вечеринка с коктейлями" — пьеса Т. С. Элиота; "Алкеста" — трагедия Еврипида, героиня которой соглашается умереть вместо любимого мужа, но Геракл, победив в единоборстве бога смерти, уводит Алкесту из царства мертвых и возвращает мужу.

– Но как вы могли судить?

– Когда я был в Сити, я немножко учил греческий. Даже с моим произношением я смог разобрать ритм. Он показался мне верным.

На стене над его письменным столом – фотография Поля Валери. Я сказал:

– Хорошая: Валери с его папироской.

Он не знал стихотворения, где появление стиха сравнивается со скручиванием папиросы, которое упоминает Ален – "faire et refuser de faire"[1]. Я рассказал. Кажется, он им восхищается:

– Он был так умен, что был начисто лишен честолюбия.

– Думаю, он знал английский.

Засомневался:

– Мы говорили по-французски.

Я спросил, как он решился писать стихи по-французски. Он сказал, что после "Пруфрока" и пока не появился "Геронтион"[2] думал, что вообще больше не сможет писать стихи, никогда. "Дело было не в недостатке вдохновения", – заметил он тем не менее. Тогда он много читал по-французски. Я думаю, это был для него способ справиться с тем, что мешает. Я сказал:

– Стихи вообще пишутся странно.

Я рассказал ему, как написал "Царя Асини"[3]. Мучился два года. Бросил. И потом за одну ночь написал стихотворение, даже не имея под рукой своих старых черновиков; а дело было в том, что меня раздразнили две оставшиеся пустыми страницы набора.

– Это очень хорошее стихотворение. И, может быть, вы смогли его закончить как раз потому, что у вас не было под рукой черновиков.

Он сказал, что точно так же, одним махом, дописал последнюю часть "Бесплодной земли". Разговор вернулся к Валери. Мы подумали о Малларме. Он прошептал:

– То был очень эмоциональный человек.

Он напомнил фразу из письма его дочери к другу: "...Papa vous aimait tant"[4]. Но Валери он считает более богатым внутренне, обладающим подлинным содержанием. "Морское кладбище" заставляет его думать об итальянском происхождении поэта.

Я попрощался. У двери, во вращающемся книжном шкафу, – его книги. Я посмотрел на них. Он спросил, чего у меня нет, чтобы подарить.

– Мне кажется, у меня есть все, и я привык к своим изданиям. Но, если вы так добры, дайте мне что-нибудь для жены: ей будет очень приятно.

Он погладил корешки, задумался на секунду и вытащил "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, с его предисловием. Сказал:

– Удачное предисловие.

Сел писать посвящение. Я заметил, как нервно он стиснул ручку.

1. "Делать и отказаться делать" (*франц.*).
2. "Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока", "Геронтион" – стихотворения Т. С. Элиота.
3. "Царь Асини" – одно из самых знаменитых стихотворений Сефериса. Вышедшая в 1948 г. книга переводов стихов Сефериса на английский язык называлась "'Царь Асини' и другие стихотворения", она имела в Англии большой успех.
4. "Папа вас так любил" (*франц.*).

23 октября 1952 г.

Мы пригласили Элиота и Чарлза Пика в "Кларидж", чтобы они получше познакомились – это облегчило бы предстоящую поездку Элиота в Грецию. Неудача: Пик очень торопился и убежал, не дождавшись окончания обеда, чтобы успеть на поезд (у него болеет теща). Что касается Элиота, записываю следующее.

Когда я сказал, что мне пора подумать о том, чтобы уйти со службы, он обеспокоенно посмотрел на меня:

– А! Будьте осторожны, это опасно.

Теперь я его немного знаю; он всегда думает о том, насколько может быть вредна встреча сознательного и бессознательного. Он испугался моей чрезмерной свободы.

За кофе кто-то спросил его, видел ли он "Огни рампы"[1]. Он ответил:

– Существуют две школы: поклонники Чарли Чаплина и поклонники братьев Маркс; к какой школе принадлежите вы?

Каждый высказался. Элиот:

– Я предпочитаю братьев Маркс. У них есть критическое в некотором роде отношение к жизни.

Я проводил его до выхода. Он взял свой вечный чемоданчик и шагнул в кипящий водоворот большой гостиничной двери.

Среда, 1 июля 1959 г.

Днем за ланчем у нас – Элиот с женой. Были еще Морис Боура[2] и Реймонд Мортимер. Я не видел его несколько месяцев; он показался мне более мрачным, чем когда-либо, точно его тяготило что-то *извне*. Нас было не больше восьми человек за столом, но и при таком небольшом количестве народа не так-то легко было поговорить с ним.

Я спросил, работает ли он сейчас над стихами. Он сказал, что не нужно повторяться. Я добавил:

– Не нужно подражать самому себе.

– О, это уж хуже всего.

– Я обратил внимание на строки посвящения в "Elder Statesman"[3].

– Да, я двигаюсь в этом направлении.

Надеюсь, я правильно понял. Похоже, он хотел, чтобы разговор задержался на этой теме. Потом мы немного поговорили о театральной постановке "Elder Statesman", которую я видел.

– Этот конфликт, который чувствует старый политик, с "vacuum"[4], встречаемым в конце жизни, – это и есть тема драмы, – сказал я. – Каждый политик, разумеется, если у него есть совесть, должен, как мне кажется, время от времени задавать себе вопрос: какую пользу он прино-

1. "Огни рампы" – фильм Ч. Чаплина.
2. Сэр Сесил Морис Боура (1910–1987) – один из наиболее значительных английских филологов XX в., исследователь античности и русской культуры Серебряного века, переводчик русской поэзии.
3. "Старый политик" (*англ.*).
4. "Пустота" (*лат.*).

сит, чем помогает тому, что происходит. И если он задается этим вопросом, едва ли он думает, что и впрямь на что-то влияет.

Он слушал меня со своим всегдашним вниманием.

– Я много раз слышал, как политики говорят, что не играют никакой роли; трудно поверить, что они говорят то, что на самом деле чувствуют.

Когда мы вышли из столовой (стоило посмотреть на идущих рядом сдержанного Элиота и темпераментного Боуру), разговор коснулся Пастернака. Он сказал, что у него есть "Доктор Живаго", но он его еще не открывал. И потом, обращаясь к Боуре (это примечательно):

– Вы, читающие по-русски, могли бы сказать нам, действительно ли Пастернак великий поэт, как говорят.

Еще из его высказываний: "Поэт должен писать только на одном языке". О некоем молодом человеке, о котором говорили, что тот собирается посвятить жизнь исключительно поэзии: "Он готовит себе печальную (sad) жизнь".

Четверг, 23 июня 1960 г.

С утра гроза, с молниями и громом. После полудня – снова ощущение ужасной опустошенности. Около шести – прием для литераторов в "Faber". Жужжащая толпа. Два слова с Элиотом.

– A! Doctor Seferis! (он имел в виду Кембридж[1]) – в ответ на мое приветствие.

Я сказал ему, что в мае был в Шотландии.

– Трагическое место.

Я посмотрел на него с изумлением.

– Да, трагическое; и я убежден, это влияет на характер его обитателей.

На обратном пути мы прошли через Regent's Park. Дождь только что перестал; благоухало множество роз; синие цветы как огоньки лампады; за оградой открытого театра – английский гимн: закончилось представление "Бури". Я подумал, каким был этот парк 24 года назад, когда я частенько гулял тут: тогда я не знал ни души; улицы и очертания домов – вот чем был для меня Лондон.

Четверг, 10 ноября 1960 г.

Прием у Макса Рейнхардта по поводу моей книги[2]. Элиот пришел, хотя его и мучила астма, и настоял на том, чтобы подняться по длинной лестнице. Он показался мне усталым, бледным: враждебный и столь болезненный для него натиск зимы уже начался. Жена повсюду сопровождает его и присматривает за ним. В январе они уезжают на два месяца на Ямайку.

1. Имеется в виду степень доктора honoris causa Кембриджского университета, присужденная Сеферису как раз в июне 1960 г.
2. Макс Рейнхардт (1873–1943) – немецкий режиссер, актер. Осенью 1960 г. вышли "Стихотворения" Сефериса в переводе на английский, выполненном Рексом Уорнером.

Ланч у Элиота, к счастью, без других сотрапезников — я просил его об этом. В первый раз я вижу его дома: он живет в Кенсингтоне, неподалеку от Алберт-холла, в одном из строений начала нашего века или конца предыдущего; я бы не удивился, увидев, что из соседней двери выходит мистер Пруфрок. Квартира на несколько ступенек выше уровня земли; дверь была открыта; он сам и его жена — на пороге. Внутри — никакой роскоши, меблировка, на первый взгляд, безличная. В камине пылал огонь. На стене — шарж Паунда, работы Уиндема Льюиса[1], небольшой пейзаж Джона Рескина и акварель Эдварда Лира. Был там и бюст самого поэта работы Дж. Эпстайна[2], не очень меня вдохновивший. По сравнению с прошлым разом, Элиот показался мне куда более отдохнувшим. Его жена дома поборола свою обычную застенчивость.

Сначала мы говорили о том о сем, об их поездке (они уезжают 29-го), о переводах. Я спросил, где он выучил начатки греческого, которые были ему необходимы, когда он работал в банке и должен был разбирать коммерческую корреспонденцию. "У Димоса", — он имел в виду преподавателя в Гарварде. Они вместе учились в этом университете. ("Он очень хорошо учился, куда лучше, чем я".)

— С этими крохами греческого я прочел пару ваших стихотворений в оригинале.

Ему нравятся переводы Рекса Уорнера. Что до его собственных стихов (кажется, речь шла о "Бесплодной земле"), он считает, что лучший перевод был немецкий, а после него — испанский. Рисунок Уиндема Льюиса мне напомнил его же портрет Элиота, который я видел в 1942 году в Дурбане, когда ждал самолета на Каир.

Элиот был, по всей видимости, рассержен писаниной Эдит Ситуэлл[3] о Льюисе, опубликованной в "Обсервер".

— Я написал в газету письмо, — сказал он, — но не думаю, что его опубликуют.

Потом мы заговорили о Паунде. Он хвалил "Пизанские Cantos".

— Паунд был всегда в движении и всегда носил, в лондонскую-то погоду, рубашки "Schiller" (мы их называем "Byron"), — вечно неухоженный... Я потом узнал (он улыбнулся), что ему их шили на заказ...

Я признался, что мне нравится, как он охарактеризовал стихи Лира ("стихи безответной страсти"), и что у меня то же самое ощущение вызывают "Сахарокусаки" и "Орехобойцы"[4]. Миссис Элиот сказала, что муж — его преданный поклонник: он часто ставит пластинку с одной из его песен. Это меня не удивило. В коридоре у выхода из столовой висели два рисунка в духе Лира, как мне сказали, работы отца Элиота. Традиция "нонсенса", стало быть, идет от семьи — "Practical Cats"[5]. Перед нашим уходом миссис Элиот пожелала показать нам детские фотографии поэта — трогательные; особенно хороша одна — рядом с господином с седыми усами и бородой.

1. Уиндем Льюис (1882–1957) — английский художник, писатель, критик.
2. Сэр Джейкоб Эпстайн (1880–1959) — американский скульптор (с 1905 г. жил в Англии).
3. Эдит Ситуэлл (1887–1964) — английская поэтесса и критик.
4. Стихотворения Э. Лира.
5. Имеется в виду поэма Т. С. Элиота "Житейский опыт Старого Опоссума в познании кошачьего племени" (Книга Действительных Котов и Кошек). Перевод А. Биргера.

— Дедушка? — спросил я.

— Нет, отец. Ему было 44 года, когда я родился.

Мы вернулись пешком. Было холодно, шел снег с дождем, — холодно даже по лондонским меркам. Пока мы брели через парк, я думал о старом мастере, о почтенном мастере. Ему скоро 72. Он больше не курит, даже сигары[1]. Должно быть, состояние здоровья причиняет ему немало страданий: из-за астмы зимой он должен уезжать туда, где больше солнца. У его изголовья — кислородная подушка (он сказал: "Теперь, из-за выхлопных газов, Лондон стал хуже, чем тогда, когда был только смог"). Сегодня он был в хорошем настроении, веселый, но только когда заговорил о предстоящем путешествии, в его взгляде блеснула особенная искра. Сжимая с беспредельной нежностью руку жены, он сказал:

— We'll go to Greece![2]

Четверг, 11 мая 1961 г.

На приеме в саду у королевы. Прекрасный день, свежая трава, свежая листва на деревьях — после прошедших дождей. Все эти приемы чем-то похожи на процессию чающих движения воды у Силоамской купели. Самые разные лица и одеяния, теперь, когда Содружество произвело столько независимых государств; разные расы, яркие, подчас экзотические хитоны и сандалии, кое-где — красивые лица, мужские и женские, бросающиеся в глаза головные уборы. И рядом со всем этим — традиционный жилет, гвоздика в бутоньерке, зонтик в руке, серая шляпа, — чтобы напомнить о европейском меньшинстве среди огромного, пестрого современного мира. Широкополая ковбойская шляпа с крылышками, прижатыми лентой, парила на два вершка выше прочих голов. Вдруг — Элиот с женой, посвежевший после отдыха на Ямайке.

— Как я рад видеть вас в добром здравии.

Море было теплым, как Средиземное летом; он купался.

— Дух спит, — сказал он, — в такой обстановке.

— Иногда это неплохо.

— Только я соскучился под конец.

Его жена носит браслет, к которому подвешены — на манер греческих "константинат"[3] — крошечные копии его книг, сделанные из смальты.

— Теперь их будет больше, — сказал я ей.

Четверг, 20 июля 1961 г.

Колесо вращается так быстро, что я едва успеваю записать хоть что-то. В четыре часа пополудни я зашел повидаться с Элиотом перед тем, как отправиться в отпуск. Входя в здание "Faber", я встретил иностранного

1. После публикации этого текста в "Квотерли ревью" Сеферис получил открытку от Валери Элиот, написавшей, что ее муж никогда не прекращал курить, но "наслаждался еженедельной сигарой вплоть до самого конца". Работая над изданием собрания эссе, Сеферис не внес правку в текст, но переписал открытку Валери Элиот в специальном примечании.
2. Мы поедем в Грецию! (*англ.*)
3. "Константинаты" — золотые монеты, имеющие с одной стороны изображение св. Константина, а с другой — св. Елены; их носят в качестве украшений или амулетов.

поэта, с которым познакомился накануне. Он тащил наверх огромную кипу книг.

— Куда вы их несете?

— Чтобы их подписал Элиот!

Я и не представлял, что Элиот написал так много книг — вдвое или втрое больше, чем я думал.

Я поднялся в его кабинетик, расположенный высоко, на третьем этаже[1]; я не был там лет десять, с тех пор, как служил советником посольства. Мало что изменилось за это время; только некоторые фотографии висели на других местах. Я спросил, читает ли он, в качестве редактора "Faber", стихи, которые им присылают.

— Нет, лучше, чтобы их читал кто-нибудь другой, кто любит поэзию, но не поэт.

И потом, обобщая:

— Я больше не решаюсь давать советы молодым; боюсь навредить им: расстояние между нами уже очень велико. Может быть, правильно, что они должны сказать то, что от меня ускользает. У них другой опыт; разумеется, я не хочу сказать, что я не узнал бы гения. Иногда мне присылают рукопись и спрашивают: "Поэт ли я? Стоит ли мне продолжать?" Я в таких случаях отвечаю: "Только вы это знаете, только вы должны принять решение". Кроме того, чтобы судить верно, надо вникать в детали; деталь — вот что важно. А все это требует времени.

Не помню, как зашла речь о Кокто.

— Когда-то я познакомился с ним, он произвел на меня впечатление тем (он остановился, подыскивая точное выражение), что говорил, словно пробуя на мне комплименты, предназначенные для кого-то другого.

Я припомнил свою единственную встречу с Кокто в Анкаре; утомительный фимиам, расточаемый направо и налево.

— Он совершает поступки, свидетельствующие о том, что он не повзрослел, — сказал я. — Редко кому удается, подобно Йейтсу, постичь живость зрелого возраста. Наш Кавафис тоже интересен в зрелые годы.

— Нам его представил Морган Форстер. Он знал его в Александрии.

— Форстер очень болел в последнее время.

— Я видел его несколько месяцев назад, он был здоровехонек.

Потом мы говорили о театре, он сказал, что ему нравится Мариво[2]. Мне кажется, это важно, принимая во внимание его собственные театральные опыты. С одной стороны Мариво, с другой, напротив, "Алкеста", "Эдип".

Говорили о Греции, куда я отправляюсь через несколько дней. Этот год был для меня очень тяжел. Не труден — трудности меня взбадривают, а тяжел и пуст.

— Не знаю, что делать, — сказал я ему, — но чувствую, что пришло время устроить жизнь иначе...

1. По-гречески, как и по-английски, первый этаж считается бельэтажем, а счет начинается со второго этажа, так что "третий" соответствует нашему четвертому.
2. Пьер де Мариво (1688–1763) — французский писатель.

— Я помню, — сказал он, — вы говорили (это было много лет назад), что пишете, потому что вам нужно освободиться от чего-то. И я, когда пишу пьесу, ощущаю потребность освободиться от ее персонажей.

9 ноября 1961 г.

Элиот уезжает через несколько дней, вернется в марте. Через неделю я ложусь в больницу. Сегодня был единственный день, когда я мог повидать его в "Faber". Я хотел поговорить с ним о будущем переводе "Убийства в соборе", вместе с Гацосом[1] (он — диалоги, я — хоровые па$_1$ тии).

Я рассказывал о достоинствах Гацоса и спрашивал о некоторых трудностях.

— В этой вещи, по-моему, нет действия — оно только в языке, но он полон действия, он само действие.

— Рад, что вы это говорите.

— Невозможно воспроизвести это буквально, например, с помощью рифм. Нужно найти соответствия.

Потом я спросил, что он думает о французском переводе.

— Он очень хорош; его сделали во время войны. Немцы не разрешили постановку, сочли драму антинацистской. Послевоенная постановка была лучше английской. Там была оправдательная интонация в речи рыцарей, причем злобная, а не шутливая, как в нашей английской.

Я спросил о хоре "Поет ли птица на юге?"[2]. Его не было в первом издании, нужно ли его оставить?

— Да, я бы хотел, этот хор мне нравится.

Я спросил, значит ли слово "still" (в стихе "still the horror" — "все еще ужас") "еще" или "спокойный".

— Трудное слово, правда? (Тут проявилась его любовь к словам.) Оно значит "еще".

Он сказал, что строки "Мертвый на кресте, Спаситель мой" вдохновлены Dies Irae[3], и добавил: "Песнопение вошло в обиход после смерти Фомы Беккета (имея в виду, что это анахронизм), но неважно".

Он пошел в свою маленькую библиотеку, отыскал и дал мне канадское издание "Убийства в соборе".

— Оно будет вам полезно, там есть хорошие комментарии. Теперь мы ждем от Вас новых стихов...

— То же самое могу сказать и вам, — ответил я. — Я решил уйти в отставку. Чтобы писать? Не знаю. Никогда не знаешь, что еще удастся написать...

При прощании:

— Я был в театре и видел "Беккета" Ануя[4]...

— Я видел его в Париже, — сказал я. — Хотелось уйти, не дожидаясь конца спектакля...

— И там полно исторических неточностей.

1. Никос Гацос — греческий поэт.
2. Начальные слова II части "Убийства в соборе". Перевод Ю. Комова.
3. "День гнева приближается" (*лат.*) — начальные слова католического песнопения.
4. Жан Ануй (1910—1987) — французский драматург.

Я пошел попрощаться с Элиотом[1]. Раньше было нельзя: он был в Йоркшире. Отчасти — ради перемены климата, отчасти — по делам. Так я снова оказался в его кабинетике в "Faber".

— Сегодня мой дом совершенно опустел, — сказал я. — И я чувствую себя таким же пустым.

— Эта пустота мне знакома, я ее испытал, когда после "Пепельной среды"[2], — он старался припомнить поточнее, — после тех американских лекций (он имел в виду лекции о поэзии и критике) снова начинал с очень маленьких стихотворений. Потом мне что-то заказали (думаю, он говорил о "Скале"), а потом — "Убийство в соборе".

Я упомянул наш прошлый разговор о молодых.

— Самое бóльшее, — сказал он, — меня хватает на тех, кому сегодня 40.

— На что я обращаю их внимание, — сказал я, — так это на заботу о языке. К сожалению, язык портится.

— Да, и у нас. Тут виновато и американское влияние; язык, создаваемый эмигрантами, у которых родной язык — не английский.

— Ваш язык охватывает такое огромное пространство, — сказал я. — Наверное, с вами происходит то же, что случилось с нами после Александра Македонского.

— Наверное (он засмеялся). Я вспомнил Стравинского. Он рассказывал, что однажды вечером слушал по радио Хрущева и так рассердился, что выключил приемник: человек, на котором лежит такая ответственность, и так говорит по-русски!

Я сказал, что план перевода "Убийства в соборе" не осуществился; как только приеду, займусь этим[3].

— Переводя, учишь свой собственный язык, я хочу сказать — не тот, с которого переводишь.

Я сказал ему об опыте, накопившемся у меня после переводов более талантливых или, можно сказать, более неровных поэтов. Например, Сидни Кейеса[4].

— Интересно; я не обращал на это внимания.

Кажется, он ценит Кейеса. Перед уходом я попросил его подписать фотографию: его снял Букас, потихоньку, на станции метро.

Он улыбнулся:

— "Glouchester Road Tube Station"[5]. Это, должно быть, было до войны.

Когда я прощался, он спросил, как мы, православные, крестимся.

Февраль 1965 г.

1. В августе 1962 г. Сеферис покинул Лондон и переехал в Афины, "в распоряжение МИДа", но вскоре окончательно вышел в отставку.
2. "Пепельная среда" — поэма Т. С. Элиота. Имеются в виду лекции, которые Элиот читал в США в 1932–1933 гг.
3. Перевод "Убийства в соборе" на греческий язык, сделанный Сеферисом, был опубликован в 1963 г.
4. Сидни Кейес (1922–1943) — английский поэт и драматург.
5. Название станции лóндонского метро.

Питер Макридж и Елени Яннакакис

Греческая литература в эпоху глобализации

Перевод с английского Игоря Мокина

В 2003 году в Греции начал выходить новый литературный журнал для молодых и начинающих авторов под названием "Вот яблоко". Редакторская колонка первого номера, снабженная подзаголовком "не-манифест", начиналась так:

Мы родились и выросли после восстановления демократии и не чувствуем вины ни за левых, ни за правых. Политика для нас — это главным образом события за рубежом. У нас дома всегда ловится канал CNN, а в газетном киоске можно купить иностранную прессу. Наша территория — это вся планета, и мы прошли ее на своих двоих едва ли не из конца в конец. Более того, мы смотрим не только CNN, но и MTV. Новые компакт-диски выходят одновременно во всех странах мира, и поэтому Афины, Москва и Сиэтл слушают одну музыку. Мы смотрим те же фильмы и в те же дни, что и другие страны, а новые театральные постановки доходят до нас за пару месяцев. У нас всегда есть доступ к информации; Интернет для нас столь же элементарная вещь, как автомат с кофе или лифт. Техника доставляет нам самую актуальную информацию. Да, некоторые утверждают: чем больше информации, тем меньше знаний, но, возможно, они ошибаются. В "Яблоке" публикуются люди, которые любят читать — и писать. И мы хотим уделить внимание именно письму — полагаем, в этом мы не сильно расходимся с Бананой Ёсимото, Рэем Лоригой или Никколо Амманити[1]. Конечно, сейчас среди нас нет второго Флобера, но это нас не остановит.

В этом весьма показательном тексте собраны, кажется, все ключевые идеи современной греческой литературы. Более того, в нем прямо указано, что современные авторы сознательно и безоговорочно принимают все проявления глобализации — вплоть до того, что преподносят ее как благо для их родины. Коль скоро в Греции пишутся такие статьи, это значит, что принципы местной культуры встраиваются в культуру общемировую. Или, скорее, их еще только хотят в нее встроить — ведь если бы Греция уже глобализовалась, подобные заявления были бы просто не нужны.

Журнальный "не-манифест" наглядно иллюстрирует поворот в литературном и общественном сознании, наметившийся с падением диктатуры "полковников" в 1974 году и до сих пор до конца не завершившийся. Литература и искусство современной Греции отходят от кол-

1. Банана Ёсимото (наст. имя Махоко Ёсимото, р. 1964) — японская романистка. Рэй Лорига (наст. имя Хорхе Лорига Торренова, р. 1967) — испанский прозаик, драматург и кинорежиссер. Никколо Амманити (р. 1966) — итальянский романист. (*Здесь и далее, если это не оговорено особо, – прим. перев.*)

© Peter Mackridge,
Eleni Yannakakis
© Игорь Мокин. Перевод, 2008
Печатается в сокращении.

лективизма и не зацикливаются на местной политике, а вместо этого проявляют интерес к индивидуальному, частному – тем самым в каком-то смысле приближаясь к общечеловеческому. Таким образом, когда по всему миру разрушаются культурные границы, греческая литература, как кажется, не остается в изоляции.

Отношения с Европой

Греция была тесно связана с Европой задолго до вступления в ЕС в 1981 году; в конце концов, самим своим возникновением Греческое государство обязано Европе, а именно трем державам, определявшим политическую ситуацию на Балканах XIX века: Великобритании, Франции и России. Более того, на борьбу за независимость греков во многом подвигла европейская мысль Возрождения и Просвещения. Идеи зарубежных философов в покоренную турками страну принесла элита – люди, которые говорили по-гречески и при этом часто бывали в Европе, а иногда и жили за границей. Однако в Грецию проник не только бунтарский дух – в это же время сложилась культурная общность нации, а Европа признала, что греки бьются за правое дело.

Хотя жители будущей Греции пользовались одним и тем же языком все время, начиная с античности и до XIX века, говорили здесь все же не только на греческом, но и на славянских языках, на румынском, на албанском. Однако ни одна из этих многочисленных этнических групп не успела обрести единого национального и культурного самосознания – возможно, оттого, что и при римлянах, и во времена Византии, и под игом турок им неоднократно приходилось мигрировать. Вместо этнической общности у них возникла религиозная.

Впрочем, само понятие "национальное самосознание" возникло в Европе лишь в XIX веке; именно тогда синонимом нации стало государство. Жителям греческих территорий, исповедовавшим православие, стать нацией помогло и то, что современность вновь открыла Древнюю Грецию. Европейцы стремились обнаружить истоки собственной культуры – и, по выражению Константина Цукаласа, "европеизировали" античность[1]. Поэтому православные греки не просто стали независимы от Османской империи и получили легитимное национальное государство; они обрели еще и неоспоримую культурную общность, ведь их признали законными наследниками древних греков – если не по крови, то по духу. По словам Цукаласа, не следует забывать, что независимость Греции по большому счету обеспечило иностранное военное вмешательство, к которому, в свою очередь, привел романтический культ античности, свойственный европейцам: и в самой стране, и за рубежом Грецию снова воспринимали как фронт "геокультурной" борьбы европейской цивилизации против варваров.

Таким образом, у Греции и у остальной Европы в конечном итоге оказались общие корни. Но если европейцы ощущали Древнюю Грецию как часть своего культурного прошлого, то какие чувства испытывали к Европе греки? Ответ на этот вопрос вновь во многом определила история страны. Хотя политические связи с Европой после 1830 года оставались прочными (даже королевская династия Греции была родом из Западной Европы), с точки зрения идеологии и культуры страна все же находилась между Западом и Востоком и еще сто лет старалась расширить свои границы на севере и востоке. Это привело к "эллиноцентризму" и стремлению "вернуть утраченные территории", а значит, и к росту националистических настроений. Поворотным моментом стал 1922 год, когда греки потер-

1. Константин Цукалас (р. 1937) – греческий социолог. См.: К. Цукалас. Национальное самосознание греков в условиях единой Европы и перемен миропорядка // Греция, новая Европа и перемены миропорядка / Под ред. Г. Псомиадеса и С. Томадакиса. (*Прим. авторов.*)

пели поражение от турецкой армии в Малой Азии и отказались от политики экспансии. Неслучайно многие видные греческие интеллектуалы стали сознательно ориентироваться на Европу как раз после этого поражения. Первый призыв к культурному сближению с Европой прозвучал в 1929 году: в программном эссе "Свободный дух" — впоследствии признанном манифестом греческого литературного модернизма — прозаик и драматург Георгос Теотокас[1], до этого сам некоторое время поживший в Европе, открыто призвал молодых интеллектуалов отбросить замкнутое на себе "эллиноцентрическое" мировоззрение прошлых лет, причем не только в литературе, но и во всей культуре, — и устремить свой взор за рубеж, начать равный и свободный обмен идеями.

В самом деле, поколение 30-х, с которым обычно связывается возникновение греческого модернизма (и которое часто называют самым значительным в греческой литературе), оказалось тесно связано с Европой и европейской мыслью. Невзирая на многочисленные отличия от зарубежных образцов, греческий модернизм был в основе своей европейским — и по форме, и по содержанию, — ведь его сторонники учились в Европе и прекрасно разбирались в ее литературе и эстетике. Однако совпадение двух течений и оказалось скорее литературно-эстетическим, чем культурным: хотя греческие писатели пользовались теми же приемами, что и европейцы, умонастроения у них все же оставались совсем иными.

Впрочем, у некоторых интеллектуалов проевропейские идеи вызвали реакцию отторжения — они стали ратовать за то, чтобы перестроить греческую культуру на "эллиноцентрический" лад. Отсюда волна литературы националистического толка, особенно мощная в конце десятилетия, а точнее, после установления диктатуры Метаксаса (1936—1941), когда национализм набрал силу и стал распространяться по всему континенту. В 40-е годы волна эта только увеличилась; интересно, что она затронула даже самого Теотокаса, до того, как нам уже известно, отрицавшего "эллиноцентризм".

После Второй мировой отношение к Европе стало в стране неоднозначным из-за внутриполитических сложностей, пришедшихся на первый период "холодной войны": сначала гражданская война, затем борьба грекокиприотов за независимость от Британской короны и воссоединение с Грецией, а после этого — растущая политическая нестабильность, которая в 1967 году привела к власти "полковников". Идеологический и культурный маятник качался при этом то в сторону западничества, то в сторону национализма. Диктаторский режим, во-первых, изолировал страну от Европы и поощрял национализм, во-вторых, ввел жесткую цензуру и, в-третьих, заставил многих интеллектуалов-демократов бежать на Запад, особенно во Францию. После 1974 года именно эти люди вновь ввезли в Грецию европейскую мысль и стали определять культурный и политический климат страны. Среди них и уже цитировавшийся Константин Цукалас, и композитор Микис Теодоракис, и президент страны Константин Караманлис[1].

С тех пор культура Греции, очевидно, значительно изменилась: сейчас греки совсем не против того, чтобы быть частью Европы. Двадцать лет членства в ЕС и регулярная финансовая помощь Союза принесли политическую стабильность и экономический рост. Благодаря прогрессу жители страны довольны жизнью; у них сформировались привычки, обычные в обществе потребления: греки покупают модные товары, ищут информацию в Интернете

1. Георгос Теотокас (1906—1966) — автор ряда романов, пьес и эссе, в том числе широко известного на родине романа "Арго" (1936).

1. Константин Караманлис (1907—1998) — греческий политик, президент страны в 1980—1985 и 1990—1995 гг., инициатор вхождения страны в ЕС.

и в других международных СМИ, много путешествуют — причем не только по Европе — и часто учатся за рубежом. Новый стиль жизни, в свою очередь, укрепил ощущение "европейскости", ведь греки живут так же, как на Западе, — или по крайней мере им так кажется. Вместе с тем они отходят от традиционного, исконно греческого образа жизни. Георгос Хулиарас[1] пишет:

> ...[Как и в Западной Европе,] в Греции особенности одежды, кухни, городской среды, обстановки, повседневной жизни — вообще все уникальные признаки нашей культуры — стали стираться. <...> Совершенно очевидно, что в условиях глобализации культура теряет свою индивидуальность и сливается с другими из-за самих потребителей, которые хотят повысить уровень повседневной жизни. <...> Греки, испанцы, вообще все южноевропейцы — вся периферия в прямом смысле слова — и есть обыкновенно самые ревностные "западники", полагающие, что если они примут европейский образ жизни, то тем самым поднимутся в глазах других народов[2].

Для греков Европа — не противоположность родине, а ее продолжение, второй дом; ее культура им хорошо знакома, они наследники древних эллинов, заложивших основы этой цивилизации, и потому сами европейцы. Греки хотят быть с иностранцами на равных и когда сами едут за рубеж, и когда принимают в своей стране иммигрантов с Балкан и из бывшего СССР. Современный литературный критик Димосфенис Куртовик[3] замечает, что греческие писатели, судя по их произведениям, ощущают себя в равной степени греками, европейцами и гражданами мира, не находя в этой тройственности ни малейшего противоречия. И это отнюдь не идеология, а обобщение их собственного опыта. Они не "едут в Европу", как предыдущие поколения, потому что в их глазах Греция — не противоположность Европе; так же и создать героя-космополита для них вовсе не значит предать национальные идеалы. Для писателя путешествия персонажей — это не пустое обезьянничанье, не повод поразить читателя рассказом о заграничной жизни и не уступка зарубежным вкусам; напротив, судя по впечатлениям героев, попавших в чужую страну, они воспринимают "других" не как обычные туристы, а много глубже.

Однако встает вопрос: какую же культуру греки перенимают и осваивают? Европейскую — то есть воззрения, мысли и образ жизни, присущие в наши дни крупнейшим европейским странам, — или глобальную, в первую очередь американскую, которая, в свою очередь, понемногу стирает уникальные черты Европы?

На этот вопрос ответить нелегко, но затронутая тема и не располагает к простым ответам. Впрочем, есть мнение, что все отклонения от традиционных европейских ценностей, спровоцированные глобализацией, в конечном итоге коренятся в самой Европе. Да, в мире возникли новые финансовые и политические центры, в первую очередь Америка; да, с развитием глобализации Европа будто бы отошла на второй план; но все это не умаляет значения Старого Света, ведь сама идеология капитализма зародилась именно здесь. Поэтому западные ценности, западные политические и социальные модели до сих пор задают тон в мировой экономике, хотя и Европа, и даже Америка постепенно теряют влияние.

Еще одна серьезная проблема — пропасть между европейской "высокой" и американской "массовой" культурами. К тому же последняя шаг за шагом вытесняет первую; причина этого кроется, во-первых, в превосходстве Америки над Европой: экономическом, политическом, во-

1. Георгос Хулиарас — современный поэт, эссеист.
2. Г. Хулиарас. Греческая культура в новой Европе // Греция, новая Европа и перемены миропорядка. Под ред. Г. Псомиадеса и С. Томадакиса. (*Прим. авторов.*)
3. Димосфенис Куртовик (р. 1948) — писатель и критик.

енном, а во-вторых, в том, что Новый Свет имеет больше рынков сбыта, чем Старый. Однако грекам, а возможно, и другим европейцам, нелегко отделить американское начало от европейского. Для многих греков все, что не принадлежит их собственной традиции, автоматически становится "западным", а "Запад" включает в себя и Америку. В этом смысле Греция вынуждена впитывать "западную" культуру, но при этом не может уловить в ней ни новейшие отклонения от традиционно-европейского, ни привнесенные глобализацией частицы иных культур.

Глобализация и культура

Не утихают дискуссии о причинах, сущности и результатах глобализации. Не вдаваясь в подробности, обратим внимание на ее повседневные проявления: во всем мире люди (по крайней мере в пределах соответствующих слоев общества) потребляют одни и те же продукты, получают информацию из одних и тех же источников, имеют схожие представления о счастье и горе, страдают от одних и тех же болезней, едят одинаковую пищу и выбирают похожие развлечения.

Глобализацию вызвали не "имперские" амбиции какой-либо одной страны, скажем, Америки, хотя источник глобализационной волны лежит именно там. Современное государство, детище эпохи модерна и следствие идеи национального самоопределения, стало изживать себя еще в 1945 году. В период "холодной войны" оно ослабло еще больше; Европа оказалась между двух полюсов — не столько идеологически, сколько территориально. Но смертельный удар старому государству нанесли транснациональные корпорации; в эру постмодерна они и создали феномен глобализации. На смену компаниям, производившим и распределявшим продукцию внутри одной страны, пришли корпорации, капитал которых не ограничен государственными границами. Они сосредоточили в своих руках значительную власть и капитал и стали важнейшими игроками на международной арене.

В связи с этим изменились и общество, и культура. Теперь работника в любой момент могут отправить в чужую страну, где ему придется как-то обжиться. Поэтому и сами эти работники, и общества, в которые их вбрасывают, должны следовать некоей стандартизованной модели поведения; образ жизни должен стать общим для всех. Эта новая модель человеческих отношений — по сути, комбинация разнородных элементов, частиц многих традиций; однако все эти элементы, попав в круговорот коммерции и превратившись в модные товары на глобальном рынке, уже в какой-то степени истерлись. Кроме того, в создании общей стандартной культуры все возрастающую роль играют развлечения: международные корпорации производят культурную продукцию (фильмы и телепрограммы, книги и журналы, музыку и пьесы), которая не только развлекает зрителей и читателей по всему миру, но и стирает немногие оставшиеся различия между этими зрителями.

Обратный эффект унификации тоже налицо: все заметнее становится движение за возврат к истокам. Хорошо известно, что в историческую эпоху модерна сильные национальные государства подавляли отдельные этнические культуры, чтобы укрепить единство нации; для такого государства было жизненно важным, чтобы всех граждан без исключения объединяли общие культура и идеология. В эпоху постмодерна, наоборот, такое же значение приобретают особенности языка, культуры, религии, антропологии. По мере того как традиционные национальные государства уступают власть межнациональным объединениям, унификацию сменяет полифония. Современность поощряет все местное, аборигенное, внушая носителям местных культур ощущение свободы и равноправия с прочими нациями, —

но одновременно глобализация превращает аборигенность в товар и выставляет ее на всемирном рынке. Выгода от этого двояка: во-первых, экзотика приносит доход, а во-вторых, легче ужать ее до рамок, дозволенных стандартизацией.

Метаморфоза греческой литературы

Современная Греция, безусловно, страна полностью постмодернистская; глобализация затронула все без исключения сферы ее жизни. Пример тому — процитированная выше редакторская колонка "Яблока". Никос Музелис[1] пишет, что в Греции наблюдаются "очевидные признаки постмодерна <...> на уровне культуры: молодежь совершенно аполитична, ей присущ индивидуализм и привычен потребительский образ жизни, но в то же время она возвращается к православной вере (апофатическое богословие которой удивительно схоже с постмодернистской мыслью)". Первые две тенденции — аполитичность и индивидуализм — присущи и литературе Греции в последние годы, причем в этом она не только следует за жизнью, но и сама задает ориентиры.

Димитрис Тзиовас[2] утверждает: Греция становится индивидуалистическим обществом, где благосостояние и счастье одного становятся важнее интересов всех. Этот поворот в сознании произошел в Европе в эпоху Возрождения, а в Греции осуществляется на наших глазах. Тзиовас считает, что причина этого не только в ослаблении национального государства; кроме того, теряют вес политики левого толка, которые идеализировали коллектив и внушали людям "чувство ответственности перед обществом — главнейший принцип стабильного сосуществования и идеологического консенсуса".

В истории современной греческой литературы поколения политизированных и аполитичных писателей чередовались: 40-е и 50-е были временем идеологизированной литературы (в соответствии с периодизацией греческого литературоведа Элисавет Котзиа, это произведения "первого послевоенного поколения": Стратиса Циркаса, Димитриса Хатзиса, Андреаса Франгиаса и др.)[1]; в 60-е "второе послевоенное поколение" (например, Георгос Иоанну, Танасис Вальтинос, Христофорос Милионис)[2] отказалось от идеологии; а под властью "полковников" литература порой предпочитала молчать — ведь в знак несогласия с режимом многие просто перестали писать. Наконец, в книгах, созданных уже после падения диктатуры, политика воспринимается через призму личного опыта, а события в жизни целой страны подаются с субъективной точки зрения. Лучший пример нового отношения к политике — программный роман Ариса Александру[3] "Коробка" (1975), в котором автор подвергает сомнению все возможные идеологии. Этим мировоззрением проникнуто и творчество "первого поколения после диктатуры": Димитриса Нолласа, Георгоса Ятроманолакиса, Маро Дуки[4].

Писатели последней четверти XX века обращаются к разобщенной читательской аудитории. Адресаты произведения индивидуализирова-

1. Никос Музелис — социолог, профессор Лондонской школы экономики.
2. Димитрис Тзиовас — филолог-неоэллинист.

1. Элисавет Котзиа — современный литературовед и публицист; Стратис Циркас (1911–1980) — писатель-прозаик; Димитрис Хатзис (1913–1981) — писатель прозаик, коммунист; Андреас Франгиас (р. 1921) — писатель-прозаик, коммунист.
2. Георгос Иоанну и Танасис Вальтинос — см. раздел "Авторы номера"; Христофорос Милионис (р. 1932) — писатель, мастер малой формы, эссеист.
3. Арис Александру (1922–1978) — греческий поэт-модернист, переводчик; "Коробка" — его единственный роман.
4. Димитрис Ноллас — см. раздел "Авторы номера"; Георгос Ятроманолакис — писатель, филолог, исследователь античной и новогреческой поэзии; Маро Дука (р. 1970) — популярная писательница.

ны, у них различные культурные и религиозные установки; на смену консенсусу пришло противоборство мнений. В этих условиях греческие романисты стали описывать исключительно частную жизнь, либо убрав из круга тем политику, либо отводя ей крайне незавидную роль. Поэтому обычно сюжет современных произведений греческой литературы строится вокруг какой-либо частной проблемы; события касаются отдельного человека или одной семьи, а не большого коллектива. Для нынешних писателей счастье и благополучие личности несоизмеримо важнее коллективных идеалов. Даже описывая свои родные места, "малую родину", автор теперь не ставит себе цель показать общность: он лишь рисует то, что знакомо ему и читателям. К тому же авторы дозируют местный колорит поразному: у молодых его меньше, поскольку в их творчестве заметнее влияние космополитической культуры (будь то музыка, кухня, привычки и т. п.). Примером тому могут служить многие произведения 80-х и 90-х: книги Димитриса Нолласа, Нени Эфтимиади и Алексиса Стаматиса, а также известный роман Иоанны Каристиани[1] "Маленькая Англия" (1997). Большинство этих романов написано в традиционной манере.

Литература Греции не в первый раз обращается к частной жизни обычных людей; похожая тенденция наблюдается и в творчестве писателей межвоенных поколений. Однако, как тонко заметила Элисавет Котзиа, разница между этими поколениями и нашими современниками состоит в том, что те руководствовались некоей моральной ответственностью перед обществом, Богом или перед последними вопросами добра и зла, а писатели наших дней не осознают, что у них есть "цель, долг и предназначение".

1. Нени Эфтимиади (р. 1946) – писатель, критик, переводчик; Алексис Стаматис (р. 1960) – поэт, писатель, эссеист; Иоанна Каристиани – писатель и киносценарист.

Впрочем, дело не в одном только чувстве долга; разительно изменились писательская техника и манера обращаться с языком. Как мы уже знаем, межвоенные поколения познакомили Грецию с модернизмом, причем временами они заходили в своих формальных экспериментах так далеко, что произведения их были просто непонятны широкому читателю. Однако хотя схожие методы использовали и авторы 60-х – например, Стратис Циркас и Мельпо Аксиоти[1], – основной тон в литературном процессе послевоенных лет задавал реализм, вытеснивший модернистское письмо. Конечно, он никуда не исчез, но после 1974 года литература становится полистилевой и соединяет в себе уже известные черты модернизма и новейшие приемы постмодернизма; для нее теперь характерны и синтез жанров, и пародия, и стилизация. Кроме того, теперь в ней все чаще встречается повествование от первого лица (что, в свою очередь, связано с субъективной манерой повествования и автобиографичными сюжетами), расстояние между автором и персонажем становится все меньше, все более дробится линейное время повествования, а действие все чаще происходит в несуществующей стране. Язык также претерпел изменения: на смену прихотливой прозе модернистов пришли сухой деловой репортаж и обыденная устная речь, в которой перемешаны разговорные словечки, социолекты и диалекты. Наконец, современные авторы нередко вставляют в греческий текст английские слова и выражения (записанные иногда латиницей, иногда греческими буквами).

Изменился и антураж, особенно в 90-е: теперь место действия уже не Греция, а некая космополитичная среда. В этом литература наших дней и 20–30-х годов будто бы близки друг другу, но сходство это поверхностное: до Второй мировой

1. Мельпо Аксиоти (1905–1973) – поэт, прозаик, переводчик Горького, Чехова, Ионеско и др.

жизнь за рубежом описывали — причем ради одной только экзотики — лишь писатели из высшего общества, которым поездки за границу были по карману. Напротив, в наши дни путешествия в пределах глобализованного мира — как настоящие поездки в дальние страны, так и "виртуальные" странствия по просторам Интернета — доступны и привычны уже почти всем грекам, независимо от положения в обществе. Многочисленные романы на эту тему убеждают нас, что "эллинство" не тяготит греков. Они ездят за границу, изучают мировую прессу, а в странах Европейского союза (а может быть, и не только) то и дело слышат максиму "Греция — часть Европы". Вследствие чего им — если судить по литературе — в равной мере свойственны и явная космополитичность, и собственно "греческость", которая, однако, не мешает понимать "других".

Взгляд современного греческого писателя направлен не только в стороны, за границы его родины, но и в глубину ее прошлого. Отсюда две разновидности романа. Первая в качестве общественно-политического фона, на котором действуют герои и развивается сюжет, использует тот или иной исторический период (не всегда отмеченный некими судьбоносными событиями). Вторая представляет собой художественную биографию более или менее известного исторического лица. Характерно, что современные авторы смотрят на прошлое с точки зрения современной идеологии. В то время как собственно историю все чаще приравнивают к историографии, нынешние авторы, пишущие о старине, как кажется, прекрасно осознают, что их творчество по своей природе субъективно. В большинстве романов этого направления, несмотря на попытки авторов изобразить прошлое максимально достоверно, снимаются традиционные идеологические и культурные дихотомии: мусульманство и христианство, левые и правые, греки и варвары, мужское и женское. Таким образом, в литературе нового поколения происходит переоценка недавнего прошлого Греции; если исходить из такой логики, уже сама эта переоценка свидетельствует о том, что историю творит точка зрения.

Наконец, сто́ит отдельно упомянуть беспрецедентный рост числа женщин-писателей в последние годы. С одной стороны, с 1980 года в Греции начался настоящий издательский бум, и количество публикуемой художественной литературы непрерывно увеличивается, так что женщинам стало легче напечататься; с другой стороны, они составляют в наши дни большинство и среди читателей, так как сейчас им стало легче получить образование и стать финансово независимыми, и даже свободного времени у них больше, чем у мужчин. Вследствие чего писательницы осознают, что их аудитория скорее женская, чем мужская, и потому выбирают определенные темы: например, женской аудитории наверняка интереснее читать о семейной жизни или о любви. Однако вне зависимости от авторского замысла "женское письмо" во всем мире обыкновенно более субъективно и личностно, чем мужское, и, согласно уже упоминавшемуся Д. Тзиовасу, в последнее время субъективная манера письма все больше распространяется в Греции как раз благодаря женщинам-писательницам.

Ирина Ковалева

Гаспаров в зеркале Сефериса / Сеферис в зеркале Гаспарова: "Три тайные поэмы"[1]

Белый лист бумаги, суровое зеркало
отражает тебя таким, как был.

Г. Сеферис. Три тайные поэмы[2]

Отношения с новогреческой поэзией составляют особую страницу в творческой жизни Михаила Леоновича Гаспарова. Михаил Леонович часто повторял — и письменно, и устно, — что он "очень плохо знает новогреческий язык". В чем был нисколько не виноват: в те годы, когда Гаспаров учился на классическом отделении МГУ (и, к сожалению, долго после), среди филологов-классиков преобладало презрительное отношение ко всему новогреческому; считалось, что новогреческий язык — это "выродившийся" древнегреческий, и учить его нечего (соответственным образом язык и преподавали, когда преподавали, — наладилось дело только к 1980-м годам), никакой великой литературы там нет, а уж науки и подавно. Многие так думают до сих пор. Но не Гаспаров. Зорким своим оком он "выхватил" и грекофранцуза Жана Мореаса, и Кавафиса, и Сефериса... Сокращенные переводы Кавафиса[3] вызывали поначалу недоумение: что, казалось бы, сокращать у поэта, чью мировую славу составляют "сухость", "прозаичность", "отсутствие украшений" — и которого Михаил Леонович тем не менее умудрялся находить "докучно многословным"?[1] Facit indignatio versum[2] — в моем случае, правда, было не "негодование", а, как я сказала, недоумение, переросшее в размышление, и не "versum", а целая серия статей. Я задумалась над тем, *что же* сокращает Гаспаров, что ему кажется у Кавафиса *лишним*, а самому Кавафису, повторюсь, прославленному экономностью своих выразительных средств[3], избыточным не казалось. Я стала думать над тем, что же такое поэзия Кавафиса, — и написала четыре статьи. Теперь все они опубликованы[4]. Встречаясь в последние годы с Михаилом Леоновичем в больнич-

© Ирина Ковалева, наследники. Перевод, 2008

1. Написано вскоре после смерти М. Л. Гаспарова.
2. Перевод М. Л. Гаспарова
3. Опубликованы сперва в журнале "Комментарии", 1998, № 15, с. 14–22, а затем вошли в книгу: М. Гаспаров. Экспериментальные переводы. — СПб.: ГИПЕРИОН, 2003, с. 251–258.

1. М. Гаспаров. Экспериментальные переводы, с. 251.
2. Негодование порождает стих (*лат.*).
3. За это его особенно хвалит Бродский в своем знаменитом эссе "На стороне Кавафиса".
4. Константинос Кавафис. В ожидании варваров. Вступительная статья, составление, перевод Ирины Ковалевой. "ИЛ", 2004, № 8, с. 216–230.
И. И. Ковалева. Черное дерево и кораллы, или В мастерской Кавафиса // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 2. — М.: РГГУ, 2004, с. 229–238.
Ирина Ковалева. Что значит "вести себя не по-царски": к переводческой интерпретации стихотворения К. Кавафиса "Царь Деметрий" / Opus № 1–2. Русский мемуар. Соавторство // Сб. ст. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та, 2005. с. 237–241.
Ирина Ковалева. О поэтике каталога у Кавафиса // Journal of Classical Studies Matica Srpska, № 7 (2005), p. 103–119.

ном буфете, я часто ему говорила: "Вы моя Муза. По следам Ваших кавафисовских переводов я уже написала то-то и то-то". Он улыбался. Работа эта его интересовала – он просил передать ему эти публикации. Я еще говорила ему, что, отталкиваясь от его сокращенных переводов, напишу трактат о том, что́ есть поэзия. Может быть, однажды выполню и этот обет. Пока что из всех моих размышлений выросла книга, которую я посвятила памяти Михаила Леоновича[1].

Среди переводческих пристрастий М. Л. Гаспарова Сеферис занимает особое место. На долю этого поэта достались не экспериментальные, а "настоящие" переводы. Одной из последних работ Гаспарова был перевод поэмы "Мифосказ", напечатанный в подготовленном мною большом Литературном гиде, посвященном Сеферису, в журнале "Иностранная литература"[2]. Во время одного из обсуждений этого перевода Михаил Леонович сказал мне фразу, поразительную по откровенности для этого замкнутого человека: "Мои шероховатости мне дороги..." А ровно за десять лет до того в той же "Иностранке" был опубликован перевод последнего и одного из самых трудных для понимания больших стихотворных текстов Сефериса – "Трех тайных поэм"[3]. Мало что по точности наблюдения над местом новогреческой поэзии в поэзии европейской могу я поставить рядом с вступительной заметкой Михаила Леоновича к этой публикации. Затем этот перевод был включен в упомянутый выше том "Экспериментальных переводов", и там Гаспаров предпослал ему слова, опять-таки пронзительные по откровенности для человека, полагавшего, как это хорошо известно, что филолог обязан любить и изучать всякую поэзию, плохую не меньше, чем хорошую, не навязывая никому свои вкусовые предпочтения. О Сеферисе же он пишет вот что: "Я включил его [перевод. – *И. К.*] в эту книгу, чтобы дать читателю отчет в собственном вкусе: мне нравятся именно такие стихи, сухие, пунктирные, в которых больше нечего сокращать"[1].

И здесь возникает загадка: если Кавафис, как мы помним, виделся Гаспарову "многословным", то почему Сеферис воспринимался как "сухой" и "пунктирный", если для читающего греческий текст это не так очевидно? Часть ответа скрывается, как мне кажется, в том кратком резюмирующем комментарии, который Михаил Леонович также предпослал переводу: "Первая поэма – о луче прозрения в сущее и вечное, путь сквозь тщетный разум, муть, застылость и окаменелость. Вторая – оглядка на классический миф: убийство Агамемнона в кровавой бане, Клитемнестра с эринниями на сцене, но она сильнее их, потому что нашла в себе силы взглянуть в ту вечную пустоту, бесформенную, как море, которую нельзя передать. Третья – искажение и угасание: огонь становится сушью, прозренье – мороком, а в словах поэта 'твой голос, твой, а не тот, который ты любишь', не голос пустоты; постижение и свершение можно оставить людям, оно им не поможет, а для себя остается только всесожжение в пустоту: она обозначена, за неимением лучшего, вечным символом розы". Здесь очень ясно видны некоторые переводческие принципы Гаспарова: слова и смыслы Сефериса взяты так, как если бы они были в словаре, в некотором абсолютном значении. В журнальной публикации вслед за приведенным выше комментарием Михаил Леонович пишет: "Если дать заглавие каждому отрывку, то расположение этих тем будет выглядеть так. Первая поэма: 1) зима, 2) снег, 3) разум, 4) *свет*, 5) река, 6) ветер, 7) *огонь*. Вторая поэма: 1) солнце, 2) сцена, 3) *действие*, 4) море, 5) *событие*, 6) слово, 7) вечность. Третья поэма: 1) жернова, 2) роза, 3) морок, 4) вихрь, 5) ворожба, 6) нагота,

1. И. И. Ковалева. В мастерской Кавафиса и другие очерки поэтики греческого модернизма. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2006.
2. Сеферис, или Путь Одиссея. Литературный гид // "ИЛ", 2005, № 6, с. 153–235. "Мифосказ" – с. 173–185.
3. "ИЛ", 1996, № 7.

1. М. Гаспаров. Экспериментальные переводы, с. 53.

7) сад, 8) стихи, 9) люди, 10) губы, 11) море, 12) зной, 13) полдень, 14) *всесожжение*[1]".

Правда, похоже на словарь? Сеферис увиден (и соответственно переведен), как если бы он был, к примеру, Эсхилом. Вне биографии — ибо что мы на самом деле знаем о биографии Эсхила? Вне горизонтальных связей. Профессиональный "античник", Гаспаров опознает, конечно, эсхиловский миф у Сефериса, как опознал бы гомеровскую цитату у Эсхила. И это важно: у Сефериса, более чем у кого бы то ни было из новогреческих поэтов, античный миф играет поэтикообразующую роль[2]. Но что мы знаем об отношениях Эсхила с Феспидом и Фринихом, от которых практически не осталось текстов? И что мы знаем о самом Эсхиле, если из всех его трагедий сохранилось семь, и то по поводу "Прометея" спорят, Эсхилов ли? Что мы знаем о взаимосвязях *внутри* эсхиловского творчества? Стоит задуматься, до какой степени наш словесный образ античности, созданный *сохранившимися текстами*, не равен ей по существу...

Но Сеферис все-таки не Эсхил, и тут нужно кое-что пояснить, чтобы отбор, произведенный Гаспаровым, выступил рельефнее.

Над "Тремя поэмами" Сеферис начал работать в конце 1961 года, закончил в 1966-м, тогда же они были напечатаны. За это время многое изменилось в жизни поэта. Прежде всего в 1962-м. Сеферис ушел в отставку после без малого сорокалетней дипломатической службы, покинул Лондон, где в последние годы был чрезвычайным и полномочным послом, и переехал в Афины, где у шестидесятидвухлетнего поэта *впервые* появился собственный, ему принадлежавший дом; это его "маленький садик в десять шагов" с тополем и "двумя красными гвоздиками" описывается в седьмом стихотворении третьей поэмы. Так что "сад" этот не абстрактный, и дом не абстрактный; насколько вообще для Сефериса была важна идея *дома*, видно из стихотворения "Piazza San Nicolò" (1937) и из связанной с этим стихотворением поэмы "Кихли" (1946)[1], а также из написанного для пояснения этой действительно трудной поэмы эссе "Сценарий для 'Кихли'"[2]. В "Сценарии...", между прочим, *собственный дом* Одиссея поэт называет *светом*[3] — это нужно иметь в виду при понимании метафизики света в "Трех тайных поэмах". Но дом, пожалуй, единственная "положительная эмоция" времени начальной работы над "Поэмами" и еще осознание того, что впервые за сорок лет время поэта целиком принадлежит ему, что он наконец может целиком посвятить себя тому, чему хочет, — отношения с официальной службой были для Сефериса всегда нелегки, а порой мучительны. Но вообще-то это ощущения человека, огромный кусок жизни которого завершился, и нельзя сказать, чтобы триумфально — Сеферис был очень недоволен тем, как в 1960 году была решена "проблема Кипра", в чем он принимал живейшее участие как дипломат: собственно, тогда он окончательно и "созрел" для того, чтобы уйти в отставку. Поэма и начинается с констатации *конца:*

> Листьями ржавых жестянок
> В нищем мозге,
> взвидевшем конец...[4]

Для понимания того, что это за "конец", и заодно для понимания смысла названия поэмы важно, что ровно в те же годы Сеферис работал над переводом на новогреческий "Откровения Иоанна Богослова" (этот перевод увидел свет одновременно с "Тремя поэмами" в 1966 году). Так что если у Иоанна — "откровение" о конце этого мира и начале иного, то у Се-

1. Курсив М. Гаспарова.
2. Можно указать на Кавафиса, но у него *текст* значительнее, чем миф, и важнее история, а не литература.

1. См.: "ИЛ", 2005, № 6. Перевод В. Аристова.
2. В сокращенном виде см. там же, с. 200—211.
3. Курсив Г. Сефериса.
4. Перевод М. Гаспарова. В оригинале время глагола определенно относится к свершившемуся факту: "...для бедного мозга, увидевшего конец".

фериса – поэмы "сокровенные"[1]. Но если в "Откровении" речь идет об *окончательном* истреблении мира, то Сеферис рисует картину, близкую идеям античного стоицизма о периодическом истреблении мира небесным огнем – с последующим возрождением. Поэтому "всесожжение в пустоту", о котором говорит Михаил Леонович, не окончательное; картина, нарисованная Сеферисом, пессимистична (герои его поэмы вряд ли дождутся "нового неба и новой земли"), но она *не беспросветна*. Недаром в финальном, 14-м стихотворении третьей "Поэмы" зовут детей "собрать пепел и *посеять*" его – из этого пепла, как из семени, однажды вырастет новый мир (правда, и он в свой черед сгорит и вновь возродится).

Кроме перевода "Апокалипсиса", параллельно с поэмой Сеферис работал (в 1965-м) над эссе, посвященным празднованию 700-летия Данте, и в связи с этим перечитывал "Божественную комедию". И Пасифая из 3-го стихотворения третьей поэмы (М. Л.: "прозренье становится мороком (девушка в коровьей шкуре – это миф о Пасифае)") пришла не только и не столько из античной мифологии, сколько из XXVI песни "Чистилища"[2], и "столепестковая роза" с солнцем в сердцевине – образ, которым завершается поэма, – это не просто "вечный символ розы", но и прозрачнейшая отсылка к образу Райской Розы у Данте.

И еще: параллельно с поэмой Сеферис был занят переводом пьесы Элиота "Убийство в соборе" (этот перевод был опубликован в 1963 году). Так что *убийство на сцене*, составляющее сюжет второй из "Трех поэм", – не только отсылка к Эсхилу (убийство Агамемнона Клитемнестрой и убийство Клитемнестры Орестом), отмеченная Гаспаровым, но и отсылка к Элиоту. Р. Битон указывает, что и для Элиота, и для Сефериса чрезвычайно важны параллели между убийством и ритуальным жертвоприношением, и еще напоминает, что в самом начале работы над поэмой, в сентябре 1961-го, Сеферис смотрел в Афинах постанов у любимой им критской трагедии "Эрофили", принадлежащей перу драматурга XVI века Г. Хортациса: эта трагедия изобилует "убийствами на сцене"[1]. Интересно, что в журнальной публикации своего перевода "Трех поэм" Михаил Леонович упоминает Элиота: "Третья поэма – искажение и угасание: свет и огонь становятся палящим зноем греческого лета (элиотовское 'и нет воды...' буднично знакомо каждому греку)..."; но это не "Убийство в соборе", а хрестоматийная "Бесплодная земля", которую Сеферис, кстати, тоже перевел на греческий в молодые годы.

Конечно, здесь невозможно рассмотреть всю творческую историю "Трех поэм" и раскрыть все содержащиеся в них аллюзии (пришлось бы добавить Марка Аврелия и Одена, Сенеку и Гераклита...). Но нельзя обойти молчанием еще один аспект: соотношение этой поэмы с собственным творчеством Сефериса. Поэт не мог (в силу возраста) не рассматривать эту вещь как своего рода подведение итогов; тем паче – на время написания поэмы выпало такое испытание, как присуждение Нобелевской премии (1963). Ехидный Элиот говаривал, что "Нобелевка" – билет на собственные похороны: никто из получивших *после* нее не создал ничего достойного. Сеферис об этом высказывании знал, и ему было важно доказать – самому себе прежде всего, – что к нему это не относится, что он может писать: "Три поэмы" и были таким доказательством. Неудивительно, что здесь стягиваются в пучок аллюзии на важнейшие смысловые и образные "узлы", "прошиваю-

1. Именно так – "Три сокровенные поэмы" – перевела название Л. Якушева. О связи "Трех поэм" с работой над переводом "Апокалипсиса" и о смысле названия см.: R. Beaton. George Seferis. Waiting for the Angel. A Biografy. New Haven and London: Yale University Press, 2003.

2. На это указывает издатель и комментатор Сефериса, замечательный греческий филолог Г. П. Саввидис. Мне, в свою очередь, приходилось писать о том, что в эссе о Данте Сеферис полемизирует с переводческими принципами Кавафиса; см.: И. Ковалева. Сеферис – переводчик Данте: соперник Кавафиса? // В поисках "западного" на Балканах. Балканские чтения-8: Предварительные материалы. – М., 2005.

1. R. Beaton. Op. cit., p. 377–378.

щие" всю поэзию Сефериса. Приведу только несколько примеров. Второе стихотворение первой поэмы:

Белые водоросли в огне —
Грайи всплывшие без век...

В журнальной публикации Гаспаров дает такой комментарий к этим строкам: "Грайи (здесь) — это горгоны с окаменяющим взглядом". И здесь мне придется не согласиться с ним. Дело в том, что в греческом оригинале грайи снабжены эпитетом, хорошо знакомым нам как эпитет Афродиты Анадиомены — "Встающей" из волн морских. У Сефериса это отсылка не столько к древнему мифу, сколько к его собственной поэме "Кихли", в финале которой символически описывается рождение Афродиты. К новорожденной богине спешат другие морские божества:

и все дочери моря, нереиды,
грайи
спешат к сиянию
восстающей богини...[1]

Комментируя это место, Сеферис специально указал, что имел здесь в виду граий из "Теогонии" Гесиода — морских дев, рожденных седыми, но прекрасных, одну в шафранной одежде, другую "в изящной", а не безобразных старух с одним глазом и одним зубом на всех, как их описывают в позднейшей мифологической традиции. "Восстающая" богиня "Кихли" — "анадиомена", как и грайи первой из "Трех поэм". Более того, "сияние" богини — lampyrismata, "взблески" — это те же самые lampyrismata, которые в 1-м стихотворении Первой поэмы отмечают "конец" мира, став "немногочисленными": начало "Трех поэм" возвращает туда, где закончилась предыдущая большая вещь Сефериса. Но если финал "Кихли" — это ликующий апофеоз, рождение Афродиты, то начало "Трех поэм" — видение конца

для бедного мозга
узревшего конец:
редеющие отблески[2].

1. Перевод В. Аристова.
2. Перевод И. К.

Еще один пример: в 4-м стихотворении второй поэмы с лирическим субъектом заговаривает "Морской Старец". Михаил Леонович комментирует: "...бесформенный 'морской старик' мифов — Протей, Нерей, Форкий". Это, конечно, верно. Но для Сефериса Протей и Морской Старец — это прежде всего псевдонимы Кавафиса, ускользающего "Александрийца", с которым — с влиянием которого — Сеферис боролся всю вторую половину своей жизни, мужая и возрастая в этой борьбе[1].

Подобным образом можно было бы прокомментировать почти каждый стих, почти каждое слово "Трех поэм", показав, что и самые мифологические образы — Геката, Медея, Орест, Пасифая (о которой уже шла речь), "спутники" Одиссея из 3-го стихотворения первой поэмы и т. д. и т. п. — важны здесь не только и не столько как образы античной мифологии, сколько в качестве персонажей личной мифологии поэта — и персонажей его произведений. "Три тайные поэмы" — напряженный диалог, который Сеферис ведет со всем написанным им прежде, чтобы сделать вывод:

Белый лист бумаги
суровое зеркало
возвращает лишь то, чем ты был.

Белый лист бумаги
говорит твоим голосом,
твоим собственным голосом
не тем каким бы тебе хотелось;
твоя музыка это жизнь
которую ты растратил.
Может быть, ты отыграешь ее,
если захочешь,
если прикипишь
к этой равнодушной вещи
отбрасывающей тебя туда
откуда ты вышел в путь.

<...>

но все, что ты испытал —
бесполезная груда
если ты не доверишься
этой вот пустоте[2].

1. См. об этом блестящую статью П. Макриджа "Стратис Мореход встречает Морского Старца: Сеферис в Египте" // МОСКОВИЯ, № 2 (в печати).
2. Перевод И. К.

"Эта равнодушная вещь", "эта вот пустота" — "суровое зеркало" листа бумаги, ожидающего, что́ напишет на нем поэт. Здесь я опять не соглашусь с Михаилом Леоновичем: он переводит "коли сладишь с Безразличным", но тут речь не о философской категории; тут Сеферис неожиданно совпадает с Бродским: "И новый Дант склоняется к листу / и на *пустое место*[1] ставит слово".

Эти (и не только эти) поэмы Сефериса очень хочется издать, как когда-то издавали классических авторов (у меня есть такой Гораций): несколько строк текста — и широкое поле листа, заполненное разнообразными комментариями. Гаспарову, однако, они видятся, как мы помним, "сухими" и "пунктирными". Его не столько интересует "стихов виноградное мясо" (чтобы помянуть еще одного любимого им поэта), сколько "скелет", конструкция, схема. "Его Сеферис" относится к Сеферису приблизительно так, как античная мифография (Аполлодор, например) — к трагедии или эпосу, откуда она черпала свои сюжеты. Но ведь мифографы — один из любимых античных "топосов" Гаспарова! Если перевести с греческого на русский "мифографию", получится "баснеписание": еще один любимый им раздел античности! То же свойство проявилось и в переводах из новогреческой поэзии: мне пришлось уже однажды писать, что перевод кавафисовского "Царя Деметрия", сделанный Гаспаровым, похож на "басню с моралью"[2]. Надо только помнить, что такое античная басня для Михаила Леоновича, много сил положившего и на ее изучение, и на перевод лучших ее образцов[3]: это своего рода притча вне контекста. Вот как он описывает черты Эзоповых басен: "Как схематичны действия и персонажи басен, так схематичен и рассказ о них... Диалога почти нет... Эмоций почти нет... Стиль басен эзоповского сборника сух, как либретто. Это и было либретто: канва, которую ученики риторических школ должны были расшивать узорами своего мастерства"[1]. "Расшитые узорами" тексты Михаил Леонович, по всей видимости, не любил. Поэтому стихи Кавафиса сокращал до того самого "либретто". А "Три тайные поэмы" Сефериса показались ему таким готовым "либретто", и сокращать их он не стал, просто перевел — и во введении к переводу честно сказал, что именно это ему в них и нравится. Он прочел — и перевел — Сефериса как античник, почти как античный комментатор, составляющий ypothesis (пересказ содержания) для трагедии[2]. Сеферис-модернист его не очень интересовал. Впрочем, я совсем не хочу сказать, что Гаспаров видел в Сеферисе только *продолжателя античных поэтов*, напротив: в уже упоминавшемся не раз предисловии к журнальной публикации "Трех поэм" Сеферис с похвалой характеризуется как поэт, "который хотел смотреть не в прошлое (и какое прошлое!), а в вечное, даже если в нем — пустота"[3]. Можно по-разному трактовать то, что́ эти слова говорят о Сеферисе. Но о его переводчике они говорят *апокалиптически* много.

1. Курсив И. К.
2. Ирина Ковалева. Что значит "вести себя не по-царски": к переводческой интерпретации стихотворения К. Кавафиса "Царь Деметрий" / Opus № 1–2. Русский мемуар. Соавторство // Сб. ст. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та, 2005, с. 241.
3. См.: Античная басня / Сост., предисл., перев. и комментарии М. Л. Гаспарова. — М.: Худож. лит., 1991.

1. Там же, с. 11.
2. См.: Д. О. Торшилов. Аргументы трагедий и трагедумены // Античная мифография: мифы и единство действия. — СПб.: Алетейя, 1999, с. 131–148.
3. Здесь еще раз уместно напомнить, что в способности античной басни "переводить с языка на язык" "свои немногочисленные, но стойкие идеи" Гаспаров видел причину живучести этого жанра: "сосредоточенная на содержании" и "равнодушная к форме", она получила "возможность пережить крушение античной культуры, пережить Средние века и дойти до современного читателя" ("Античная басня", с. 11).

Греческая литература на страницах "ИЛ"

1958

Менелаос Лудемис — *Рассказы.* Перевод Т. Чернышевой и Ю. Леонова [№ 7]

1959

Костас Варналис — *Сколь беспредельна ты, жизнь...* Стихи. Перевод Александра Голембы [№ 6]

Яннис Рицос, Никифорос Вреттакос — *Стихи.* Перевод Александра Янова [№ 11]

1961

Элли Иоанниду-Белоянис — *Стихи.* Перевод Юлии Друниной [№ 11]

1964

Мицос Александропулос — *К звездам.* Рассказ. Перевод С. Ильинской [№ 5]

1965

Из греческой поэзии. Яннис Рицос, Никифорос Вреттакос, Тасос Ливадитис, Рита Буми-Папа. Вступление и перевод С. Ильинской. Под редакцией Бориса Слуцкого [№ 3]

Элли Пападимитриу — *Еще до рассвета отчаливают рыбацкие лодки.* Стихи. Перевод С. Ильинской [№ 12]

1967

Константинос Кавафис Стихи. Перевод и вступление С. Ильинской [№ 8]

Мицос Александропулос — *Суд над убийцами Ламбракиса.* Документальный очерк. Перевод С. Ильинской [№ 9]

1968

Мицос Александропулос — *Греция: фашизм и судьбы прогрессивной культуры.* Перевод С. Ильинской [№ 6]

Яннис Рицос — *Стихи.* Перевод М. Матусовского [№ 7]

1969

Яннис Рицос — *Канун солнца.* Поэма. Перевод С. Ильинской [№ 5]

Г. Сеферис — *Лик судьбы.* Стихи. Перевод и вступление Л. Лихачевой [№ 9]

1970

Василис Василикос — *Стихи.* Перевод С. Ильинской [№ 7]

Никифорос Вреттакос — *Прощальное слово греческому солнцу.* Стихи. Перевод С. Ильинской [№ 8]

1971

Василис Василикос — *Растение.* Повесть. Перевод Л. Лихачевой. Послесловие В. Лакшина [№ 5]

Из книги "Восемнадцать текстов" (1970). Георгос Сеферис, Манолис Анагностакис, Такис Синопулос. Стихи. Перевод С. Ильинской, Юнны Мориц. Вступление С. С. Смирнова [№ 11]

1973

Яннис Рицос — *Из книги "Камни. Повторения. Решетка".* Стихи. Перевод Юнны Мориц [№ 3]

1975

Мицос Александропулос — *Яннис Рицос сегодня.* Перевод С. Ильинской [№ 10]

1978

Молодые греческие поэты. Лефтериос Пулиос, Яннис Кондос, Насос Вагенас, Яннис Масторакн. Стихи. Переводы С. Ильинской, Юнны Мориц. Вступление С. Ильинской [№ 1]

1979

Яннис Рицос — *Колокольня.* Поэма. Перевод Юнны Мориц [№ 5]

1982

Рассказы греческих писателей. Костас Валетас, Йоргос Иоанну, Элени Воиску, Сотирис Патадзис, Антонис Самаракис. Перевод Е. Колесова, Е. Кричевской, Т. Кокуриной, Виктора Соколюка. Послесловие Виктора Соколюка [№ 5]

1983

Константинос Кавафис — *Стихи.* Перевод Юнны Мориц, С. Ильинской, Евгения Солоновича. Вступление С. Ильинской [№ 12]

1985

Яннис Рицос — *Хозяйка виноградников.* Главы из поэмы. Перевод Виктора Лунина. Вступление Виктора Соколюка. Послесловие Александра Межирова [№ 5]

1986

Яннис Котсохерас — *Стихи.* Перевод Ларисы Васильевой. Вступление К. Чугунова [№ 4]

1987

Й. Сеферис — *Стихи.* Перевод Любови Якушевой. Вступление Виктора Соколюка [№ 3]

Мицос Александропулос — *Панихида на дороге.* Глава из романа "Малый органон для репатриантов". Вступление и перевод Н. Подземской [№ 5]

1988

Молодые поэты Греции. Яннис Патилис, Михалис Ганас, Георгос Маркопулос, Яннис Ифандис. Вступление и перевод С. Ильинской [№ 7]

1995

Константинос Кавафис — *Портрет в зеркалах.* Переводы Б. Дубина, Е. Солоновича, Л. Лосева. Составитель Б. Дубин [№ 12]

1996

Йоргос Сеферис — *Три тайные поэмы.* Перевод Е. И. Светличной и М. Л. Гаспарова. Вступление М. Гаспарова [№ 7]

1997

Никифорос Вреттакос, Никос Папас — *Стихи.* Перевод Юрия Кожевникова [№ 2]

2004

Константинос Кавафис — *В ожидании варваров.* Вглубь стихотворения. Переводы Софьи Ильинской, Игоря Жданова, Геннадия Шмакова (под редакцией Иосифа Бродского), Михаила Гаспарова, А. Величанского, Ирины Ковалевой. Вступительная статья Ирины Ковалевой [№ 8]

2005

Георгис Павлопулос — *Стихи.* Перевод и вступление Ирины Ковалевой [№ 1]

Литературный гид Сеферис, или Путь Одиссея. Переводы Ирины Ковалевой, М. Л. Гаспарова, Е. И. Светличной, В. Аристова. Составитель Ирина Ковалева [№ 6]

Костас Тахцис [1927–1988]. Один из самых ярких писателей послевоенного поколения.

В начале 1950-х гг. вышли его первые поэтические сборники. В 1962 г. опубликован роман *Третий брак*, побивший в свое время все рекорды продаж в Греции и переведенный на многие языки. Позднее выходили сборники рассказов и эссе. Пять сборников были опубликованы впервые посмертно.
Тахцис также известен как переводчик Аристофана на новогреческий.

Ирина Игоревна Ковалева [1961–2007]. Поэт, филолог, критик, переводчик с греческого и английского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Инолитл* [2004] и *Мастер* Союза *Мастера литературного перевода* [2007].

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002], *Юбилейный гимн* [2003], *Отпечаток* [2007], книги *Мои поэты: Избранные переводы с английского и греческого* [2006], монографии *В мастерской Кавафиса и другие очерки поэтики греческого модернизма* [2006]. Стихи переводились на английский и греческий.
Ею написаны комментарии к книгам *Ораторы Греции* [1985], *Римская сатира* [1989], *Застольные беседы* Плутарха [1990], *Диалоги. Недиалогические жанры* Лукиана [2005] и *Апология, или О магии. Метаморфозы, или Золотой осел* Апулея [2005], а также более 100 работ по классической филологии и неоэллинистике. В ее переводах выходили сборники стихов М. Сахтуриса, Г. Павлопулоса, Д. Яламаса, М. Пиериса, публиковались стихи Дж. Донна, Т. С. Элиота, Э. Паунда, Дж. Эшбери, К. Кавафиса, Г. Сефериса, О. Элитиса, К. Монтиса и др.
В *ИЛ* в ее переводе напечатаны стихи Ага Шахида Али [2003, № 1], К. Кавафиса [2004, № 8], Г. Павлопулоса [2005, № 1], Дж. Эшбери [2006, № 10]. Ею подготовлен Литературный гид *Сеферис, или путь Одиссея* [2005, № 6].

Мильтос Сахтурис [1919–2005]. Поэт. Дважды лауреат Государственной премии в области поэзии [сборник *Отметины*, 1962; сборник *Эктоплазмы*, 1987].

В молодости писал под псевдонимом Мильтос Хрисантис. Под этим именем в 1941 г. вышло его первое стихотворение *Музыка моих островов*. Автор 14 книг стихов и двух собраний стихотворений.
В 2003 г. стихотворения Мильтоса Сахтуриса вышли на русском языке в переводе И. И. Ковалевой [*Голова поэта*. М.: О.Г.И., 2003].

Манолис Анагностакис [1925–2005]. Поэт и литературный критик. Удостоен нескольких национальных премий.

В гражданской войне участвовал на стороне коммунистов, в 1948 г. был арестован за участие в студенческом движении Салоникского университета и несколько лет провел в тюрьме.
Первая поэтическая книга *Времена* увидела свет в 1945 г. В 1971 г. опубликованы *Стихи 1941–1971 гг.* В последние годы жизни поэта вышли ещё несколько поэтических сборников.

Кики Димула
Поэт. Трижды была удостоена Государственной премии в области поэзии.

Родилась и выросла в Афинах. Двадцать пять лет проработала в банке.
Первый поэтический сборник появился в 1952 г., впоследствии вышли еще девять. Стихи ее переведены на многие европейские языки.

Михалис Ганас [р. 1944]. Поэт. Лауреат Государственной премии в области поэзии [сборник *Баллада*, 1994].

Родился в северной Греции, с 1962 г. живет и работает в Афинах. Работал продавцом в книжном магазине, сценаристом и редактором на телевидении.
Дебютный сборник *Акафистная вечеря* вышел в 1978 г. Переводил Аристофана и Эсхила.

Насос Вагенас
Поэт, профессор Афинского университета, филолог и критик. Дважды лауреат Государственной премии в области критики [книга о поэтике Сефериса *Поэт и танцор*, 1980; книга критических эссе *Язык иронии*, 1994].

Автор семи книг стихов. Переводил на греческий Т. С. Элиота, Э. Паунда, М. Мур, К. Сэндберга, Г. Аполлинера, Э. Монтале, Каммингса, Л. Борхеса и др. Стихи самого Вагенаса, в свою очередь, переведены на многие языки.

Георгос Иоанну
[1927–1985]. Поэт, эссеист, прозаик, переводчик, учредитель и издатель литературного журнала Филладио. Лауреат Государственной премии по литературе [книга *Наша кровь*, 1979].

Автор критических заметок и рецензий, пьес, сборников рассказов. В 1954 и в 1964 гг. вышли два первых поэтических сборника, после чего писал исключительно прозу. Уже первые сборники рассказов закрепили за ним славу [с 1961 г.] основателя так называемой эмпирической прозы. Несколько работ опубликованы впервые посмертно.

Менис Кумандареас
[р. 1931]. Писатель, переводчик. Лауреат Государственной премии по литературе [1975].

Автор многочисленных рассказов и романов. Первая книга [сборник рассказов *Мотоциклы*] опубликована в 1962 г. Переводил на греческий язык Г. Гессе, У. Фолкнера, Л. Кэрролла, Э. По, Э. Хемингуэя, С. Фицджеральда и др. Переведен на несколько иностранных языков.

Танасис Вальтинос
[р. 1932]. Прозаик, сценарист, переводчик. Член Европейской академии наук и искусств, Союза писателей Греции. Лауреат Государственной премии в области романа [роман *Заметки о шестидесятых*, 1990], Государственной премии по литературе [2001], Каннской премии за лучший сценарий [к фильму Тео Ангелопулоса *Путешествие на Киферу*, 1984].

Автор многих рассказов и романов. Параллельно занимается переводами [трагедии Эсхила и Еврипида в его переводе поставлены в театре Эпидавра в 1979 и 1980 гг.]. Его книги переведены на многие иностранные языки.

Димитрис Ноллас
[р. 1940]. Прозаик, сценарист, директор Института книги. Лауреат Государственной премии в области рассказа [сборник рассказов *Нежная кожа*, 1983], Государственной премии в области романа [роман *Холм у моря*, 1993], премии журнала *Диавазо* [сборник рассказов *Мутные стекла*, 1997].

Работал на государственном радио и телевидении, писал сценарии для многих ведущих греческих режиссеров. Первый рассказ опубликован в 1974 г. Рассказы переведены на многие иностранные языки.

Аманда Михалопулу
Писатель. Лауреат премии за лучший рассказ

Автор трех романов, сказок для детей, ведущая детской серии *Семейная галерея*. Ее рассказы переведены на несколько иностранных языков.

журнала *Ревмата* [первый сборник рассказов *Снаружи жизнь разноцветная*, 1994], премии журнала *Диавазо* [1996]. С 1990 г. обозреватель газеты *Кафимерини*.

Одиссеас Элитис [1911–1996]. Поэт, переводчик. Кавалер ордена Феникса [1965], лауреат Нобелевской премии по литературе [1979].

Автор поэм *Песнь героическая и траурная о младшем лейтенанте, погибшем в Албании* [1945], *Достойно есть* [1960], *Мария Нефели* [1978], многих книг стихов, в том числе *Ориентиры* [1939], *Солнце всемогущее* [1971], *Единокровные* [1974], *Дневник невидимого апреля* [1984], *Западнее печали* [1995], сборников эссе и критических статей. Его стихи печатались в отдельных изданиях, антологиях и журналах на десятках языков.

Георгос Сеферис [1900–1971]. Поэт. Лауреат Нобелевской премии [1963].

Автор многих сборников стихов, в том числе *Поворот* [1931], *Мифосказ* [1935], *Дрозд* [1947], трех книг *Вахтенный журнал* [1940, 1944, 1955], поэмы *Три тайные поэмы* [1966], серии статей о греческой литературе, объединенных в сборнике *Опыты* [1940]; переводил на греческий язык П. Валери, Т. С. Элиота.

Питер Макридж
Peter Mackridge
Английский филолог-неоэллинист, переводчик, почетный профессор Оксфордского университета.

Автор биографии К. Кавафиса [*Cavafy: A Biography*, 2003; в соавторстве с Р. Лидделлом], монографий *Современный греческий язык: дескриптивный анализ кодифицированного новогреческого языка* [*The Modern Greek Language: A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek*, 1985], *Слепки поэзии: Соломос–Кавафис–Сеферис* [*Plaster Casts of Poetry: Solomos–Kavafis–Seferis*, 2006 (на греческом языке)] и др., многих научных публикаций о новогреческом языке и литературе Греции, а также учебные пособия по новогреческому языку. Перевел на английский язык произведения Г. Сефериса, А. Александру, Г. Иоанну и других греческих авторов.

Елени Яннакакис
Литературовед, преподаватель Оксфордского университета.

Автор ряда научных публикаций по новогреческой литературе, редактор научного сборника *Мы и другие. Становление греко-македонского культурного самосознания с 1912 года* [*Ourselves and Others: The Development of a Greek Macedonian Cultural Identity since 1912*, 1997; совместно с П. Макриджем].

Переводчики

Анна Олеговна Ковалева
Переводчик с греческого. Журналист.

Перевела и подготовила к печати собрание сочинений Костаса Тахциса.
В *ИЛ* публикуется впервые

Роман Дмитриевич Гузь
[р. 1982]. Филолог, выпускник кафедры византинистики и неоэллинистики филологического факультета МГУ.

Перевел первый сборник стихов Мильтоса Сахтуриса *Забытая*.
В *ИЛ* печатается впервые.

Евгения Борисовна Смагина
Поэт, переводчик с древнегреческого, новогреческого, латинского, коптского, древнееврейского, арамейского, немецкого и французского языков, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, зам. директора Учебно-научного центра египтологии им. В. С. Голенищева РГГУ, зав. кафедрой Ветхого Завета в Библейско-богословском институте Андрея Первозванного, член Международной ассоциации по изучению манихейства.

Автор монографий *Нубийский язык* [Совместно с Ю. Н. Завадовским, 1986], *Коптский манихейский трактат. Главы. Кефалайа* [Перевод, комментарии, исследование. М., 1998] и др. В ее переводе напечатаны *Русская Кавафиана* [Переводы с новогреческого, исторические комментарии. М., 1998], *Библия. Ветхий Завет. Книга Даниила, Книга Эсфирь* [Перевод с древнееврейского и арамейского, предисловие, комментарии. М., 2004] и др.
Ее стихи неоднократно публиковались в журнале *Новый Мир*.

Антонина Калинина
Филолог-классик, переводчик поэзии с новогреческого, немецкого, итальянского, и английского языков.

В ее переводах публиковались произведения К. Кавафиса, Х. Каррoссы, А. Вивальди, Э. Монтале, Р. С. Хокера, Р. Бриджеса. Оригинальные стихи печатались во *Временнике стихотворного отдела Новой камеры хранения*, журналах *Крещатик* и *Побережье*.

Владимир Владимирович Потапов
[р. 1984]. Переводчик, аспирант филологического факультета отделения Византийской и новогреческой филологии МГУ и одновременно аспирант филологического факультета Университета в Салониках.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолитт* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Джо Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI-XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Софья Борисовна Ильинская
Литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук.

Автор монографий *Поэзия сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения* [1974], *Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века* [1984], *Яннис Рицос. Очерк жизни и творчества* [1986], многих статей по истории греческой литературы. Переводила произведения К. Кавафиса, Я. Рицоса, Г. Сефериса, В. Василикоса, Н. Вреттакоса, Т. Ливадитиса, Г. Ксенопулоса, А. Терзакиса, М. Александропулоса, М. Ганаса и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель МГУ. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа *Послание со дна моря* Р. О. Фримена [2008, № 1].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского писателя, художника, композитора Альберто Савинио [наст. имя Андреа де Кирико; 1891–1952] *Нептун* [1932].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.01.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3031.
Тираж 10 200 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

Поздравляем
с получением премии *Мастер* за 2007 год

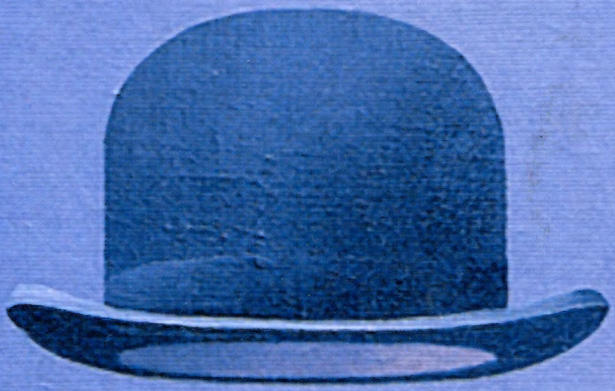
Александра Михайловича Ревича
за книгу избранных переводов и оригинальных стихов
"Паломник" ["Этерна", 2007]
и
Елену Александровну Суриц
за перевод романа англо-ирландского писателя
Джона Бенвилла "Море"
["Иностранная литература", 2006, № 10].

---

[3] 2008

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ГЮНТЕРА ГРАССА "ЛУКОВИЦА ПАМЯТИ" / РОМАН ШОНА МАКБРАЙДА "ЗЕЛЕНЬ. ТРАВА. БЛАГОДАТЬ" / "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ": СТИХИ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ-КАВАЛЕРОВ / "СЛЕПОТА" ЖОЗЕ САРАМАГО В РУБРИКЕ "СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" / РАССКАЗ ЯНА ЮЗЕФА ЩЕПАНСКОГО / ЭССЕ О НИЦШЕ ИГОРЯ КЛЕХА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №2, 1-288